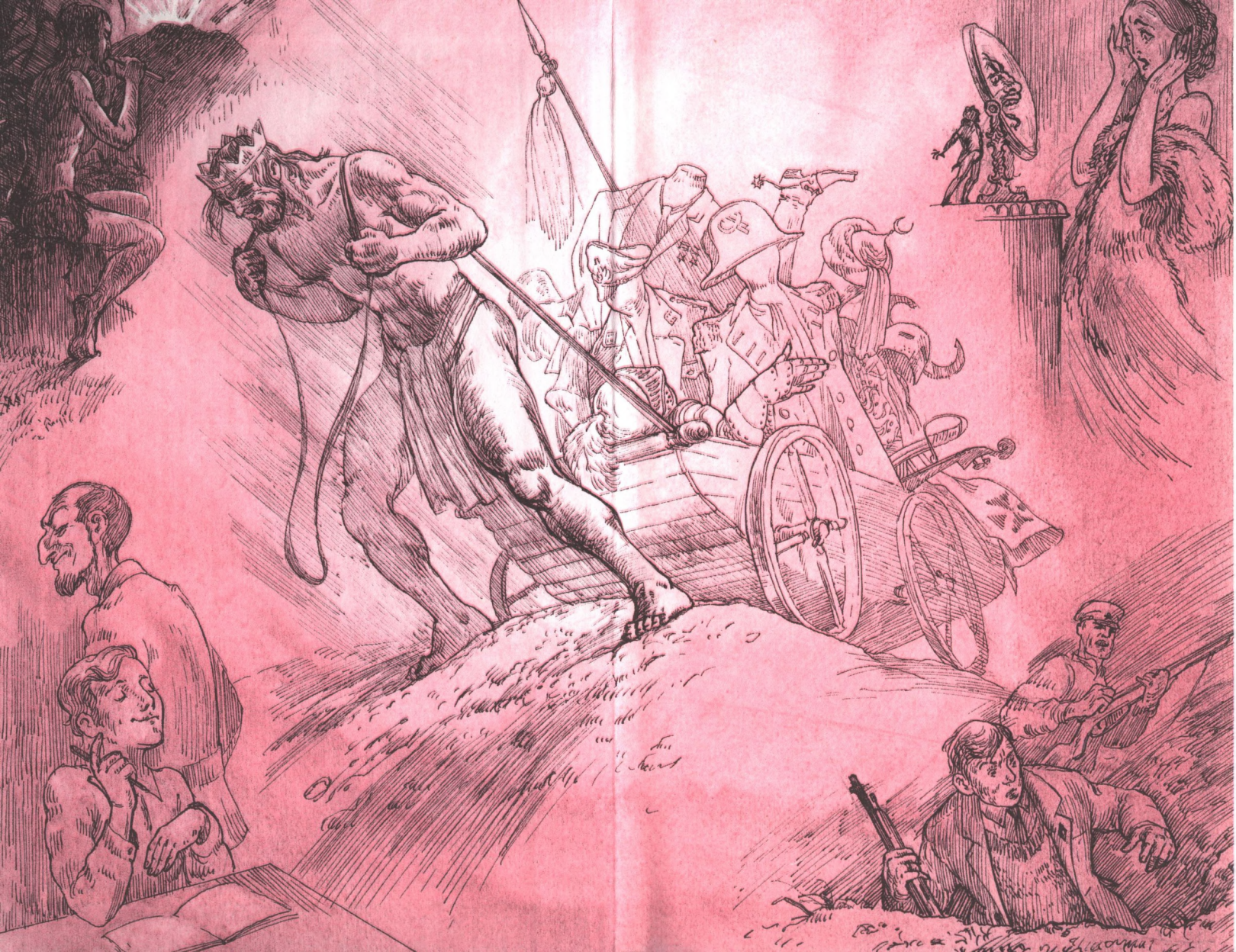


Михаил

ВЕЛЛЕР



ПРАВИЛА
ВСЕМОГУЩЕСТВА





Михаил Веллер



**ПРАВИЛА
ВСЕМОГУЩЕСТВА**



«ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»

Санкт-Петербург

1997

ББК 84.Р7
В 27

*Обложка С. Шикина
Форзац В. Худякова*

ISBN 5-86715-0062-3

© «Объединенный капитал», 1977
© С. Шикин, обложка, 1997
© В. Худяков, форзац, 1997
© М. Веллер, 1997

Из книги
«ХОЧУ БЫТЬ ДВОРНИКОМ»

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Его должны были расстрелять на рассвете.

На рассвете — это крупное везение. Еще есть время.

Он лежал ничком в совершенной темноте. Вероятно, ногами к двери — швырнули.

Спина была изодрана в мясо и присыпана рыбацкой солью. Боль вывела его из забытья. Боль была союзником.

Связанные сзади руки немели.

Он перекатился на спину, и боль перерубила сознание. Он смолчал и пришел в себя. Он просто забыл: нога. Левая нога попала под коня. Под ним убило коня.

Он уперся правой пяткой в земляной пол и проелозил плечами... Оттолкнулся еще раз и совладел с дыханием. Подтянул ногу, закинул голову, опершись макушкой приподнял плечи и передвинул себя.

После десятого раза он стал переворачиваться на живот. Сердце грохало в глотке.

Извивался, царапая коленом, правой стороной груди, головой — полз.

Часовой — вздохнул, выматерился, зачиркал металлом по кремушку, добывая прикурить, близко, но снаружи, где дверь, в стороне ног.

Он определил стену сарая. Переместил себя вдоль нее. На правом боку, прижимаясь, продвигался. Острие гвоздя корябнуло лоб.

Нашел.

Гвоздь торчал на полвершка. Он долго пристраивался к нему стянутыми запястьями. При всяком движении черная трещина в сознании расширялась, и боль увлекала туда.

Не чувствуя руками, на звук, он дергал веревкой о кончик гвоздя. Приноровясь, пытался расщипывать волокна в одном месте.

Закрапал в крышу, наладился дождь. Удача; очень большая удача.

Пряди поддевались чаще толстые. Он отпускал напрягшиеся нити, стараясь определить одну, и рвал ее...

...Очнувшись, он продолжал. И последняя прядка лопнула, но это был лишь один виток, и веревка не ослабла.

Теперь он приспособился, пошло быстрее... Ему удалось расковырять, разлохматить веревку о гвоздь, и она поддавалась легче.

...Он не мог сказать прошедшего времени, когда освободил руки. Он кусал взбухшие кисти, слизывая кровь с зубов, и руки ожили.

Под стену натекала вода. Он напился из лужицы. Часть воды оставил, провертев пальцем в дне лужи несколько ямок поближе к стене.

На четвереньках, подтягивая ногу, он обшарил сарай. Ни железки, ни щепки... Пригнанные доски прочны.

Железный костыль сидел в столбе мертво. Сжав челюсти, он раскачивал его, выкрашивая зубы.

Костылем он стал рыхлить землю с той стороны, под стеной, где натекала вода. Он рыхлил увлажняющуюся землю костылем и выгребал руками. Руку уже можно было высунуть по плечо, когда в деревне закричали петухи. Ему оставался час до рассвета. С дождем — полтора часа.

Часовой — не шагал под дождь, но без сна, дымок махорки чуялся.

В темноте, сдирая запекшиеся струпья со спины, он вылез в мокрый бурьян. Умеряя движения, каждую травинку перед собой проверяя беззвучно, пополз направо к реке.

С глинистой кручи головой вперед, тормозя скольжение вытянутыми руками, пальцами правой ноги и подбородком, он достиг берега.

Лодок не было.

Ни одной.

Он двигался на четвереньках вдоль воды. Дождь перестал, и линия обрыва выступила различимо.

Обломок бревна он заметил сажени за три. Подкатил его, спустился без всплеска в сентябрьскую воду.

Лежа на калабахе грудью, обхватив ее левой рукой, оттолкнулся от дна, тихо-тихо загребая правой к середине.

Ниже по течению верстах в полутора на том берегу был лес.

И поэтому так называемые трудности мне непонятны.

И знакомые называют меня идеалистом, наивным оптимистом и юнцом, не знающим жизни.

Человек этот, боец 6-го эскадрона 72-го красного кавполка, был мой прадед.

Фотографию его, дореволюционную овальную сепию, я спер из теткиного альбома и держу у себя на столе. Те, кто видят ее впервые, не удерживаются, чтобы не отметить сходство и поинтересоваться, кем этот человек мне приходится. Что составляет тайный (и не совсем тайный, если откровенно) предмет некоторой моей гордости. На фотографии ему двадцать один — на три больше, чем мне сейчас. Намного старше он не стал — погиб в двадцатом.

КОНЬ НА ОДИН ПЕРЕГОН

Всех документов у него было справка об освобождении.

— Карточная игра, парень, — предупредили, куря на корточках у крыльца.

Сиверин не отозвался. «Передерну».

«Скотоимпорт» непридирчив. Неделю в общежитии тянули пустоту: карты и домино. Жарким утром, успев принять с пятерки аванса, небритые и повеселевшие от вина и конца ожидания, устраивались в кузове с полученными сапогами и телогрейками.

— Чтоб все вернулись, мальчики!..

Через два дня, отбив зады, свернули у погранпункта с Чуйского тракта и прикатили в Юстыд.

Житье в Юстыде — скучное житье. Стругают ножны для ножей, плетут бичи кто разжился сыромятиной. Карты — на сигареты и сгушенку. Солнце — жара, тучи — холод: горы, обступили белками.

Ждали скот; подбирались в бригады. Сиверина чуждались (угрюм, на руку скор).

После завтрака, вытащив из палатки кочму, он дремал на припеке. Подсел Иван Третьяк, гуртоправ:

— Отдыхай. Отдыхай. Ты вот чо: в обед монголы коней пригонят. А нам послезавтра скот получать. Мысль понял?

Сиверин глаз не открыл. Иван сморщился, лысину потер: «Не брать тебя, дьявола... Да людей нет».

— В табуне все ничо кони давно взяты, — затолковал. — На первом пункте менять придется. А на чо? — там еще хуже оставлены, все первые связки забрали. Так что будем брать сегодня прямо с хошана. Они, конечно, за зиму от седла отвыкли; ничо... Зато выберем путевых коников. А коники нам по Уймону ой как понадобятся! Так что готовься... Присмотри себе. Злых не бойсь — обвыкнут...

На складе долго перекидывали седла. Пробовали уздечки. Завпунктом разводил руками.

Свалили в кучу у палаток.

— Чо, коней сегодня берете?..

— Третьяк у монголов брать будет. Хитрый... Лучших отберет.

Пригнали за полдень. Кони разнорослые, разномастные. Двое монголов с костистыми барабанного дубления лицами, кратко выкрикивая, заправили в хошан. Сделали счетку. Они расписались в фактурах. Поев на кухне и угостившись сигаретами, расправили по седлам затертые вельветовые халаты и неспешной рысью поскакали обратно.

Мужики, покуривая, расселись по изгороди. Третьяк с Колькой Милосердовым полезли в хошан. Пытались веревкой, держа за концы, отжать какого к краю. Кони беспокоились, не подпускали.

— В рукав давай! — велел Третьяк.

От узкого прохода кони шарахались. Третьяк и Милосердов сторонились опасливо. С изгороди советовали. Не выдержав, несколько прыгнули помогать. Вывязывая сапоги, мasha с гиком и высвистом, загнали в рукав. Зажатые меж жердей, кони бились, силясь повернуться. Всунули поперечины, перекрыв:

— Уф!.. Так...

Притянув веревками шеи, взнуздали, поостерегаясь. Наложили седла; застегнули подпруги.

— Выводи...

Первый, крутобокий пеган, пошел послушно у Кольки Милосердова. Дался погладить, схрупал сухарь. Колька, ухарски шурясь, чинарь в зубах, вддел стремя — пеган прынул — уже в седле Колька натянул повод, конь метнулся было и встал, раз-другой передернув кожей.

Пустил шагом. Дал рысь.

— Нормальная рысь, — решили сообща.

Галоп. Покрутил на месте.

— Есть один!..

Второй, коренастый гнедок, Кольку сбросил раз, — и сам ждал поодаль.

— Жизнь-то страховал хоть, Колька?

— Шустрый, язви его!..

Поймали быстро. Камчой вытянули — понимает за что.

— Порядок. Это он так... сам с испугу, отвык.

Со скотоимпортским табуном подоспел Юрка-конюх.

— К этим давай. Легче брать будет.

Яшка, высокий вороной жеребец, в жжении ярой крови ходил боком, отгораживая своих.

— Знакомятся!..

Рыжий сухой монгол доставал кобылиц, кружась обнюхивая и фыркая. Яшка прижал уши и двинулся грудью. Рыжий увернул — Яшка заступил путь.

— Делай, Яшка!

— Счас вло-омит!..

— Так чужого, не подпускай!..

Надвинулись, тесня. Рыжий жал. Яшка взбил копытами, сверкая оскалом. Рыжий с маху клацнул зубами по морде. Вздрыбились, сцепляясь и ударяя ногами. Копыта сталкивались деревянным стуком.

Яшка, моложе и злее, набрасывался. Слитные формы вели черным блеском. Монгол, сух и костист, некованный, скупно уклонялся. Грызлись, забрасываясь и сипя. С завороченных губ пена принималась алым.

Яшка вприкус затер гриву у холки. Рыжий вывернулся и лягнул сбоку, впечатал в брюхо. Яшка сбился, лоя упор. Рыжий скользнул вдоль, закусил репицу у корня.

Юрка-конюх бичом шелкнул, достал... Без толку:

— Изуродует Яшку, сука!.. — заматерился Юрка.

Визжа от боли резко, Яшка вздернулся и тупнул передними в крестец. Рыжий ломко осел, прынул. Закрутились, вскидываясь и припадая передом, придыхая. Мотая и сталкиваясь мордами, затесывали резцами.

На изгороди, заслоняясь от солнца, сыпаясь в их приближении, захваченно толкались и указывали.

Кровенея отвергнутой каймой глаз, сходились вдыбки, дробили и секли копытами. Уши Яшки мокли, измечены. В напряжении он стал уставать. С затыжкой шарахаясь из вязкой грязи, приседая на вздрагивающих ногах, хрипел с захлебом. Воротясь, кидал задом. Рыжий, щерясь злобно, хватал с боков.

— Эге, робя! да он же холощенный! — заметил кто-то.

— По памяти!.. — поржали. — И бёз толку — упорный, а!..

— Нахрен он мне в табун, — не захотел Юрка. — Третьяк, бери?

С изгороди усомнились:

— На таком спину сломать — как два пальца.

Колька Милосердов мигнул Ивану. Иван сморщился и потерял лысину.

— А вот Сиверин возьмет, — объявил Колька.

Все обратились на Сиверина.

— Или боязно? Тогда я возьму. Тебе кобыленку по-мирнее подберем. Чтоб шагом шла и падать невысоко.

Смешок готовый пропустили.

«Ты поймай... я сяду».

Отжать веревкой конь не давался. В рукав не шел. Пытались набрасывать петлю... Перекурив, послали за кем из стригалей-алтайцев.

Пришел невысокий парнишка в капроновой шляпе с загнутыми полями. Перевязал петлю по-своему. Собрав веревку в кольца, нешироко взмахнул петлей вокруг головы и пустил: она упала рыжему на морду, сползая («не набросил», — произнес кто-то), нижний край свис, алтаец поддернул — петля затянута на шее.

— Дает пацан... — оценили.

— Так се конек, — сказал алтаец, закурил и ушел.

Конь рвался. Суется и сопя, ругаясь, впятером затянули в рукав. Бились: не брал удила, всхрапывая скалил сжатые зубы. Придерживая через жерди седло, проволокой достали под брюхом болтающиеся подпруги.

— Вяжи чумбур, — Третьяк утер пот... — Вяжи два чумбура.

Коротко перехватил повод:

— Страхуй.

Вывели вдвоем. Конь ударил задом и задергал. Иван повис на уздах. Юрка и Колька со сторон тянули чумбуры.

— Ждешь, Сиверин? — озлел Третьяк. — Берешь — бери! Не убьет...

При коновязи конь стих. Сиверин курил рядом. Кругом предвкушали.

— Ехай, Сиверин, ехай, — поощрил Третьяк.

Навстречу руке конь оскалился. Привязанный, стерпел: Сиверин почесал, поскреб плечо сильно. Взаясь за луку седла — конь прынул, Сиверин отскочил.

Захлестнул за коновязь чумбур и, заведя кругом, прижал коня к бревну боком: «Держи», — сунул конец Юрке.

Отвязав повод, влез на коновязь и с нее быстро сел, взявши правой заднюю луку. Конь забился, ударил дважды о коновязь — Сиверин поджал ноги, удержался.

Вывели на чумбурах. Конь, шарахаясь и заступая задом, рванул, они побежали, удерживая концы. Сиверин перепилил поводом, натянул обеими руками кверху, щема коню губу, он дал свечу, тряхнул спиной вбок, стал заваливаться, Сиверин бросил стремяна и толкнувшись коленями отлетел вбок, перекатываясь подальше; конь извернулся кошачьи, спружина взял в бег, но Третьяк захлестнул уже чумбур за столб изгороди, и он смаху был развернут натянувшейся петлей, припадая на сторону и хрипя.

— Ничо... Пусть успокоится...

Сиверин сел снова. Юрка с Колькой захватили чумбуры в метре от шеи. Упирались, не давая подняться на дыбы, Сиверин всей тяжестью налег вперед — и конь подсев и резко бросив задом отправил его через голову.

— Показывай класс... наездник, — прогудел Чударев, начальник связки, грузный сильный старик, супясь с улыбкой. Скотогоны загрохотали.

Сиверин отряхнулся, прихрамывая. Поводил под уздцы.

Успокоил ведь, вроде. Сухарь конь взял, схрупал. Допустил в седло. Прошел шагом.

— Вот и в норме, — сказал Третьяк.

Не чувствовал Сиверин, что в норме.

Рысью... Поддал пятками в галоп — конь уши прижал, попятился. Пошел шагом. Сиверин натянул повод, и конь встал.

Третьяк смотал и приторочил чумбур, второй Колька отвязал.

— Пусть-ка еще проедет, — сказал он и шлепнул веревкой по крупу.

Конь с места понес. Они вылетели в ворота. Сиверин вцепился в повод и луку. Заклецился коленями и шенкелями, теряя стремяна.

Пот мешал глазам. Не мог отвлечься, чтоб слизнуть с губ. Тянул повод затекшей рукой. Храпя и екая, со свернутой мордой, конь не урежал мах. Юстыд скрылся.

Сводило ноги. Седло сбивалось к холке. Сиверин надеялся, что не ослабнет подпруга.

Конь тряс жестко. Он осадил разом, и Сиверина швырнуло через голову, но первым, что он сообразил, был мертво зажатый в руке повод; этот повод, вывертывая руку из сустава, волок его стремительно по траве и

камням. Копыта вбивались вплотную; бок вспыхивал до отказа сознания; но это значило, что повод не оборвался, он и правой схватился, подтягиваясь, пытался подобрать ноги и встать, но конь тащил слишком быстро, завертелся, лягая, и в заминке хода Сиверин успел вскочить и повис на поводке, топыря ноги по уходящей земле и клекоча. Он налегал книзу, сдерживая; он сумел высвободить правую руку и дотянулся до передней луки, сбоку подпрыгнув закинул правую ногу. Конь дернул, нога соскочила, но рукой удержался, снова закинул и втянул, дрожа судорогой втянул себя в седло.

Взбросив подряд, конь встал на месте. Он дышал со свистом. Он отдыхал.

Сиверин сидел. Отпускало сдавленное горло. Сведенные мышцы вздрагивали. Воздух был желт: тошнило. Тыча рукой в багровых рубцах от повода, нашел курить. С трудом чиркал вываливающиеся спички. Край сигареты окрасился. Сплевывал.

Прохватил ветер. Горячий в поту, он остыл; полегчало. Дождь полетел полого. Конь переступил, отворачиваясь задом. Сиверину тоже так было лучше.

Припустило сильно. Видимость сделалась мала за серой водой. Сиверин тихо толкнул в шаг — конь двинулся, послушал. Но повернуть не подчинился. Сиверин не настаивал: какой конь любит дождь в морду.

Не просвечивало, и определить время было трудно. Сиверин замерз. Он жалел, что без телогрейки и шапки. Сигареты в кармане размокли, и он выкинул их.

Они ехали и останавливались под дождем. Сиверин пружинил на стремянах — грелся.

Низкое солнце вышло быстро. Вечерняя прозрачность напиталась духом чебреца и горной медуницы. Емуранки засвистели. Конь попал ногой в норку и споткнулся. Сиверин поддернул повод, — он захрапел и понес.

Успокоившийся было Сиверин озверел в отчаяньи. Сил могло не хватить. Он повернее уперся в стремянах и откинулся, вжимая повод. Гора была впереди, и он не давал коню свернуть.

Мотая закинутой головой, выбрасывая разом в толчках передние ноги, конь стлался в гору. Он опасно оскользнулся на мокрой траве склона, но Сиверин не кинул стремяна, даже когда затрещали по каменистой осыпи вокруг отвесной вершины. «Сдохну! — вместе! — по-моему будет!» — ослепляло в высверках, на косой

крутизне упор утек, сдирая правый бок о щебенку они съехали вниз метров двадцать до низа осыпи...

— Вставай, сука!.. — сказал коню Сиверин, перенося тяжесть влево, не вытаскивая ногу.

Конь поднялся. Правое колено выше сапога, бедро и локоть у Сиверина были ссажены под лохмотья, но крови не было.

— Тоже, самоубийца, — сказал коню Сиверин, вдруг неожиданно повеселев. — Не круче моего... Обломаю! — задохнулся он и пустил вниз, врезав каблуками, но стараясь, однако, не попасть ему по свежей царапине.

Конь принял вмах, не умеряя, как жмутся кони на спуске, и Сиверин не отпускал стремяна и не страховался за заднюю луку — ему было плевать; и была уверенность.

И не заметил, как развязались тороки, и чумбур упал и потащился. На ровном конь надал, попал задним левым копытом на веревку, передней левой бабкой зацепил и грохнулся оземь вперед — влево перекатываясь через голову и левое плечо. Тяжесть ударила в треске ребер перенеслась, ноги выламывались, копыта били задевая воздухом, он выпутывался из стремян, копыто стукнуло по запястью и левой кисти не стало, в живот или голову — убьет, вырвал правую, оставив в стремяни сапог, конь вскочил, лежа на спине он сдернул стремя с левой, небо сверху, конь исчез, ожгло вниз спину, закинул правую руку и успел уклешнить мокрую скользющую веревку, деревянея в усилнии, стряхнув с места понесло, летящая земля жгла и сшаркивала шкуру, вывертывая позвонки перевернулся на живот, конец веревки позади правой руки намотал дважды левой, она работала, стругая носом зажал веревку в зубы...

Конь держал вскачь. Сиверин несся на привязи. Трава и песок сливались в струны. Камни выстреливали, кроя тело. «По кочкам разнесет...» Он понял звук — отрывками изнутри звериное подвывание.

Он стал подтягиваться по чумбуру. Чужие мышцы отказывали. Власть над телом иссякла. Сознание отметило, что мотков на левой руке больше. Происходящее как бы... отходило...

Разом — задохся в спазме. Это конь пересек ручей. Вода накрыла. Руки разжались. Но веревка была намотана на левую, и натяжение прекратилось, потому что конь оступился на гальке откоса, и Сиверин, имея в

сознании лишь одно, схватил правой и дернул за пределом сил, конь снова оступился, ослабив чумбур, Сиверин уже сел, крутанув в воде легкое тело, упершись ногами выжег в рывке всю жизнь ног, корпуса, рук — и попал коню как раз не под шаг, тот снова упустил мокрые камни из-под некованных копыт и неловко и тяжело упал боком в воду — сшибая не успевшие взлететь брызги Сиверин метнул себя ему на голову сумасшедше лапая левой в ноздри и правой повод.

Конь забился, вставая. Сиверин большим и указательным пальцем левой руки, всунув, сжимал ему ноздри; правой притягивал намотанный повод. Держа крепко, поднялся враскорячку с колен.

Не двигались. Сиверин пытался сосредоточиться, чтобы понять, где верх и где низ. Постоял, отдавая отчет в ощущениях и упорядочивая их.

Боком, сохраняя хватку, повел коня на ровное место у берега. Переставлять ноги требовало рассудочного напряжения.

Там отдохнул немного. Повернулся, не отпуская рук, так, что морда коня легла сзади на правое плечо, и медленно пошел, ища глазами.

Остановился у глубоко вбитого старого кола. Опустился на колени. Не отпуская левой, правой плотно обвязал осклизлый узкий ремешок повода и тщательно затянул калмыцкий узел. Дотянулся до чумбура и тоже очень тщательно привязал.

Потом оперся на четвереньки и его вырвало. Он содрогнулся, прогибаясь толчками, со скрежущим звуком, желудок был пуст, и его рвало желчью.

Он высморкался и встал, дрожа, ясный и пустой.

Конь смотрел, спокойный.

Вперившись в его глаза и колко холодея, Сиверин потащил ремень. Гортань взбухла и душила. Оранжевые нимбы разорвались перед ним.

— У-ург-ки-и-и-и! — визг вырезался вверх, вес исчез из тела, он рубил и сек, морду, глаза, ноздри, губы, уши, топал, дергался, приседал, слепо истребляя из себя непреодолимую жажду уничтожения — в невесомую руку, в ремень, в месиво, в кровь, в убийство.

— Гад! — всхлип выдыхивал. — Гад! Гад! Гад! Гад! Га-ад!..

Рука сделалась отдельной и не поднималась больше. Он не мог стоять. Он захлебывался.

Конь плакал.

Живая вода, заладившие слезы, текли с чернолитых глаз, остановленных зрачков, тихо скатывались, оставляя мокрый след в шерстинках, и капали.

Сиверин сел и заревел по-детски.

...Успокоившись, утер слезы и сопли, приблизился к коню и ткнул лбом в теплую шею.

— Раскисли мы, брат, а... — сказал он. Снял куртку, выжал, и стал приводить своего коня в порядок.

Солнце уже опустилось за гору. Потянул ветерок. Сиверин в мокром начал зябнуть. Он отжал одежду и слил воду из сапога. Второго не было. Очень захотелось закурить.

Сзади подъехал Колька Милосердов.

— Ни хре-на ты его, — сказал он.

Сиверин смотал чумбур и приторочил, и Милосердов увидел его лицо.

— Ни хре-на он тебя, — сказал он.

— Езжай. Я скоро, — Сиверин отвязал повод. — Закурить дай.

Милосердов стянул телогрейку.

— В кармане. Надень. — Помедлил. — Сапог потерял? — спросил, отъезжая.

— Рядом. Подберу.

Сиверин надел нагретую телогрейку на голое тело и застегнул до горла. Покурил, вдыхая одну затяжку на другую; потеплело; переждал головокружение.

— Поехали, что ли, ирод хренов, — сказал он коню. Мокрые куртку и рубашку приторочил сзади, подсунув между седлом и потником (сейчас, когда сам был в теплой сухой телогрейке, нехорошо показалось вроде как-то класть мокрое и холодное коню на спину).

Ехали шагом. Сапог нашелся недалеко. Смеркалось быстро. Огоньки Юстыда показались из-за горы.

— Послезавтра скот получим, — сказал Сиверин. — Потом спокойно попасем его здесь дней несколько, пока стрижка очередь подойдет. Потом стрижка дня два. Отдыхать будешь, — он нагнулся, выпуская дым коню в гриву. — А там и тронемся. До Кош-Агача по ровну пойдем, спокойно. А там горы, там уж крутиться придется. Но ничо... Дойдем до Сок-Ярыка, там Колокольный Бом, Барбыш, — и легче будет, ровней, и пониже, теплей будет. Деревни уже пойдут. И притопаем с тобой помаленьку в Бийск, на остров придем. А там уж

тебе — в табун, до самого будущего лета. Пасись, отдыхай, кобыл делай, — он вспомнил, гмыкнул, вздохнул. — Мда... Кобылы-то тебе, брат, уже без надобности. Что же... Гадство, в общем. Ничо... Жизнь все же, отдых... Можно жить-то... А я, — новую закурил, — сдадим скот на мясокомбинат, расчет получим, рублей тысяча или больше даже, если хорошо дойдем, без потерь. Не потеряем... Пасты хорошо будем — гор много, трава есть, только по уму и не лениться. Привес дадим, премия. Расчет получу, книжку трудовую выпишут. Документы выпишут в милиции, все путем будет. Документы, деньги, трудовая... поеду, наверно, в Иваново, к Сашке Крепковскому, он звал, примет. На работу постоянную устраюсь. И нормальная у нас, брат, жизнь с тобой пойдет, понял?.. А что отволохал тебя — не сердчай. И ты меня сделал в порядке. Можно сказать, квиты. Что ж — работать ведь надо. Ведь сам понял. Дурить не надо. Что дурить... Понимать надо. Я-т тоже всяко повидал...

Под навесом в слабом свете ламп стригали работали на столах, стрекотали машинки, овцы толкались массой. Привязанные кони паслись внизу у ручья. В волейбол, полуразличая мяч, с площадки стучали.

За воротами попался парнишка в шляпе, бросавший давеча аркан.

— Эка он тебя... Объездил?

— Есть. — Сиверин слез.

— Дай-ка, — алтаец нагло-хозяйски завладел конем. Умело пустил рысью, тут же вздыбил, развернул, толкнул в галоп, покрутил.

— Не, барахло конь, — пренебрежительно передал. — Рыси нет. Трясет сильно. Шаг короткий, — скалился улыбочиво — а не шутил.

— Дойду на нем, — отрезал Сиверин.

— Конечно, не думай, — смягчился алтаец. — Свежий так-то конь. Тебе быстро не надо. Гнать надо, пасты, чо...

От коновязи Сиверин понес седло на плече, бренча стремянами и пряжками подпруг, к палатке.

— Жив? — спросил Третьяк. — Ухайдокал он тебя. Но сделал, молодец.

Сиверин заострил полено под кол и с топором пошел обратно.

— На тушенку его, точно, — засмеялись из темноты.

— Са-ам до мяскокомбината дойдет, — сказал второй голос.

У ручья конь заторопился и стал пить, звучно екая, отфыркивая и переводя дух. Северин опустился на колени рядом, со стороны течения, и тоже долго пил. От студеной воды глотка немела и выступило на глазах.

Прикинув место получше, он вбил топором кол, привязал чумбур и снял с коня уздечку. Конь отошел на шаг и жадно захрумкал траву.

Постояв, куря и глядя, Северин помочился, и конь тоже пустил струю.

— Мы с тобой договоримся, паря... — улыбнулся невольню.

Заставил себя сдвинуться, в ручье осторожно обмыл мылом незнакомое на ощупь лицо. Левое запястье сильно распухло и болело.

Конь пасся, и Северин отправился на кухню.

Повар Володя с Толиком-Ковбоем и веттехником шлепали в карты. Они оборотились и зацокали, качая головами.

— Кушать хочешь?

— Жидкого бы. — Не хотелось есть.

Выхлебал миску теплого супа. Володя отрезал хлеба — из своих, видать, запасов, так-то сухари давали.

— Ты хоть страховался? — спросил веттехник.

— Э... Никто не боится, — сказал Толик-Ковбой.

У палатки Третьяк и Колька Милосердов на костерке из щепок и кизяков варили чифир в кружке, прикрутив проволочную ручку. Когда вода вскипела, Колька высыпал сверху пачку чаю, помешал щепочкой, чтоб напиталось и осело, и, держа брезентовой рабочей рукавицей, пристроил над огнем. Гуща поднялась, выгибаясь, пузырящаяся пена полезла из разломов; Колька снял с огня и накрыл другой кружкой, чтоб запарился.

— На-ка, хватани, — протянул Третьяк.

Северин закурил, подув отхлебнул и передал Кольке.

Стригали уже кончили работу, там было темно. Еще несколько костерков горели среди палаток.

— По всему Уймону сейчас костерки наши... — пустился в задумчивость Третьяк. — Тыща километров, почитай, по горам; кто эти километры мерил... Где несколько километров ходу, где боле тридцати. Чик-Атаман

в снегу уж, поди, под ним в снегу стоят. Дежурят у костерков. Чай варят, скот смотрят. Утром — ломать лагерь, седлаться — погнались. Как-то дойдем?..

— А сверху б глянуть, — представлял Милосердов. — Вот спутник от нас видно, когда запускают, с него видать можно, конечно. Ночь, понял, темно — и только костры наши цепочкой до Бийска, — он головой даже закрутил от впечатления. — Это сколько же... — стал считать: — восемь связок ушло, по три гурта, первые три — по четыре пошли, это... двадцать семь костров.

— Да косари от Тюнгурса и дальше, — прибавил Третьяк. — Да колхозный, цыгане пасут...

Чифир уменьшил притупленность чувств. Следы дня давали знать себя все сильнее; Сиверин старался не шевелиться. Колька заварил вторяк. Он без надобности поправил на шее монету в пять монго, где всадник с арканом скакал за солнцем.

— Коня ничо ты сделал, — подпустил он сдержанное мужски-лестное уважение.

— Эх, мучений-то сколько. — сказал Третьяк. — Ну, теперь он тебя признал.

— Монгол, — рассудил Милосердов. — Ты его по Уймону не жалей. Нам — дойти только. А там все одно — на мясокомбинат.

— Что — на мясокомбинат? — не понял Сиверин.

— На тушенку, — с каким-то весельем предвкусил Третьяк.

— Чего это?

— Так монгол же, — объяснил Милосердов. Они нам что поставляют — это мы по фактурам на комбинат сдаем. На тушенку пойдет.

— Своим ходом, — добавил Третьяк.

— Так что отыграется ему твоя шкура, — посмеялись.

— Так он чо, не в табун пойдет? — все пытался уразуметь Сиверин.

— Нет конечно. В табуне скотоимпортские. А это — монгол, по фактуре принят. Да чо те, — все равно только дойти. На-ка, хватани!..

Сиверин ощутил, как он устал. «Раскатись оно все...»

— Устал ты сегодня, — ласково сказал Третьяк. — Пошли отдыхать, ребятки.

Лежа рядом на кочме под одеялом, закурили перед сном. В затычках выделялись красновато лица и низкий тент.

— А-ахх... — поворочался Третьяк. — Ты не жалеешь...

— Да я такого зверя в рот и уши, — сказал Милосердов. — Может, Юрка-конюх вместо него другого сдаст, похуже, — предположил, помолчав.

— Может, — согласился Третьяк. — Клеймо только...

— Кто смотрит? Переклеймит... Да он с Яшкой грызться будет, — не станет.

— Это точно... Яшка у него табун держит.

Все отходило, тасовалось... «сам убью...» — поплыло неотчетливо... Сиверин понял, что засыпает, загасил окурок сбоку кочмы о землю и натянул одеяло на голову.

КОЛЕЧКО

1

— А и глаз на их семью радовался. И вежливые-то, обходительные: криков-ссор никогда, всё ладом — просто редкость...

И всё — вместе только. В отпуск хоть: поодиночке ни-ни, не водилось; только всё вместе. И почтительно так, мирно... загляденье.

Не пил он совсем. Конечно; культурные люди, врачи оба. Тем более он известный доктор был, хирург, к нему многие хотели, если операцию надо. Очень его любили все — простой был, негордый.

...Они еще в институте вместе учились. И уж все годы — такая вот любовь; всё вместе да вместе. На рынок в воскресенье — вместе; дочку в детский сад — вместе. Она с дежурства, значит, усталая, — он уж сам обед сготовит, прибрано все. Или ночью вызовут его — она спать и не думает, ждет. В командировках — звонит каждый день ей: как дела, не волнуйся.

К праздникам ко всем — друг дружке подарки: одно там, другое... а дочка та вовсе ходила как куколка, ясное дело. И уважительная тоже, воспитанная, встретит: «Здравствуйте, как вы себя чувствуете». Крохой еще — а тоже вот; воспитание. А постарше, и в институте: «Не нужно ли чего, не принести ли?..» Радость родителям — такие дети. Какие сами — такую и воспитали.

Услышишь поди, муж где жену бьет, гуляет она от него, дети там хулиганят... или врачи те же лечат плохо... а эти-то — вот они: и даже на душе хорошо. Ей-же слово.

Поживешь — может, плохого в жизни и больше. Как глядеть... А только, подумать, не в зимогорах ведь, — в таких людях главное. Они основа... настоящая...

— Сюсюканье это... смешно даже. Легкомысленность одна... Не обязательно же — попрыгуны, стрекозлы; нет... легкомысленность неглубоких натур: как повернется — к тому душой и прилепятся. Растительная привязанность. Тут не постоянство чувств, тут скорее постоянное отсутствие подлинных чувств. Чеховские душечки. Старосветские помещики...

Он мне вообще никогда не нравился: ни рыба ни мясо. В компании пошутит — поддержит, погрузит — поддержит: сам — ничего. А она... смурная всегда была какая-то. Два раза прошлись, трах-бах!.. женились... Два при-топа три прихлопа...

Не могу объяснить, вроде напраслины... но несерьезно это выглядело, как ах-любовь из плохого кино.

Ну конечно — он фронтовик был, с медалями, — так у нас половина ребят была после фронта. Конечно — четвертый курс, подавал надежды в хирургии, у девочки головка закружилась... много ли такой надо.

Вот друг у него был, Сашка Брянцев — душа парень: веселый, умница... вот бы кому жить да жить... Все опекал его, за собой таскал; тот на все его глазами смотрел.

А в этой — ну что увидеть мог; пустынька фифочка с первого курса. Улыбнулась ему — и взыграло ретивое.

Нет, я лично их тогда не одобряла. Конечно, у каждой свои взгляды, каждому в жизни свое, но я лично для себя не о таком мечтала. Все-таки о настоящей, глубокой любви мы все мечтали...

И промечтались... некоторые... И наказаны за идеализм дурацкий свой. Засекается крючок, дева старая. И хоть бы ребенка родила, пока могла; дура тупая!..

Да все-то достоинство их — в примитивности характера, видно: хвататься за счастье какое подвернулось и держи крепче, и будь доволен; но уважать за это — увольте...

— И по прошествии двадцати пяти лет окончательно явствует, что парнишка-то нас всех обскакал. И ни-чего удивительного: этот с самого начала свое туго знал.

Начиная буквально с того, что поселился с Сашкой Брянцевым. Брянцев: с кем, кричит, комнату на пару? Этот — тут как тут; набился. Умел влезть. Стал Сашкиным

лучшим другом. Сашка-то везде был центральной фигурой — и этот при нем. В любой компании — желанные гости. На практику — Брянцев любого обольстит, завладеет лучшим направлением — и его следом тащит. Конспекты — одни на двоих; причем тут Брянцев не переутруждался. Так тандемом они светилами и были. Но Брянцев-то скорее издавал свет, а этот-то — отражал. Спец по тихой сапе.

Спокоен, упорен, занимался много — это да. Это было. И расчетлив же, клянусь, — на удивление; законченный прагматик, чужд любим порывам.

Грешно говорить, но прикинь-ка. Вот погиб Брянцев, лучший его друг. Единственный даже. Опустим эмоциональную сторону — мы не вчера родились: тут и фронт сказывается, и вообще он эмоциями не перенаделен... не будем драматизировать. А чисто житейски — имеем следующие проблемы. Во-первых (не по значению, а в порядке возникновения), придется вдвое платить за жилье — а денег ох не густо; или пускать кого, малопривлекательно, друзей нет; или перебираться в общежитие, а среди года не дадут, и независимость не та, условий поменьше и для занятий — а долбил он зверски, — и для веселья — хотя на сей счет он не отличался. Во-вторых: через год грядет распределение, а преимущество в выборе предоставляется семейным с детьми до года; да и двадцать пять лет — возраст, жениться все равно когда-нибудь надо.

И выбирается заурядная девочка с первого курса: оптимальное решение. Раз: она его уважает и почитает: он взрослый, способный, умный, подающий надежды, герой-фронтвик, — авторитет в семье обеспечен; его слово — закон. Два: единственная дочь обеспеченных родителей, им подкидывают, в плане материальном он не отяготился, а наоборот. Три: она юна, восемнадцать лет, чиста, достаточно мила, хозяйственна вдобавок: суп в тарелке, девочка в постели, — удовлетворены и потребность в женщине, и тщеславие, и естественное желание нормального быта. Четыре: до распределения они рожают ребенка, и их оставляют в областной больнице. Масса вопросов — одним махом, а?

Пусть я циник, — факты не меняются.

Он идет на место хирурга, и становится дельным хирургом, — по справедливости отдадим должное. Хорошие руки, интуиция; и какая-то демонстративная надежность в характере... У него и научная работа, он и в общественники лезет, и речи толкает, и кандидатскую

кропает, и с любимым-то умеет поладить, и в результате он областной хирург, и на него очереди, и он кандидат, и депутат горсовета, и вообще непоследняя личность. Достать, устроить, — в момент.

Кто удачливей? Гера Журавлев доктор в Москве? В Москве докторов — куда ни плюнь, у Геры гараж в другом конце города, закручен как очумелый. А тут человек — на виду, при верхушке; не-ет, молоток.

И с женьбой — суди: один ребенок — точка; обузы парень никогда не домогался. Тишь, гладь, спокойствие. Не имеет на стороне? чьи гарантии; у таких комар носу не подточит. И кроме — это и вряд ли увязывается с его идеалом хорошей жизни, и только. Благополучная карьера, благополучная личная жизнь. У таких ребят все путем. Реалисты, брат! Рассудочный брак — залог стабильности. Учись! — да поздравляю нас...

4

— А куда ей было деваться? Несчастливая девчонка!.. Грехи наши...

Вот как это бывает в жизни.

Она любила Брянцева. Они решили о женьбе.

Брянцева нашли утром в снегу, с пробитой головой. Послевоенный бандитизм...

Она осталась беременной.

И никто — никто ничего не знал!..

Девчонке восемнадцать лет. Она в помрачении от не-реальности происходящего.

Аборты были запрещены.

Довериться? кому, как? чем поможет: сознаться в тайном, подсудное дело, огласка, позор!.. кошмар... жизни конец.

И ни единый — подозрений не положил. Примечали раз-другой ее с Брянцевым — его с кем ни видели: по нем полфакультета сохло... что особенного.

И воспитания девчонка была. Позор пуще смерти мерещился.

Что делать!..

И ведь на занятия ходить надо! улыбаться, разговаривать, на вопросы отвечать! очереди занимать в столовой!..

Поехать и признаться к родителям? Кто даст отпуск... неважно... С этим — к отцу-матери... доченька единственная... нет; невозможно.

Нет выхода.

Повеситься.

Да и к чему тут жить... Нет страха: в глазах черно. Родители... но сил нет.

Но ребенок... Их ребенок... любовь их, плоть их, маленький... ему бы остаться на земле; ему бы жить.

Ах, должен он жить: смысл единственный, да чего же стоит остальное, в конце концов.

И — долг перед любимым: есть долг перед любимым; что тут от подлинного ощущения его и осознания идет, что надуманно, на что инстинкт жизни подталкивает исподволь — кто разберет, разграничит.

Бросить институт, уехать, устроиться на работу, родить...

Куда? Как? На какие деньги?..

Девочка только из-под родительского крыла... Едва в начале — жизнь рухнула. Растить сироту... Одной. Одной.

...Так и возникает дикое для первого восприятия собственных чувств, и укрепляется во спасение: выйти замуж. Избежать позора, ребенок в семье, устройство всего... Обыкновенное, по сути, решение. Да рассуждать легко...

За кого?.. Ох, не все ли равно! То есть говорится только — не все ли равно, хотя в таком состоянии верно может быть не только все равно, но даже чем хуже, тем лучше: горе по горло — так пусть все под откос, и в мученичестве удовлетворения ищешь. Но каждый выбор понуждает к последующему: решил жить — решай как, далее — конкретней...

Мысль о друге Брянцева была естественной. Он оставался частью его мира, и через это представлялся не совсем чужим.

Стать женой друга — меньший ли грех перед любимым, ближе к нему ведь; или больший — ведь к другу ревновал бы большей...

И попросту: сдержанный, одинокий, не красавец, не юнец... он подходил...

...Ну, трудно ли молодой симпатичной девушке завлечь и женить на себе заучившегося обычного мужика, не избалованного женщинами и их, в общем, не знающего. Главное — каких мук, какого напряжения ей стоило играть эту влюбленность в него, внутри мертвея от отчаяния и тоски. Сколько же сил душевных понадобилось! И откуда берутся у таких девчонок, — а ведь у них именно и берутся.

И — торопиться приходилось, быстро делать, быстро! Беременность шла; не приведи бог заподозрит, догадается.

Тоже сердце рвет: знать ребенку, кто отец его, любимый, не доживший! или пусть во всем счастливый живет, при живом отце... Любя по-настоящему, им счастья желая, как бы и сам Брянцев рассудил...

Другое: открой, что беременна — разбежался он чужую заботу покрывать. С чем подойти, «женись как друг»?.. Слово вылетит: скоро молва... И женится — где зарок, что не попрекнет в тяжелый час, не будет собственную душу грызть и на тебе срывать... Все люди.

Нет, по всему выходило скрывать.

Не девушкой — что ж... дело такое. Ничего. А остальное — он, тихоня, до нее, может, и вообще мужчиной-то не был. Может, и не снилась ему такая.

Совершились ее намерения наилучшим образом. За нос такого провести нетрудно: приласкай — и верти им, любому слову поверит.

Она стала хорошей женой. Лучшей желать нельзя.

Потому и угождала, что дорожила положением своим?

Какую твердость, какую волю надо иметь, чтоб с такой тайной жизнь прожить. Не выдать себя, не обмолвиться.

Нет; всю жизнь не пропритворяешься. Привычка. Роль становится натурой: бывшее так отойдет, и не поймешь: приснилось ли... Привязалась постепенно; были и радости, и счастье, и всякое; жизнь была.

Он оказался хорошим человеком, хорошим мужем: она не ошиблась.

Брак обошелся ей в жестокую цену; она стремилась к нему более всего на свете; та боль скрепляла его.

А вынужденность его не могла хоть сколько-то не тяготить.

Но был еще единственный ребенок и его счастье.

5

— Женщины... смейся и плачь. Вообрази: он все знал. Знал он!

И отдавал отчет в жути ее положения.

Что он должен был делать? Оставаться безучастным? Поддержать, утешить, — чем мог? не те дела: как поможешь...

Аборт ей сделать на себя взять? Криминал, риск, судьбу на карту... а вдруг неудача, последствия, дознаются...

Она пошла бы ли еще на это. Восемнадцать лет, все в первый раз, жгучая гордость, трепет перед оглаской... понимал: ей и на признание не решиться.

Она здорово держалась! Как понять: самообладание? Или, очень вероятно, то запредельное состояние изнеможения, когда махнешь на все: «Будь что будет», опущены руки, неси течение к неминуемой развязке, истрачены вера и воля, и существу враждебны мучительные усилия к спасению, противоречащему всеподчинившейся логике событий: блаженный наркоз засыпающего на морозе. Опасно затрагивать человека в подобном пассивном смирении с пока неопределенно отодвинутой гибелью. Его оцепенение чувств — неверное равновесие подтаивающей лавины. Легчайшее прикосновение извне может послужить к катастрофе. Как отточить интуицию до ювелирной чуткости... Оскорбишь своим знанием: а она головой отрицательно замотает в ужасе — и после покончит с собой. И все благие намерения.

И тут она явно ищет с ним сближения. Встреча, вторая. Взгляды, интонации, позы, весь этот женский бедный арсенал...

Он не дурак был, трезвая голова, на свой счет не обольщался. Все понял. Понял, и согласился про себя, что для нее это выход и спасение. Так... Это максимум и одновременно едва ли не единственное, чем может он реально ей помочь.

Тут надо немало души. У него достало.

...Он не показал ей, что знает: ни тогда, ни позже. Зачем. Истинное благородство — выше показа.

Вообще собственное благородство вдохновляет к идеализации мотивов. Ну: на одной чаше весов — возможно, жизнь невесты друга и их ребенка; на другой — что, собственно? одиночество — не постыло ли... развестись всегда можно; алименты? ерунда... Чужой ребенок? никто не знает, зато знает он: самолюбие спокойно — уже полдела.

Вначале скрыл — щадя ее и боясь оттолкнуть. Жертвы она могла не принять. Приняв — тяготилась бы обязанностью, благодарность по долгу — рождает подсознательную жажду раскрепощения, неприязнь.

А позже — обнаружили свои прелести и преимущества. Как жена полностью устраивала. Семья — куда лучше. Дочка славная растёт; а больше детей-то не было, может у него своих и не могло быть. Признайся — простит ли унижение, не потеряешь ли ребенка, которого привык считать своим и любишь, к чему все приведет... Нет, если устраивающее тебя положение стабилизировано — не следует нарушать его чем бы то ни было.

Не покинет краешком и лестная надежда, что и сам не так плох — почему самого и вправду полюбить нельзя; хоть разуму известно — да слова, да чувства, да ночи, да тщеславие мужское неистребимое...

Вдобавок тайное знание вселяет силу и власть. Хранишь последним оружием: в таких соображениях и лучший не волен, пусть даже совесть не позволит и в крайнем случае использовать. Отсюда — дополнительная выдержка, снисходительное достоинство вооруженного к слабому.

Разнообразны благие намерения, по которым мы скрываем от ближних знания о них. Тактичность, жалость, любовь, расчет, великодушие и душевный комфорт... Разве всегда один супруг жаждет знать все о другом? А зная — жаждет выложить? Или зная, что другой знает нечто о нем — жаждет услышать? Несказанное — неузаконено к существованию, отчасти и не существует. Мало ли некасаемых семейных мин тикают механизмами к забвению.

6

— Фьюить-тю!.. Не укладывается в толк. Ну... ё-моё! Чего я сейчас не могу понять — почему раньше это никому не пришло в голову. «Кому это выгодно?» Но кто б, непосвященный, свел воедино...

Конечно. Он любил ее.

Одному ему, другу, Брянцев поведал секретно: беременна, теперь жениться; в тот же вечер. А он, знакомый издали, он полюбил — да тут Брянцев рядом... все предпочтения, она влюбилась; не суйся. И Брянцев (не трепач отнюдь), эдакий симпатяга, живая душа, с ним и делился заветным: как целовались... как женщиной ее сделал. Та еще пыточка. Молчал: крепок был, да невольно поведением зависишь от сильного. Молчал — до обморочной ревности, стиснутые зубы немели, небось,

воображение рвалось как киноплёнка на словах обнаженных, сокровенном полусшепоте, в темноте, под последнюю папироску, как это бывает.

Планы безумные перебирал. Надеялся еще на что-то? Женитьбой — на искорку ему дунуло. Конец. И одновременно: случись что с Брянцевым — каюк ей, беспомощность: шаткий момент, единственный шанс. Простая логика, и холодок от нее. Все продумал, все рассчитал, все учел. Семь раз отмерил...

И на следующий день как раз стипендия. С ребятами немного выпили в общежитии и пошли домой. Пришли, Брянцев говорит, посидев: пойду к ней схожу, не так поздно еще. (Она с подругой комнату снимала.) Он — пошли, говорит, вместе в гости. Пожалуйста. Случай подставляется: он сам предлогов искал вечером вдвоем прогуляться из дому; да тут еще снег сыплет. И специально пальто на вешалке в коридоре оставил, и шапку, только куртку и фуражку старую надел. Тепло, машет, закаляюсь. А март, и снежок.

Только вышли — погоди, говорит, папиросы забыл. Быстро вернулся, включил настольную лампу (окно на другую сторону, не видно, но верхний зажечь — по отсвету заметить можно), чтоб в коридор через щель дверную пробивалось, и комнату не замкнул, ключ изнутри оставил. Будто он дома — для хозяйки, предусматривая алиби.

И сунул в куртку, рука в кармане, припасенный обрезок стального стержня.

На улице сугробы, темно, пусто. И перед углом, где у высокого забора намело, тропка узкая в снегу, Брянцев первый шел — он его по темени и хряскнул. Тот осесть — еще раз! Шапку сорвал — и упавшего еще два раза, наверняка. Отвалил его к забору, снег ногой закидал, и стержень в снег. (Голой рукой не брал, без отпечатков, в газету завернул, и руки в перчатках). Ходом обратно. Газету скомкал — в уборную. Порошило — отряхнулся. Минуты три прошло, не дольше. Повстречается хозяйка или спросит — в уборную скажет выскакивал.

При расследовании прошел чисто. Никаких причин, ссор, выгоды. Видел последний, подтвердил. Из дому не выходил. Хозяйка подтвердила. Никаких улик и подозрений. Нервами он будь-будь обладал. Да что и в лице — друг все-таки, некоторые переживания уместны.

...Сошелся его расчет. В точности и тоньше. Девка очутилась при гробовом интересе. А он норовил попадаться на глаза — хотя и остерегаясь. Пусть было ей уж куда не до дедуктивных выкладок — но ее-то и могла озарить истина, зарвись он увлечению. Кто б ей поверил, нет улк... все равно выдать себя недопустимо.

Предусмотренный вариант: знает от Брянцева, предлагает для выручки фиктивный брак. А там — тихой сапой обрабатывать. Семья, отец ребенку, опора, благодарность... Вероятно, получилось бы. Такие берут не мытьем, так катаньем.

Сложилось же для его желаний намного удачнее. Действительно, когда решаешься твердо любой ценой — судьба поворачивает навстречу.

Жестокое испытание обнаружилось, главная трудность. Любил — сильнеей законов божеских и людских. Подушку грыз и плакал — двадцатичетырехлетний мужик, который в двадцать старшим лейтенантом был и на фронте ротой командовал. И — прикосновение первое, поцелуй первый, первая ночь. Сознание отрывается. От касаний ее плавился, от наготы слеп.

А волю любви дать не смей! Себя теряй — помни! Поймет — гибель!

Кара и истязание.

Превозмог.

(Ситуация: балансирование на проволоке. И так-то чужая любовь ей тяжка, и догадаться может, — и чтоб уверилась в покое за собственный обман.)

Месяцами; годами. Не скоро бросил беречься, раскрепостился: со временем, мол, полюбил так; и она уже привыкла...

Оттого и любил всю жизнь так сильно, что первый жар не изгорел, калился?..

Ладно в заботливости мог не сдерживаться — на характер, склонный к порядку, спишется: семья — значит заботиться надо.

Но вот сомнение: таким макаром себя давить, лодать, — что хочешь задавить можно. Уже не медовый месяц, не первый годок — столько напряжения по укоренившейся привычке постоянно, что и вправду незаметно для самого любви уже может не оказаться...

Но прожил. С любовью, и с тайной захороненной.

Все же кремень... Кремень.

По сути — изверг, чего там... Убийца, и не просто... Друга — накануне свадьбы. Девушку любил — своей рукой обездолил. Ребенка — осиротил.

Но это — любил!.. Подумать — и жуть оказаться на ее месте... и не одна, наверное, замерла сладко, чтоб ее кто настолько любил...

7

— Нет у меня ощущения свершившейся катастрофы. Странно: естественность и закономерность. Пережил заранее?.. Только не раскаянье. (Глупцы каются. Человек всегда поступает единственно возможным именно для него во всей совокупности данных обстоятельств образом. Кается — из иного положения, и будучи сам иным, изменчив. Кающийся неадекватен совершающему поступок: свидетельство изменения; и свидетельство забывчивости и непонимания человеческой природы, в первую очередь собственной; если есть хорошая память, развитое воображение и честность с собой — сознаешь абсолютную неизбежность прошлого.)

С собой не хитрю. Даже сейчас — я горжусь тем, что сделал: хотел и смог! Самоутверждение?.. Тщеславие перед собой как зрителем?.. О боже — и наедине с собой, силясь быть честным — насколько трудно, если вообще возможно, отделаться от роли, которую играешь перед собой же! Несовпадение личности с идеалом?.. «Оно», «Я», «СверхЯ»... Что надумано? Что истинно? Как отделить одно от другого? и возможно ли?.. Мы формируем себя на основе импульсов, эмоций, которые в свою очередь зависят обратной связью от образа мыслей и убеждений, — где определить сердцевину истины, вождеденную точку верного отсчета? И существует ли она?

По здоровом размышлении я отвечал себе — нет. Нет. Лишь степени приближения к ней. Проще: до конца себя не познаешь, но можно достаточно глубоко.

Почему я не покончил с собой? Незачем. Взвешено, отмечено, отрезано... Подбита черта. Что под ней? Восемь лет заключения и потеря всего в жизни (да хоть бы и самой жизни) — нет, недорогая цена за женитьбу на единственно любимой женщине и четверть века счастливой жизни с ней. Счастье... соответствие всех условий жизни твоим истинным потребностям... Я жаждал — и

получил. Единственное: так ли? Если был счастлив и потерял все — зачем остался жить?..

Вот какая штука — с каждым серьезным поступком меняешься ты, и меняется мир для тебя. Поэтому ты никогда не получаешь именно то, чего добивался. В самом лучшем случае — получаешь близкое (в собственном восприятии, разумеется, а не как нечто объективное). Но поскольку любовь, ценность духовная, субъективна, именно здесь цель менее всего оправдывает средства. Платишь дорого — можешь возненавидеть, или разочароваться добившись; платишь дешево — можешь охладеть... Добиваясь — перестаешь быть собой! Вплоть до парадоксального рассуждения: любить — желание обладания и одновременно желание ей счастья; но счастлив любящий; любовь редко взаимна — разлюби, пусть ломая себя, чтоб легче и вернее добиться любви, — и исполнишь долг любящего: дашь ей счастье любви, причем овладеешь ею; да только, разлюбив, не пошлешь ли все к чертям за ненадобностью?.. Нет; задача не имеет решения.

Но если б только в этом было дело... Если б я мог сейчас с уверенностью сказать себе, что да, любил ее настолько, и отсюда все последующее...

Брянцев был блестящ. Умен, остер, обаятелен, красив. В молодости не понимаешь исключительности ближних. Для юнца знакомая красавица — просто симпатичная девчонка, гений-сосед — просто способный человек, герой — просто не трус. Наживая долгий опыт, сознаешь им цену. Им и себе.

Он был легок. Я никогда не был легок. Может ли быть тяжелый человек счастлив? Почему нет. Но обычно счастливы легкие. Два человека — жизнь их одинакова: один полагает себя счастливым, а второй — несчастным. Претензии мешают? Характер, характер!..

Он был счастлив. Удачлив. Меня воспринимали при нем, не самого по себе. Причем — он меня в такое положение не ставил. Отнюдь — великодушен был, добр; благороден, черт возьми. Да если всем наделен и никакая конкуренция не опасна — чего же не быть благородным. Все равно первый — да еще и благородный. Сильному просто быть добрым, его самолюбие лишь выигрывает. Он от этого еще больше на свету, а ты — в тени. А он и на тебя посветит — его не убудет.

И это — не заслуженно, не горбом, а — облагодетельствован природой. Я занимался ночами — он слыл

корифеем. Я был умнее — он блистал. Я был глубже — он вешал лапшу на уши. И все его любили, — меня же принимали как его друга.

Мог ли я в глубине души не желать ему низведения с высот до надлежащего уровня — ниже моего: и чем ниже, тем лучше!.. Зависть? Зависть. Даже — я желал его гибели. Даже — ненавидел. Несправедливо, несправедливо! ему быть таким, а мне таким! Его дружба мне льстила: я ненавидел и за то, что воспринимаю лестным его благоволение: что же, я ниже его? Почему, за что?

Но — другу — вряд ли я много сильнее желал ему бед, чем любой — ближнему. Редко ли люди, сочувствуя словами и лицом, да и поступками, и переживая искренне — в глубине души испытывают удовлетворение от неудач и несчастий ближнего: тем удачливее и значительнее воспринимают они собственное существование. Инстинкт самоутверждения?.. (Отчего мелькают иногда противоестественные мысли об убийстве самых родных людей? Фрейдизм, мазохизм... убого сознание, глубоки его колодцы.)

Возможно, я просто низкий завистник. Элементарный подлец. Подлец с волей и крепкими нервами. И с фронта с умением убить человека деловито и без истерик. А убил бы я его, не будь на фронте? Трудно ответить. В жизни каждое лыко в строку.

Как искренне он делился своими успехами! Как подкупающе, заразительно полагал, что я тоже должен радоваться его радостям! Откуда этот животный эгоцентризм жизнерадостных людей?

Мы познакомились одновременно, я полюбил — она уже влюбилась в него, конечно... я не подавал виду — я не имел шансов. Я любил — а он рассказывал мне, как продвигаются дела. И я поддакивал поощрительно!

Флюиды, говорят, флюиды... Чушь! Он бы умер на месте от одних моих флюидов — он здравствовал, и все шло ему в руки само. Он таскал девок — я любил один раз. Я становился как стеклянный от звука ее голоса — он с ней спал и передавал мне подробности. Я встречал ее в институте — доверчивая девочка, ясное сияние, — и представлял, что они делают вдвоем, и как делают, ее лицо и тело, и жил отдельно от себя, отмечая со стороны, что это я и я живу.

Да я бы сжег этот институт, весь этот город со всеми обитателями, чтоб ничего этого не было и она любила

меня! Чего мне было бояться? Я воевал, я видел, сколько стоит человеческая жизнь. Жениться на любимой — что, меньше смысла чем взять высоту или держать рубеж?

Я рассчитал правильно. Гарантий не было — но я получал максимальные шансы. Я сделал все что мог.

Но дальше... Убийство из ревности — старо как мир. Смягчающее обстоятельство. Кто не стремится устранить соперника. Во многие времена подобное числилось в порядке вещей. Но если б и сейчас это было в порядке вещей...

Когда я убил его — как-то сместилась система ценностей. Я продолжал ненавидеть его — за то, что она все равно его любила, все равно он был ее первым, все равно она, полуренок, моя любимая, была от него беременна. И — мне было его и ее жаль. И — я чувствовал себя и здесь униженным: он вынудил убить друга в затылок, а сам никогда не поступил бы так! но сам никогда не попал бы и в подобное положение, удачливый красавец! А попал бы? проиграл бы благородно... Но от чего в силах отказаться — того не хотел по-настоящему.

Но вот что — я не торопился в том, ради чего убил, — и не мог объяснить себе причину этой неторопливости. Изменилось что-то, сдвинулось... Я наблюдал за ней — именно наблюдал; я знал один, каково ей, и следил с холодностью и удовлетворением естествоиспытателя, что она предпримет. Злорадство? Месть за оскорбленное чувство? Страх за свою шкуру, боязнь что она догадается? Торможение реакций в результате стресса?..

Так или иначе — женитьба на ней уже не представлялась мне обязательной! Более того — временами мне вовсе не хотелось жениться на этой девчонке, беременной от другого, не любящей меня и в общем не стоящей ни меня, ни всего, что я сделал! Еще более: мне представлялось, как славно, если б они поженились с Брянцевым, и я бы пил на их свадьбе, и у них родился ребенок, и так далее.

Короче — я воспринимал ее как чужую. Не как возделенную, ради обладания которой убил друга. На черта я все заварил, пытал я себя? Что за помрачение на меня сошло, что за сумасшествие? Порой доходило до того, что я мысленно молил Брянцева и ее о прощении.

Неужели я настолько ненавидел Брянцева и завидовал, что не ее любил и ревновал к нему, а его ревновал к еще большему счастью, чем он и так имел? Я отвечал себе: не может этого быть! отвечал без уверенности...

Или — сладко лишь запретное? Удовлетворенное самлюбие успокаивается? Я и сейчас не могу толком разобраться... Однако — что-то сместилось во мне. Или в мире для меня. Или сам я сместился в мире. Что-то сместилось.

Я не допускаю, что перешел в иное качество лишь вследствие убийства. Я пробыл два года в пехоте на передовой — навидался смертей и убивал сам; опуская то уже, что я врач, а здесь и этот профессионализм играет роль.

Возможно, я отчасти ненавидел ее — виновницу убийства мною друга; подсознательно мучился сделанным — и настраивался против нее?..

В любом случае — прежняя любовь исчезла. Я пребывал в неожиданном для себя и диком состоянии; и в дикости обретал какое-то мазохистское удовлетворение.

И тут события приняли наилучший для меня оборот — наилучший для меня бывшего, и совершенно ненужный для меня нынешнего. Она решила все скрыть и выйти за меня замуж.

Я почувствовал себя полновластным хозяином положения. Но и в то же время почувствовал себя жертвой — жертвой собственного воплощенного плана, который теперь диктовал мне мое прошлое, настоящее и будущее; я пытался противиться, бессильный. Теперь уже она вынуждала меня к действию. И неприязнь моя увеличивалась. Презрение! — предает память Брянцева, их любовь! пытается провести, обмануть меня! мелкая душа!..

Жалость, остатки внутренней привязанности, комплекс вины, просто физическое влечение — и отчуждение, брезгливость, злорадство, нежелание взваливать обузу, — я колебался. Себя я расценивал как отъявленного негодяя — не без известного удовольствия: но к ней относился свысока! Я переступил предел — происходящее словно отделилось стенкой аквариума. В редкие моменты эта стенка преодолевалась жалостью — когда отмечал подавляемое дрожание ее губ, удержанные на глазах слезы; но проходило быстро — я был трезв. (Или, если играть словами — напротив, пьян до остекленения?)

Я стал рассеян; это приписывали гибели Брянцева. Однажды, когда я, очнувшись, ответил невпопад, был вопрос: «Ты что? Влюбился, что ли?» Сжавшись от укола, я механически отыграл: «Да». Пустяк — но я не мог отделаться от впечатления, что это явилось той точечкой, которая все завершила; перевесившей каплей...

Нет; главное — я знал, что такое настоящая усталость: она ложится на нервы, и делаешься безразличным к самому-рассамому желанному. Надо пересилить себя — и выполнять намеченное. Это как второе дыхание. Желания возвращаются вместе с отдыхом и приведением к норме нервов из перенапряжения. Отказаться в состоянии изнеможения от раз решенного (изнеможение еще надо уметь определить, обычно самому оно представляется успокоением и трезвостью), когда чувства и разум услужливо доказывают нерациональность дальнейшей борьбы и никчемность результатов — это, собственно, и есть малодушие. Умение достигать — скорее не умение добиваться желаемого, а умение заставлять себя добиваться представляющегося ненужным, но задуманного когда-то; а иначе серьезные дела и не делаются.

Начавши кончай. Иначе для меня все теряло смысл. Это был долг перед собой уже. Больше: это было как заполнение пустого места, причем приготовленного, специально освобожденного, так сказать, места в собственной сущности. Трудно выразить, сформулировать — но так требовалось самим моим существованием.

Фактически я руководствовался чисто рассудочными доводами. Явился вывод и убеждение: я должен поступить так.

Я женился на ней.

Я женился на ней — ну, так обрел ли я желаемое?.. Еще и потому на работе за все хватался: меня никогда не тянуло домой. «Жил работой!..» На работе я был сам собой, и вроде действительно неплохой хирург, и вот это терять действительно жаль: здесь все ясно, просто и по-человечески.

Дома... Забота, внимание... Если б она меня любила!.. все бы могло быть иначе... Но она тоже скрывала — свое. Она любила его. А в чем-то — ты победитель, Брянцев, чтоб ты сторел, и чтоб я сторел, и ничего тут не поделаешь. Здесь ты сильнее. Высшая справедливость?..

Но если б она меня любила... Тогда бы, быть может, и я мог бы ее полюбить... Трудная порода — однолюбы... Она — тебя. Я — ее, ту, до всего. Оба, как говорится, сразу выложили все отпущенные нам на жизнь запасы любви.

Я хотел любить ее. Да понимал, ощущал, что стоит за ее безупречным поведением. Мы обрекли себя оба, и

каждый тайно от другого, не признавать льда между нами — двойной преграды, а растопить ее можно только с двух сторон. Вот — примерная семейная жизнь. Что не жить? любви ни к кому, друг другу подходим, накрепко повязаны, — и маска делается лицом... если бы! И лицо-то забылось, да не все в душе на заказ переделаешь. Можешь торжествовать из могилы, Брянцев — она тебе верна, она тебя любит, я проиграл... чего еще?

Но как глупо и невероятно вышел конец. Как глупо!.. буквально чудится какая-то непреложность, но ведь ерунда это все, я не мистик, не неврастеник, не верю в рок... глупо... Ты достал меня...

В вашу первую ночь она подарила тебе колечко — серебряное недорогое колечко. Ты показал его мне. Ты носил его в часовом кармашке.

Тем вечером я помнил о нем. Не следовало, чтоб его нашли на тебе — могли запросто докопаться до нее, — я его выгащил. Кинуть в снег? Скоро стает, вдруг найдут, — чепуха!! — но... В уборную? Зима, все замерзло, будет лежать, а если кто приметит... черт его знает... В щель пола сунуть? в комнате не было щелей, ковырять — еще обратят внимание на свежую. И, глупость, психопатия, но — слеп, безумен, любил тогда, — где-то и сохранить хотелось. Так, говорят, и сыплются на мелочах. Не предусмотрел я заранее, значения не придал — а после уж в мандраже был некотором, естественно, да и домой поживее вернуться требовалось. Отжал я ножом стальной уголок своего чемодана, забил его туда, и бумажки вслед забил, и некуда было ему деваться, никаких случайностей, а специально — в голову никому не придет.

...Дочку я любил, очень. Она очень похожа на мать... Она ничего не скрывала. Ничего не знала. Она любила меня. И я — единственную ее любил. Кого мне еще было любить. Наверно, любил в ней и ее мать, которую любить не мог... Не любил ли я и тебя в ней, Брянцев?.. Не любил ли и свою жертву? разве не любят жертв... какой-то извращенной, но сильной любовью...

Она вошла в комнату, и я увидел на ее руке это колечко.

Под моим взглядом она невольно отдернула руку. Потом растерянно показала:

«Колечко...»

Я обернулся: глаза жены расширились: ужас истины пустил стремительный росток.

Потемнение опустилось на меня.

Как будто это она — нашла свое колечко, и теперь ее ничего здесь не держит, все было заблуждением, опечаткой, сном, она опять молода и сейчас уйдет, все по правилам. Я взглянул на жену, постаревшую, словно прошедшие годы и грехи разом прочитались на ее лице, и понял, что эта моя жизнь — ошибка, я не на той женился, а надо жениться на дочери. И логически подумал, что могу это сделать, так как она мне, во-первых, не дочь, а во-вторых, меня любит. А следом подумал, что раз она нашла колечко, то теперь она уже не выйдет за меня замуж, и я теряю ее навсегда. И значит все, что я делал, было напрасно, и вся жизнь была напрасна... Очевидно, выражение моего лица вызвало у жены крик, и этот крик превратил догадку и озарение в свершившийся факт.

И все сразу, вдруг, стало до жути и абсолютно ясно.

Дочь ничего не понимала. Она стояла — уже вне моей жизни. «Уйди!» — кощунственно закричал я, и она отступила испуганно, она а не жена! повернулась и быстро вышла. Я ждал в отчаянии, что она подойдет вопреки сказанному и обнимет меня, и все будет хорошо, но она всердцах, хлопнув, закрыла дверь, и я увидел в окно, как она вышла из подъезда и прошла по дорожке мимо кустов, и идет к углу, и когда она свернула за угол я понял, что все кончено.

Ощущение... прибегая к сравнениям — будто поезд пошел не по той стрелке, а все осталось там, на развилке. Я люблю дочь?... иначе чем раньше... не совсем как дочь... уж очень сильно похожа. Из жены же — теперь вынута для меня и та немногая суть, которая была. Смысла не осталось.

8

— «Хватило мужества... Жив человек в нем...» Походит даже на истину — мог ведь избежать, наверное... Жена догадалась? Э, выкрутился бы: нервы, устал, тоссе... мало ли чего напелсти можно, разуверить человека в том, чего он и сам не желает: мало ли безумных ложных откровений подчас в мозгу выстреливает.

Нет же — попер в милицию! Совесть заела? душа груза не вынесла, потребность возникла страданием искупить? вот уж вряд ли... не тот человек!

Рассудить: чего добился? Жене — за что еще такое страдание, мало ли намучилась в жизни — от него же. Дочь — уж ни в чем не виновата, ради нее хоть прежнее сохранить стоило. Больница, область лишилась хорошего хирурга, еще не одну жизнь спас бы, много добра принес. А вера в людей, наконец? эдак каждого черт-те в чем подозревать начнешь.

Планида такая? по истине своей поступил? так что угодно оправдаешь, удобный взгляд. Избавляться подобной ценой, за счет других, от собственного душевного дискомфорта — тот же суперэгоизм. Никто так не беспощаден, не причиняет столько зла, как стремящиеся превыше всего к приведению жизни в соответствие с некоей истиной и ставящие эту истину выше конкретного блага конкретных людей. Нет добра в такой честности. Мертвого не воротишь — так искупи хоть посильным добром.

Нет, братец: взвалил — так уж тащи до конца. Ишь ушлый: он о душе задумался, а другие по его милости страдай заново.

Одно ясно: такому — лишь свое желание в закон.

Самолюбие вознеслось, гордыня обуяла — снова презреть судьбу, поступить наперекор? Надоело все, ненужным стало — так уйди тихо, по-человечески, не руша жизни близким, — ну найди способ. Или — считал сделанное своеобразным подвигом, главным в своей жизни — и свербило где-то, чтоб все узнали? ахнули, оценили решимость!.. — типичная горделивость преступника.

И получается, что такое признание — продолжение и повторение преступления; нет оправдания жестокости — по сути бесцельной.

А вероятнее — все проще, по-шкурному: боялся, что жена все равно сообщит — а за явку с повинной смягчат ему, учтут.

9

— Человек любит надеяться, что самое тяжелое — позади... Трудно сказать, что хуже: остаться без настоящего, или остаться без прошлого. Но мне — мне суждено было потерять прошлое и настоящее разом.

Господи, разве я не хотела, не пыталась полюбить его? Но он такой был... добропорядочный и мелкий, без изюминки и изъяна... весь от и до. Внушала себе чувст-

во — тем вернее не могла действительно чувствовать... Лучше б пил, бил!.. ах, тоже — лишь кажется...

Теперь... я должна ненавидеть — и не чувствую ненависти...

Брянцев, Брянцев... ох... так же далеко, как та, семнадцатилетняя — я... Теперь я понимаю спокойно, никогда не было уверенности у меня, что он женится. Нет, не мне одной он обещал... не мне одной...

Если он действительно любил меня... Тогда он должен был бы быть рад, что жизнь моя шла счастливо. Счастливо?! Но поглядеть на других... Господи, прости мне мои кошунственные мысли.

Разве он не положил свою жизнь ради меня? Кто из них положил свою жизнь ради меня?.. Все спуталось...

Он сделал это из-за меня! И узнав... это отталкивает, пугает... и притягивает меня в нем.

Он не понял... лучше б сказал, что все знает и женится из жалости!.. я могла бы полюбить... Сказать самой! но дочь так любила его; и он ее... я жалела...

Его слова... отрекался, прощался... не любовь ли подталкивала к решению? Отчаявшийся, опустошенный — не пытался ли в глубине души последним средством, фактически самоубийством, отказываясь от обладания — обрести мою любовь? Если так... Нас связывает большее, чем просто двадцать пять лет, прожитые вместе. Он всей жизнью пророс в меня насквозь, — сейчас, когда его нет, по боли я ощутила это. Я должна проклясть!.. но мужчины поступали так испокон века... кому хватало мужества... Я ищу оправданий — как соучастница...

Можно любить преступника — не ничтожество. Я сопротивлялась признаться себе... Я прожила жизнь с ним, моим любимым. И сейчас, полюбив, — должна потерять. Дочь... Единственное, в чем я уверена, что знаю определенно; она, она есть у меня. Опять; отказаться от любимого — ради дочери... любимой моей дочери, которую я боюсь возненавидеть.

10

— Нет правды выше верности. Чем еще сохранить себя самое среди всеразьедающих сомнений. Кем бы ни оказался человек — был один кров и хлеб. Но тот, кто убил твоего отца... тот, кто сам был отцом — которого любила, которым гордилась...

Прислушайся к голосу крови: судить мать?.. где право! Но вся его жизнь — следствие любви! вся ее жизнь — следствие предательства! Каждый платит. А я? «за грехи отцов»... Когда любишь — ищешь свою вину. Я бы хотела, чтоб его не существовало вообще! и хочу принять и на себя ту тяжесть, что на нем. Я чувствую себя виноватой — в чем?.. Разве можно разлюбить самых родных людей — что бы ни обнаружилось на их совести: они постигнуты не знанием — нутром; они те же для тебя!

И все-таки... стена, пролегла стена... за этой стеной они... он — преступный... жалость к нему? уважение? боль... он ближе мне чем-то, чем она. Она — единственный родной человек, он — должен стать чужим! но в душе они смещаются с предназначенных разумом мест: он — ближе, она — дальше.

От чего бы ты не отрекался — ты отрекаешься от себя. Но невозможно обрести себя, отрекаясь вторично. Мера верности — поступок, а не время. Он остался верен: она не должна жить с тем, кого знает как убийцу любимого; она не должна остаться с его безнаказанностью. Она! которая стыдилась родить меня без формальностей — от любимого! «незаконнорожденная...» не упомянула мне об отце! Пусть же хоть сейчас сумеет быть верной; она должна ждать его, она должна остаться с ним. Не только ради него — ради себя; иначе что же от нее останется.

Мне трудно жить с ней, даже видеть... Я уеду отсюда... выйду замуж, стану ей помогать... Мы никогда больше не сможем быть втроем, это невозможно... Но с ней я не буду — ради него? скорее, может, ради нее же.

11

— Меньше всего руководствовался я снисхождением, «гуманизмом». Будь моя воля — не жить ему. Это как человек. А как судья — что ж, закон. Рассуждая логически, житейски, не следовало ли бы вообще его не наказывать? Исправляться ему — некуда, так сказать. Исходи наш закон из десяти- или двадцатилетнего срока ненаказуемости за давностью — так и случилось бы. Справедливо?

Конечно — повинная... Заяви хоть жена — суд не имел бы ни единой улики; хозяйка та умерла, дом снесен... абсолютно недоказуемо.

«Фактически — всей остальной жизнью своей он искупал совершенное преступление, являя и своим трудом, и своим поведением без преувеличения сказать пример для любого члена общества...»

Именно — здесь заковька. Так у людей может составить представление, что нет разницы между преступником и порядочным человеком. Убил — и живи дальше на благо ближних и собственное. Подрывается вера в целесообразность закона?.. гораздо хуже, закон — лишь отражение необходимости жизни; подрывается вера в необходимость быть человеком.

Но — с колечком, а!.. Конечно — он избавился от него на следующий же день. Такие делал один кустарь-ремесленник, старичок и сейчас жив, промышляет помаленьку. И дочь их — просто купила похожее! он его и увидел.

НЕБО НАД ГОЛОВОЙ

Когда дело подходит к тридцати пяти, усилия — чтоб сохранить форму — начинают напоминать режим олимпийского чемпиона. Но поскольку вам за это не платят — раз вы не актриса и не манекенщица (и вам нужно работать, растить двоих детей и содержать дом в порядке) — стремление оставаться красивой женщиной приобретает ту подлинную глубину, искусственную замену которой спортсмены находят в условностях рекордов. Однако своеобразное бескорыстие вашего желанья имеет последствиями результаты, ощутимые чисто конкретно. Вы не ревнуете своего мужа; напротив — он ревнует вас, — в той мере, в какой это необходимо, — если вы не дура. В парикмахерской вам, не исключено, сделают именно такую прическу, какую вы хотите — при условии, что парикмахер мужчина, разумеется. В часы пик мужчины хоть иногда помогают вам сесть в автобус, а начальство (опять же, конечно, мужчины) не слшшком вам хамит — другим больше, во всяком случае. Дочки (а старшей ведь уже четырнадцать) обожают вас и стараются подражать, что совсем не плохо в наши времена, когда... где же крышка? ага, вот она; так. Тря-ля-ляля пу-рум...

Н-да, «наши времена», «ваши времена»: стареем, ма-тушка, стареем. Забавно: и не то что не хочется (кому ж хочется), и не то что грустно, — а вот не понять до конца. Осознаешь себя точно так же, как в двадцать пять, и как в восемнадцать, и как в детстве, насколько я в состоянии помнить свое детство: ты — это ты, умная, хорошая, все понимающая, грешная иногда; а окружающий мир — ты понимаешь его, и он таков, каким ты его понимаешь; меняется понимание — меняется окружающий мир, но он все равно тебе понятен, и осознание системы этой — «ты — мир» — в принципе неизменно, и все странное и скверное случится не с тобой, хотя ты стареешь и знаешь прекрасно, что именно с тобой-то все и приключится, порой уверен —

и спокоен — приобретаешь мужество? теряешь остроту чувств? привычка, привычка к тому, о чем когда-то думал с ужасом; а вот внутренне до конца не осознаешь. Появляются морщины, болезни — сначала пугаешься и грустишь, потом — что ж, живут же люди, и ничего, ты еще не хуже всех; но иногда пронзит вдруг на короткое мгновение, что — всё! это жизнь проходит! не будет иначе! и мертвящая тоска оледенит, и финишная ленточка ближе, ближе, а цвета-то она, сволочь, черного...

ТЬфу, черт...

А пока — пусть глупо — чувствуешь себя девочкой. (Старушка в трамвае как-то обращается к двум подружкам своего возраста: «Выходим, девочки.» Я ощутила, как у меня щеки побледнели.) Ладно, с моей внешностью еще можно; на вид мне от силы тридцать — при ярком солнце, — а в тридцать у нас все «девушки» и «молодые люди»; весьма мило. И не то беда, что тридцатилетних мужиков воспринимают как мальчиков, а то, что они и сами себе часто мальчиками кажутся; анекдот получается: семнадцатилетние считают себя самостоятельными и всё могущими, а тридцатилетние — уже не считают. Но женщин подобное положение вещей, пожалуй, вполне бы устраивало — ан, когда дело доходит до дела, вдруг вспоминают, что «девушка»-то — начинающая стареть женщина, у которой и то уже чуть-чуть не так, и это слегка не эдак.

В семнадцать я полагала, что предел молодости — до двадцати одного. В двадцать один — до двадцати пяти. И так далее. Сейчас я хочу держаться до пятидесяти. Почему нет? Джина Лоллобриджида в микробикини на фотографии, где ей сорок четыре, выглядит... о ч-черт, опять лук подгорел! ф-ф, горячо! так, есть пятно...

«...Прости, что не поздравил тебя с семнадцатилетием...»

Тр-реклятый шпингалет! Чаду полно. Сюда бы и сунуть Лоллобриджида в ее купальнике. Последишь за собой четыре часа в день, как же. За тобой последят.

Ну конечно, колготки готовы. И ведь хотела снять, так нет. Гадский стол, в который раз из-за него. Все, с полочки достаем новый, а этот — на помойку, дешевле обойдется. Ей-богу выкину.

Приятно позволять себе такие пустяки. Сейчас на наши с Сенькой зарплаты, ну, плюс крошки халтуры, жить можно, чего там. Денег, правда, все равно никогда нет, но это уже закон природы; зато есть то, что за эти деньги

можно купить: не то чтобы совсем все, но в пределах ушибленного скромностью разума.

Когда поженились-то мы с Сенькой на третьем курсе — ревела потихоньку из-за рваных капронов. Он принесет — так знала отлично, что на себе экономит, паршивец. Ладно, говорит, должен же я способствовать приличному виду хотя бы одной красивой женщины. О-ля-ля... Красивой, красивой... Была, вроде. Ах, мои сладкие, на одной красоте, это уж само собой, не только далеко не уедешь, но и вообще разобьешься вдребезги, так, что костей не соберешь. Дадут тебе зеленый свет, а там — бац! шлагбаум. Не в красоте счастье, все давно знают, да только выводов не делают из того, что знают, так уж повелось, и примеров кругом — сколько угодно. Но если вы не дура и не сволочь... — хотя преуспевают, естественно, красивые недурь сволочи... Хм, таков мир. Впрочем, и я, вроде бы — тьфу-тьфу — преуспеваю. Тоже сволочь? Нет, кажется.

Да и преуспеяние — тоже... Горбом тянешь, гори оно все! И на работу давка, и с работы — давка, и в очередях — давка, и директор — паразит, а не поддакнешь ему — выживет, и готовки эти обедов осточертели, и друзья эти Сенечкины вечно в доме топчутся, а мне убирай, Сенька рубашки и носки

«Не думай, я ни на что не надеюсь. Просто я счастлив, что где-то, очень далеко от меня, есть ты на свете.»

желает менять ежедневно — стирай, и давление мое проклятое, Ирка вечно капризничает, Танька хамит — четырнадцать, милый возраст, а Сенька раскатывает по командировкам, и остается только надеяться, что сей образцовый муж мне не изменяет.

Черта с два женился бы на мне Сенька, не будь я в девятнадцать такой, какой была.

Когда девушка взрослеет и входит во вкус своего положения, ей совершенно необходимо, чтобы мужики кругом складывались в штабеля. Она просто-таки все силы к этому прикладывает. А после начинает выбирать среди тех, кто остался стоять, при этом глядя в другую сторону. Не надо бы хорошим мужикам быть дураками, пусть даже так им на роду написано. Хотя, если уж человек теряет голову, то не все ли равно, много в ней чего было или вообще ничего нет.

Сеньку я отбила у Лерки Станкевич, и очень быстро. Лерочка его доводила сценами ревности, а я всячески

ему советовала на ней жениться. Сама я изображала пламенную влюбленность в Муратова, и, когда мы с Сенькой познакомились покороче, сделала его поверенным своих «тайн». Тянуло Сеньку ко мне не больше, чем к любой другой смазливой девчонке; сделав пробный заход и решив, что здесь ему все равно не отколетса, он пустился со мной в откровенности. Мужчина находит порой наслаждение в откровенности с неглупой приятельницей, к которой его влечет и спать с которой он не надеется; а Сеньке только минуло двадцать.

Дошло, однако, до того, что я готовилась уверовать в дружбу между мужчиной и женщиной, когда б не тихая Сенькина ненависть к Муратову. О третьи лишние! — все счастливо влюбленные по чести должны соорудить вам благодарственный памятник, вроде как собаке Павлова.

Ну, а потом произошло то, что в конце концов должно было произойти, и все встало на свои места.

«Ты снилась мне сегодня. Это было счастье для меня. Я не могу написать все — ты оскорбишься. Но я ведь не виноват. Я никогда не был так счастлив. И знаю, что никогда этого не будет в жизни, отлично знаю. Не сердись. Мне все-таки трудно без тебя.»

На следующий день выглядел он спокойным, и уж конечно слегка небрежным, самодовольным и очень уверенным — пока, встретившись вечером, я не объявила ему, что случившееся — ужасная ошибка, прихоть настроения, и впредь я намерена хранить верность Муратову, коего и люблю.

Люди устроены настолько примитивно — тоскливо подчас становится. Два дня Сенька ходил бледный и садился не в свои автобусы. На третий он превозносил как чудо то, что и следовало превозносить впредь, и больше носа не задирал, смертельно боясь меня потерять.

Год он приставал с просьбами о женитьбе. У мужчин загорится — будто на шиле сидят. Как пить дать не дожждаться б мне Сенькиного предложения, знай он, сколько я мечтала выйти за него замуж. Но через год в этом возникла необходимость, и мы устроили свадьбу. Славный Муратов никак не мог взять в толк, почему его не пригласили, и страшно обиделся.

Дворец бракосочетания — это, конечно, кошмар, но невесте так никогда не кажется; в белом платье и фате я ощущала себя совершенно нереально. Больше всего

я боялась, как бы в новых туфлях не поскользнуться на лестнице. И путались ленты, привязанные к букету. Единственный в жизни раз была тогда удлинленно-интеллигентной Сенькина физиономия. От волнения он никак не мог надеть мне на палец обручальное кольцо; пришлось самой. Весьма символично.

И денек стоял — второе июня шестьдесят пятого года. А нынче май восьмидесятого... Шуточки делов. Таким макаром еще пяток лет — и будем мы пить на Танькиной свадьбе.

«Меня не приняли в летное, но нет, я не утратил мечты стать офицером, через месяц с небольшим я еду в Красноярское радиотехническое училище войск ПВО страны. Не знаю, как у меня в дальнейшем сложится судьба, но если я буду офицером (а я им все-таки буду), я буду счастлив от того, что и крупинка моего труда будет вложена в то, что небо над твоей головой всегда будет чистым.»

А там, глядишь, бац! — бабушкой-дедушкой заделаемся. Ну, не в сорок, так в сорок пять. Забавно...

За Танькой, небось, мальчишки бегают. Красивая девочка растет. У меня-то еще в детском саду поклонники завелись. А в шестом классе Беляев трагические письма писал. Димка Носик покупал мороженое — до ангины довел. А на выпускном вечере я танцевала только с Куявским, мы целовались в темном спортзале, руки у него были липкими от вина, и он наставил мне пятен на белое платье.

А с Сенькой все началось на первом курсе, когда мы ездили на пляж в Серебряный Бор. Он единственный успел загореть, и дурачился, развлекая всех, а лицо такое — взглянешь — и на душе светлей. У него и сейчас такое лицо. Разве чуть порезче стало. Но это лучше даже. Мужественней.

Как мы жили с ним студентами! Он говорит, что на отработках — и топает разгружать вагоны. Я ему котлетки жарю и говорю, что уже обедала — сама на картошке сижу. А потом друг другу — сцены на нервах.

Сейчас бы, может, и рада картошку лопать, да талия ползет — диету не придумать. Гимнастика, бассейн... Больше семидесяти двух сантиметров — ни за какие блага. Поедем в августе на юг — и как я там, спрашивается, должна выглядеть? Сеньке опять девки

«Вот только сегодня вечером удалось уединиться в Ленинской комнате. Я только сейчас сменился с дежурства, стоял дневальным, как раз по очереди попал с субботы на воскресенье. Увы, так мало у меня сейчас времени. У меня жизнь и служба идут своим чередом, будни воинские, ничем примечательным не отличаются.»

будут глазки строить. Машину вести мне, конечно, придется. Сенька за рулем? — это верблюд на лыжах. Через пять минут ровного шоссе он начинает самоуглубляться и норовит вмазать в первый встречный

«Вот уже три года я в училище. Не за горами уже самостоятельная служба, офицерские погоны. У меня другие интересы, занятия, все изменяется. Правильно устроена жизнь, конечно, в некоторой степени. Может вся моя любовь просто призрак, может она построена моими мечтами. Нет, это не так. Я любил, люблю и буду любить тебя. Я всегда и всюду буду благодарен тебе за то, что благодаря тебе я узнал настоящую любовь, которая вечна.»

грузовик. Когда защитит докторскую, ему лучше оборудовать место в багажнике — и он сохранней, и всем спокойнее.

Эдак он к Танькиной свадьбе профессором станет. И как студентам преподает — непонятно. Ирка через десять минут занятий с ученым папой ревет и бежит ко мне: это он объяснял ей задачи для третьего класса. Задачи, признаться, идиотские, но и сама она бестолковка. Ладно, пусть растет гуманитаром. Таньку я, признаться, больше люблю. И кажется, обе это чувствуют; скверно.

Конечно, быть командиром подразделения сразу не просто. Места здесь красивые, лес, сопки. Но зимой очень холодно, недаром нам дают северный паек.

Сколько времени прошло, целая жизнь. А началось все в девятом классе, когда наш класс ездил на картошку. В автобусе я от нечего делать стал разглядывать тебя. Потом стал думать о тебе и дома. Так все и началось... Моя любовь к тебе была все сильней и сильней. Эх, жизнь...»

Так, борщ, похоже, готов. Сейчас свистну Таньке — пора на стол накрывать, Сенька вот-вот явится. Похудел он у меня что-то в последнее время.

«Шесть лет, как я не видел тебя. Ты меня, конечно, и не помнишь, я ничего для тебя не могу значить. Я даже не писал тебе, зачем это.

И все равно я любил тебя, и ты любила меня, и я целовал твои губы, я зарывался лицом в твои волосы, я клал голову тебе на колени, я гладил их, гладил твои руки и плечи, ты ничего этого не знала, ты была далеко, ты не думала об этом, это была не ты, но все равно это была ты, все равно!

И это ты засыпала на моей груди, это ты прижималась ко мне и целовала мои глаза, это ты плакала, когда я уезжал, и обнимала меня на вокзалах, и это всегда будешь ты, ты, и никуда, никуда тебе от этого не деться!...

Гроза прошла. Май, и земля зеленая. Радуга.

Под головокружительной ее аркой, среди вытянувшихся топольков, стоит крашенная под серебро пирамидка с красной звездой.

С фотографии, маленькой, несколько выцветшей уже, смотрит легко светловолосый юноша в военной тужурке.

лейтенант
Руслан Степанович
Полухин
1946 — 1969

Небо яснее, искры вспыхивают в мокрой траве, в металлических прутьях пирамидки.

ВСЕ УЛАДИТСЯ

Понедельник — день тяжелый, уж это точно. Но вторник выдался и того почище: Чижикова выперли с работы. Дело так было.

В понедельник с утра Чижиков успел поскандалить с женой, изнервничался, и когда пришел к себе в музей, все у него из рук валялось.

Значился Чижиков в шефском отделе по работе с селом, занимался координацией этой самой работы. В обязанности его входило договариваться с начальством других музеев об организации выездных экспозиций, с директорами совхозов — о размещении работников и экспонатов, с секретарями райкомов — о подстраховке директоров и с автобазой — о предоставлении транспорта. Собственно, весь отдел и состоял-то из него одного.

Поездки эти устраивались где-то раз в месяц, так что работы было немного, но и оклад у Чижикова был маленький, и он подрабатывал на полставочки экскурсоводом, водил группы по Петропавловской крепости. Жить-то надо.

Кстати, экскурсоводом он был хорошим. Вдохновлялся, трагические ноты в голосе появлялись, даже осанка становилась какая-то элегантная и значительная. Нравилось такое занятие Чижикову; слушали его с интересом и жадно, что нечасто случается, и писали регулярно благодарности в книгу отзывов.

Так вот, значит, в тот злополучный понедельник все у Чижикова не ладилось. У него, правда, всегда все не ладилось. У директора совхоза вымерзли озимые, и было ему не до Чижикова, в райкоме все уехали на какое-то выездное бюро, прижимистые музеи экспонатов не давали, в трубке все время идиотски переспрашивали: «Что за Чижиков?» — трубка эта чертова телефонная аж плавила у него в руке, и голос осип.

Но в конце концов удалось Чижикову все организовать, и так он этому обрадовался, совершенно измученный

и потный весь, — что забыл позвонить на автобазу. Просто напрочь забыл. Ну и, естественно, все приготовились — а ехать и не на чем. Кошмар! Ну и, естественно, вызвал Чижикова директор на ковер. И наладил ему маленькое Ватерлоо.

— Я вас выгоню в шею! В три шеи!! — утерев остатки терпения, орал директор. — Сколько же можно срывать к чертям собачьим работу и мотать людям нервы! Когда прекратятся ваши диверсии? — Негодование его стало непереносимым, он взвизгнул и топнул ногами по паркету.

Смешливый Чижиков не удержался и хрюкнул.

— Вот-вот, — устало сказал директор и опустился в кресло. — Посмейся надо мной, старым дураком. Другой бы тебя давно выгнал.

— Петр Алексеевич... — умоляюще пробормотал Чижиков.

— Работникам выписаны командировочные, директор совхоза собирает людей в клубе, секретарь райкома обеспечивает нормальное проведение мероприятия — а Кеша Чижиков забыл договориться с автобазой об автобусе. В который раз?

— Во второй, — прошептал Чижиков, переминаясь на широкой ковровой дорожке.

— А кто перехватил внизу и выгнал делегацию, которую мы ждали?

Чижиков взмок.

— Я думал, это посторонние, — скорбно сказал он.

— Кеша, — непреклонно сказал директор, — знаешь, с меня хватит. Давай по собственному желанию, а?

Чижиков упорно рассматривал свои остроносые немодные туфли.

— А кто обругал Пальцева? — упал тяжкий довод. — Это ж надо допереть — пенсионер республиканского значения, комсомолец восемнадцатого года, с Юденичем воевал!

— Ох!..

— Не мед характер у старика, — согласился директор. — Но он же помочь тебе хотел. А ты с ним — матом. Он — жалобу, мне — замечание сверху!..

— Я ведь извинялся, — взмолился Чижиков.

— А кто выкинул картотеку отдела истории пионерского движения? Алик ее четыре года собирал!

— Ремонт был, беспорядок, вы же знаете, — безнадежно сник Чижиков. — Глафира Семеновна распоряди-

лась убрать лишнее, показала на угол — а я не разобрался.

— Вот тебе две недели, — приняв решение и успокаиваясь окончательно, резюмировал директор. — Оглядишь, подыщи себе место, а к концу дня принесешь мне заявление об уходе.

— Петр Алексеевич, — Чижииков прижал руки к галстуку, — Петр Алексеевич, я больше не буду.

— Кеша, — ласково поинтересовался директор, — у кого на экскурсии в Петропавловке школьник свалился со стены, чудом не свернув себе шею?

...За окном была Нева, здание Академии художеств на том берегу, почти неразличимый отсюда памятник Крузенштерну.

— Голубчик, — сказал директор. — Мне, конечно, будет без тебя не так интересно. Но я потерплю. Оставь ты, Христа-бога ради, меня и мой музей в покое.

Чижииков махнул рукой и пошел к дверям.

Исполнилось ему недавно тридцать шесть лет, был он худ, мал ростом и сутуловат. Давно привык к тому, что все называют его на «ты», к своему несерьезному имени и фамилии, которые когда-то так раздражали его, привык к вечному своему невезению, к выговорам, безденежью, к тому, что друзья забыли о нем.

Он не стал дожидаться конца дня, написал заявление, молча оставил его в отделе кадров, натянул пальтишко и вышел на улицу.

Ревели в едучем дыму «МАЗы» и «Татры» на площади Труда. Чижииков медленно брел по талому снегу бульвара Профсоюзов, курил «Аврору», вздыхал, пожимал на ходу плечами.

В «Баррикаде» он взял за двадцать пять копеек билет на новый польский фильм «Анатомия любви». Подруги жены фильм усиленно хвалили, но возвращалась жена с работы поздно, и все было никак не выбраться в кино.

Фильм Чижиикову не понравился. Актрисы все были милые и долгоногие, главный герой крепколицый и совестливый, они увлеченно работали, модно одевались, жили в просторных квартирах, и какого лешего они при этом дергались и закатывали сцены, оставалось совершенно неясным.

Потом он отправился в Русский музей. На выставке современных художников увидел он замечательную картину: в тайге, на опушке, стоит маленький бревенчатый

дом, струится дымок над крышей, рядом бежит прозрачный ручей, и треугольник каких-то птиц — гусей, наверное, — или лебедей? — тянется на закат. Картина Чижикову понравилась чрезвычайно. Он долго стоял перед ней, все вздыхал; ему представлялось, как хорошо было бы жить далеко в лесу, в такой избушке, топить печку, подкладывая поленья в дружелюбный огонь. Он купил бы себе двустволку и ходил на охоту, стрелял бы тетеревов на полянах, а может быть, и оленей. Зимой можно кататься на лыжах, а летом купаться в ручье, ловить рыбу, собирать ягоды и лежать в щекочущей траве, смотреть, как плывут в небе косяки птиц из знойной далекой Африки в северную тундру.

— Сколько можно говорить, что музей закрыт!

— Что?!

— Закрыт музей! — закричала смотрительница и замахала руками. — Идите, пожалуйста, на выход, русским языком вам сколько уже долдоню!

Чижиков подумал, что надо идти домой, и на душе у него стало плохо.

Стемнело уже, на тротуарах стояли грязные талые лужи, туфли у Чижикова промокли. Завернул в гастроном — продукты обычно он покупал — но какая-то усатая толстая старуха нахально влезла перед ним в очередь, продавщица наорала на него, что чек не в тот отдел, он совсем расстроился, сдал чек в кассу и ушел.

А зашел он в винный магазин на углу Герцена, выпил залпом два стакана вермута, подавив гадкое чувство, и пешком, не торопясь, зашагал к себе на Петроградскую.

Медленно поднялся он по истертой лестнице на пятый этаж. Тихонько открыл тугую дверь. На кухне соседка Нина Александровна жарила какую-то чадающую рыбу. Она тут же зашевелила чутким носом, оставила на Чижикова круглые злые глаза болонки.

— Пьяный явился, — нехорошим голосом констатировала Нина Александровна.

— Ну что вы. — Чижиков заискивающе улыбнулся, старательно вытирая ноги.

— Нарезался, милоч! — наращивала Нина Александровна. — Вот так и живешь в одной квартире с алкоголиками! Ночами, понимаешь, курит, топает в коридоре, кашляет под дверь, а днем пьет!

— Молчать!! — белогвардейски гаркнул Чижиков, меняя цвета лица, как светофор.

Глюкнула Нина Александровна, забилась в угол, тряся крашеными кудельками. Победно топая, прошествовал Чижигов к своей комнате по узкому коридору.

— Ах ты паразит! — взбеленилась Нина Александровна вслед. — Я к участковому пойду, я квартуполномоченная, я тебя выселю отсюда, пьяная морда!

— Расстреляю! — Чижигов запустил в нее резиновым сапогом и вошел в комнату.

Фамилия Нины Александровны была — Чижова, и Чижигова этот факт приводил в бешенство.

В комнате Илюшка, сынок, готовил уроки. Блестели очки в свете настольной лампы, топорщились красные уши. Остался, бедолага, во втором классе на второй год. Эх, ушастенький-очкастенький ты мой. Чижигов подошел к сыну, погладил по голове.

— Учись, сынок, учись. Перейдешь в третий класс — велосипед куплю, как обещал.

— «Орленок»?

— «Орленок».

Сын поковырял в носу. Доверчиво прижался к Чижигову.

— Пап, а когда мы переедем на новую квартиру?

— Скоро, Илюшка. Совсем уже скоро очередь подойдет — и переедем.

— Через год?

— Примерно.

— Это же так долго — год!

— Ты и не заметишь, как пройдет. — Чижигов хлопнул сына по плечу. — Весна, лето, осень — и все.

— Па-ап, а мы поедем летом на юг? Толька Шпаков ездил, говорит — так здорово.

— Поедем, — решил Чижигов. — Обязательно поедем.

Да, подумал он, возьмем и поедем.

— Есть хочешь? — спросил он.

— Ага.

— Сейчас я чего-нибудь нам сварганю.

Эх, а замечательно было бы пожить в той лесной избушке! И с сыном вдвоем можно...

Жена пришла только в девять часов, когда они на пару смотрели телевизор. Хлопотная работа там, на киностудии. Но она ведь бухгалтер, что ее так задерживают?

— Так, — сказала жена. — Телевизор смотрят, а посуды грязная на столе стоит.

— Ну, Эля, — примирительно забурчал Чижиков. — Сейчас я помою, ну... не волнуйся.

— Еле ноги домой приносишь, а тут грязь, опять впрягайся. Да что я вам, лошадь, что ли?

Илюшка сжался и опустил глаза в пол.

— Через месяц кооперативный дом сдают, — мстительно сообщила Элеонора. — Хомяковы переезжают.

— Что ж поделывать, если у нас нет денег на кооператив? — рассудительно сказал Чижиков. — Скоро получим по городской очереди.

— Твое скоро... — тяжело сказала она. — Другие зарабатывают. На Север вербуются, на целину. Вон Танькин муж полторы тысячи привез за лето — строили что-то под Тюменью. А ты разве мужчина? Одно название...

— Ну, Элечка, — пытался Чижиков свести все вмировую. — Вот все-таки сапоги итальянские купили тебе осенью. Шуба, опять же...

Элеонора осеклась, отвела взгляд. Лицо ее пошло пятнами.

— Дурак, — с ненавистью процедила она.

— Наверное, — вздохнул Чижиков и пошел на кухню мыть посуду.

Перед сном жена вздрогнула и отстранилась, когда он приблизился; груди ее просвечивали под голубым нейлоновым пеньюаром. Чижиков безропотно поставил себе раскладушку между столом и телевизором.

Ночью долго курил в коридоре, стряхивал пепел в щербатое блюдечко. Все чудилась избушка, запах тайги, студёный быстрый ручей, клики гусей в вышине... Навяждение — аж горло перехватило, голова закружилась даже. Оперся рукой о стену, что-то округлое почувствовал, сжал машинально. Отнял руку, взглянул. Непонятный фрукт лежал в руке.

Чижиков понюхал его. Фрукт пах затхлостью и клеем. На ощупь был шершавый, как картон, и легкий. Сжал сильнее в пальцах. Фрукт слегка продавился, но соку не было. Чижиков попробовал куснуть его. Противно, опять же вроде картона.

Хм. Он всунул фрукт обратно в стену. Тот повис отдельно от грозди, черенок торчал в сторону. Чижиков пристоял его поаккуратней... Потом с интересом стал менять грозди местами. Одобрительно обозрел беспорядок в обоях — и просиял от удачной мысли.

Откинув голову и скрестив руки на груди, эдакий художник у мольберта, он прицелился взглядом в дверь Нины Александровны — и принялся за дело. Из фруктов выложил холмик с могильным крестом, грозди разломал и составил короткую малопримечную эпитафию. Оценил творческим оком свое произведение, подмигнул, покурил, посообразал кое-что. И довольный отправился спать.

Улегся он шумно, не заботясь, что визжала и дренькала хлипкая раскладушка.

На работу Чижиков с утра не пошел — все равно ведь. А припоминая, листал старые записные книжки, отыскивал телефон одноклассника, ставшего сравнительно известным в городе художником, и напросился в гости.

Художник трудился на верхнем этаже старого дома по улице Черняховского. Свет проходил в стеклянный косой потолок, олифой пахло и пылью, инвентарь художнический разнообразный повсюду валялся.

— А-а!.. — встретил он Чижикова, подавая белую длиннопалую руку с блестящими ногтями. Рука настоящего художника, с уважением отметил Чижиков, пожимая ее.

— Добрый день, — дипломатично поздоровался он, не зная, на вы быть или на ты.

— Здорово, Кешка, старик, — душевно сказал художник и заулыбался. — Рад тебе, рад. Так, знаешь, приятно, когда через двадцать лет школьные друзья о себе напоминают.

— Я тоже, — сказал Чижиков, — я здорово рад, Володя, — и еще с чувством потряс руку.

— Значит, за встречу, — художник достал из скрипучего шкафчика початую бутылку коньяка, сгреб тюбики и краски с края стола, обтер стаканы длинным пальцем. Со своей седой прядкой, в черном халате, из-под которого виднелись отутюженные брюки и замшевые туфли, очень он был импозантен.

— Со свиданьем, — пропустили; художник пододвинул ему сигареты в пачке с верблюдом, щелкнул диковинной зажигалкой:

— Как живешь-то, рассказывай.

— Нормально, — сказал Чижиков. — Квартиру скоро должен получить.

— Это хорошо, — одобрил художник. — А мне вот, понимаешь, все приличную мастерскую не пробить. Бездари разные лезут вперед, а ты сиди тут в трущобе... — Он закурил головой, завздыхал.

— Женат? — осведомился.

— Женат... Уж десять лет.

— Ну-у? — восхитился художник. — Молодец! И дети есть?

— Сын, — сказал Чижиков. — Во второй класс ходит.

— Молодчага! А у меня вот нет пока вроде, — хохотнул.

Чижиков заерзал.

— Так что у тебя за дело-то, выкладывай, — разрешил художник.

Не зная, как приступить, Чижиков огляделся. Подошел к мольберту. Солнце добросовестно освещало праздничными лучами уходящий вдаль сад. На переднем плане нарядная колхозница, стоя на лесенке, собирала с дерева персики.

— Гляди, — прошептал он...

И вытащил лесенку.

Дородная поселянка висела в воздухе. Лесенка постояла рядом с мольбертом и сама собой с треском упала.

— А? — торжествующе спросил Чижиков. Сорвал персик и положил на стол.

— Нет, — сказал художник, — так плохо. Мне не нравится. Тоже мне сюрреализм, ни то ни се.

Он машинально откусил персик.

— Экая дрянь! — сплюнул, поморщившись. — Синий какой-то внутри, — швырнул пакостный плод в угол. — Так и отравиться можно.

— Тебя ничего не удивляет? — опешил Чижиков.

— О чем ты? А-а... — Художник снисходительно усмехнулся. — У нас, брат, в изобразительном искусстве, — покровительственно объяснил он, — такие есть сейчас мастаки! Такие шарлатаны!.. Ты не подумай, я не о тебе, — спохватился он, — я вообще... Давай-ка еще по коньячку.

Озадаченный Чижиков выпил.

— Ты наведивайся почаще, — пригласил художник, — я тебе такого порасскажу!..

Вот так — так, размышлял Чижиков, спускаясь по лестнице. Вот ты незадача... С кем бы мне потолковать обстоятельней...

И на следующий день тем же манером отправился к Гришке Раскину, с которым они в пятом классе за одной партией сидели. Позже Гришка стал копаться в вузовских учебниках, выступать на всяких олимпиадах,

очками обзавелся, времени не хватало ему всегда, и их дружба помалу иссякла.

Гришка работал в университетском НИИ физики, занимался проблемами флюоресценции и дописывал докторскую диссертацию.

Помяв Чижикова жесткими руками альпиниста — каждое лето Гришка уезжал на Памир, был даже, говорят, мастером спорта по скалолазанию, — он потащил его куда-то наверх по узким крутым лесенкам с железными перилами и вволок в маленькую комнатушку.

Чижиков уселся в закутке на обычный канцелярский стул и разочарованно огляделся.

— Что, — хмыкнул Гришка, — не похоже на лабораторию физика в кино?

— Да вообще-то я иначе себе все представлял, — сознался Чижиков.

Стены каморки были выкрашены зеленой масляной краской, точь-в-точь как у них в туалете. Черный громоздкий агрегат топорщился кустами замысловатых деталей, не оставляя почти жизненного пространства. На откидном столике в углу лежала конторская книга под настольной лампой, да два стула стояли.

— Ничего, — мечтательно потянулся Гришка, — осенью в новый комплекс переберемся, там просторно будет.

Был он тощий, лохматый, в роговых очках; по внешности — классический физик, точно из кино.

— Давай свое дело. Будем разбираться. — Он кинул взгляд на часы.

К этому визиту Чижиков подготовился основательней. И внутренне, и экипировался, так сказать.

— Я тут, похоже, одну штуку случайно открыл, — произнес он, смущаясь, отрепетированную фразу. Из бумажника вынул открытку. Бриллиантовая капля росы красиво лучилась на тугом хрупком лепестке лилии.

— Смотри внимательно, — попросил он. Гришка уселся поудобнее и стал внимательно смотреть.

Чижиков осторожно сунул в открытку два пальца. Хрустнул переломленный стебель. Желтая лилия мелко подрагивала в его руке. Росинка стекла в чашечку. На открытке остался размытый фон.

— За-ба-вно, — изрек Гришка. Повертел открытку, посмотрел на свет, пощупал. — За-ба-вно. Слушай, а как ты это делаешь?

— Просто, — сказал Чижиков. — Беру и делаю. Сам не знаю как. Вот так.

Он взял открытку и приладил лилию на место. Теперь не было на лепестке капли росы.

— И давно? — спросил Гришка с интересом.

— Два дня. Ночью, понимаешь, я курил в коридоре...

— Квазиполигравитационный три-эль-фита-переход в минус-эн-квадрат-плоскость, — забубнил Гришка, сведя глаза к переносице. Может, он другое что сказал, Чижиков все равно ни хрена не понял.

— Слушай, Кеш, — Гришка, косясь на часы, потерял Чижикова за рукав. — Я, ты извини, срочно должен в подвал бежать, там сейчас опыт пойдет. А тебе с этим надо в пятую лабораторию, к Аристиду Прокопьевичу, скажи — от меня. Как пройти, я объясню.

Он выдрал из конторской книги лист и начеркал китайскую головоломку, закончив ее крестиком.

— Сначала здесь, а после сюда и сюда, ясно, да? Вечером позвони мне, ты связи со мной не теряй.

Около часа Чижиков провел в движении по невообразимо заковыристой, но с неумолимостью физического закона повторяющейся траектории, пока не выпал из нее у дверей пятой лаборатории, которая временно располагалась в помещении третьей. И выяснил, что Аристид Прокопьевич вчера вылетел на месяц в Новосибирск читать лекции, но это не точно, а где точно, никто не знает. Возможно, во второй лаборатории, но это вряд ли.

Еще двадцать минут Чижиков пробирался на волю.

Устало шлепая по Менделеевской линии, поднял воротник от мелкого дождика и загрустил.

Всю пятницу он провел в раздумьях. Гришку по телефону застать не удавалось ни дома, ни на работе. И дождь все моросил.

В иероглифах записных книжек наткнулся на старый домашний адрес Сережки Бурсикова, тихого мальчонки, насморк еще у него не проходил вечно. В свое время ходил слушок, что он после школы в духовную семинарию подался.

А черт его знает, подумал Чижиков... Подумал и решил.

Остаток дня он потратил на наведение справок.

Сел в субботу вечером на поезд, отправлявшийся с Витебского вокзала, и поехал в один белорусский городок, где Бурсиков был настоятелем церкви. Жене ска-

зал — в командировку; она, похоже, и не огорчилась ничуть.

Церковь стояла в заснеженном саду на холме, недалеко от базара. У ворот курили на лавочке двое.

Чижигов с некоторой опаской поздоровался, поклонившись слегка, даже шапку снял на всякий случай — благо тепло было — и осведомился, где может видеть настоятеля, Сергея Анатольевича Бурсикова?

— Вы по какому делу? — спросил тот, что постарше.

— По личному, — быстро ответил Чижигов. Уж Ильфа и Петрова он читал.

— Туда, — пожилой махнул на желтый флигель у ограды.

Во флигеле оказалась часовня, а в коридорчике позади — всякая канцелярия-бухгалтерия; Чижигов оробел несколько. Он никогда не был в церкви.

Отрешенные лики святых темнели с икон. Согбенная старушка протирала тряпочкой возвышение, украшенное серебряными узорами. Крупной поступью, глядя перед собой, в черной до полу рясе, проследовал высокий прямой мужчина. Старушка бесшумно засемила к нему, поцеловала красную крепкую руку с перстнем на указательном пальце.

Воскресная служба кончилась с час, настоятеля Чижигов нашел уже переодетого.

— Я вас слушаю, — бегло сказал настоятель, не предлагая Чижикову сесть.

Выглядел он, вопреки ожиданию, заурядно и, по мнению Чижигова, неподобающе. Без бороды, выбрит был настоятель, коротко подстрижен, в стандартном дешевом костюмчике. И лицо помидором.

— Здравствуйте, Сергей Анатольевич. — Чижигов не знал, как себя вести.

— Здравствуйте. — Он явно не тянулся к разговору.

— Я Чижигов, — сказал Чижигов.

— М-да?

— Мы учились вместе...

— Э?..

— В одном классе, в школе, Кеша Чижигов, Чижигов, помните?

— Оч-чень приятно. Разумеется. Слушаю вас.

Рядом люди ходили, — не располагала обстановка. Визит грозил рухнуть. Чижигов разволновался и обнаг-лел.

— У меня очень важное до вас дело. — Он значительно сощурился. — Необходим конфиденциальный разговор. Желательно в нерабочей... м-м... Лучше дома. Я приехал специально.

— Вы настаиваете, — недовольно отметил настоятель. — Подходите к пяти.

Он сказал адрес и взялся за пальто.

Чижиков побродил по городу. На базаре купил три кило отличной антоновки — пусть Илюшка витаминится.

Настоятель принимал его в тесной проходной зале — гостиной, видимо.

— К вашим услугам...

Чижиков повторил номер с открыткой. Настоятель следил зорко.

— И что же? — спросил он наконец.

— Как? — растерялся Чижиков.

— Вы фокусник?

— Это не фокус, — выразительно сказал Чижиков. Ожидая вопроса, крутил бахрому скатерти. Настоятель неодобрительно посапывал.

— Хотите чаю? — предложил он.

— По-моему, это чудо, — застенчиво объяснил Чижиков.

— Э?.. — удивился настоятель.

— Ну ведь... Бог творит чудеса!.. — выдал Чижиков напролом и покраснел.

— Не надо, — осадил настоятель. — Не надо.

— И не в чудесах, — с неожиданной тоской добавил он, — совсем не в чудесах заключается вера. Хотите чаю?

— Да не хочу я чаю! — обозленный Чижиков отчаялся на крайние меры.

В лепной золоченой раме святой Мартин резал пополам свой плащ. Картина напротив: старик с изукрашенным распятием.

— «А теперь делить буду я!» — процитировал Чижиков и отобрал у доброго святого недоразрезанный плащ. Княжеским жестом пустил его на стол. Пристукнул увесистым золотым распятием.

Пыльный грубый плащ пребывал на столе и пах потом. Придавливал толстые складки тусклый крест с искрящимися камнями.

Лицо настоятеля замкнулось...

— Нельзя ли восстановить порядок? — отчужденно попросил он.

Чижииков плюнул с досады.

— Жертвую на храм, — отвечал в раздражении из прихожей.

Вечером он пил чай в поезде, грыз ванильные сухарики. Долго ворочался на верхней боковой полке, мысль одна все мучила. Ночью он проснулся, лежал.

А мысль эта была такая:

Теперь он может уйти в свою избушку.

С утра заскочив домой положить в холодильник яблоки для Илюшки, он отправился в Русский музей.

Стоял, стоял перед картиной. Будоражащие запахи хвойной чащи, дымка́ над крышей, казалось, втягивал, припуская веки.

Сорвал незаметно травинку. Травинка как травинка, зеленая.

Смотрительница уставилась из угла. Эге, засомневался Чижииков, увидит еще кто, скандала не оберешься. Начнут за ноги вытаскивать, с картиной сделают что-нибудь, а потом выкручивайся как хочешь. Надо ночью, решил он. Спрятаться в музее, а когда все уйдут — вот тогда и лезть.

Легко сказать — спрятаться... Придумал. Присмотрел через два зала натюрмортик с ширмочкой: можно отсидеться. Натюрморт скульптурой заслонен, смотрительница вяжет, носом клюет, народу нет — подходяще... Для страховки вымерил шагами два раза расстояние до своей картины, теперь с закрытыми глазами нашел бы.

Но сегодняшний вечер захотелось побыть дома. Напоследок, елки зеленые...

Печален и загадочен был он этот вечер. Даже жена в удивлении перестала его пилить. Чижииков целовал часто сына в макушку, переделал все по дому и жене отвечал голосом необычно ласковым и всепрощающим, что ее как-то смущало. Перед сном, тем не менее, поскользнувшись на ее взгляде, улыбнулся с тихой грустью и поставил свою раскладушку.

Он явился в музей около пяти и, улучив момент, без приключений забрался в свой натюрморт. За ширмочкой валялся всякий хлам, он уселся поудобнее и стал ждать.

Переход он задумал осуществить в двадцать ноль-ноль. Пока все разойдутся, пока то да се...

Время, разумеется, еле ползло. Хотелось курить, но боязно было: мало ли что...

А там... Первым делом он сядет в траву у ручья и будет курить, любясь на закат. Потом... Потом напьется воды из ручья, ополоснется, пожалуй, смывая с себя въедливую нечистоту города.

Кусты колышутся под ветром. Прохладно. Вот он встал и пошел к избушке. Оп! — полосатый бурундучок мелькнул в траве. Чижигов постоял, улыбаясь, и поднялся на рассыхающееся крыльцо. Вдохнул с легким счастливым волнением — и толкнул дверь.

Ширма упала. Чижигов вскочил, проснувшись. Без двенадцати минут восемь. Он подрагивал от нетерпения.

Первый шаг его в темном зале был оглушительн. Он заскользил на цыпочках. Шорох раскатывался по анфиладе.

Так... Еще... Здесь!..

Темнел прямоугольник его картины. Скорей взялся потными руками за раму.

Задержав дыхание, закрыв глаза и нагнув, как ныряют, голову — влез.

Что-то как-то...

Осознал: крик. И — предчувствие резануло.

«Не то! — ошибка! — сменили!» — ослепительно залихорадило.

Оскользясь в грязи на пологом склоне, раздираясь нутряным «Ьй-ра!!», зажав винтовки с примкнутыми штыками, перегоняли друг друга, и красный флаг махался в выстрелах внизу у фольварка.

— Чего лег?! — рвась на хрип.

Ощущение. Понял: пинок.

— Оружие где, сука?!.. — давясь, проклекотал кадыкастый, в рваной фуражке.

Обмирая в спазмах, Чижигов хватанул воздух.

— Из пополнения, што ль?

— Да, — не сам сказал Чижигов.

— Винтовку возьми! — ткнул штыком к скорченной фигуре у лужи. — Вишь — убило! И подсумок!

Чижигов на четвереньках ухватил винтовку, рукой стер грязь.

— Встань! В мать! Телихенция... Вперед!

Чижигов неловко и старательно, довольно быстро побежал по склону, подставляя ноги под падающее туловище. Кадыкастый плюхал рядом, щерясь, косил на него.

Передние подсыпали к зелени и черепицам окраины, там правее дробно-ритмично зататакало, фигурки втерлись в пашню.

— Ах твою в бога!.. — рядом, упав, проскреб щетину. — Конница в балке у них...

Чижигов увидел: слева в километре выскакивают по несколько, текут из земли всадники, растягивая в ширину, стремятся к ним.

— Фланг, фланг загинай!.. — отчаянно пропел сосед, пихнул, вскочив, Чижигова, они побежали и еще за ними. Слева перебежали, ложились, выгибая цепь подковой.

Упали, дыша.

Выставили стволы.

Раздерганная пальба.

Прочеркивая и колотя глинозем, оцепеняя сознание всепроникающим визгом, заворачивая режущим посверком клинков на отлете, рвала короткое пространство конница.

— Стреляй, твою! — оскалась, сосед вбил затвор.

Как он, Чижигов внимательно передернул со стальным щелком затвор. Локти податливо ползли из упора.

«...Выход — где — запомнить — не найду — как же...» — прострочило в мозгу и не стало, потому что он принял целящийся взгляд поверх конской морды, пеганый в галопе чуть вбок заносил задние ноги, казак при-вставал на стремянах, неверная мушка поддела нарастающий крест ремней на холщовой рубахе...

Всхлипывая горлом, напряженно тараща заслезившийся глаз, потянул спуск и невольно зажмурился при ударе выстрела.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В комнате накурено. Стены в книжных стеллажах. За пишущей машинкой сидит 1-й соавтор. Настольная лампа освещает его мясистое лицо и короткопалые руки. 2-й соавтор расхаживает по ковру, жестикулируя чашкой кофе. Он постарше, лет пятидесяти, худ, выражение лица желчное.

1-й соавтор (*обреченно*). Как всегда... Через неделю истекает последний срок договора, а у нас — конь не валялся...

2-й соавтор (*деловито*). Нужна конкретная зацепка для начала...

1-й соавтор. Это пожалуйста. М-м... Человека раздражает постоянная толкотня перед его домом. Он живет на одной из центральных улиц, рядом с универсамом, и мимо подъезда всегда снует толпа народа.

2-й соавтор. А в самом подъезде занимаются спекуляцией... Ладно, не отвлекаемся... И вот — человек постепенно начинает замечать, что народу перед его подъездом становится все меньше...

1-й. Так. Как его зовут? Имя для условной страны...

2-й (*листает телефонную книгу, морщит лоб, швыряет на диван*). Что-нибудь двусложное. Тарарабух... В детстве я думал, что «Три мушкетера» — это «Тримушки Тёра». Какие-то тримушки некоего Тёра. Тримушки... Тримушки-Бух...

1-й. Тримушки-Бабах... Тримушки-Бабай... Тримушки-Бай... Тримушки-Дон...

2-й. Тримушки-Тон... Тримушки-Бит... Тримушки-Тринк...

1-й. Тримушки-Дринк. Джонни уыпьем уодки.

2-й. Тримушки-Трай...

1 - й. Максим Трай. Путешествие на планету Транай. Драй трамвай.

2 - й. И черт с ним.

1 - й. И черт с ним. Нарекли. Пушай Тримушки-Трай.

2 - й. Портрет.

1 - й. Упитанный блондин, рост выше среднего, возможны очки.

2 - й. Очки у нас недавно уже были. Ни к чему. Даешь снайперов. Нет, очков не надо. Полноценный человек. Довольно ущербности. Жена, двое детей, дома и на работе никаких неприятностей, и никаких авиационных и прочих катастроф. И никаких инопланетян и рецептов из старинных книг.

1 - й. Прах и пепел! Помилосердствуй! Тут можно написать только характеристику для ЖЭКа и некролог!

2 - й. Тихо! Тихо. Без штампов. Ему... мм... мм... тридцать три... нет, намек на Христа... тридцать пять, многовато... тридцать два года. О. Расцвет сил.

1 - й. Уж вы мои силушки... Гуманитар. Психолог. Нет, к дьяволу психоанализы, нормальный так нормальный. Значит — не молодой профессор. Во: средний уровень. Учитель. Школьный учитель. Литературы.

2 - й. Осточертели всем твои учителя литературы. Ну прямо сговор: или литературы, или математики, или физики. Ботаник он! Географ! Чертежник!

1 - й. Ага. А также дворник, шорник и по совместительству завхоз, который не ворует. Не будь свиньей — я тебе уступил космос, катастрофы и чудеса — уступи мне литературу, это справедливо.

2 - й (*делает останавливающий жест, ставит чашку на торшер, закуривает, сосредотачивается*). Итак, Тримушки-Траю тридцать два года. Он работает учителем литературы в школе. Зарплаты хватает, жена и двое детей, семью любит. Квартира в приличном квартале. Единственный источник раздражения — толкотня перед домом. А коль раздражает лишь это — ясно, что жизнь у него тип-топ.

1 - й. И о карьере сей сеятель разумного, доброго, а также вечного за умеренную зарплату не мечтает. Но — он не маленький человек, нет. У него даже были предложения, да и сейчас он имеет возможность перейти преподавать в университет... э-э... или в издательство... но — он любит свою работу, вот в чем дело... Именно в ней видит смысл. Начальство его ценит, коллеги уважают,

ученики любят и даже стараются подражать ему в некоторых привычках.

2 - й. И пусть хоть один м-мэрзавец посмеет заявить, что это не фантастика. Да. Причем он ловит себя на том, что с каждым годом ученики его становятся все толковее. Работать с такими — сущее удовольствие. Они много способней тех тупиц, в среднем, чем были в их возрасте большинство его сверстников.

1 - й. Детали!

2 - й. Выше среднего роста, румяный, очень густые русые волосы зачесывает назад. По вечерам все семейство сидит в гостиной, он тут же проверяет сочинения, двухлетний сын, его копия, возится у него на коленях. Дочке семь лет, любит убирать со стола, изображая хозяйку, часто бьет посуду, что никого не огорчает, кроме нее самой. Квартира стандартная, обстановка стандартная, стулья и диван слегка изодраны котом, непородистым и некастрированным. На лето уезжают к морю, кота оставляют соседям. Кот серый, с белым животом и кончиками лап и черным носом.

1 - й. Кот получился... Носит обычно синий костюм, то есть Тримушки-Трай, естественно, а не кот, сорочки голубые или желтые, галстук повязан узким тугим узлом. Всегда на месте за пять минут до назначенного срока. В школе просторные классы, окна во всю стену, учебные стереовизоры, широкие лестницы из искусственного мрамора, стены со звукопоглощающим покрытием, зелень во дворе и прочее подобающее.

2 - й. Ну и серый асфальт и мутное небо города, шелест шин, запах бензина, вой подземки и ее заплыванные перроны, огни реклам, рестораны и мусорщики, парки, уголовая хроника...

1 - й. Мусорщиков нет — машины. Мусорщики исчезли лет десять назад.

2 - й. Уголовной хроники тоже уже практически нет. Примерно в то же время она резко пошла на убыль.

1 - й. Десять лет назад произошли некоторые изменения в сенатской комиссии...

2 - й. Десять лет назад Тримушки-Трай был полон страха перед неизвестностью. Студентом он принимал участие в студенческих волнениях и демонстрациях. Студенты требовали снижения платы за обучение, отмены воинской повинности и права на труд. На плече Тримушки-Трая остался шрам от полицейской дубинки.

1 - й. Дубинка, однако, не сабля. Ладно. Короче, в стране было скверно. Безработица. Кризис. Нехватка топлива, сырья, жилья и чего угодно. Цены росли, зарплаты падали, законы ужесточались, гангстеризм процветал...

2 - й. И странно, что они вообще не вымерли...

1 - й. В общем, да. Отвали.

2 - й. Вперед. (*Выходит в туалет.*)

1 - й стучит на машинке. Суть абзаца сводится к тому, что по окончании университета по курсу английской (под вопросом) филологии Тримушки-Трай зарегистрировался на бирже безработных и перебивался полгода на пособие, мел улицы изношенными джинсами и простужался, ночуя на парковых скамейках.

2 - й (*входя и заглядывая через его плечо*). Но через полгода ему повезло. Он получил место учителя в специализированной школе. Будучи способным и образованным специалистом, успешно выдержал тесты и прошел по конкурсу — тем более что конкурсы уменьшились, очередь на бирже начала рассасываться и вообще страна понемногу стала оправляться от кризиса.

1 - й. Править придет-ся-а... Переписывать заново.

2 - й. Ладно. Вперед. Все отлично. Сейчас Тримушки-Трай не только доволен своим положением. Он доволен правительством — это важнее. За прошедшие десять лет в стране наладилось процветание. В Декларацию прав внесены поправки. Президент переизбран на третий срок. Массы довольны — изобилие. Интеллектуалы довольны — есть применение их мозгам, средства для научных исследований. Демократы довольны — есть полная свобода всяческих волеизъявлений и предпринимательств.

1 - й. Хотя последнее — вранье, но об этом Тримушки-Трай может судить только по газетам, правда, зная цену ихним газетам.

Но — все здорово. Вроде, Тримушки-Трая даже на тротуаре перед его домом толкать перестали. В один прекрасный день он обращает на это внимание. Его ни разу не толкнули, когда после работы в час пик он возвращался домой. Он даже удивился. Подумал, что универсальный магазин сегодня не работает. Посмотрел — нет, открыт,

правда народу немного. Тримушки-Трай хмыкнул, свернул в свой подъезд и вошел в лифт.

На обед жена подала его любимый бефстроганов с жареным картофелем, спаржу и яблочный пудинг. Отдыхая в кресле с коктейлем, Тримушки-Трай поделился с женой своим наблюдением. Не отрываясь от вязания, жена ответила, что пару недель назад тоже обратила на это внимание, только, скорей всего, они просто привыкли к этому району. Не так уж, в сущности, много людей в пресловутом Большом городе.

Но в воскресенье Тримушки-Трай в своем открытии решительно утвердился. Они отправились гулять с детьми в Центральный Парк. Очереди на карусели не было. Редкие прохожие фланировали по аллеям или отдыхали в тени на скамейках. И почти никто не кормил ручных белок — а когда-то вокруг каждой, спустившейся на землю, собиралась толпа.

У Тримушки-Трая возникло нехорошее сосущее ощущение. Он посмотрел на жену; они поняли друг друга.

2-й. Тем большим событием в спокойной доселе жизни Тримушки-Трая явилась беседа с контрразведчиком Департамента лояльности. В понедельник после уроков директор пригласил его в кабинет и оставил их вдвоем. Изящный молодой человек с интеллигентным лицом повернул в дверях ключ и предъявил Тримушки-Траю удостоверение. Тримушки-Трай удивился и слегка испугался, честно говоря. Он закурил, подумал, спохватился и предложил сигарету контрразведчику. Контрразведчик не курил. Контрразведчик предложил рассказать о себе.

— Так, наверно, в моем досье все указано, — просто-душно сказал Тримушки-Трай и порозовел, ощутив свои слова бестактными.

Контрразведчик улыбнулся непринужденно и поощрительно.

— Вы не волнуйтесь, — успокоил он. — Вы лояльный гражданин, и вы, разумеется, понимаете, что в нашей работе, как и в любой другой, имеются свои особенности... если хотите, мы условимся считать этот разговор дружеской беседой без каких бы то ни было последствий. Устроит?

Растерянный, но и успокоенный, Тримушки-Трай изложил недолгую биографию. Контрразведчик в паузах одобрительно кивал. Он был определенно ненавязчив и обаятелен: Тримушки-Трай раскрепостился и поглядывал на него с симпатией.

Контрразведчик перевел разговор на преподавание литературы.

— Вы, мне известно, разработали собственную систему тестов для выяснения интересов ученика и уровня его гуманитарной пригодности, если так можно выразиться? Простите, я не специалист...

Польщенный Тримушки-Трай махнул рукой:

— Ну, уж и целая система... У каждого учителя свои приемы выяснения, кто чем дышит. В зависимости от этого и строишь работу.

Через сорок минут они расстались друзьями — по крайней мере, Тримушки-Трай так чувствовал.

— Во вторник, в десять утра, позвоните, пожалуйста, по этому телефону. В школе вас подменят. Рабочие часы будут оплачены. Мужской уговор: вся беседа должна остаться между нами. Согласны?

Тримушки-Трай пожал протянутую руку с искренним дружелюбием, какое возникло бы, вероятно, у кролика, снискавшего уважение травоядного удава.

1-й. Поскольку все в природе устроено по принципу взаимодополняемости, то жены простодушных людей, как правило, проницательны; и жена Тримушки-Трая отнюдь не составляла исключения. Из вида и поведения мужа нынешним вечером следовало, что нечто произошло и что это нечто он не намерен подвергать обсуждению. А посему была придумана печаль, претензии, ссора, примирение с коньяком и любовью, и будь Тримушки-Трай реалистом настолько, насколько он сам себя воображал, он понял бы, что в лице его жены Департамент лояльности прохлопал работника с большими данными. Ибо он выложил все, пребывая в уверенности, что делает это абсолютно добровольно, и легкая дрожь нарушителя государственной тайны шекотала его.

— Тебе хотят предложить работу, — заключила она.

— Мне? Они? Какую же? — чистосердечно удивился Тримушки-Трай.

— Как сказать... Но они поняли, что ты способен на большее.

Жены маленьких людей часто честолобивы за двоих, если не за все семейство. Самое обидное, что они сплошь и рядом бывают правы в своих анализах обстановки, а вынужденность смиряться с тупостью и вялостью суженых ведет их к презрению — если только любовь не оказывается выше обоснованных амбиций. Но Тримушки-Траю

везло и здесь — жена любила его. Так что сейчас она просто желала подпихнуть главу семейства в нужном, по ее мнению, направлении, как жука булавкой.

— И ты примешь предложение, — констатировала она.

Сам генерал Джексон Каменная Стена не сумел бы высказать эту формулу тоном более категорическим.

Под напором превосходящей воли Тримушки-Трай принял единственно разумное в подобных ситуациях решение: сделать по-своему, а после отовратиться.

Но — он знал свою жену хорошо. И — любил ее. Из чего следует, что к десяти утра во вторник он не мог бы ответить, кого боится в сложившихся обстоятельствах больше — жены или Департамента лояльности.

2-й. Он позвонил и назвался. Ответили, что пропуск приготовят к одиннадцати часам. На проходной у дежурного. Назвали адрес.

Дежурный был здоровенный мужик с борцовской шеей. Он изучил паспорт Тримушки-Трая и кивнул на окошечко — бюро пропусков. В окошечке пожилая женщина в военной форме выписала пропуск, оторвала от корешка и протянула. Дежурный еще раз изучил — теперь уже пропуск — и кивнул на лифт: «Четвертый этаж».

Тримушки-Трай помедлил, вдохнул-выдохнул перед дверью с нужным ему номером — 407. Часы в конце коридора сипло отзвонили четыре четверти и ударили раз за разом. Тримушки-Трай расправил плечи и постучал.

Дверь распахнулась сама. В просторном затененном кабинете за огромным полированным столом сидел человек в клетчатом пиджаке.

— Прошу вас, — сказал он будничным, чиновничьим голосом.

Тримушки-Трай вошел. Дверь закрылась.

— Садитесь, — чиновник кивнул на глубокое кресло.

Тримушки-Трай сел, утонув в кресле так, что голова его торчала на уровне стола, и это сразу создало ощущение неловкости и зависимости.

Чиновник извлек из ящика стола аккуратную папку и принялся листать. Тримушки-Трай, полагая в папке свое досье, немало готов был отдать за удовлетворение естественного интереса заглянуть туда.

1-й. Да, надо добавить, что в воскресенье вечером Тримушки-Трай позвонил нескольким университетским приятелям. Кого застал — потрепался на житейские темы, пытаясь незаметно переводить разговор в то русло,

что в городе стало, вроде, ха-ха, посвободнее. Разговоры сии развития не получили. Возникло неопределенное чувство неудобства, заминки, собеседники соглашались... а черт его знает, может, это просто кажется. То есть понятно, что просто кажется, но... нет, не клеились разговоры. А часть однокашников по старым телефонам не значилась, и телефонные станции разыскать их не сумели. Что ж, поразъехались, дело обычное...

2 - й. В жизни Тримушки-Трая наступил самый трудный момент.

1 - й. И в нашей повести тоже.

Курят в молчании. Чиновник продолжает листать досье.

2 - й. Нет, собственно... Если человек попадает в систему, раньше или позже он все равно узнает об общем положении тех дел, которыми его система занимается. А без людей не обойтись... А берут всегда людей проверенных... и всегда есть средства, которыми можно держать их в узде... В некий день и час Тримушки-Трай, работая на предназначенном ему месте, осознает истину... поэтому оптимальным вариантом представляется сразу выдать ему информацию и проследить реакции... тем паче что система ничем ведь не рискует и в случае его отказа. Суют его на должность не рядового исполнителя, а, как ни крути, своего рода творческого деятеля. Потом — предлагают же не первому попавшемуся, он подходит по всем данным.

Нет — это логично. Тримушки-Трай должен узнать все. Такова логика системы. Ею и будет сейчас руководствоваться чиновник.

1 - й. По-твоему, идет?..

2 - й. Смотри сам.

Тримушки-Трай скованно сидит в глубоком кресле, и румяным его сейчас назвать трудно.

1 - й. Веселенький разговор ему предстоит.

2 - й. Ладно. Вперед.

Чиновник поднимает глаза от папки. Глаза у него с желтоватыми в прожилках белками, карие зрачки покрыты голубоватой мутной пленкой.

Чиновник. Простите? Вы инспекция из нулевого отдела?

1 - й. Что-оо?

2 - й. Нам время исчезнуть.

Хватает 1-го за руку и тащит к двери. Чиновник нажимает ногой под столом кнопку звонка. Два охранника вырастают из дверей.

Чиновник. Почему вошли эти господа?

Охранники изображают позами верноподданность и непричастность.

Потрудитесь объяснить, как вы сюда проникли!

1 - й (*восхищенно*). Паршивец, а! Ты, однако, не зарывайся, а то ведь я щас опохмелюсь — и тебя не будет!

2 - й (*свистящим шепотом*). Заткнись, кретин, идиот!.. (*Ударяет его локтем в живот. Чиновнику.*) Это типичное недоразумение. Прискорбный казус!.. Видите ли, мы — писатели... (*Теряется, не зная, как вразумительно приступить к объяснению.*)

Чиновник (*с понимающим лицом*). Писатели. Журналисты?

2 - й. Ну да, почти...

Чиновник. Удостоверения, пропуска?

1 - й. О скот!

Чиновник. Сдать надзору четвертого. Обыскать и изъять по описи. Идентифицировать. Оставить за мной. Подать объяснительные по команде.

Охранники, каждый правой рукой сворачивая левое запястье соавторов, выдворяют их, и дверь закрывается; слышны удаляющиеся по коридору шаги и вопль 1-го соавтора: «Да мать твою!..», переходящий в сдавленное мычание.

Чиновник (*вздыхая, Тримушки-Траю*). И вот из-за такого ЧП порой летит насмарку вся служба. Как прикажете работать в таких условиях? (*Достает из стола пачку сигарет, предлагает Тримушки-Траю, закуривает сам. Доверительно.*) А у меня кардиограмма ухудшилась. Курение противопоказано. Поди брось тут... Держу вот на службе пачку...

Переходит в одно из двух кресел в углу, рядом с журнальным столиком, жестом предлагая Тримушки-Траю занять второе; в стене, отделанной панелью под дуб, открывает маленький бар, разливает по бокалам коньяк и разбавляет из сифона.

Ну-с, почувствуйте себя непринужденнее. Мы с вами почти коллеги, кончали один университет, правда, я на девять лет раньше. Социолог. Филолог, социолог, — родственные души. Так вот, не скрою от вас, что хотя видимся мы и впервые, но (*кивок на стол, где осталась папка*) кое-что, и даже немало, мне о вас известно, — вы понимаете, просто такая у нас работа, как у каждого своя работа, все это обычно, нормально, да — и как ваши взгляды, так и сами вы лично мне глубоко симпатичны. Глубоко! Не сочтите за грубую лесть. Лстить мне вам, как вы понимаете, незачем. Дело в другом. И не в вашем личном обаянии, хотя оно незаурядно. Поверьте.

Так вот. Вы человек с искренними убеждениями. И придерживаетесь своих убеждений даже вопреки материальной выгоде, карьере, известности. Именно так, не надо возражать! Вы получаете предложения от университетов — и отклоняете их. А это как-никак профессорский оклад и перспективы для научной работы. Издательство на должность, которую предоставляло вам, берет человека менее подходящего, а платит ему вдвое больше, чем получаете вы. Что же вас останавливает? Не стесняйтесь, голубчик, люди, как известно, вечно стыдятся вовсе не того, чего следовало бы.

Я сам отвечу вам. В нашем достаточно бессмысленном мире вы занимались, простите, занимаетесь одним из немногих дел, имеющих смысл: вы учите детей. Причем не абстрактной математике — литературе. Вы воспитывали из них, по мере своих сил, людей — в подлинном смысле

этого слова. Вы учили их внутренней честности и порядочности, учили понимать и чувствовать прекрасное, быть терпимыми, мыслить самостоятельно и поступать благородно — пусть даже в ущерб материальной выгоде и карьере...

А сами, отклоняя предложения и приглашения, рассуждали примерно так: «Материально я выиграю немного. Того, что я имею, мне хватает. Как-то сложится все на новом месте? Я иду утром на работу без отвращения. Какого еще черта человеку надо?». Вы, голубчик, как всякий закоренелый идеалист, считали себя последовательным реалистом. Идеалист, заметьте, в хорошем, в высоком смысле слова.

Таких людей весьма, голубчик, и весьма мало. И мы таких ценим на вес золота. «Мы» — я подразумеваю государственный аппарат. Ибо именно такие люди, вкладывающие душу в свое дело, не просто добросовестные и способные, нет, талантливые и преданные своему делу, жизненно необходимому стране и народу, я говорю — не государству, заметьте, государство — аппарат, пшик, каркас для скульптуры, корабль для команды, — такие люди служат тем же целям, которым служит или, во всяком случае, обязано служить государство — оставим высокие слова нашим ораторам, — служить тому, чтоб люди были людьми и жили по-человечески. (*Допивает бокал, ставит, вздыхает, машет рукой и закуривает еще сигарету*).

Дорогой мой, единственная задача государства — чтобы люди жили по-человечески. Но чего это стоит, боже мой, чего же это стоит!.. Вы помните, что творилось еще десять лет назад? Безработица, бандитизм, нищета!.. Наркоманы, экстремисты, забастовки, демонстрации — отчаявшиеся люди требуют того, на что имеют право по одному уже рождению! У кого? У так называемых «правителей»... А что могут эти «правители»? Ну что они могут, я вас спрашиваю? Рабочих мест не хватает, энергии не хватает, сырья не хватает, валюты не хватает, квартир и больниц не хватает, и все увязано одно с другим! не пошевелить... Ну, какой вы, вот вы можете предложить выход? А? Да не бойтесь вы, господа, говорите, это откровенный разговор, вам ничего не грозит. Ну что: социальные перемены, революция, национализация, обобществление?

Т р и м у ш к и - Т р а й (*нерешительно*). Допустим...

Чиновник. Допускаю! Хорошо! Первое: все собственники, владельцы средств производства автоматически становятся в ряды безработных. Чудно! Анархия в производстве, это второе. Резкий экономический кризис — три. Четыре — недовольны не только экспроприированные, но и потребители их продукта — продукт на время исчезает, а потребляют все. Подходит? Нет. Оставить их на местах с правами наемных менеджеров? Но что это даст? Деньги все равно в банках, недвижимость все равно в государстве. А угроза гражданской войны? А забастовки всех, в всех частных предпринимателей? Военное положение, газовые гранаты, национальная гвардия — в ход, что ли? Зачем? чтоб вернуться к разбитому корыту? Нет, голубчик, экономист вы слабый. Ну, следующий способ?

Тримушки-Трай. Гм... Меньше потреблять... отказаться от ненужного в быту. Высвободится энергия, сырье, средства.

Чиновник. Прежде всего высвободятся рабочие руки, и государству придется кормить еще мирнады безработных и их семьи. Резко нарушится оборот средств — люди будут меньше покупать. Вы призываете фактически к удешевлению рабочей силы — это антиисторично и антинаучно, я не говорю уж о гуманистическом аспекте. За тот же труд люди будут иметь меньше благ — это забастовки. Мы не получим высвобожденных средств на подъем экономики — мы прежде всего потеряем мощности и средства, разрушим государственный бюджет, не сведем концов с концами. Нет?

Тримушки-Трай. А временно... равномерно уменьшить производительность труда?

Чиновник (*ласково и устало, словно ребенку*). Ну, сможем занять всех. Что имеем — поделим на всех. А чего не имеем — откуда возьмем? А нехватку во всем — ее тоже на всех поделим? Экономика-то тютю у нас... И подъема ее так не достичь никогда — наоборот, угробим навеки. Стать луддитами ратуете, что ли?.. Полная наивность...

Тримушки-Трай (*отрекаясь от своих проектов*). Да. Разумеется. Государство сделало колоссальное дело. Мне не надо это доказывать. Я голосую на выборах.

Чиновник. Доказывать, к прискорбию, приходится даже неоспоримые истины. Да — государство сделало. Мы сделали. Я вот, скромный, как говорится, винтик машины, вылечу завтра с инфарктом — через час

заменят, но я говорю — мы. И — мы с вами, лично с вами — вместе.

Кстати — вы не могли не отметить, что ученики ваших последних лет толковее предыдущих, а?

Тримушки-Трай. Да-да... У меня есть такое... не впечатление, нет, они действительно более развиты и интеллектуальны.

Чиновник. Бесспорно. И все, или почти все они должны бы получить высшее образование и работать мозгами, а?

Тримушки-Трай. Я думаю так же.

Чиновник. Будьте уверены, так и произойдет. Они достойные ребята, и государство о них позаботится. (*Понижая голос*). И вы тоже, сами, лично вы тоже должны о них позаботиться.

Тримушки-Трай (*понимая, что встреча подходит к тому, ради чего затеяна*). Я думаю так же.

Чиновник (*прикасаясь к его руке, сердечно*). Вы не могли ответить иначе. Поэтому мы и пригласили именно вас. Вас!..

Тримушки-Трай. Я должен что-либо делать?

Чиновник. Только то, что велит вам ваша совесть. А ваша совесть не может не велеть вам приносить максимальную пользу людям.

Тримушки-Трай. Как бы... Разумеется...

Чиновник. Открою вам секрет. Первый из секретов, который я вам открою. Да не пугайтесь, голубчик, неужели вы думаете, что я вас в стукачи вербую!.. Полноте.

Так вот. Мы несколько расторопнее и, смею надеяться, разумнее вашего Департамента обучения. Потому что уже год применяем ваши тесты. И при полном уважении к вам как к филологу и преподавателю сочту долгом присовокупить, что ваши способности психолога много и ценнее, и качественнее... я не нахожу подходящих слов, грубо льстить не хочу... но мы, как естественно предположить, используем сливки мировых достижений.

Тримушки-Трай. Я должен буду уйти из школы?

Чиновник. Повторяю, вы должны будете делать только то, что повелит вам ваша совесть. Но мы были бы счастливы, — открываю карты сразу, — мы очень заинтересованы заполучить вас к себе. Транспорт и коттедж государственный, все льготы сотрудника нашего департамента, пенсионный возраст на пять лет ниже общего. Оклад — двадцать пять двести в год; четверть

президентского и вдвое выше среднего. Дело — психология. Разработка, проверка и внедрение тестовых систем для социальной и профессиональной дифференциации. Будучи сам по образованию социологом, искренне заверяю, на основании полного комплекса данных вашей собственной биографии, что вы именно тот человек, какие нам крайне, подчеркиваю — крайне, видите, я ничего не скрываю от вас, — требуются.

Тримушки-Трай. Когда ответ?

Чиновник. Не торопитесь. Обдумайте спокойно. *(Снова наполняет бокалы)*. Вы ведь согласны, что долг каждого — максимально использовать свои способности на благо своего народа и всего человечества?

Тримушки-Трай. Безусловно.

Чиновник. Значит, в принципе вы уже согласны. О нет, я на вас не давлю, упаси бог! Еще один момент: а как быть с преступником, которого невозможно перевоспитать? садистом? Ваше мнение?

Тримушки-Трай *(с непониманием)*. Изолировать?..

Чиновник. И пусть порядочные люди его кормят, одевают, сторожат?

Тримушки-Трай. Он должен трудиться. Принудительно.

Чиновник. Обречь на рабство?

Тримушки-Трай. Воспитание личности созидательным трудом...

Чиновник. Ага. Закатать лет на сорок каторги — и покойник осознает ошибки. Нет, вы определенно большой гуманист.

Тримушки-Трай. Я не совсем понимаю... Но смертная казнь у нас запрещена законом...

Чиновник. Вы соображаете: куда я гну? Хорошо. Еще вопрос: вы согласны, что назначение человека — не есть, пить, гадить, спать, развлекаться, а в первую очередь — оставить свой созидательный след на земле?

Тримушки-Трай. Разумеется...

Чиновник. Не осудите, что с вами, образованным и талантливым человеком, я разговариваю прописными истинами. Они, знаете, так привычны, что по привычке опускаются, исчезают при рассуждениях.

Продолжаю: следовательно, долг каждого человека и гражданина не только созидать самому, но и всячески способствовать, чтоб так же жили другие, все?

Тримушки - Трай. Так.

Чиновник. Так. Именно так. И если наркоман, сексуальный маньяк, киллер мафии, подонок потенциально способен построить прекрасное здание, или насадить благоухающий сад, или проложить дорогу через пустыню, — то наш долг реализовать эти его возможности на благо ему и нам?

Тримушки - Трай. Ну. Так. Конечно.

Чиновник. Конечно. Вы слышали о теории Кайми-Отта?

Тримушки - Трай. Нет.

Чиновник. А о Ван-Гоге, Шелли, Галуа вы слышали? Не обижайтесь... А знаете пословицу: «Избранники богов умирают рано»? Задумывались, конечно, — филолог — о тридцати годах, и тридцати шести-семи, и сорока — сорока двух? Масса примеров, да?

Ах, голубчик, все в слова играем. Человек приходит, чтобы уйти, и чем больше оставляет, тем меньше остается его собственного материального существования.

Легенды не лгут, голубчик. Сущность теории Кайми-Отта к тому и сводится. Я имею в виду легенды и сказки о превращениях. Дракон в принца и наоборот, глина в человека и наоборот... и важно тут, заметьте, не заколдовать, а расколдовать. В этом отличие злых волшебников от добрых. Из уродливой оболочки извлечь прекрасную истинную сущность. Уродливо же то, что не соответствует тысячелетиями сложившимся представлениям о добре, пользе, красоте, справедливости. Разве не гуманно превратить уродливого садиста в то, чем он был предназначен стать на земле: в цветущий сад?

Тримушки - Трай. *(поддаваясь его тону)*. Да, да... если бы это было возможно...

Чиновник. И важно не ошибиться. Как важно не ошибиться, вы понимаете! Не использовать государственную печать для колки орехов. Не пускать броневую сталь на кастрюли, красное дерево на туалетную бумагу!

Тримушки - Трай. Да, да...

Чиновник. Вот в этом и будет заключаться ваша задача. Гуманнейшая, я бы сказал, задача.

Тримушки - Трай. *(с недоумением, еще исключаящим догадку; как проснувшийся человек)*. Что?

Чиновник. Мы говорили с вами о кризисе, который пережила страна. О практической невозможности

преодолеть его обычными средствами. О назначении человека. И обнаружили единство взглядов, не так ли?

Тримушки - Трай. Т-так...

Чиновник. Даже в экстазе наслаждения мы сокращаем наш век и приближаемся к смерти. Нельзя одновременно получать удовольствие от вкуса пирожка и его вида. Это я к тому, что (*резко перегнувшись через стол, глядя в глаза, жестко*) население наше несколько уменьшилось, вы обратили внимание, не правда ли?

Тримушки - Трай. (*как бы в гипнотическом внушении машинально кивает*). Д-да... (*С выражением появляющегося ужаса*). И... что же?..

Чиновник. Полноте, голубчик. Я с вами совершенно откровенен. Не притворяйтесь же и вы таким непонятливым. В сущности, раз уж вы побаиваетесь и стесняетесь себя самого, открою вам: не так уж это вас и волнует.

Тримушки - Трай. Вы хотите...

Чиновник. Помилуйте. Избавьте меня от формулы: «Вы хотите сказать этим, что... Боже мой! Этого не может быть!..» Будьте честнее. Интеллигент не должен быть фарисеем.

Тримушки - Трай. Я слушаю вас...

Чиновник (*наполняет его бокал коньяком, на сей раз не разбавляя*). Выпейте! Да! Мы — мы! — взяли на себя тягчайший груз ответственности! На себя! (*Нервно, с болью.*) Чтоб спасти всех... Достойных... Чтоб вы не подошли на помойке, а ваши ученики не выросли скотами. А ваши дети появились на свет... (*Закуривает. Доверительно*). Наш отдел самый вредный из всех. Нервов, нервов... А платят столько же.

И перестаньте, я вас умоляю, делать лицо Христа, которому предлагают за три десятки избавиться в профилактических целях от Иуды. Вам это не идет.

Тримушки - Трай. Вы поймете меня... и извините... я отказываюсь.

Чиновник. И прежде чем петух пропоет, трижды... Слушайте, я перестану вас уважать, честное слово. Ну давайте рассудим трезво:

Первое. Подавляющее большинство людей у нас счастливо. Работа по душе, достаток, покой.

Второе. Счастливы не баловни судьбы, не жизнедеятельные приспособленцы, а — лучшие головы, порядочные, терпимые к ближним.

Третье. Преступности нет. То есть порядочные люди не рискуют погибнуть ни за понюх табаку, а другие порядочные люди не тратят жизнь на борьбу с мерзавцами.

Четвертое. Перенаселенности нет — даже вас никто не толкает на вашем тротуаре, верно?

Пятое. Сырьевой кризис, энергетический, нехватка средств на медицину, обучение — все это ликвидировано; царит экономическое процветание.

Шестое. Никчемные люди, отбросы породы гомо сапиенс, недостойные вообще дышать — воплотились непосредственно в материальные ценности. Без пота, заметьте, без унижений, без жестокостей и страданий — гарантирую вам. Да это честь для них!

Чего же вы еще можете желать?

Тримушки-Трай. Фашизм!..

Чиновник. Не низводите себя до обывателя. Эта мания — наклеить ярлык и успокоиться...

Тримушки-Трай. Кто осмелится присвоить право!..

Чиновник (*саркастически, быстро*). Право спасти вас, заблудших баранов? А кто дал вам право получать свою капусту?

Тримушки-Трай. Люди, их судьбы...

Чиновник (*поспешно пребывает*). Типичная ошибка, порочное заблуждение. Кто поведал вам, что такое — люди? Правомерно ли упорствовать в ереси, что мерзкий, преступный, жалкий, отталкивающий, гадкий человек — это истинная сущность материи, а хрустальный купол здания — не истинная? Вы ошибаетесь, и ошибаетесь наивно, Тримушки-Трай. Человек, ставший паровым катком, всегда был паровым катком. Всегда. Мы лишь возвращаем ему его исконную сущность. Понимаете?

Ну, какой упрек еще вы мне предъявите? Справедливость?

Тримушки-Трай. Справедливость.

Чиновник. А справедливо ли, что гений живет в дерьме и очень недолго, самым коротким и прямым из известных ему способов превращая себя в шедевры, которыми наслаждаются сытые?

Тримушки-Трай. Это его — высшая! — форма существования.

Чиновник. А мы даем такую — высшую! — форму существования — каждому! Почему вы хотите лишить их

удела избранных? Вы не впадаете в элитарность, а, демократ?..

Тримушки - Трай. Гений избирает сам!

Чиновник. А мы помогаем слабому! Он служит людям — на века: вот высший смысл. А от нас с вами останется пшик. Так что его удел даже и выше.

Тримушки - Трай. Я отказываюсь.

Чиновник. По вашей вине человек, предназначенный природой стать белоснежкой надстойкой лайнера, может превратиться в зеркало для бара. Ведь ваша задача, господин учитель, — определять, кто чего стоит.

Кроме того — подумайте о собственном назначении. О полной реализации всех заложенных в вас возможностей. Ведь чем полнее напрягает человек все свои способности — тем в большей степени он именно живет, а не прозябает. Стремление к самоутверждению, жажда самореализации, долг перед обществом велят нам жить в максимальном напряжении сил, делать самое большее, на что мы годимся.

Тримушки - Трай. Мне неловко вас задерживать и утомлять, но я отказываюсь.

Чиновник (*с презрительно-насмешливыми нотками*). А вы не знаете, отчего не задумывались раньше, куда деваются люди и откуда берется все? Может, у нас завелся гаммельнский крысолов, а вместо дудочки у него рог изобилия, мм?.. Да, у нас институты слухов, отвлекающая информация, контроль утечек, выборка по кустам с учетом сфер связей и знакомств, но ведь имеющий глаза да разует их, коллега! Вам было плевать на всех! Вы общались с семьей и коллегами по школе — это один слой, нужный, мы здесь не трогали, — прочие вас не волновали. А вы не допускаете, что в глубине души подозревали нечто подобное, мм? Но ваше сознание не желало дискомфорта, и эта скверная мысль туда просто не допускалась: так швейцар отгоняет от дверей ресторана шокирующего вида бродягу.

Оставьте же хоть сейчас лицемерие. Отдайте себе отчет в том, что ваш услужливый и изощренный интеллигентский разум подает наверх именно то, что требуется психоморально-интеллектуальной структуре вашей личности для нормального функционирования. Станьте честны! И сумейте сохранить верность себе, увидев все вещи в их нагой сути, не зависящей от вашего эгоистичного стремления сохранить добродетель в собственных глазах. Вот тогда я, может быть, стану уважать вас по-настоящему.

Тримушки-Трай. Всю жизнь я учил детей честности и добру...

Чиновник (*перебивает*). Кстати, не забудьте о собственных детях. Где гарантия, что они станут интеллектуалами? А для своих всегда случаются послабления, все на свете, знаете, люди...

Тримушки-Трай. Кто знает, пока они вырастут... И потом, они у меня умные ребята... Нет.

Чиновник (*вытягивает из нагрудного кармана своего клетчатого пиджака свежий белый платочек и с некоторой аффектацией вытирает лоб. Лоб бледный, как и все лицо, в частых мелких морщинках*). Вы меня утомили.

Тримушки-Трай. (*тоже вытирается. Ворот его голубой сорочки промок*). Боюсь, что мы не договоримся.

Чиновник. Не бойтесь. Ничего не бойтесь. Будьте мужчиной. Потому что, судя по вашему тупому упорству, через час вы выедете из ворот малоприметного здания в трех кварталах отсюда в виде чего-нибудь вроде дюжины унитазов. Сомневаюсь, чтобы вы, как истый яйцеголовый, годились на что-либо лучшее.

Пауза. Видно, что Тримушки-Трай взвешивает все в последний раз. Выглядит он явно измученным. Судя по выражению лица, он уже в значительной мере утратил способность соображать. Принимает вид совершенно отрешенный.

Тримушки-Трай. Нет.

Чиновник (*извиняющимся тоном*). Разумеется, вы понимаете, что лично я испытываю к вам, к вашей стойкости только симпатию — при всем моем сожалении о вашей непонятливости, — но и при вашей непонятливости вы понимаете, что мы не можем, не должны, не имеем морального права выпустить вас с той информацией, которую вы получили.

Тримушки-Трай. Пусть... Другие и так поймут, в конце концов.

Чиновник. Вы не иначе как считаете, что здесь дураки собрались, коллега. Нет — не поймут. Тем, кто поймет, мы предложим работать с нами. Одни начнут работать с нами, другие — на нас, с позволения выра-

зиться. Помимо этого, мы уже ввели психологический отбор — убеждаетесь на себе; тесты ваши небезынтересны, но без вас лично мы благополучно управимся; к тому же завершается программа исследований по введению отбора генетического. Далее — мы уже почти привели уровень населения к оптимуму, а при дальнейшем наращивании экономики и вообще, вполне вероятно, отойдем от современного метода. Временные, так сказать, и экстренные меры.

Ладно. (*Дружески подмигивая*). Помогите вам завершить эту маленькую сделку с вашей маленькой нездоровой совестью. Знаете, что делает разумный человек, если совесть у него захромала? Покупает ей костыль, голубчик. Хотя вы и так уже, в сущности, согласны, но — стесняетесь. Будь по-вашему. Ультима рацию.

Кряхтя, открывает в панели рядом с баром экран телевизора. Включает. Появляется изображение жены Тримушки-Трая, кормящей детей: двухлетний сын увертывается от ложки с кашей, дочка смотрит осуждающе.

Еще Цезарь поучал — води дело с людьми семейными, они покладисты. Обязан ли я пояснять, что унитаза получится не одна дюжина, а четыре? или три с мелочью — это вне моей компетенции. Тихо! Тихо! Ну?! Работаете? Да — нет, времени не даю. Все! Нет?

Тримушки-Трай. Да.

Чиновник. Без десяти двенадцать. Мы с вами хорошо управились. На десять минут прежде срока. Выпейте еще, коллега, не переживайте — коньяк казенный. А работа вам понравится, я уверен. Возможности у нас неограниченные. База, аппаратура — это ж сказка. Мечта любого ученого.

Что же до ваших переживаний — голубчик, с непривычки новое дело часто слегка пугает. Пустое. Привыкнете, увлечетесь. Везде своя специфика. Люди переходят в вещи, дела — это же закон природы. Учитывая законы, помогать им, направлять, использовать, — естественное дело и право человека.

Кстати, а кто были те двое, вы знаете? Не догадались? Нет? М-да... А я знаю. И они, я думаю, тоже все знают... Такая работа.

Возвращается за свой огромный полированный стол, садится спиной к окну, так что против света виден только его силуэт на фоне ярко голубеющего неба — утро было хмурое, а сейчас распогодилось. Щелкает тумблером селектора.

Дежурный? Четыреста седьмая. Двое за мной. Результаты?

Селектор. Документов нет. По редакциям не значатся. По центральному справочному не значатся. По дактилоскопии не значатся. Допрос неадекватен. Дан запрос на психиатрическую экспертизу.

Чиновник (*тихо и даже с некоторой грустью*). Запрос отменить. Акт по форме два-девятнадцать. Текущим транспортом в утилизацию. Накладную к отчетности. Рапорт в общем порядке.

Селектор. Есть. (*Щелкнув, отключается*).

Чиновник. Вот такие пирожки, голубчик. Ну, давайте ваш пропуск, поставлю печать. Топайте себе домой, успокойте жену. Трейлер придет в среду, в девять утра. Переберетесь в наш городок — это пятнадцать миль от города, побережье, закрытая зона — рай. Четыре дня на устройство, в понедельник в восемь пятьдесят звоните по тому же телефону.

Порадую напоследок: вероятно, в будущем вам предстоит работать над интереснейшей и благороднейшей задачей, которая должна прийтись вашей филологической душе вполне по вкусу. Поскольку ряд авторитетов считает в принципе малогуманным сокращать срок существования материи в форме гомо сапиенс, наделенной сознанием гомо сапиенс, то в перспективе перед нами вырисовывается задача обеспечить этому сознанию полнометражную, так сказать, жизнь, независимо от реального времени. Пусть себе субъективно проживут за пять минут транспортировки хоть Мафусаилов век и семь сундуков приключений. А время — хм... ученые так и не выяснили, что это такое... кто знает... Для самих-то себя они явятся полноценными долгожителями, так что им грех жаловаться. Поскольку реальность дана нам в наших ощущениях, верно? мм? — или вы не придерживаетесь этого тезиса? — то для них реальность будет поистине восхитительна. Ну, разве не благородная задача?

Тримушки-Трай (*забирает отмеченный пропуск, направляется к дверям, уже у порога задумывается на секунду и, обернувшись, спрашивает с мстительным интересом*). Послушайте, коллега, а вы не думаете, что эта задача уже решена?

Чиновник (*с искренним профессиональным интересом, но недоверчиво и слегка не понимая*). То есть?

Тримушки-Трай. Что реально-то мы с вами находимся сейчас уже в транспортировке, превращаемся в унитазаы и хрустальные здания? А это — так... гипноз.... наше субъективное представление.

Чиновник (*раздраженно*). В свободное время я с удовольствием побеседую с вами о Шопенгауэре и прочем. В садике, вечером. За коктейлем.

Тримушки-Трай. А все же?

Чиновник. К сожалению, мы не располагаем более временем. Работа есть работа. Честь имею кланяться.

КОШЕЛЕК

Черепнин Павел Арсентьевич не был козлом отпущения — он был просто добрым. Его любили, глядя иногда как на идиота и заботливо. И принимали услуги.

Выражение лица Павла Арсентьевича побуждало даже прогуливающего уроки лодыря просить у него десять копеек на мороженое. Так складывалась биография.

У истоков ее брат нянчил маленького Пашку, пока друзья гоняли мяч, голубей, кошек, соседских девчонок и шпану из враждебного Дзержинского района. Позднее брат доказывал, что благодаря Пашке не вырос хулиганом или хуже, — но в Павле Арсентьевиче не исчезла бесследно вина перед обделенным мальчишескими радостями братом.

На данном этапе Павел Арсентьевич, стиснутый толпой в звучащем от скорости вагоне метро, приближался после работы к дому, Гражданке, причем в руках держал тяжеловесную сетку с консервами перенагруженного командировочного и, вспоминая свежий номер «Вокруг света», стыдливо размышлял, что невредно было бы найти клад. Научная польза и радость историков рисовались очевидными, — известность, правда, некоторая смущала, — но двадцать (или все же двадцать пять?) процентов вознаграждения пришлось бы просто кстати. Случилось так, что Павел Арсентьевич остался на Ноябрьские праздники с одиннадцатью рублями; на четверых, как ни верти, не тот все-таки праздник получится.

Он попытался прикинуть потребные расходы, с тем чтобы точнее определить искомую стоимость клада, и клад что-то оказался таким пустяковым, что совестно стало историков беспокоить.

Отчасти обескураженный непродуктивностью результата, Павел Арсентьевич убежал мыслями в предшествующий октябрь, сложившийся также не слишком продуктивно: некогда работать было. Зелинская и Лосева (острили: «Если Лосева откроет рот — раздается голос

Зелинской») даже заболеть наладился на пару, так что когда задымил вопрос о невеличской командировке, к Павлу Арсентьевичу, соблюдая совестливый ритуал, обратились в последнюю очередь. Тем не менее в Невеле именно он, среди света и мусора перестроенной фабрики, целую неделю выслушивал ругань и напрягал мозги: с чего бы у модели 2212 на их новом клее стельки отлетают?

А по возвращении затребовался человек в колхоз. Толстенький Сергеев ко времени сдал жену в роддом, а «Москвича» в ремонт, вследствие чего картошку из мерзлых полей выковыривал Павел Арсентьевич. Он служил как бы дном некоего фильтра, где осаждались просьбы, а предложения застревали по дороге туда.

Слегка окрепнув и посвежев, он прибыл обратно, уже снег шел, как раз ко дню полочки. Полочки накапало семьдесят шесть рублей, да премии десятка.

Среди прочих мелочей того дня и такая затерялась.

В одной из натисканных мехами кладовых ломбарда на Владимирском пропадала бежевая болгарская дубленка, а в одной из лабораторий административного корпуса фирмы «Скороход», громоздящегося прямоугольными серыми сотами на Московском проспекте, погибала в дальнем от окна углу (как самая молодая) за своими штативами с пробирками ее владелица Танечка Березенько, — с трогательным и неумелым мужеством. Надежды на день полочки треснули, и завалилась вся постройка планов на них: до Ноябрьских праздников оставалось четыре дня.

Излишне говорить, что Павел Арсентьевич сидел именно в этой лаборатории, через стол от Танечки. В дискомфортной обстановке он проложил синюю прямую на графике загустевания клея КХО-7719, поправил табель-календарик под исцарапанным оргстеклом и нахмурился.

Молчание в лаборатории явственно изменило тональность, и это изменение Павел Арсентьевич каким-то образом ощутил направленным на себя.

Дело в том, что дома у него висел удачно купленный за сто рублей черный овчинный полушубок милицейского образца, а у Танечки в дубленке заключалось все ее состояние.

Короче, вызвал тихо Павел Арсентьевич Танечку в коридор и, глядя мимо ее припухшей щеки, с неразборчивым бурчаньем сунул три четвертных. Увернулся от Сеньки-слесаря, с громом кантовавшего углекислотный баллон, и торопливо к автомату — пить теплую газировку...

И вот поднимался он на эскалаторе, и жалел жену... Среди толчеи площади рабочие обертывали кумачом фонарные столбы, а когда Павел Арсентьевич опустил глаза — на затоптанном снегу темнел прямоугольничек: кошелек. Только он нагнулся, как трамвай раскрыл двери, толпа наперла и так и внесла сложенного скобкой Павла Арсентьевича с кошельком. Пока он кряхтел и штопором вывинчивался вверх, сзади загалдели уплотняться, вагоновожатая велела освобождать двери, даме с тортом и ребенком придавили как первый, так и второго, юнцы сцепились с мужиком, передавали на билеты, трамвай разгонял ход... — момент непосредственности действия как-то исчезал, а злосчастная застенчивость сковывала Павла Арсентьевича все мучительнее. Спросил бы кто... А то вот, мол, благородный выискался, оцените все его честность и кошелечек грошовый, гордого собой... Заалел Павел Арсентьевич (и то — давка), однако собрался с духом уже, — да раздвинулись двери, народ вывалился и разбежался в свои стороны, и остался он один на остановке.

И тут обнаружил, что рука-то с кошельком — в кармане. Тьфу.

Черт ведь... Теперь в бюро находок завтра тащиться...

Кошелечек коричневый, потертый, самый средненький. Срезая пахнувшим по-зимнему соснячком путь к подъезду, Павел Арсентьевич не выдержал — обследовал... Содержимое равнялось одному рублю, ветхому, сложенному пополам. Эть, — из-за пустяков...

— Верочка, — сказал он в дверях, улыбнувшись и ясно ощутив движение лицевых мускулов, создавшее улыбку, — сегодня, знаешь...

Жена была верной спутницей жизни Павла Арсентьевича и настоящим другом; они делились всем. Она выразила взглядом дежурную готовность мирно принять известие и помочь найти в нем положительную сторону. Они хорошо жили.

— Мамочка! бежит! — запаниковала Светка из кухни, грибной дух и шипение распространились одновременно, Верочка взмахнула руками и исчезла. Проголодавшийся Павел Арсентьевич стал настраиваться к обеду: разуваться, переодеваться, мыть руки и попутно растолковывать Валерке, что такое бивалентность и (подглядев в словаре) амбивалентность, причем соглашался долговязый Валерка высокомерно, — возрастное...

За столом Павел Арсентьевич, дуя на суп, изложил про дубленку. Верочка разложила второе, налила кисель, щелкнула по макушке Валерку за то, что он жареный лук из тарелки выуживал, и умело раскинула высшую семейную математику, теория которой ханжески прикидывается арифметикой, а практика сгубила не один математический талант.

После, выставив детей и конфузясь, Павел Арсентьевич чистосердечно поведал обстоятельства находки и предъявил кошелек. Верочка ознакомилась с рублем номер ОЕ 4731612, 1961 года выпуска, обязательным к приему, подделка преследуется по закону, и сказала:

— Бир сом!

— А? — встревожился Павел Арсентьевич.

— Бир манат, — сказала Верочка. — Укс рубля. Адзин рубель. Добытчик мой!..

Посмеялись...

Назавтра у Верочки после работы проводилось торжественное собрание, так что Павел Арсентьевич должен был спешить домой — контролировать детей. В четверг же, следуя закономерности своей жизни, он трудился на овощебазе (неясно, вместо кого): таскал в хранилище ящики с капустой. Когда расселись на перерыв, Володька Супрун, начальник второй группы, стал по рублю народ гоношить. Бутерброды у Павла Арсентьевича были, рубля же — нет... А Володька ждет, и все смотрят... Плюнул про себя Павел Арсентьевич, достал найденный кошелек, который потом в бюро сдать намеревался, и подал рубль, под шуточки компании.

За портвейном с Володькой он же в очереди давился.

Застелили ящики, устроили застолье, встретили предварительно наступающий праздник 7 Ноября. По-человечески, по-свойски; хорошо.

Праздничным утром Павел Арсентьевич еще кейфовал в постели, а вернувшаяся из универсама Верочка уже варила картошку, перемешивала салат и наставляла Светку не-мед-ленно поднимать ленивых мужчин. И водочка на белой скатерти отпотевала, и шпроты, и огурчики, так что Павел Арсентьевич умильно подивился Верочкиной изворотливости.

Ответ ему был:

— Пашенька... да я у тебя же в кошельке взяла...

Павел Арсентьевич не понял.

— Ну... который ты нашел... В куртке нейлоновой, что для овощебазы, во внутреннем кармане... лежал...

Павел Арсентьевич совсем не понял. Розыгрыш.

— Двадцать рублей, — растерялась Верочка. — По пятерке. Три шестьдесят сдачи осталось...

Валерка, паршивец, из туалета голос подал:

— Дед-Мороз принес, чего неясного!..

Насели на Валерку, но он с шумом спустил воду. По телевизору загредел парад, Светка индейским кличем потребовала своей доли веселья в торжестве, пожаловал Валерка и нацелился отмерить себе алкоголя, — праздник раскручивал свое многоцветное колесо: утюжить костюм, ехать гулять на Невский, из автоматов обзванивать с поздравлениями знакомых, собираться в гости к Стрелковым на Комендантский аэродром... Возвращаясь ночью, вспоминали, как Верочка однажды из мешочка пылесоса вытряхнула десятку... Мало ли забот...

В этих заботах он с легким сердцем пожертвовал жениховствующему, предсвадебному Шерстобитову два билета на Карцева и Ильченко, а сам подменил его в дружине: подняв ворот тулупчика, до полуночи патрулировал пустынную Воздухоплавательную улицу, знакомясь с историями из жизни бывшего двадцатилетнего старшины.

Из почтового ящика в подъезде Павел Арсентьевич вынул открытку с напоминанием о квартплате.

— Ну-ка... тряхни нашу самобранку! — пошутил он, поцеловав Верочку в прихожей. И как-то... не то чтобы они друг друга поняли... а может, и поняли...

Верочка открыла защелку стенового шкафа, достала из синей нейлоновой куртки с надорванными карманами кошелек, с улыбкой открыла, перевернув, и тряхнула. На зеленый линолеум прихожей выпорхнули синенькие пятёрки: раз-два, три, четыре...

В спальне испуганный совет шел шепотом, хотя дети в другой комнате давно спали. Ночью Верочка грела молоко: Павел Арсентьевич не мог уснуть, а снотворное в их доме отродясь не требовалось.

— Товарищи, — храбро спросил Павел Арсентьевич в лаборатории, — кто мне двадцать рублей возвращал, братцы?..

Прозвучало бестактно. Большинство хмыкнуло, а Танечка Березенько покраснела. Толстенький Сергеев по-

жал ему плечо и мужественным голосом попросил обожать аванса. Павел Арсентьевич смутился, отнекивался.

Отнекиваться у Агаряна, Алексея Ивановича, начальника лаборатории, не приходилось. Алексей Иванович хлопотливо усадил его в кресло, угостил сигаретой, осведомился о жизни, после чего ущипнул себя за кавказские усики и поручил бегленько накидать ему тезисы для выступления на отраслевом совещании, — за последние полгода, только основы, ну, как он умеет. Всех след простыл, а Павел Арсентьевич терзался муками слова, пока сдал перелицованный текст злой золотозубой блондинке, распускавшей свитер в пустом машбюро.

Перед сном он стукнул кулаком по подушке, извлек из тумбочки возле кровати помещенный туда кошелек и дважды пересчитал восемь бумажек пятирублевого достоинства.

— Верочка, — фальшиво и крайне глупо обратился к ней Павел Арсентьевич, — ты зачем сюда-то свой аванс положила?..

Аванс лежал в денежной коробке из-под конфет «Белочка», в бельевом шкафу. Павел Арсентьевич закурил в спальне. Верочка пошла греть молоко.

От субботника, проводимого в четверг, Павел Арсентьевич неумело попытался увильнуть. («С таким лицом отказать в просьбе — значит обмануть в искреннейших ожиданиях... Непорядочно...») И выгребал Павел Арсентьевич ветошь из закройного без всякого подъема духа.

И подозрения его не могли не оправдаться.

Плюс двадцать ре.

А в пятницу хоронили директора пятого филиала, и отряженный от лаборатории Павел Арсентьевич стоял с траурной повязкой среди венков с лицом воистину скорбным...

Плюс двадцать ре.

В его отсутствие Верочка погасила задолженность за квартплату, прибегнув к сумме из этого кошелька. Грянула сцена.

Убедившись в недостатке, Павел Арсентьевич хлопнул своим персональным Клондайком об стену и призвал Верочку в спальню.

— Что — это? — твердо спросил он.

Верочка засвидетельствовала:

— Это деньги.

— Откуда? — надавил Павел Арсентьевич. Для него такая интонация являлась признаком значительного раздражения.

Верочка ответила:

— Из кошелька, — и нервно засмеялась.

Ночное совещание постановило: ну его к лешему. Унизительно и небезопасно. Что надо — на то они сами заработают. Еще неизвестно, откуда эти деньги в кошельке берутся. И вообще, что это за кошелек такой. Может, здесь такое замешано, что потом грехов не оберешься. Лучше держаться подальше. А посему — сдать в бюро находок, и пусть кому принадлежит — тот и владеет.

На Литейном, в бюро находок («гибрид сберкассы и камеры хранения вокзала»), Павел Арсентьевич заполнил за стойкой бланк. Похожий на гардеробщика в синем халате старик казенно кивнул. Павел Арсентьевич сунулся в карман, засуетился и оцепенел: забыл дома... Конфуз вышел.

Перерывали дом всей семьей. Валерка брезгливо возил веником под ванной. Светка, перетряхивая игрушки, деловито разломала старую гармошку и нелюбимую куклу Ваньку под предлогом поисков внутри них. Посреди развала Верочка прозрачно посмотрела Павлу Арсентьевичу в глаза, влезла рукой во внутренний карман его пиджака и достала искомый предмет.

Предмет содержал сто десять рублей.

Вдвое против вчерашнего.

— Паша, — сказала Верочка и оробела, — может, так надо?..

— Кому? — резонно возразил Павел Арсентьевич. И сам себе ответил: — Мне — нет. — Подумал и добавил: — Тебе — тоже нет.

Еще мысль проплыла, что у Танечки есть дубленка, а у Верочки нет, что у Сергеева имеется знакомый частник-протезист, вставляющий фарфоровые зубы... Вздохнул Павел Арсентьевич и обнял жену.

Теперь перед высокой двустворчатой дверью бюро он зафиксировал кошелек в кармане. По заполнении бланка карманы в совокупности содержали: носовой платок, сигареты «Петровские», спички, ключи от дома и почтового ящика и шестирублевую проездную карточку на декабрь. Абзац.

В заснеженном сквере у метро «Чернышевская» он закурил на скамеечке; осенился — проверил.

Достал.

Пересчитал. Двести двадцать как одна копейка.

«Удваивает, негодяй...» — прошептал Павел Арсентьевич.

Зажал постыдный рог избылиия в кулаке и направил решительные шаги обратно.

Кошелек неукоснительно исчез при пересечении линии порога и появился по выходе. Павел Арсентьевич мрачно произнес не к месту фразу: «Вот так верить людям» и пошел вон.

Четыреста сорок.

Выкинуть? Ну, знаете... Да и... тоже не получится...

Следующий отчаянный заход добавил пятерку. Эта мелочность подачи воспринималась особенно оскорбительно. Мол, не ерунди, дядя, ты уже все понял.

Умница Верочка самочинно приобрела бутылку «Старого замка», и два зеленоватых стаканчика с вином светились, как в добрую старь, на тумбочке у кровати.

Вывявленная закономерность не поддавалась материалистическому истолкованию, а в идеалистическом они были не сильны. Ученый совет твердого мнения не вывел. Информацию постановили во избежание труднопредсказуемых последствий не распространять, а в качестве дополнительных мер предпринять походы в филиал Академии наук и районное отделение милиции, а также дать объявление в «Вечерку».

Насчет Академии наук Павел Арсентьевич представлял себе туманно, а вывеска милиции молочно белела по соседству. Сержантик в рыжих бакенбардах понимающе проследил, не отрываясь от телефона, как потерянного вида гражданин охлопал себя по груди и бокам, покраснел и ретировался.

Обозвав себя аферистом, Павел Арсентьевич за углом ревизовал утаившиеся от органов средства, каковые увеличил таким образом на один ветхий рублишко: кошелек явно издевался.

Объявление в «Вечерке» незамедлительно потерялось: никаких отклонений и неожиданностей. Кошелек приветствовал разменной монетой двадцатикопеечного достоинства.

Нежелание очевидного позора удержало от контактов с Академией наук.

Дома густела неопределенная напряженность. Павел Арсентьевич запретил себе вдаваться в ее анализ, крепя заслон от предательски неверных соблазнов. Воля его подрагивала и держалась, как флагшток среди туманных руин.

— А многие бы радовались, — простодушно заметила Верочка. — В конце концов, он же платит тебе за добрые дела... — интонация звучала неопределенно...

— И даже за добрые намерения, — помедлив, продолжил неподкупный муж. — Ладно...

Под ее боязливым взглядом он вынул из кошелька четыреста сорок шесть рублей двадцать копеек и спустился в морозный и мирный вечер, ощущая себя чужим самому себе.

Начав твердым почерком заполнять бланк почтового перевода, он обнаружил, что адреса Министерства финансов не знает. Приемщица, озабоченная краснотой своих глазок девочка, усмотрела в вопросах насмешку, но пошла советоваться с другой девочкой, озабоченной линией челки. Под их взглядами Павел Арсентьевич занервничал, как объявленный к розыску преступник при опознании, и рассудил, что министерство не может принять на баланс сумму неизвестно откуда, а как оформить — он не знает. Да и адрес не выяснился.

Назавтра в обеденный перерыв он составил в профкоме фирмы заявление о перечислении в Фонд мира. Оформили деловито и спокойно, но вспоминался Павлу Арсентьевичу медосмотр призывников: стоишь голый перед женщинами, и за профессиональной обыденностью все равно угадывается простецкий и стыдный интерес.

— И что теперь? — задала Верочка вопрос после ужина.

— А что теперь? — благодушно отозвался Павел Арсентьевич, отметивший славный день двумя кружками пива и теперь размышлявший о парилке.

Верочка протянула кошелек:

— Пятьсот.

— Черт какой, — печально молвил Павел Арсентьевич. — А?..

— А я еще когда за тебя выходила, знала, что все у нас будет хорошо, — прорвало вдруг и понесло Верочку. — Мне девчонки наши говорили: «Смотри, Верка, наплачешься: хороший человек — это еще не профессия. Он же такой у тебя правильный, такой уж — все для всех, весь дом раздаст, а сами голые сидеть будете». Но я-то чувствовала, что все не так.

Это признание на шестнадцатом году семейной жизни Павла Арсентьевича задело неприятно... Нечто не совсем ожидаемое и знакомое было в нем...

— Паша, — тихо сказала Верочка и вдруг заплакала. — Ну что ты мучишься?.. Уж неужели ты не заслужил?..

— Да что ты несешь? Что заслужил? — в бессилии и жалости вскричал Павел Арсентьевич. Он устал. — Устал я!

— Все же... все тобой пользуются. Должна же быть справедливость на свете...

— Какая еще справедливость! — закричал Павел Арсентьевич, комкая в душе белый флаг капитуляции. — Квартиру дали, зарплаты получаем, в доме все есть, какого рожна?!..

И нелепо подумалось, что ему сорок два года, а он никогда не носил джинсов. А ведь у него еще хорошая фигура. А джинсы стоят двести рублей. А Светка через десять лет станет невестой...

По лаборатории ползли слухи. Скромный облик Павла Арсентьевича обогатился новой чертой некоей оживленной злости. Предначертанность отчетливо проступила с прямизной и однозначностью рельсовой колеи.

И — лопнул Павел Арсентьевич. Сломался. (И то — сколько можно...)

...В Гостином поскользнулся на лестнице, в голове волчком затанцевала фраза: «На скользкую дорожку...», и он не мог от нее отделаться, когда отсчитывал в кассу за венгерскую кофту кофейного цвета, исландский кофейной же шерсти свитер, куклу-акселератку со сложением гандболистки, когда принимал у нагло-ласковых цыганок пакеты с надписью «Монтана» и на Кузнечном рынке набивал их нежнейшими, как масло, грушами, просвечивающим виноградом, благородным липовым медом желтее топаза, когда в винном, затовариваясь марочным коньяком и шампанским, в помрачении ерничая выстукал чечетку («Гуляет мужик... с зимовки вернулся», — одобрительно заметили за спиной), когда оставшиеся сорок семь рублей, доложив три двадцать своих кровных, пустил на глупейшую якобы хрустальную вазочку в антиквариате на Невском.

— Откуда приехал? — со свойским одобрением спросил таксист у разваливающейся груды материальных ценностей на заднем сидении, меж которыми вертелась кроличья ушанка Павла Арсентьевича.

— С улицы Верности, — зло отвечал Павел Арсентьевич. — Дом тридцать шесть.

Себе он приобрел десять пар носков и столько же носовых платков, приняв решение об отмене всяческих стирок. Хотел еще купить стальные часы с браслетом, но денег уже не хватило.

Неуверенный возглас и заблудившаяся улыбка Верочки должны были изобразить их невинность, непричастность к свалившемуся изобилию — ну, как если бы они получили наследство от дальнего и забытого родственника. Светка возопила о Новом годе; Валерка удивился отсутствию нравоучений. Павел же Арсентьевич издал неумелое теноровое рычание, отведал коньяку, пожалел, что не водка или портвейн, и припечатал точку — веку воткнул: «Ну и черт с ним со всем». Перевалив внутренний хребет самоуничижения, он почувствовал себя легче.

Валерка высказался в том духе, что лучше б часы, а не свитер.

Светка, чуя неладное, опасалась, что утром все исчезнет.

Верочка прикинула кофту и пошла в спальню с выражением то ли оценить вид, то ли всплакнуть.

А Павел Арсентьевич заполировал коньячок шампанским, мелодично отрыгнувшись, и напомнил себе записаться на прием к невропатологу и получить рецепт на снотворное.

Однако спал он чудно. Снились ему джунгли на необитаемом острове, среди лиан порхали пестрые попугаи с деньгами в клювах, а он подманивал их манной кашей, варящейся в кошельке, втолковывая, что кошелек портится без денег, а попугаи гибнут без каши, и если он не наденет джинсы, то они не научатся говорить, усевшаяся, что машина ему не нужна — не пройдет в джунглях, а вездеход ему, как частному лицу, не продадут.

— Для вас! — кричал он, шлепая по теплой каше ладонью. Попугаи ворковали, кружась: «Паша, Паша...» — но денег не выпускали.

— Паша, — сказала Верочка, дую ему в лицо. — Не кричи... Ты дерешься...

Случай предоставился тут же: в Архангельске упорно не клеил Л-14НТ, зато клеил немецкие моющие обои дома Модинов и уламывал каждого откомандироваться

за него. Сборы Верочкой «командировочного» чемодана Павла Арсентьевича и проводы в аэропорт носили невысказанный подтекст.

Под порошистым небом Архангельска звенела стынъ; маленькая одноэтажная фабричка оказала ему прием — авторитет! — забронировали гостиничную одиночку, директор попотчевал в ресторашке... неудобно...

Возясь до испарины в обе смены, с привычной скрупулезностью проверяя характеристики состава и режима выдержки, не мог он не думать — сколько это будет стоить... Раскумекав простейшее и указав парнишке-директору дать разгон намазчицам за свинскую рационализацию (мазали загодя и точили лясы), честно признал, что и за так работал бы не хуже.

На родном пороге, отряхая с себя пыльцу северной суровости и вручая домочадцам тапочки оленьего меха с вышивкой, оттягивал ожидаемое...

Возмутительную суммой в три рубля оценил кошелек добросовестнейшую наладку клеевого метода крепления низа целому предприятию. Уязвленный и разочарованный Павел Арсентьевич слегка изменился в лице.

— Как же так? — произнесла Верочка с обманутым видом. — И здесь тоже... — Подразумевалось, что ее представления о справедливости и воздаянии по заслугам в очередной раз не совпали с действительностью.

Так что билеты в Эрмитаж на испанскую живопись, из таковой все равно знавший лишь фамилию Гойя и картину «Обнаженная маха», Павел Арсентьевич уступил Шерстобитову хотя и готовно, но не без некоторого внутреннего раздражения. Все же, когда за добро хотят платить — это одно, но подачки...

Однако оказалось — десятка... Хм?..

Участие в составе комиссии по проверке санитарного состояния общежития профессионального училища — двадцать.

Составление техкарты за сидящую на справке с сыном Зелинскую — тридцать.

Передача Володьке Супруну двухдневной путевки в профилакторий «Дибуны» — сорок.

С неукоснительной повторяемостью прогрессии выростала привычка, растворявшая душевное неудобство. В свободные минуты (дорога на работу и с работы) Павел Арсентьевич пристрастился размышлять о природе добра и предназначении человека.

В фабричной библиотеке он выбрал «О морали» Гегеля, с превеликим тщанием изучил первые четыре страницы и завяз в убеждении, что философия не откроет ему, откуда в кошельке берутся деньги.

Принятие на недельный постой покорного сорокинского кота (страдалец Сорокин по прозвищу «Иов» вырезал аппендицит) — девяносто рублей.

Провоз на метро домой Модинова, неправильно двигавшегося после отмечания своего сорокалетия, и вручение его жене — сто рублей.

Добросовестнейший Павел Арсентьевич постепенно утверждался в мысли о правомерности своего положения. Говорят, период адаптации организма при смене стереотипа — лунный месяц. Так или иначе, — к Новому году он адаптировался.

— Не исключено, — поделился он мыслями с Верочкой вечером на кухне, — что подобные кошельки у многих. Как ты думаешь?..

Верочка подумала. Электрические лучи переламывались в белых плоскостях гарнитура. Новый холодильник «Ока-III» урчал умиротворенно. Она соотнесла оклады знакомых с их приобретениями и признала объяснение приемлемым.

Доставка трех литров клея для нужд школьного родительского комитета — сто пятьдесят рублей.

Помощь при переезде безаппендиксному Сорокину — сто шестьдесят рублей.

И азартность оказалась не чужда Павлу Арсентьевичу: впервые конкретный результат зависел лишь от его воли. Дотоле плавное и тихое течение неярких дней взмутилось и светло забурлило. Краски жизни налились соком и заблестали выпукло и свежо. Прямая предначертанности свилась в петлю и захлестнула горло Павла Арсентьевича. Жажда стяжательства обуяла его тихую и кроткую душу.

Павел Арсентьевич втянулся, превращаясь в своего рода профессионала. Деловито вертел головой: что еще он может сделать? Проходя коридором, бросался в дверь, за которой двигали столы. Отправлялся в дружину каждую субботу; лаборатория переглядывалась: дома, выдать, нелады...

Дома были лады. Очень даже. Жить стали как люди.

Павел Арсентьевич отыскивал молоток и гвозди и чинил ветеранше фабричной химии Тимофеевой-Томпсон каблук, вечно отваливавшийся вследствие ее индейской, подвернутой носками внутрь походки. До полуночи подвергался психофизическим опытам темпераментного отпрыска Зелинской, посещавшей театр. Сдав в библиотеку многомудрого Гегеля, до закрытия расставлял с девочками кипы книг по стеллажам; в благодарность его собрались наградить «Ночным портье», — он отказался с испугом...

— Вы похорошели, Павел Арсентьевич, — отметили Зелинская и Лосева, оглядывая его енотовую шапку. — Что-то такое мужское, знаете, угрюмоватое даже в вас появилось.

Зеркало ни малейших изменений не отражало, но, уловив несколько «женских» взглядов, Павел Арсентьевич решил, что нравиться еще вполне может. Ничего такого.

Беспокоила лишь работа. Времени на нее не хватало. Он опасался, что это заметят, но каким-то образом дело двигалось, в общем, ничуть не медленнее, чем раньше. С облегчением убедившись в этом, он успокоился.

Верочка (при дубленке) записалась на финский мебельный гарнитур «Хельга», и тут оказалось, что срочно продают новый югославский, но деньги нужны в четыре дня. Исходя из соображений, что мебель дорожает, решили деньги собрать.

С оттенком сожаления припоминал Павел Арсентьевич, сколько в прошлом не было ему оплачено. Ну — ...

Он приналег. Хватал на тротуаре старушек и переводил их под ветхий локоток через переход. В столовой помогал судомойке собирать грязную посуду. Занимал на всех очередь за апельсинами и бежал предупредить, выстаивая после два часа в слякоти. Навестил в больнице Урицкого, на Фонтанке, помирающего Криничкина. В густом и теплом запахе урологического отделения Павел Арсентьевич сомлел. Криничкин, желтый, облезлый и старенький, был толковым химиком и работал в их лаборатории с самого ее основания. Все он понимал, кивал и спокойно улыбался с плоской подушки; и казалось, что боль его проявляется в этой улыбке... Павел Арсентьевич принес ему конфеток, свежих журналов, три гвоздички, передал приветы от всех... Ах ты, господи...

Сумма сложилась. Кошелек выдавал теперь по триста за раз. Удар настиг с неожиданной стороны. Сергеев, косясь на польские сапожки Павла Арсентьевича, хмуясь и крикая, попросил одолжить тысячу на год: водил рукой по горлу и материл жулье-авторемонтников и кандидата-гинеколога, пользовавшего жену частным образом.

Павел Арсентьевич сохранил самообладание.

— Пашка, ты меня угробишь, — отреагировала на известие Верочка.

Вздохнули. Поугрызались.

Плюнули. Дали.

Разрешилось неожиданно: утром Павел Арсентьевич вручил тысячу деловито-счастливому Сергееву, вечером Верочка вынула из кошелька тысячу двести.

— Па-авлик, — прошептала ночью Верочка и потерлась об него носом, — у меня такое ощущение, будто мы с тобой моложе стали...

— Ага, — признался он.

Новый способ был прост и хорош. Павел Арсентьевич стал давать деньги в долг. Расслоились слухи о наследстве из-за границы. Неопределенными междометиями Павел Арсентьевич оставил общественное мнение пребывать в этом предположении, достаточно для него удобном. Облаготетельствование проводилось с глазу на глаз с присовокуплением просьб — и обещаний в ответ — не распространяться. Однажды Павел Арсентьевич в неприятном смысле задумался об ОБХСС; позже его удивило, что тогда он этой мысли не удивился...

Черно-вишневый с бронзовой отделкой югославский гарнитур, компактный и изящный, включал в себя тумбочку под телевизор. На каковую и поставили цветную «Радугу», свежая старенький «Темп» в скупку в Апрак-сином.

Купаясь мысленным взором в синдбадовых красочных далях «Клуба кинопутешествий», Верочка развесила витиеватую фразу:

— И какая же белая женщина не мечтает сидеть дома и заниматься семьей — при наличии достатка, — прибегая к общественно полезной деятельности эпизодически и в необременительной форме, по мере возникновения потребности, но не регулярно и чаще.

Павел Арсентьевич соотнес Гавайские острова с грядущим летом и неуверенно завел речь о Сочи.

— Этот муравейник в унитазах? — удивилась Верочка с пугающей прямолинейностью выражений. — Приличные люди давно туда не ездят.

И настояла на Иссык-Куле: горный воздух, экзотика и фешенебельная удаленность от перенаселенных мест.

Под черным флагом пиратствовал Павел Арсентьевич в обманчивом океане добрых дел.

Но петля оказалась затяжной. Павел Арсентьевич пытался сообразить, чего ему не хватает. Первые признаки недовольства он обнаружил в себе через несколько месяцев.

В яркое воскресенье, хрустя по синим корочкам подтаявшего снега, Павел Арсентьевич высыпал помойное ведро и с тихой благостностью помедлил, постоял. В безлюдном (время обеда) дворе обряженная кулема на качелях — Маришка из второго подъезда — старательно сопя, пыталась раскачаться. «Сейча-ас мы...» — Павел Арсентьевич подтолкнул, еще, Маришка пыхтела и испускала сияние от удовольствия и впечатлений.

В лифте он вспомнил... и не то чтобы даже омрачился... но весь тот день не исчезала какая-то тень в настроении.

С этого эпизода, крупинки, началась как бы кристаллизация насыщенного раствора.

Павел Арсентьевич честно спросил себя, не надоели ли ему деньги, и так же честно ответил: нет. Неограниченность материальных перспектив скорее вдохновляла. Но...

Накапливалась одновременно и какая-то связанность, усталость. Он больше не был ни легок, ни чудаковат, и сам знал это. Павел Арсентьевич отметил в себе моменты внутреннего злорадства при совершении своих добрых дел. Мол, нате, — а знали бы вы... Стал ловить себя на нехороших, неожиданно злых мыслях.

Он понял, что профессия оказалась тяжелее, чем он предполагал. И, пожалуй, оплата, как ни высока она теперь была, производилась все же по труду. Этот успокоительный вывод, вместо того чтобы укрепить душевное равновесие Павла Арсентьевича, непонятным образом усиливал внутреннее раздражение.

Система меж тем функционировала отлаженно, от Павла Арсентьевича даже не требовалось личной инициативы. Однако к каждому поступку ему теперь приходилось понуждать себя, и он отчетливо сознавал это.

Бунт вызревал в трюме, как тыква в погребе.

Но сначала в марте пришло письмо от брата, из Новгорода. Просил приехать.

Затемно в субботу Павел Арсентьевич и отбыл «Икарсом» с Обводного и вкатил в Новгород серебряно-солнечным утром.

В ободранной квартире, похмельный — нехорош был брат... После ухода жены (несколько лет назад) он тосковал, запивал иногда, говорил о жизни, жалел всех и все пытался объяснить...

Они пили в кухне, нежилой, голой — два брата, два невеселых стареющих мужика, и думал Павел Арсентьевич, что лучше б Нина его разлюбезная ушла гораздо раньше, и все бы тогда еще сложилось счастливо, пьянел, считал ее стервой и шлюхой, а потом и ее жалел, и бубнил неискренне, что все к лучшему, и искренне — что она из тех, на ком вообще жениться нельзя...

Наутро брат встал снова черен, Павел Арсентьевич потащил его выгуливать, под закопченными сводами «Детинца» осетрину по-монастырски медовухой запили, а вечером дома он заставил его разгрести мусор, пришивать номерки к грязному белью и менять перегоревшие лампочки.

В понедельник, позвонив Агаряну и Верочке на работу, он хозяйничал, купил новые занавески и швабру, мыл пол, все заблестело, а вечером выпили — уже немного, перебирали детство, пили за детей, поминали отца и мать и плакали.

Павел Арсентьевич подарил брату кофейный пиджак и приемник «Океан» и велел приезжать на следующие выходные.

А дома он вынул из кошелька толстую пачку зеленых пятидесятирублевых. Глупо подумал, что доллары — тоже зеленого цвета...

В пушистом кофейном джемпере и вранглеровских джинсах он сел за семейный стол и поковырялся в индейке.

Вызревшая тыква оказалась бомбой, стенки разлетелись, локомотив сошел с рельс и замолотил по насыпи.

Эффект в лаборатории оказался силен. Даже очень силен.

Павел Арсентьевич явился на работу ровно в восемь сорок пять и закрыл за собой дверь, уходя, ровно в семнадцать пятнадцать. Масса ужасных вещей вместилась в этот промежуток времени.

В восемь пятьдесят пять он отказался утрясать вопросы с технологами.

— Супрун, — с сухим горлом ответил он, — это компетенция начальника группы. Или завлаба. Я запустил работу. Пусть прикажут — тогда пойду.

Супрун растерялся, стушевался, просил извинения, если обидел, и только потом обиделся сам.

Алексей Иванович Агарян, заглянувший с мягким пожеланием приналечь, получил ответ:

— Кто везет — того и погоняют.

Агарян обомлел и ущипнул себя за усики. Похолодевший от усилия над собой Павел Арсентьевич стал точить карандаш.

Каждый час он выходил на пять минут курить в коридор, и в лаборатории словно включали тихо гудящий трансформатор: «Крупные неприятности... ОБХСС... вызывают в Москву... любовница...»

— Извините — я ни-чего не могу для вас сделать, — ласково, с состраданием даже сказал он бескаблучной Людмиле Натальевне Тимофеевой-Томпсон. Старая дама в негодовании ушла к затяжчикам.

Теперь Павел Арсентьевич не садился в транспорте, чтоб не уступать потом место. На улице смотрел прямо перед собой: пусть падают, кому нравится, его не касается. Отворачивался, когда женщины брались за пальто: не швейцар.

Существование его двинулось в перекрестии пронизывающих взглядов; они вели его, как прожекторные лучи намеченный к сбитию самолет.

В последующие дни он отказался от встречи с подшефными школьниками, овощебазы, дружины и стояния в очереди за колготками, заполучив неприязнь Тимофеевой-Томпсон, Зелинской и Лосевой, Шерстобитова,

который все еще не женился, но уже на другой, и Танечки Березенько. В его отсутствие для успокоения общественного самолюбия решили, что Павел Арсентьевич нажил расстройство нервов вследствие переутомления.

Без двадцати семь он являлся домой с продуктами из универсама, с аппетитом обедал, шутил, возился со Светкой, мыл посуду, декламировал прочувственные нравоучения Валерке и читал в постели журнал «Юный натуралист».

По истечении пятнадцати суток этого срока испытаний он получил пятьдесят пять рублей аванса, кои и вручил Верочке со скромным и горделивым видом наследника, отрекшегося от миллионов и заколотившего копейку грузчиком в порту.

Кошелек пятнадцать суток провел в запертой на ключ тумбочке; ключ был упрятан в старый портфель, а портфель сдан в камеру хранения.

По освобождении кошелек предъявил тысячу восьмьсот пятьдесят рублей: на полсотни больше последней выдачи, как и наладился.

Спорить и бессмысленно ломиться против судьбы они с Верочкой не стали, деньги отложили, а часть пустили на жизнь.

Ночью в туалете Павел Арсентьевич составил крайне детальный список: что в жизни делать обязательно, а что — сверх программы. «И никакого произвольного катания, — шептал он, — никакой самодеятельности».

Жизнь приобрела напряженность эксперимента. Павел Арсентьевич боялся лишний раз улыбнуться. Мучился, взвешивая каждое слово. Дома обедал, смотрел телевизор и ложился спать — все. «Как все нормальные мужа», — веско объяснил Верочке.

Еще пятнадцать суток.

Тысяча девятьсот.

Нехороший блеск затлел в глазах Павла Арсентьевича. Ночами он просыпался от сердцебиений (по-современному — тахикардия).

Назавтра, скованный от злости, он сидел в вагоне метро, отыскивая глазами женщин постарше, поседее; и сидел.

Танечке Березенько ни с того ни с сего вlepил, что надо соотносить траты со средствами.

В скороходовском дворе оглянулся, подобрал камешек и с силой запустил в голубя; не попал.

Сергееву велел пошевеливаться с долгом; он не миллионер.

Тимофеевой-Томпсон прописал ходить в обуви без каблуков: и по возрасту приличнее, и для ног легче. «А также для чужих рук», — негромко добавил.

Какие услуги!..

Пружина разворачивалась в другую сторону: треск и щепки летели. В воздухе лаборатории пыльным цветом распустились нервные колючки.

Зелинской и Лосевой было велено пройти заочный курс техникума легкой и обувной промышленности, а также бросить бегать в театр и записаться — с целью замужества — в клуб «Тем, кому за 30».

Агаряну было положено заявление о десятке прибавки. Агарян вырвал два волоска из усиков, подписал и двинул в бухгалтерию.

Павел Арсентьевич ждал конца этих пятнадцати суток, как зимовщик — уже показавшегося на горизонте корабля со сменой. Корабль подвалил, и в пену прибоя посыпались с автоматами над головой десантники в чужой форме.

Тысяча девятьсот пятьдесят.

Любимым местом в доме постепенно стала у Павла Арсентьевича ванная. Там он мог быть один, долго и вроде по делу. Он пристрастился сидеть там часа по два каждый вечер; дети мыли руки перед сном на кухне.

Он сидел под душем, хлещущим по разгоряченному лысеющему темени, время от времени высовываясь к прислоненной у мыльницы сигарете. «Гад, — шептал он, затыгиваясь, — паразит, врешь, что хочу, то и делаю».

Чего он хотел, он уже решительно не знал, а делал следующее:

Потребовал двухдневную путевку в профилакторий; и получил, и не поехал, но Сорокин тоже не поехал.

Совершил прогул: вызвал врача, настучал градусник, подарил коробку конфет и получил больничный по гриппу на пять дней. Позвонил в лабораторию (телефон стоял давно — триста ре) и злобно потребовал навестить его —

как он навещал всех. Вечером примчалась делегация в составе Зелинской и Лосевой с хризантемами и Супруна с «Мускатом», которую Павел Арсентьевич и велел Верочке не пускать, передав, что он заснул впервые за двое суток.

Вышел в день совещания по итогам первого квартала, потребовал слова и вознес ханжеским голосом льстивую и неумеренную хвалу администрации, заработал неожиданно аплодисменты, спохватился и тут же подверг администрацию черной клеветнической критике, а деятельность родной лаборатории смешал с грязью, предложив чистку, ревизию и пересмотр планов работы и штатного расписания, снова сорвал аплодисменты и с легким сердечным приступом был отвезен домой на такси.

Кошелек платил. Павел Арсентьевич потерял всякую ориентацию, словно слепой в невесомости. Он обратился к своей душе, узрел в ней скверну и грянул во все тяжкие. Перестал здороваться с соседями по площадке. В комиссии предложил взятку продавцу за японские электронные часы «Сейко»; часы нашлись тут же.

На грани невменяемости Павел Арсентьевич украл в универсаме пачку масла и банку сардин, заставил кассиршу дважды пересчитать и вслух сказал: «Жулье». Он стал пить и ругаться. Кошелек платил.

В два часа ночи Павел Арсентьевич обнаружил себя в незнакомой комнате и почти в такой же степени незнакомой постели, где лежала незнакомая женщина. Восстановив в памяти предшествующие события, он убедился, что изменил Верочке сознательно. Домой назоло не звонил и пришел лишь вечером после работы. Был принят с пониманием и уважением — усталый добытчик, глава семьи. Кошелек заплатил.

Ушибившись о бесплодные крайности, Павел Арсентьевич решил попытаться счастья в золотой середине. И бросил делать вообще что бы то ни было.

Он бросил ходить на работу. И вообще никуда не выходил. Поставил в ванную переносной телевизор, бар и пепельницу и сидел целыми днями среди благоухающих сугробов немецкого шампуня,пил черный португальский портвейн по шесть пятьдесят бутылка, курил

крепчайшие кубинские «Партагас» и прибавлял теплую воду.

Верочка плакала...

Кошелек платил.

Холодным апрельским утром Павел Арсентьевич умыл лицо, побрился, выпил крепкого чаю, надел старую синюю нейлоновую куртку, сел в троллейбус, доехал до Дворцового моста и с его середины кинул кошелек в воду. Выпил кружку пива, позвонил на работу, сообщил, что тяжело болел и завтра придет, дома произвел уборку, приготовил обед, забрал удивленную и обрадованную Светку из садика и поведал пришедшей Верочке финал всех событий.

— Ну и слава богу, — сказала Верочка, с лица которой словно сняли теперь светомаскировку. — Так и лучше.

Вечером они ходили в кино. И весь следующий день тоже был славный, теплый и прозрачный.

А дома Павел Арсентьевич увидел кошелек. Он лежал на их постели, отсыревший, и на покрывале вокруг расходилось влажное пятно. На тумбочке испускала струйку кучка мокрых денег.

— Ааа-аа!.. — голосом издыхающего барса сказал Павел Арсентьевич.

— Пришел, — сказал кошелек. — Мерзавец... Сви- нья неблагодарная. — И простуженно закашлял. — Ты соображаешь хоть, что делаешь?

Павел Арсентьевич взвизгнул, схватил обеими руками мокрую потертую кожу, выскочил на балкон и швырнул ее в темноту, вниз, на асфальт.

— Вот так, — хриповато объявил он семье. И не без рисовки стал умывать руки.

Назавтра, отворив дверь, по лицам домашних он сразу почуял неладное.

Кошелек сидел в кресле под торшером. Нога у него была перебинтована. Он привстал и отвесил Павлу Арсентьевичу затрещину.

— Он в травматологии был, — хмуро сообщил Валерка, отведя глаза.

Окаменевшая Верочка двинулась на кухню. Кошелек потребовал чаю с лимоном. Отхлебнул, поморщился на

чашку и сказал, что даст на новый сервиз, хотя они и не заслужили.

Петля стянулась и распустилась сетью: началась оккупация.

Кошелек велел, чтоб его величали Бумажником, но откликался и на Портмоне. Запрещал Светке шуметь. Ночью желал пить чай и читать биографии великих финансистов, за которыми гонял Павла Арсентьевича в букинистический. На дверь ванной наклеил голую девицу из журнала. По телевизору предпочитал эстрадные концерты и хоккейные матчи, сопровождая их комментарием, кто сколько получает за выступление. Во время передачи «Следствие ведут знатоки» клеветал: говорил, что все они взяточники и сажают не тех, кого следует, и поучал, как наживать деньги, чтоб не попадаться. И за все исправно платил.

Под его давлением Верочка записалась в очередь на автомобиль и на кооперативный гараж. Кошелек обещал научить, как проверить все в полгода.

Однажды Павел Арсентьевич застал его посылающим Валерку за коньяком, с наказом брать самый лучший. Валерке сулился магнитофон к лету.

Верочка говорила, что теперь уже ничего не поделаешь, а когда они поменяют с доплатой свою двухкомнатную на четырехкомнатную — она уже нашла маклера, — то у Бумажника будет своя комната, и все устроится спокойно и просторно.

Именование ею кошелька Бумажником Павлу Арсентьевичу очень не понравилось. Еще менее ему понравилось, когда Кошелек погладил Верочку ниже спины. Судя по отсутствию у нее реакции, случай был не первый.

Павел Арсентьевич пригрозил уволиться с работы и пойти в ночные сторожа. Кошелек парировал, что он может хоть вообще не работать — хватит и работающей жены, с точки зрения закона все в порядке. Да хоть бы и оба не работали, плевать, с милицией он сам всегда сумеет договориться.

Павел Арсентьевич замахнулся стулом, но Кошелек неожиданно ловко ударил его под ложечку, и он, задохнувшись, сел на пол.

Когда Светка гордо объявила, что подарила Маришке из второго подъезда синий мячик и помогала искать котенка, Павел Арсентьевич напился до совершенного заб-

вения, попал в вытрезвитель, из которого и был извлечен через час телефонным звонком Кошелька.

...Билет он взял в кассах предварительной продажи на Гоголя. До Ханты-Мансийска через Свердловск. Там есть и егеря, и промысловая охота, и безлюдность и отсутствие регулярного сообщения, — он прочитал все в энциклопедии. Друг его институтского друга работал в тех краях лесничим. Пристронт.

Он оставил Верочке письмо в тумбочке и поцеловал спящих детей. Чемодана с собой не брал. Одолжит денег и купит все на месте.

Утро в аэропорту было ветреное и ясное. Самолеты медленно рулили по бетонному полю и занимали место в ряду. Гулко объявили регистрацию на его рейс.

Павел Арсентьевич прошел контроль, магнит, стал в толпе ожидающих выхода на посадку и засвистал пионерскую песенку.

Подъехал желтый автобус-салон, прицепленный к седельному тягачу-ЗИЛу, дежурная сдула кудряшку с глаз и открыла двери; все повалили.

Трап мягко поколебался под ногами, и Павла Арсентьевича принял компактный комфорт лайнера. Его место было у окна.

Салон был полупустой и прохладный. Павел Арсентьевич застегнул ремень, улыбнулся и закрыл глаза. Дверца хлопнула. Трап отъехал. Засвистели турбины, снижая мощный тон. Они тронулись.

Потом город в иллюминаторе накренился, бурая дымка подернула его уменьшающийся постепенно чертеж, и Павел Арсентьевич задремал.

— Минеральная вода, — сказала стюардесса.

Павел Арсентьевич протянул руку к подносу, и тут же протянулась к пластмассовой чашечке с ручкой без отверстия рука соседа. Рядом сидел Кошелек.

Он солидно раскинулся в кресле у прохода и благосклонно разглядывал круглые коленки стюардессы под смуглым капроном.

— А покрепче ничего нет? — со слоновой игривостью поинтересовался Кошелек, поднимая доброжелательный взгляд к ее бюсту.

— Покрепче нельзя, — без неудовольствия отвечала стюардесса, и в ее голосе Павел Арсентьевич с тоской и

злой различил разрешение на подтекст. Она повернулась с пустым подносом и пошла за следующей порцией.

— А? — сказал Кошелек и подмигнул вслед стройному и округлому под синим сукном. — Ни-че-го... В Свердловске они на отдых пойдут; там посмотрим. Выпьем, причастимся? А то ведь с утра не выпил — день пропал.

Он вынул из внутреннего кармана плоскую стеклянную бутылочку коньяку.

— Потом в туалете по очереди покурим, точно? А в Свердловске хватай в буфете два коньяка и дуй прямо к диспетчеру по пассажирским перевозкам. А то мы с тобой в Ханты-Мансийск до морковкиных заговен не улетим.

А ВОТ ТЕ ШИШ

Осенняя набережная курортного города.

- Приветствую!
- Виноват?..
- Багулин? Я не ошибся.
- Решительно не могу припомнить...
- Вы изменились меньше, чем я. Тридцать шестой, Москва, а?
- А-а!.. да-да... но все же?..
- А избушка под Тулой, зима?
- Так-так-так-так... ну же!

Багулин,

около 70 лет, хорошо сохранившийся, рослый, седина малозаметна в густых русых волосах. Одет тщательно, с учетом моды; манера держаться добродушно-покровительственная. Чувствуется, что человек этот себя уважает и собой доволен, к тому имея основания.

Арсентий,

того же возраста, но выглядит старше. Худощавый, нервный; некоторую неуверенность в себе прикрывает иронией и порывистой решительностью. Новая одежда топорщится на нем, вызывая сходство с манекеном в провинциальном универмаге. Впечатление производит неопределенное: не знаешь, чего ожидать от такого человека.

Обозначим их для краткости просто **Б.** и **А.**

Чуть отодвинувшись, они оценивают друг друга.

А. Вот — встреча...

Б. Вот встреча! Через века, а!

А. Какими судьбами здесь?

Б. (*хозяйски поведя рукой*). Живу.

- А. Здесь? Давно?
- Б. Четвертый год. Вышел на отдых — и осел на берегу теплого моря.
- А. (*завистливо вздыхает*). Королевский вариант. Хорошо обосновался? Как квартира?..
- Б. (*с естественностью*). Купил дом. Сад. Аркадия, понимаешь, и идиллия!..
- А. Мечта. Мм. Мечта. Большой?
- Б. (*скромная улыбка*). Не слишком. Шестьдесят пять метров. Четыре комнаты, кухня, веранда. Но уютно, знаешь. Жизнь мечтал пожить в своем доме. Купил кресло-качалку! Вечером сядешь в нем на веранде, пледом накроешься, книжку возьмешь, цикады стрекочут, море шумит... Винцо домашнее свое — чистый виноград...
- Слушай! Едем ко мне! Мигом. Я на машине. Посидим... Ты-то как?
- А. У тебя машина?
- Б. Да вот же — синие «Жигули». Ну, едем. Приглашаю. Мы с женой вдвоем, дочка в Киеве, сын в Ленинграде, попробуешь вино...
- А. (*сглатывает, покачивает головой, смотрит на часы*). У меня самолет через три часа.
- Б. Куда?
- А. В Москву.
- Б. Ты там?
- А. Да...
- Б. Так и прожил?
- А. Да...
- Б. И откуда сейчас?
- А. Из Ставрополя. Впереди гроза, вот посадили, торчим здесь.
- Б. Э, так еще сто раз вылет отложат. Едем! От меня позвоним в аэропорт, справимся, — телефон я себе поставил, я тут у них как-никак депутат горсовета.
- А. (*мнется*). Не могу... У меня там встреча назначена...
- Б. (*шутливо грозит*). Небось какая-нибудь дама?.. Ох, ты старый жук!..
- А. (*смущенно*). Что ты, ну... Может, если хочешь, там посидим в ресторане, а?..
- Б. Зря. Точно не можешь?
- А. (*вздыхает*). Точно.
- Б. (*напористо*). Ну!
- А. Нет... надо в аэропорт.

Машину Багулин ведет элегантно и со вкусом — он все делает элегантно и со вкусом. На лице Арсентия удовольствие от комфорта, в позе некоторая напряженность.

Б. Работаешь еще?

А. На пенсии...

Б. Какая?

А. Девяносто четыре.

Б. Что ж... Кем ушел?

А. Инженером.

Б. Старшим?

А. Просто инженером.

Б. *(сочувствует со своего висока, уяснив социальный статус старого знакомого)*. Эх, Сенька!... Как был ты добрым с юных лет — так, небось, и ехали всю жизнь на твоём горбу, кому не лень. Да...

Семья есть?

А. Нет, знаешь.

Б. Женат хоть был?

А. Да как-то все так...

Б. Да. Ясно... Сейчас-то — что делал в Ставрополе?

А. С похорон...

Б. Вот как... Кто?..

А. Сестра.

Б. *(соболезнуя барственным лицом)*. Годы наши... Крепись, старина. Мы мужчины, дело такое...

А. *(спокоен)*. Да. Конечно.

Полупустой по дневному времени ресторан, жизнь аэропорта за стеклянной стеной. Столик в углу; распоряжается, за ним, безусловно Багулин.

Б. Не «Реми Мартен», но коньячок сносный.

А. *(прищмыкивает)*. Напиток!.. Дорог, слушай, дьявол.

Б. *(полагая, что уловил смысл)*. Ты — мой гость сегодня. Да, да, дискуссия закрыта.

А. *(кратко подчиняясь)*. Завидую людям, умеющим жить. Всегда завидовал.

Б. *(принимая на свой счет должное; с самодовольством как нормой поведения)*. Умение зависит от тебя самого. Вот ты так и остался в Москве. Зачем? Чего всю

жизнь цеплялся? Вот — я подался на Восток. Надо было решиться? — надо. Непросто? — ничего страшного. Результат? — налицо. Кандидатская? — пожалуйста. Докторская? — просим. Директор института? — будьте любезны. Трудом? — трудом. Но без этого дикого столичного суетливого напряжения и дворцовой грызни.

- А.** Я всегда знал, что ты развернешься в жизни. Не сомневался... Ты всегда умел поступать по-крупному. Не боялся резко класть руля... Не всем это дано. Я рад, что ты добился многого. Состоялся. Ты и должен был.
- Б.** (*учит*). А чего, чего бояться? Осмотрелся, оценил — и давай!
- А.** (*прислушиваясь к трансляции объявления рейса на Гамбург*). За границей, вероятно, бывать приходилось...
- Б.** (*небрежно*). Случалось. Англия, Индия, Алжир. Работа, конечно, график жесткий, но присутствовали, прямо скажем, возможности и для удовлетворения любопытства. Такова логика — не боишься медвежьих углов — так видишь мир.
- А.** (*он уже под хмельком*). Помню давние разговоры. Помнишь!.. Да! Братъ судьбу за глотку. Старость... гм... вторая молодость... Молодец. Завидую. Прожил.
- Б.** (*великодушно*). Ну, и у меня не совсем все по планам выходило. Жизнь, как известно, вносит коррективы.
- А.** (*с мгновенным проблеском глаз*). Это точно. Вносит.
- Б.** Но ты на жизнь не вали! Ты голова был, спокойный, дотошный, что я, не помню! Тогда еще говорили: не будь лежачим камнем, умей добиваться!.. Эх, журавеле... журавлелов в небе.

Беседа приобретает некоторую бессвязность, которую можно отнести за счет алкоголя. Каждый следует скорее мыслям собственным, чем отвечая собеседнику. Впрочем, такой стиль позволяет яснее понять их настроения.

- А.** Пиджак у тебя шикарный.
- Б.** Лайка. У нас — четыреста рублей. Дочь из ГДР привезла.

- А. Это — она в Киеве?
- Б. Преподает в университете.
- А. А внуки?..
- Б. Двое.
- А. У нее дружная семья. Да?
- Б. *(крохотная пауза)*. Хорошая семья.
- А. Это замечательно.
- Б. А у тебя?
- А. А у меня? Да. А у меня — я. Холостяк. Я говорил, да?
- Б. Ах, гуляка!
- А. *(горестно)*. Я не гуляка. Я — так... я — чижик... Вот у тебя было... и семья... а я старый неудачник!..
- Б. Думать надо! Бороться надо! *(Неискренне обнадеживает)*. Может, еще женишься?
- А. У тебя и сын в Ленинграде...
- Б. *(с теплотой)*. Год назад Горный институт кончил. Сейчас в Метрострое, к Новому году вот премию получил. Собирается в будущем году в аспирантуру.
- А. Ты — победитель, да?
- Б. Гм. Бр. А что ж.
- А. Да! Вот... Слушай, а зачем ты здесь?..
- Б. *(похлопывает его по плечу)*. На второй круг пошли. Рассказывал же. Пошли трения в институте, мне надоело... горите вы все, думаю. Жалость и презрение: старички, сосущие проценты с прошлого. Хромает такой задохлик по институту, восемь месяцев из двенадцати помирает и оклемаывается, что и знал — перезабыл... грех один... Нет! — красиво и вовремя. Людям не мешать и самому в удовольствие пожить. Доктор я? — доктор. Директор? — директор. Награды имею? — имею. Право на отдых заслужил? — горбом заработал. Живу хорошо? — как бог в отставке. Пенсии двести, и сбережений на мой век хватит, дом в саду и машина в гараже.
- А. И качалка на веранде.
- Б. Да.
- А. И цикады стрекочут.
- Б. Стрекочут, стервы.
- А. И запах магнолий. И море шумит.
- Б. *(возможно, подозревая иронию, но не желая допустить подобной мысли)*. Ах, старина... Вот сидим мы с тобой сейчас... Неважно все это... Время все уравниет... Как подумаешь иногда — а зачем оно все

было... зачем ломался, уродовался... Может, ты-то правильной жил... Спокойно...

- А.** Что было — всегда с тобой. Есть такая гипотеза — живешь всегда во всех своих временах.
- Б.** *(абсолютно согласный)*. Полагаешь?
- А.** Ты жизнью доволен?
- Б.** Да.
- А.** Вот.
- Б.** *(утешает)*. Не надо ни о чем жалеть!..
- А.** Сейчас посмотрим.
- Б.** Что?
- А.** *(Бледнеет. Смотрит ему в глаза долгим трезвым взглядом. Тишина буквально материализуется до синевы и звона. Странное жутковатое ощущение возникает. словно безумием пахнуло.)* Ты — помнишь — двенадцатое — января — тридцать — шестого — года?
- Б.** *(слегка заворуженно)*. Нет...
- А.** *(гипнотическим голосом)*. Угол Мира и Демушкина. Пятый этаж. Комната.
- Б.** Ф-фу, господи! Ну конечно! Как ее звали-то... Да Зинка! Акопян, Чурин!..
- А.** А вечер двенадцатого января? Зима, снег, патефон, Лещенко.
- Б.** А что тогда такое было-то?
- А.** Ты — в сером костюме. Акопян принес коньяк. Елка. Танцевали и уронили елку. Она стояла в ведре с водой, ведро опрокинулось, воду подтирали.
- Б.** Смутно... Черт его знает... Нет, наверное... Допустим. А что?
- А.** Ты не помнишь, что было тогда?
- Б.** *(в недоумении от его тона)*. Да нет же... А что?
- А.** Совсем-совсем не помнишь?
- Б.** *(чистосердечно)*. Клянусь — нет.
- А.** Размолвочка вышла...
- Б.** *(со смехом)*. Какая даль, боже мой!.. Не подрались?
- А.** *(мрачно)*. Куда там... мне с тобой. Да и твое обаяние... все симпатии были на твоей стороне. Ты всегда умел — выставить недруга ослом и мерзавцем.
- Б.** Дружи-ище! что за воспоминания! Клянусь — ничего не помню! Ну хочешь — хоть не знаю за что — попрошу сейчас у тебя прощения? Ну — хочешь? Кстати — в чем было дело-то?..
- А.** *(с театральной торжественностью)*. Поздно.

- Б.** Верно!..
- А.** Поздно. (*Вертит рюмку, опускает глаза*). Ты — ты не помнишь... Что для тебя... оскорбление похода, право победителя... Были времена — я должен был бы убить тебя или застрелиться. А ныне — ничего, глотаем и утираемся...
- Б.** (*холодно*). Ты, похоже, не умеешь пить. Никогда, припоминаю, не отличался.
- А.** С тех пор я многое умею. Будь спок. (*Наливает*).
- Б.** (*отчужденно*). Твое здоровье.
- А.** Твое понадобится тебе больше.
- Б.** Чувствую, нам лучше расстаться сейчас. (*Делает движение, чтобы встать*).
- А.** (*удерживает жестом*). Прослушайте десятиминутную информацию. Так ты не помнишь? Начисто? Я так и подозревал. Ладно... (*Откидывается на стуле, глубоко переводит дыхание, закуривает. На лице его появляется улыбка, которая в сочетании с угрюмым выражением придает ему неожиданную жесткость, даже властность.*) Начнем.
- Ты помнишь Ведерникова, не правда ли?
- Б.** Слава богу. Естественно. Был у него несколько раз на приеме в Москве.
- А.** Знаю. (*Неожиданно показывает Багулину фирменную этикетку на изнанке галстука. Этикетку на внутреннем кармане пиджака.*) Нравится?
- Б.** Англия... То что надо.
- А.** На инженерскую пенсию, мм? Уда-ачник... А фамилия Забродин говорит тебе что-нибудь? Из аппарата референтов Ведерникова?
- Б.** Слышал, похоже...
- А.** Прошу (*протягивает паспорт*).
- Б.** (*озадачен*). Не понимаю...
- А.** Я сменил фамилию перед войной. Взял фамилию жены. По некоторым обстоятельствам.
- Б.** (*еще не осознал*). Ты-ы?!
- А.** К вашим услугам. Ведерников два года как помер. Ушел и я. У новой метлы свой аппарат.
- Б.** Ты — Забродин?
- А.** Осознал, похоже. Далее. Улавливаешь, нет? Ведерников тебя не слишком жаловал, а?
- Б.** Сволочь был первостатейная.
- А.** (*укоризненно*). К чему категоричность. Деловые отношения!.. У такого человека всегда аппарат —

своего рода фильтр-обоганитель между ним и сферой его деятельности. А в аппарате тоже люди. Большинство пружин, ты, естественно, не знал. А я — не главный был винтик, но — в центральном механизме.

Вникаешь?

Когда в сорок восьмом году ты не получил комбинат, а прислали Гринько — это были просто три строки в докладной записке Ведерникову. Как и кем составляются записки — ты общее представление имеешь. А Гринько был, в общем, здорово нужен на Свердловск! Но — ма-аленький доворотик в начальной стадии движения. Ты ведь прицеливался тогда на комбинат — а он был фактически у тебя в кармане уже.

Б. (*ошарашенно и недоверчиво*). Ты... ерунду ты городишь!...

А. Хорошенькая ерунда! Гринько принял комбинат, ты стал замом, и после первого же квартала он свалил на тебя все шишки — он-то новый, а ты сидел уже два с половиной года. И тебя удвинули в Кемерово — где ты абсолютно правильно сориентировался, перешел в КТБ и занялся наукой.

Б. (*говорить ему, в общем, нечего*). Та-ак...

А. (*в тон ему*). Та-ак... И написал кандидатскую по расчетам нагрузки кабелей, и ВАК промариновал ее два с половиной года, та-ак?

Б. Ну...

А. Тпру!.. И за это время Плотников защитил в Москве свою диссертацию: фактически твой метод с расширенным применением. И его заявка была признана оригинальной, и ты остался даже без приоритета, а тема эта стала Плотниковской, и он сделался на ней член-корром! Как тормозится диссертация в ВАКе, тебе, надеюсь, не нужно долго объяснять. Что Плотников работает на Ведерникова, ты тоже, если и не знал, то мог догадываться. А кто приложил руку, чтобы ты не проскользнул? Пра-авильно...

Б. Слушай... погоди... Слушай!... (*махнет рукой протестующе, как бы пытаясь задержать*).

А. (*с лицемерной печалью*). Мне очень жаль, что ты не помнишь то двенадцатое января на Демушкина. (*Стучит ладонью по столу, начальственно и уверенно.*)

Ты защитился, и как раз пошло расширение. И твое КТБ логично должно бы было отпочковаться и

расшириться в институт. А вместо этого был создан однопрофильный институт в Омске! Ай-яй-яй какая досада, а? И сел на него Головин! И сейчас Головин — в министерстве! Ведерников? А что ему: «Доложить!» Естественно — доложил. Оч-чень, кстати, он мою память ценил. И благодаря моей памяти Каплин не взял тебя в Челябинск. А Плотников за это время стал доктором и получил Государственную! Так?

Б. Ну... *(совершенно смят, растерян и потерян)*.

А. Щербину помнишь?

Б. Зав по кадрам?

А. Именно. Двоюродная сестра моей жены была его женой. Понял?

Б. Вот ка-ак...

А. И ты опять крутнулся, и перебрался в Красноярск, и скромно сел на отдел — отдел! Отдаю тебе должное — перспективный отдел, точно рассчитал. И защитил докторскую ты только в шестидесятом году — а был тебе уже пятьдесят один, и перспективным ты быть потихоньку переставал. И ВАК продержал твою докторскую еще четыре года, и когда ты в шестьдесят втором получил институт — это был потолок. Потолок!

Б. *(с выпущенным воздухом)*. Во-он оно что...

А. В шестьдесят восьмом тебе представился последний шанс, помнишь? Симпозиум в Риме через доклад в Москве, опять же через Ведерникова; определение основного направления дальнейших работ. И ты не поехал. Поехал Сеницын. И кончилось тем, что Сеницын тебя съел.

Вот и вся твоя карьера.

Б. *(тупо)*. Я всегда чувствовал... Я всегда предполагал... Чья-то рука...

А. Верно чувствовал. Продолжаю. Раздел мелочей быта. Только, прошу, без эксцессов. Ну — когда ты еще такое узнаешь, а? Гамбургский счет. Мне, видишь ли, немного обидно, что ты совсем забыл тот вечер двенадцатого января.

Да. Мне всегда нравилось на тебя смотреть: такой красивый, уверенный, такой любимый женщинами. Рога очень тебе идут. Вообще когда жена на двенадцать лет моложе — это чревато, ты не находишь?

Б. *(тихо, наливаясь)*. Сотру, мразь!..

- А.** *(холодно)*. Сначала имеет смысл получить информацию, нет? Итак: пятьдесят пятый год, и она едет на курорт, Крым, ах, прелесть!.. Ты на что рассчитывал, юга не знаешь? И без меня обошлось бы. Но — можешь запомнить адресок: Москва, Воронцов проезд, двенадцать, сорок семь. Гонторов Алексей Семенович. Можешь процитировать своей супруге и насладиться ее реакцией. Это, видишь ли, мой старый знакомец, профессиональный, я бы сказал, бабник. Жизнь на это дело положил! После него ей с тобой в постели ну никак не могло быть интересно. Ты же в это время утрясал в Москве собственные дела. Ну, я и спросил как-то по телефону Будникова, где семейство твое. А Леша — Гонторов — как раз в отпуск ехал. Я и порекомендовал ему, с присовокуплением личной просьбы.
- Б.** Ложь, бред, ахинея!!..
- А.** Не думаю... Леше нет надобности хвастать... Да он и письма мне показывал... Полюбопытствуй, заявись к нему. Да и поройся получше в памяти — как она вела себя с тобой первое время после отпуска, — поймешь. Ты ж слеп и самоуверен, как все супермены.
- Б.** *(мотая головой)*. Вранье! Простодохнешь от зависти, старый хрыч, перст без подпорки!
- А.** *(иронично)*. Я?.. Не смейся. Я почти прадедушка. Четверо внуков. Какая зависть?
- Б.** *(упрямо цепляясь)*. Все врешь. Нет никого и ничего у тебя! И не было!..
- А.** *(издевательски)*. Прошу в гости. Приму в приличной квартире, те же шестьдесят метров, что у тебя. Дача — сносная, хотя и не в Кунцеве, все удобства. Еще что? Машина. Не люблю тупорылых «фиатов». Серая «Волга», скромно и со вкусом. Не веришь? *(С наслаждением, медленно, вынимает из внутреннего кармана роскошный бумажник, из него — пачку фотографий и водительские права.)* Прошу.
- Б.** *(неохота борется с недоверием и любопытством. Смотрит)*. Что ж. Поздравляю. Что еще имеете сообщить?
- А.** Не вспомнил двенадцатое января?
- Б.** *(взрываясь)*. Нет!! будь оно проклято! Кровавое двенадцатое января *(с истерическим смешком)*.
- А.** *(светским тоном)*. Напоследок — пара милых пустяков. Дочь твоя кафедру в Киеве не получила и вряд ли получит. Колесницкому она, видишь ли, не

нравится. Наберись нахальства — позвони ему, спроси, не поступала ли ему информация из Москвы. Колесницкий подчинен Семенову, а Семенов дружен со Щербиной. Крайне просто.

Б. Все?

А. С аспирантурой твоего наследника, куда он уже раз не прошел, вариант аналогичный.

Б. Все?

А. И логическое завершение. Сиди мужественнее, экс-мужчина. Нахожу уместным сейчас двум врагам, сидящим лицом к лицу и подводящим итоги, выпить за здоровье друг друга. (*Пьет.*) А здоровье у тебя, милый мой, ни к черту (*его начинает разбирать смех*). Ха-ха-ха! удачник! ха-ха-ха!

Б. (*уничтоженный, скрывая тревогу*). Ну?

А. (*бессердечно*). Ха-ха-ха! У тебя язва, да? Ха-ха-ха! Ох, прости! ха-ха!.. (*Утирает слезы*). У тебя рак, любезный. Рак. И жена это знает. И дети. И если ты найдешь способ заглянуть в свою карточку, тоже узнаешь. И если просто перестанешь прятать от правды голову под крыло, то припомнишь все симптомы и сам поймешь.

Б. Откуда ты знаешь?

А. Разве я не могу по-хорошему поинтересоваться у врача здоровьем хорошего друга, дабы, скажем, облегчить его страдания дефицитным лекарством из Москвы?

Теперь — все.

Да. Объяснение.

Я-то, видишь ли, хорошо запомнил вечер двенадцатого января тридцать шестого года. Это не прощается. Жизнь с плевком твоим в душе прожил. Вот и разделал тебя под орех. Наилучшим способом.

А сейчас — позвонил, узнал в горисполкоме твой день и часы приемные, специально прилетел. Ну, отдохнул заодно пару дней — можешь справиться в «Приморской» о моем счете. И встретил тебя — как хотел, нечаянно. Выслушал сначала твою собственную версию счастливой жизни. Ха-ха-ха! Удачник... Приехал пенсионер доживать старость в домик с садиком, так и тут скоро скапуетится.

Б. Да что хоть было в тот чертов вечер?

А. Вот вспоминай и мучься.

Б. (*последняя вспышка сил*). А меня ведь еще хватит на то, чтобы сейчас избить тебя.

А. Фу. Несolidно. Два старых человека. Меня ведь хватит еще на то, чтобы отравить тебе последний год существования. Излишки площади, излишки участка, заявление в милицию об избиении, письмо из Москвы — и никто тебя здесь не защитит.

Все. Свободен.

Б. *(не находит ничего крепче театральной формулы)*.
Будь ты проклят.

А. *(ласково и недобро)*. Не волнуйся. А то еще вмажешься куда на своей жестянке, ГАИ — а ты пил, откупаться, ремонт...

Некоторое время молча, неподвижно, смотрят друг на друга.

Причем сейчас

Багулин

— старик за семьдесят, очень усталый, одетый со смешной и жалкой претензией.

Арсентий

— собранный, жесткий, полный того, что принято называть нервной энергией. Строен, худошав, дорогие вещи сидят на нем свободно и небрежно.

Багулин поднимается и уходит, и хотя идет он сравнительно нормальной походкой, но кажется, что он горбится и шаркает ногами.

Уже темно. За стеклянной стеной в густой сини — мигающие огни самолетов. Зажигается свет.

Арсентий смотрит вслед Багулину, достает носовой платок,тирает лицо и шею — и словно это был фокус с волшебным платком — неуловимо преобразается в того старика, каким и был в начале встречи.

А. *(внимательно оглядывает стол, считает в уме, достает бумажник, считает деньги. Облегченно)*. Хватает. Так и думал. Придется ехать общим. Ладно, меньше двух суток... *(Говорит с собой негромко и спокойно, как человек, давно привыкший к одиноче-*

ству.) Вот уж поистине — старческое безделье и ма-разм... Но крепко я его придавил. Крепко... Всему вроде поверил, а!.. А что — я весной месяц этим развлекался: все сходится... людей половина уже перемерла, — и при желании не опровергнет. С женой даже если — Лешка подтвердит... не-ет, психологически я тебя прищучил, Багулин. И диагнозу своему ты теперь до конца никогда не поверишь... нехай тебя покрючит.

Закуривает, закашливается, разгоняет дым рукой.

Кхе! Кх-хе!.. Да. А ведь — боялся я тебя всегда, Багулин. И сейчас — тоже... побаиваюсь. Ты — сильней... крупней, так сказать. И ничего — ничего мне было с тобой не сделать. Не убивать же, в самом деле.

Вот — сыграл наверняка. Без малейшего риска, другой. И разрушил изрядно всю твою жизнь, не правда ли? Не более чем сменой точки зрения.

Смешная жизнь — уничтожается сменой точки отсчета, а!..

А ведь даже пощечину дать тебе не посмел... Так и прожил с фигой в кармане. И под конец эту фигу показал. Ничтожество... А ты — да, так или иначе ты величина. Или — мнимая величина, если я тебя так?

Но ты не помнишь... Что же — тот вечер в итоге обошелся тебе дорого. Вспомни! *(Хихикает.)* Это было не двенадцатого января, а шестого марта, ты можешь вспоминать долго!..

Ох, паспорт менять обратно... Ну вот же засела заноза у старого обалдуя! Десять рублей... а пенсия двадцать четвертого. Ну... не помирать же под чужой фамилией. Поиздержался я, поиздержался... У Лешки одолжу, посмеемся в субботу над этой комедией!.. *(Проходящей официантке)*: счет, пожалуйста.

ЛОДОЧКА

Октябрьский день был ясен и чист насквозь. Я бродил по Михайловскому саду: сухое стынущее сияние осени, ограниченное в узорную чернь оград. Перспективы обнажались. Отдыхали на скамейках старички, курили молодые стильные мамы, мелькала детвора в азарте. Мальчишки пускали в пруду бумажные кораблики, они скользили по чернолитой плоскости. Один достиг берега около меня. Я поднял его, размокшая бумага развернулась; чернила расплылись на ней.

«.....и место рождения: 14 авг. 1900г., с. Ольговка
бывш. Екатеринославской губернии (Днепропетровская
обл.).

Партийность, год вступления: член КПСС 1919 г.
...нер-экономист, Ленинградский по
...тут в 1930 г.
немецким — объясняюсь

...в 1956 г.

Жена: X X X

Дочь: X X X

...густ 1917 г. — рассыльный страхового акц
...ства «Волга».

...18—2/II-1920 — боец 270 стрелкового полка 24 Пролет
...таря ревтрибунала 2 Донской дивизии.

...чик Ленинградского торгово...

...п/х «Роза Люксем...

6/X-1930 — 26/II-1938 — редактор Лениздата водного
трансп...

партбюро 202 полка

Гангутского полка

...лховский фронт

41 г.

...евраль 1942 г. — комиссар 24 инж. бригады

...краинский ф

3 танковая армия

VIII-1946 — преп. инж. дела военной ка...

...953 — инженер-экономист

Совета рабочих, крестья...

...тов — секретарь.

юзный комитет — зампре...

1936, орден Красной Звезды — 1940, ор...

йны I степ. — 1943, медали «За оборону С...

ие Праги» — 1945, «За победу над фашистс...

1975 г.

ул. Белградская, д. 106, корп.....

ПОПРАВКИ К ЗАДАЧАМ

Августовское солнце грело приятно. Листва уже набирала желтизну. Маршал дремал на скамеечке. Он услышал шаги и открыл глаза. Генерал с молодым усталым лицом стоял перед ним. В первые моменты перехода к бодрствованию маршал смотрел с неясным чувством. Старческая водица пояснила на его глазах. Генерал был в форме того, военного, образца. «Забавно», — маршал понял, улыбнувшись: это он сам стоял перед собой и ожидал, возможно, указаний.

— Ну, как командуется? — спросил он.

— Трудно, товарищ маршал, — ответил генерал, поведя подбородком, и тоже улыбнулся.

— Трудно... — повторил маршал. Третью века назад, подтянутый в безукоризненно сидящей форме, он был хорош... — А иначе и не должно.

Пологий склон переходил в лес на высотах. Его наблюдательный пункт находился в сотне метров. НП был такой, как он любил: основательный блиндаж накатов в шесть и рядом вышка, пристроенная к высокой сосне, маскируемая ветвями. Маршал пришел в определенно приятное расположение духа.

Генерал достал портсигар.

— Кури, — разрешил маршал. — «Казбек»? Правильно, — одобрил. — Садись, не стой. Это мне перед тобой теперь стоять надо, — пошутил он и вздохнул.

Тихо было. Спокойно. Даже птички пели.

— Волнуешься?

— Гм... Да как вам сказать, — затруднился генерал.

— Главное что, — приступил маршал и задумался...

Рядом сидящий, в значимости энергии главных дел жизни, в нерешенности тревог, ощущался им по-сыновнему близким, и было в этой приязни нечто неприличное, и зависть была, и снисходительное сожаление. Явился вот, поправок небось ждет, замечаний... — Главное — тебе

надо контрудар выдержать, не пуская резервы. Заставить их израсходовать на тебя все, что имеют. Иначе — хана тебе. Прорвут. Чем это пахнет — ясно?

— Ясно...

— Иначе — срыв всей операции, а тебя разрежут и перемелют. Сейчас от твоей армии все зависит. Успех двух фронтов зависит от тебя.

Генерал пошевелил блестящим сапогом. Рука с папирсой отдыхала на колене, обтянутом галифе.

Маршал развивал мысль. Знание и победы утратили абсолют, — томление списанных ошибок овладело им; анализ был выверен; он смотрел на генерала с надеждой и беспокойством.

— А... стиль руководства? — спросил генерал.

Маршал сказал:

— Над собой ты волю чувствуешь постоянно, — и под тобой должны. Одного успокоить, довести до него, что все развивается нормально. На другого — страху нагнать! чтоб и в мыслях у него не осталось не выполнить задачу. Тут уж актером иногда надо быть!.. — он глянул и рассмеялся: — Эть, как я тебя учить стал, а?..

— Ничего, — рассмеялся и генерал. — Все верно!

— А в деталях? — спросил он.

— Да у тебя лично вроде так, — сказал маршал недовольно, добросовестно сверяясь с памятью. — Только, — покрутил пальцами...

— Общей достоверности не хватает?

— Вот-вот, — поморгал, подумал. — Ну, давай, — напутствовал. — Командуй! — и остался на своей скамеечке. Поковырял палкой лесную землю, сухую, слоеную.

Растеснил воздух нежеванный механический звук мегафона:

— Всем по местам! Перерыв окончен!

На съемочной площадке приняла ход деловитая многосложная катавасия.

Генерал подошел к режиссеру.

— Что Кутузов? — спросил режиссер и изломил рот, нарушив линию усов.

— Получил краткое наставление по управлению армией в условиях мобильной обороны, — сообщил генерал.

Режиссер крякнул, махнул рукой и наставил мегафон:

— Свет! Десятки! Пиротехникам приготовиться!!

Генерал со свитой полез на вышку. Звуковики маневрировали своими журавлями; осветители расправляли

провода; джинсовые киноадыютанты сновали, художник требовал, монтажники огрызались, статисты дожевывали бутерброды и поправляли каски; запахло горячей жостью, резиной, вазелином, озоном, тальком, лежалым тряпьем; оператор взмывал, примериваясь. Режиссер заступал за предел напряжения не раз до команды: «Внимание! Мотор!», пока щелчок хлопушки не отсек непомерный черновик от чистой работы камеры.

Переводя дух, потный, он закурил. Сцена шла верно. Картина двигалась тяжело. У него болело сердце. Он боялся инфаркта.

Черная «Чайка» маячила за деревьями. В перерыве маршал вступил с объяснениями. Маршал, извинившись, в который раз объяснил, что воля ваша, но передвижение техники в этом районе и направлении выглядит явно бессмысленным, а пиротехнические эффекты вопиюще не соответствуют действительности. Режиссер, извинившись, в который раз объяснил, что воля ваша, но если привести натуру в копию действительности, то на экране ничего не останется от этой самой действительности.

— Все делается единственно верным образом. И благодаря вам тоже, — любезность иссякала; прозвучало двусмысленно. Он отошел в осатанении от консультанта.

Недоказуемость истины бесила его.

Он отвечал головой за каждый кадр. Это была его главная картина. Он боялся инфаркта.

Маршал мешал как мог. Он стал злом привычным.

Генерал перегнулся с вышки:

— Ви-ид отсюда, — поделился он.

Тяготимый несчислимыми условиями, —

— Дубль! — назначил режиссер, желая гарантии, терзаясь потребностью идеального совпадения кадра с достигнутой им истиной.

«Дубль...» — хмыкнул маршал.

Ему не было нужды лезть на вышку, чтобы отчетливо увидеть картину сражения. Он знал ясно, как за тем увалом, на невидимом отсюда поле заглатывая паленый воздух артиллеристы бьют по безостановочно и ровно подминающим встречное пространство танкам, как сводит на трясущихся рукоятях руки пулеметчиков, как сблизает прицел вжатая в окопы пехота. Он знал хорошо, что будет здесь сейчас, если танки панцерной дивизии пройдут через порядки его ИПТАПов.

ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ

Под фонарем, в четком конусе света, отвернув лицо в черных прядях, ждет девушка в белом брючном костюме.

Всплывает музыка.

Адамо поет с магнитофона, дым двух наших сигарет сплетается над свечой: в Лениной комнате мы пьем мускат с ней вдвоем.

Огонек волнуется, колебля линии картины.

— А почему ты нарисовал ее так, что не видно лица? — спрашивает Лена.

— Потому что она смотрит на него, — говорю я.

— А какое у нее лицо, ты сам знаешь?

— Такое, как у тебя...

— А почему он в камзоле и со шпагой, а она в таком современном костюмчике, мм?..

— Потому что они никогда не будут вместе.

Щекой чувствую ее дыхание.

Мне жарко.

Лицо у меня под кислородной маской вспотело. Облачность не кончается. Скорость встала на 1600; я вслепую пикирую на полигон. 2000 м... 1800, 1500, 1200. Черт, так может не хватить высоты для выхода из пике.

Мгновения рвут пульс.

Наконец, я делаю шаг. Почему я до сих пор не научился как следует танцевать? Я подхожу к девушке в белом брючном костюме. Я почти не пил сегодня, и запаха быть не должно. Я подхожу и мимо аккуратного, уверенного вида юноши протягиваю ей руку.

— Позвольте — пригласить — Вас? — произношу я...

Она медленно оборачивается.

И я узнаю ее.

Откуда?..

— Откуда ты знаешь?

Я в затруднении.

— Разве они не вместе? — спрашивает Лена.

— Нет — потому что она недоверчива и не понимает этого.

— Ты просто осел, — говорит Лена и встает.

Я ничего не понимаю.

900 — 800 — 700 м! руки в перчатках у меня совершенно мокрые. Стрелять уже поздно. Я плавно беру ручку на себя. Перегрузка давит, трудно держать опускающиеся веки. Когда же кончится облачность! 600 м!!

И тут самолет выскакивает из облаков.

И от того, что я вижу, я в оторопи.

В свете фонарей, в обрамлении черных прядей, мне открыто лицо, которое я всегда знал и никогда не умел увидеть, словно сжалившаяся память открыла невозстановимый образ из рассеивающихся снов, оставляющих лишь чувство, с которым видишь ее и вдруг понимаешь, что знал всегда, и следом понимаешь, что это опять сон.

— Пожалуйста, — говорит она.

Это не сон.

Подо мной — гражданский аэродром. «Ту», «Илы», «Аны» — на площадке аэровокзала — в моем прицеле. Откуда здесь взялся аэродром?! Куда меня еще сегодня занесло?!

И в этот момент срезает двигатель.

Я даже не сразу соображаю происшедшее.

Лена обнимает меня обеими руками за шею и долго целует. Потом гасит свечу.

— Я люблю тебя, Славка, — шепчет она мне в ухо и голову мою прижимает к своей груди.

— Боже мой, — вдыхаю я, — я сейчас сойду с ума...

Она улыбается и подает мне руку. Я веду ее между пар на круг, она кладет другую руку мне на плечо; и мы начинаем танцевать что-то медленное, что — я не знаю. Реальность мира отошла: нереальная музыка сменяется нереальной тишиной.

И в нереальной тишине — свистящий гул вспарываемого МиГом воздуха. С КП все равно ничего посоветовать не успеют. Я инстинктивно рву ручку на себя, машина приподнимает нос и начинает заваливаться. Тут же отдаю ручку и выравниваю ее. Вспомнив, убираю сектор газа.

— Боже мой, — выдыхаю я, — я сейчас сойду с ума...

Я утыкаюсь в скудную подушку, пахнущую дезинфекцией, и обхватываю голову. Я здесь уже неделю; раньше, чем через месяц, отсюда не выпускают. Мне сажают какую-то дрянь в ягодицу и внутривенно, кормят

таблетками, после которых плевать на все и хочется спать, гоняют под циркулярный душ и заставляют по хитроумным системам раскладывать детские картинки. Это — психоневрологический диспансер.

Сумасшедший дом.

— Вы хотите знать! Так вы все узнаете! — визжит Ирка.

Ленины родители стоят бледные и растерянные.

— Да! Да! Да! — кричит Ирка, наступая на них. — Все знают, что он жил со мной! Все общежитие знает! — она топает ногами и брызжет слюной.

— Я из-за него развелась с мужем! Я делала от него три аборта, теперь у меня не будет детей! Он обещал жениться на мне!

Она падает на пол, у нее начинается истерика.

Лена сдавленно ахает и выбегает из комнаты.

Хлопает входная дверь.

Я слышу, как она сбегает по лестнице.

Как легки ее шаги.

Она танцует так, как, наверное, танцевали принцессы. Как у принцессы, тонка талия под моей рукой. Волосы ее отливают черным блеском, несбывшаяся сказка, сумасшедшие надежды, рука ее тепла и покорна, расстояние уменьшается,

все уменьшается...

До земли все ближе. Я срываю маску и опускаю щиток. Проклятые пассажиры прямо по курсу. К пузачу «Ану» присосался заправщик. Толпа у трапа «Ту». Горючки у меня еще 1100 литров, плюс боекомплект. Рванет — мало не будет.

Хреновый расклад.

Старые кеды, выцветшее трико, рваный свитер... плевать!.. У меня такие же длинные золотые волосы, как у моего принца, и корабль ждет меня с похищенной возлюбленной у ночного причала. Смуглые мускулистые матросы подают трап, я веду ее на капитанский мостик, вздрагивают и оживают паруса, и корабль, пеня океанскую волну, идет туда, где еще не вставшее солнце окрасило розовым прозрачные облака.

На их фоне за холодным окном, за замерзшей Невой, вспучился купол Исаакья.

— А вы все хорошо обдумали? — спрашивает меня наш замдекана, большой, грузный, и очень добрый, в сущности, мужик.

- Да.
- Это ваше последнее слово?
- Последнее.
- Что ж. Очень жаль. Очень, — качает головой. —

И все же я советую вам еще раз все взвесить.

— Я все взвесил, — говорю я. — Спасибо...

Мне не до взвешивания.

Машина бешено сыплется вниз. Беру ручку чуть-чуть на себя и осторожно подрабатываю правой педалью. Черта с два, МиГ резко проваливается. Не подвернуть. На краю аэродрома — ГСМ, дальше — ровный луг, за ним — лесополоса. Тихо, едва-едва, по миллиметру подбираю ручку.

Спокойно, спокойно...

Сейчас все в моих руках, только не осечься...

— ...Как вас зовут? — спрашиваю я.

— Какая разница, — отвечает она.

Хоть бы не кончалась музыка; пока она не кончилась, у меня еще есть время.

— Откуда вы? — спрашиваю я.

— Издалека.

— Я из Ленинграда... Вы дальше?

— Дальше.

Отчуждение.

Эмоций никаких.

Как по ниточке, тяну машину. Тяну. Не хватит высоты — буду сажать на брюхо. Луг большой — впишусь.

Ей-богу, выйдет!

— Может быть, мы все-таки познакомимся?

— Не стоит, — говорит она.

Ночной ветерок, теплый, морской, крымский, шевелит ее волосы.

Будь проклят этот Крым.

С балкона я вижу, как блестит за деревьями море. Не для меня. Мой туберкулез, похоже, идет к концу. После семи месяцев госпиталя — скоро год я кантуюсь здесь. Впрочем, мне колоссально повезло, что я вообще остался жив. Или наоборот — не повезло?

А вот из авиации меня списали подчистую.

Кончена музыка.

— Танцы окончены! — объявляет динамик со столба.

Я провожаю девушку до места.

— Хотите, я расскажу вам одну забавную историю? — я пытаюсь улыбаться.

- В другой раз.
- А когда будет другой раз?
- Не знаю.

Господи, что мне делать, первый и последний раз, единственный раз в жизни, помоги же мне, господи.

И все-таки я вытягиваю! ГСМ еще передо мной, но я чувствую, что вытянул. Катапультироваться поздно.

И вдруг я понимаю — запах гари в кабине.

Значит — так. Невезеньице.

Финиш.

Выход. Аккуратный, уверенного вида юноша отодвигает меня и обнимает ее за плечи. Прижавшись к нему, она уходит.

Тонкая фигурка, светлое пятнышко, удаляется в темноте.

И вот уже я не могу различить Ленин плащ в вечерней толпе, и шелест шин по мокрому асфальту Невского, и дождь, апрельский, холодный, рябит зеленую воду канала.

Зеленая рябь сливается в глазах...

самолет скользит по траве в кабине дым скидываю фонарь отщелкиваю пристяжные ремни деревья все ближе дьявол удар я куда-то лечу

Туго ударяет взрыв.

ОСУЖДЕНИЕ

— Любовь моя, осень, — изрекаю я. — Когда приходит знание и покой, весна раздражает, пора беспокойства, и я жду сентября.

— Ста-ре-ешь, — улыбается Анна.

— Так, — переставешь проповедовать, что раньше было лучше, и это старость: ясность и смирение.

— Мужчина излагает кристально, — кивает бородастый из угла. Грязноволосые эстеты, мудрецы в поисках жратвы и аудитории, богема без искусства: шайка идиотов. Отыскиваю на столе невыпитую рюмку. «А в Швеции, — повествует мымра в свитере, — вместо «Нет выхода» над задними дверьми автобусов пишут «Выход с другой стороны» — чтоб уменьшить число самоубийств». Интеллектуи отдают дань проблеме самоубийств и мудрости шведов, переходя к обсуждению свободы секса. Все они гении в сослагательном наклонении. Моя причастность томительна. «Не злись, — трогает меня Анна, — лучше мы убьем время, чем оно убьет нас». Туда же.

— Мы сейчас пойдем в ту комнату и закроем дверь, — говорю, — или побудь-ка одна, моя юная грация тридцати восьми лет.

— С римской прямоотой, — констатирует с удовольствием бородастый. «Вы умрете не от своей руки», — отворачиваюсь.

— Ты... ты... — Анна изображает готовность к эффектному жесту.

— Я? Подонок, мм? — Она охает: синяки будут. Идет покорно, опустив голову в своих химических волосах.

У Люды были не такие волосы.

Волосы такие... похожие, м-да... у Маринки были такие.

Волосы эти легко ласкают мое остывающее лицо. Потом она ложится, прижавшись, и дышит успокаиваясь. Сейчас захочет пить.

— Мы встречаемся, только когда я сама прихожу, — говорит она.

— Тем лучше, — соглашаюсь я. — Мы встречаемся по твоему желанию.

Принц из андерсоновской русалочки был осел, каких поискать. Русалочка была прекрасна, смертельно любила его — и не говорила ни слова, немая. Это ли не идеал женщины? Он женился на другой — надеюсь, получил по заслугам.

Прикосновение Маринки приятно. Смытые картинки тасуются... я слышу собственный всхрап и размыкаю веки. Она приподнимается. Я тяну одеяло.

— Я не нужна тебе, — с умеренной скорбью.

Началось; началось; ох!..

— Хочешь сливу? — остались.

— Ты не занят завтра?

— Я тебе позвоню.

Мне капает слезинка.

Из «Мира мудрых мыслей» я почерпнул, что «счастье есть удовольствие без раскаяния».

Она одевается у окна. У нее красивое тело.

— Ты не проводишь меня?

За окном фонарь, дождь; ее профиль изящен.

У Людвиг был не такой профиль.

Линия профиля отсвечивает голубым на летящем фоне снежинок. Убранные деревья Александровского сада отдают сумеречный свет.

— Я так боюсь первой сессии, — говорит Вика. Я успокаиваю солидно.

Мы гуляем долго после кино, и она не отнимает руки.

Прожекторы зажглись, звенят куранты Адмиралтейства.

Я читаю Блока.

Вика печальна, девочка.

— У тебя не промокли ноги, Вик? Пойдем пить чай.

В гастрономе она тоже пытается платить, «позавчера была стипендия».

Дома я пристраиваю ее сапожки под батареей.

— За благополучную сессию!

Вика пьет храбро. Я показываю стройотрядные фотографии. Пою ей наши песенки под гитару. Музыка, свеча. «Ты гладишь меня, как кошку», — морщит носик. «Кошек гладят те, кому больше некого». Она позволяет целовать себя и смотрит отчаянно.

— Какая ты красивая, Вик... Я знаю тебя давно, только ты не знала этого...

— Правда?

Она гладит мою щеку и в этом прикосновении вдруг на мгновение становится родной, и становится истиной все что я говорю и делаю.

— Милая...

И уже в темноте какое-то время мерцают отрешенно и закрываются ее глаза.

У Люды были не такие глаза.

Сейчас среди толчеи Невского я упираюсь во взгляд этих глаз.

— Сережка... — она смотрит на мое пальто, ботинки. — Что с тобой? — риторически вопрошает с жалостью, но и с отщением... Так всплывает забытая боль, чтобы уже исчезнуть.

— О, мать, — говорю я. — Вы прекрасно сохранились. И элегантно чертовски.

В угловом кафетерии она берет нам кофе и пару пирожков мне. Я приношу чистый стакан:

— Не угодно? — вынимаю початый портвейн.

— Нет больше водки с апельсиновым соком, — усмеяется Галя. — Ты изменяешь себе.

— О нет.

Не могу отказать себе в удовольствии снять шапку. Она боится смотреть на мою лысину.

— Как живешь?..

— Так. А ты: замужем, дети?

Подтверждает.

— Я ж говорил, все будет у тебя хорошо; помнишь? а ты не хотела соглашаться.

Выйдя, закуриваем.

— Дай два рубля, — прошу я. Получаю пятерку.

Она ищет формулу прощания.

— Ну что, все бабы твои были? Вся водка выпита? Выполнена программа? — говорит она своим красивым голосом.

У Люды был совсем не такой голос.

Голос Танин — закрыв глаза на солнце, я забыл о счастье — напоминает:

— Ты сожжешь плечи, Сергей, — и внутренняя улыбка постоянна в ее лице и голосе.

Уже июнь, и трава у залива высокая. Кузнечики нажаривают в ней, а позади шуршит о песок вода. Песчин-

ки в сгибах истории и муравей на странице; мы дремлем, касаясь плечами. Таня покрывает мне спину своим платком; ее кожа нагрета и блестит. Рассеянное в воздухе светлое золото июня отполировало ее.

— А я загораю лучше чем ты, — и целует.

Тени отмечают время. Мы купаемся напоследок. Она не умеет плавать, но здесь мелко и дно чистое.

Собравшись, мы уходим босиком. Я переносу Таню через мазутистое шоссе. Она старается лежать удобнее.

За листвой видна автобусная остановка.

— Ты из-за меня совсем не учился сегодня, — говорит Таня. — Если ты получишь четверку, тебе не дадут медаль... Ты не сердись на меня?

Она самая красивая девочка в школе. Везение мое щемит нереальным. Мы строим планы.

СВОБОДУ НЕ ПОДАРЯТ

Ночью в открытое окно слышны куранты Петропавловки. Восходят огни разведенного моста, мазутным теплом судов и майским запахом акаций с набережной омывается прокуренная комната.

Девчонки посапывают под тонкими одеялами, конспекты и курсовые белеют на столах.

Лик Че Гевары проясняется на стене.

Утренние краски разводят сумерки; трещат-цвиринькают воробьи в недвижной листве, свежесть тянет с залива.

Двадцать три года; старуха. Выгляжу все хуже. О чем ты мечтала в тринадцать лет. И что было в семнадцать. С привычным спокойствием — в зеркало. Не проснешься. Не заснешь. Выпяченный ротик аквариумной рыбки на грязном тесте лица. Крючок. Рви губы. Больно. Мое. Дважды не будет. Он хороший. Если б... Если б...

Коридоры, двери, комнаты спящего общежития.

Надя. Все слова, что придуманы. Надя. Такой большой холодный город. Надя. Легче было носить миномет по топким зарослям. Надя. И колючки рвали куртку и шкуру. Мою черную шкуру. Мои мины рвали белые шкуры. Белое отребье, которому не нравится цвет шкур моего народа. Не так все просто. Надя.

— Почему ты не отвечаешь мне, Надя?

— Не торопи меня, Симон.

— Через месяц я уезжаю, Надя.

— Дай мне еще немного подумать, Симон.

— Ты думала долго, Надя.

— Не торопи меня. Пожалуйста, не торопи меня...

— Скажи лучше сразу... Тебе трудно это, Надя?

— Это всегда трудно.

— У тебя будет хороший дом. Я буду хорошо зарабатывать. У меня не будет других женщин, Надя.

— Я знаю...

— Тебе будет хорошо. Ты не будешь менять гражданство. Если тебе будет плохо, ты вернешься в Союз, Надя.

— Я все знаю, Симон...

— Почему же ты ничего не говоришь, Надя?..

«Не могу написать даже, какое горе ты причинила нам с матерью своим письмом. Неужели ты способна, чтоб твой муж был совсем чужой человек нашей стране, всей нашей жизни. Неужели способна моя дочь бросить Родину ради иностранца, уехать за границу. Всю жизнь мы с матерью трудились для блага нашей страны, за нее я проливал кровь, и чтобы на старости лет дожить до такого позора. Нет, этого не может быть, или ты не дочь мне.»

Четверо суток идет авиа из Усолья-Сибирского.

Старые твердые руки с ввевшейся металлической пылью. Тяжело отдыхают в темноте на ситцевом пододельнике.

Шаги, шаги, километры, грязь, кровь, плита восьмидесятидвухмиллиметрового миномета образца 1938 года. Дожди привалов. Покурить. Огонь. Хлопки уходящих мин. Зацепило. Держись, Федя...

Еще месяц.

— Прощай, Надя.

— Прости, Симон...

Уж лучше бы...

Шаги, шаги, мили, грязь, кровь, ствол восьмидесятидвухмиллиметрового миномета образца 1938 года. Дожди привалов. Покурить. Огонь. Хлопки уходящих мин. Зацепило. Держись, Симон...

Уж лучше бы...

Еще два года.

— Атаc! Грымза идет!

— Надежда Федотовна, я сегодня не выучил...

— Тема сегодняшнего урока: восстание Спартака.

НЕДОРОГИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ

Каюров копил деньги на машину. Занятие это требует определенной выдержки и силы характера. У Каюрова была выдержка и сила характера. Три года назад он составил график, и теперь через год наступал срок покупки «Лады». Цвет Каюрову наилучшим представлялся сиреневый с перламутровым отливом. Перламутровые оттенки предпочтительны в моде автомобильного мира. Некоторые связи Каюров уже наладил.

Автомобилист, известно, не должен иметь пристрастия к спиртному. Человек, положивший себе приобрести машину, тем более не должен пить; а посему некоторые на работе недолюбливали Каюрова как парня прижимистого и себе на уме. Его это, конечно, не трогало, но досадно делалось иногда: что он, обязан с ними водку распивать за проходной, лучше он от этого станет, что ли?

А начальство к нему хорошо относилось. Работу он получал обычно выгодную, но и сложную, требующую внимания, он аккуратен был, не порол брак, инструмент в порядке, не одалживался и давать избегал: кому надо — у того свое есть.

Единственное что — конечно, скучновато бывало в свободное время, по выходным особенно. Жениться Каюров попозже решил, годам к тридцати, тридцати двум даже: во-первых, прежде чем создать семью, необходимо обеспечить верную материальную базу, во-вторых — куда торопиться обузу на себя взваливать? Вообще-то он не слишком умел ладить с женщинами.

Сегодня он проснулся в девять часов — самое подходящее время для воскресенья. Солнце грело в открытый балкон, листвою пахло. Каюров полежал немного, почитал «Советский спорт», послушал передачу «С добрым утром». Потом сходил в туалет, почистил зубы, принял душ, побрился электробритвой «Бердск-Зм» и немного задумался, колеблясь в решении. С одной стороны, хотелось

попить пивка. С другой, утром следовало бы выпить чашечку кофе. Тем более при наличии кофе и кофеварки, — а у ларька можно встретить различные предложения с продолжениями, к которым он относился неодобрительно.

Поэтому, сложив постель в ящик дивана, он надел «олимпийский» спортивный костюм и занялся в кухне. Растворил окно, повязался передником от брызг и, пока издавала шепчущие звуки кофеварка, распустил на сковороде бельгийского топленого масла и изготовил яичницу из четырех яиц.

После завтрака переделался: кримпленовый песочный костюм, розовая сорочка с планкой и черные лакированные туфли. Воскресный день был хорош, и Каюров отпустил на его проведение три рубля (вернее, четыре — восемьдесят шесть копеек в кошельке оставались).

При такой погоде разумнее представлялось провести время на свежем воздухе. И он с удовольствием прогулялся пару остановок пешком, посмотрел газеты на щите, выкурив сигарету. Универмаг работал — конец месяца, он прикинул чехлы для сидений в автоотделе; барахло чехлы, надо заказывать в ателье. Сел на двойку троллейбус и поехал в ЦПКиО.

У входа купил мороженое. В аллеях происходило фланирование, он последовал. Оценивал девушек в летних полуусловных платьях, прикидывая про себя, которая могла бы стать его женой, и вообще.

Над деревьями издалека тонкий силуэт колеса обозрения не ощущался подвижным. Вблизи гигантский велосипедный обод являлся сваренным из труб, голубая краска шелушилась пластинами; люльки с поскрипыванием уплывали ввысь. У турникета ждала очередь, задрал головы. Каюров купил в будочке за двадцать копеек билет у старушки в очках с треснутым стеклом, стал в конец.

Сверху все было видно здорово. Парк напоминал свое изображение на плане. Зеленый массив четко делился аллеями, озерцо блестело, лодки ползли по нему, у павильона на желтом фоне песка и сером — асфальта пестрели толпы, а потом (движение вниз) поле обзора съезжилось, представляясь меньше первоначального, — Каюров даже подосадовал, что слишком быстро, — но день был еще в начале.

Несколько минут он поглазел на качели. На качелях катались в основном дети. Особенно двое пацанов старались в раже, взлетали выше полуокружности; Каюров

подумал, что так они и мертвую петлю откроют, но, отметил: качели с ограничителем. На качели он, конечно, не пошел — не мальчик.

Температура воздуха заметно поднялась. Неплохо бы, рассудил, погрести на лодке. Самое подходящее занятие — мыщцы размять, и вообще сравнительно солидное занятие.

Пруд угадывался задолго по особому запаху водоема в жаркий день. Берега бархатились ряской. На дощатом причале распорядился малый в джинсах и без рубашки. Свободные лодки имелись. Час — рубль. Но требовалось оставлять в залог паспорт, а паспорт Каюров с собой не захватил. Не набиваться же в чужую компанию... Покурил, взирая на более предусмотрительных гребцов. Высказал малому, что паспорт по положению о паспортном режиме сдавать и брать в залог запрещается.

На американских горах в протяжном лязге размазанные скоростью тележки проносились по рельсовым виражам; сдавленные взвизги девчонок; очередь следила и тыкала пальцами. Каюров продвигался со всеми, не торопясь, некуда было торопиться, однако слегка раздражаясь, что и при воскресном отдыхе приходится выставлять очереди.

Многочисленные марши крутой лестницы вывели на верхнюю площадку. Двое пареньков принимали подающиеся снизу транспортером тележки, рассаживали в них очередных и подталкивали к спуску. Тут же под тентом несколько девчонок, — их знакомые, понятно, — раскинувшись в шезлонгах, пили пиво из бутылок.

Каюрова усадили с какой-то девицей, впереди. Тележка оказалась мелковата и вполне давала ощущение ненадежности. Сверху сделалась очевидной крутизна спуска. Их подпихнули, и они сорвались в почти свободное падение вдоль рельсов, с разгона наверх, на вершине завили в воздухе, и хотя Каюров понимал, что вылететь нельзя, в этот-то момент как раз вылететь оказалось — раз плюнуть. Но ухнули на рельсы и устремились к черной дыре тоннеля, высота его меньше высоты тележки. Девица пискнула и прижалась к его спине. А у него нервы были хорошие.

После этих гор он посидел и покурил немного.

Потоптался за ограждением вокруг парашютной вышки. Закрепленный парашют скользил вдоль вертикального троса, дядька страховал, ловил приземляющихся, — неинтересно. Ноги у «парашютистов» болтались и

подламывались, площадка выбита в пыль... Какие-то семнадцатилетние ухари — из завсегдатаев, не иначе, — прыгали спиной вперед с перил, крутя сальто между лямок, но выглядело это скорее хулиганисто, чем лихо, — все повадки у них были такие, приבלатненные.

Рядом в круглой вольере за железной сеткой авиамоделисты гоняли кордовые модели. Яркие самолетики проворно кружили на привязи, жужжа звонким металлом. Их привязанность вызывала некий протест, — хотелось свободного полета для них, высоты, пусть и закувыркаются оттуда.

Время текло в общем приятно. Каюров еще побродил по аллеям, посидел на скамейке, навешивая взгляды на проходящих девчонок, но тут рядом расположились машина со старушкой и младенцем в коляске, а его принялись стыдить, что курит рядом с ребенком; он выдвинул резонные возражения, что сел первый, да и здесь не детская площадка, они стронулись, поняли, что на него где сядешь, там и слезешь, но все равно настроение стало уже не то, он тоже поднялся.

Завернул к закусочной — пообедать не мешало бы. Очередь занимали, наверно, уже на ужин. Тухлый номер. Но ему повезло: рядом начали давать пиво и бутерброды. Он взял две бутылки «Адмиралтейского» и четыре бутерброда с колбасой, скушал, под вторую бутылку закурил, и настроение привелось к норме. Нет, полноценный отдых получался.

Перекусив, Каюров решил посетить комнату смеха. В комнате смеха он заскучал. Ну, кривые зеркала. Толстый — тонкий, вот веселье... Подойди и смотришь на улице в хромированный колпак автомобильного колеса — тот же эффект.

Часы показывали без двадцати четыре. Еще немного стоит поболтаться. На шесть он сходит в кино — у них рядом идет, «Свет в конце тоннеля», остросюжетный детектив, специально его на воскресенье оставил. Потом — посмотреть дома телевизор, баскет из Югославии. Нет, хороший день; можно завтра и свежим на работу, и глаза с похмелья не будут поперек, вроде некоторых.

Денег оставалось рубль шестьдесят три копейки. Полтинник на кино, гривенник на транспорт, рубль свободный. Прикинув, Каюров назначил его на игральные автоматы.

Двадцать копеек содрали за вход. Итого он располагал пятью монетами по пятнадцать.

В павильоне стереофоническим эхом отзывались электронные выстрелы и взрывы. Каюров понаблюдал из-за спин, немного стесняясь, в окошечки, где прыгали в джунглях звери, поворачивались мишени, набирали скорость и сталкивались гоночные автомобили на внезапных стремительных поворотах. Его привлекли два автомата: «Подводная лодка» и «Воздушный бой».

Сперва взялся за лодку. Перископ с двумя ручками, визир прицела, запас десять торпед. Силуэты кораблей движутся слева направо и обратно, уходя за скалы. Первые две торпеды ушли по серой воде пульсирующими пятнышками мимо. Третьей он попал: засветилось мрачное зарево, пророкотал взрыв. Приспособился, и сзади подсказывали: навести прицел заранее в угол и поджидать корабль, ловя момент совмещения. Из оставшихся семи торпед Каюров еще пять раз попал. Довольно просто. Забавно: детская, в сущности, игрушка, — а вот поди ты, дает удовлетворение.

Ознакомился с воздушным боем. Там, пронизывая с неизмеримой скоростью стратосферу, пуская отстающий ракетный гул, уходила тройка истребителей-бомбардировщиков, качаясь звеном с крыла на крыло в прямоугольном обзоре.

Каюров опустил в прорезь монету. Экран включился. Пространство понеслось назад. Самолеты уходили, сохраняя дистанцию. Он взялся за ручку управления, ловя ведущего в прицел. Панорама начала смещаться, ведущий в движении подставился в перекрестие прицела, Каюров нажал средним пальцем гашетку, трасса прочертила левее, он опоздал, не учел упреждение, прицел уже неверен. Осторожненько подобрал ручку на себя и вправо... силуэты чуть поплыли наискось в обзоре... ведущий захватился в прицел, он снова нажал, уже чуть раньше, насадил его на огненную спицу, прямо в сопло, самолет размазался горящим стремительным клубком, разбрасывая порхающие обломки, вспухшее свечение заслонило видимость, промелькнуло внизу, когда Каюров принял ручку, линия горизонта впереди опустилась, он взял слишком высоко, двух других самолетов не было видно, он завертел головой, пытаясь обнаружить их в пространстве, заработал ручкой, ни черта, и тут что-то молниеносным пунктиром чиркнуло левее и выше, секундой позже следующая трасса прошла впритирку под правой плоскостью, он инстинктивно взял ручку на себя, и третья оче-

редь прошла под самым брюхом, оглянулся, два перехватчика держались сзади на дистанции стрельбы, зайдя в хвост, слизнул пот с верхней губы, его машина шла в контуре их трасс, скорость вся, он резко сбросил газ и крутнул бочку с потерей высоты, они проскочили над ним, он вогнал машину в крутое пике, сменив спиралью направление, но они снова очутились сзади, доставая огнем, раскаленный металл изодрал и разнес его фюзеляж, баки взорвались, он распылился светящейся полосой в черной безвоздушной высоте, и все кончилось, пока трасса не прошла рядом, двигатель ревел на форсаже, ручка теряла податливость, пот слепил, не оторваться, они кончали его, он попытался боевым разворотом выйти в лоб и разойтись на встречных, пульс дробил виски, они подсекли его на вертикалях, очередь обрубила правую плоскость, горизонт закувыркался хаотично быстрее отовсюду, земля ударила сверху и его принял конец света, но звезды светились ярко и поплыли вбок разом, когда он пытался подвернуть от сближавшихся трасс, он хотел катапультироваться в отчаянии, но катапульта не срабатывала, скафандр душил его, они вцепились ему в хвост мертвой хваткой, он заштопорил, притворяясь сбитым, но они расстреляли его, заходя по очереди, как на полигоне, фонарь разлетелся, осколки рассекли скафандр, сосуды его лопнули, как у глубоководной рыбы, земля поднялась снизу и подхватила его мягким всепрощающим поцелуем.

И все погасло. Зажглось табло: «Игра окончена».

Каюров с трудом стоял, ухватившись за ручку. Он разжал слипшиеся пальцы и отступил, храня равновесие. Повернулся и стал не сразу делать шаги. Когда попал в выход, увидел снаружи скамейку и сел на нее.

Сидел и курил. Ветерок тянул, освежал.

Из павильона появилась девушка, оглядевшись живо, с кошельком в руке.

— Простите, у вас не нашлось бы пятнадцатикопеечных монет? — обратилась и пояснила: — А то кассирша вышла куда-то...

Она, моргнув, ждала, второпях обозначая вежливую полуулыбку.

— Поди ты знаешь куда... — сказал Каюров.

КНОПКА

Кнопкой его прозвали еще с первого класса. Пришел такой маленький, аккуратненький, в очках и нос кнопкой. Посадили его за первую парту, перед учительским столом, да так мы все десять лет и видели впереди на уроках его аккуратно постриженный затылок и уши с дужками очков. Левое ухо у него было чуть выше правого, очки держались косо, он их поправлял.

К нему в классе в общем ничего относились. Учился он неплохо, списывать давал всегда. Он покладистый был, Кнопка, безвредный. И не ябедничал, — даже когда в третьем классе Юрка Малинин его портфель в проезжающий грузовик закинул.

На физкультуре он стоял самый последний. Недолюбливал ее Кнопка и побаивался, ко всеобщему веселью. Пятиклассником он через козла никак не мог перепрыгнуть; и позже не удавалось. А играли мы в футбол или баскет, он шел в качестве нагрузки, друг другу спихивали. Но обычно мы его судить ставили, это и его и нас вполне устраивало. Судить Кнопке нравилось, добросовестный был судья, невзирая на риск иногда схлопотать. Правда, тут его в обиду не давали. А после игры он всем с ответственным видом раздавал полученные на хранение часы и авторучки. Или купаться пойдём, побросаем барахло, а Кнопка лежит рядом и переворачивается на солнце через научно обоснованные промежутки времени, сигареты нам достает сухими руками и время говорит.

Если в классе начинали деньги собирать, — девчонкам на подарки к 8 Марта, на складчину там, на учебники, — сдавай Кнопке. Ему определили постоянную общественную нагрузку — казначей, и относился он к ней со всей серьезностью, специальный кошелек завел с тремя отделениями: одно для мелочи, другое для бумажек, а в третьем держал список — кто, когда и сколько сдал. Как в сберкассе.

Однажды Толька Кравцов подобрал на улице щенка и принес домой. Ну, ему мамаша, конечно, показала щенка. И Толька со щенком отправился к Кнопке.

— Выручай, — говорит, — Кнопка, друг, пока я ее уломаю.

Он ее месяц уламывал. А щенок этот месяц жил у Кнопки; что немало способствовало репутации последнего. Не так-то, знаете ли, просто. В конце концов Кравцов выиграл свою гражданскую войну рядом сильных ударов: он исправил двойку по алгебре, записался в кружок друзей природы, натравил классную прийти к нему домой и провести беседу о воспитательном значении животных в семье и пригрозил матери поставить на педсовете вопрос о лишении ее родительских прав. Щенок в целости вернулся к хозяину и через год вымахал в псину величиной с мотоцикл. И уезжая летом в пионерский лагерь или с родителями в отпуск, Кравцов по-прежнему со спокойной душой оставлял его Кнопке.

Еще Кнопка умел хранить тайны. Могила! Их доверяли ему, не рассчитывая на собственную выдержку; знали: Кнопка не выдаст. Интересно представить себе кое-что судьбы, просочись скрываемые сведения. Кнопка надежно упрятывал излишки информации, которые, выйдя наружу, как раз могли дополнить уже известное до критической массы.

Да и не только излишки — на наш взгляд. Но — хозяин барин. Мы ему стали иногда и выученные параграфы сдавать. Осознаешь — и сдаешь, а то вылетит из головы до следующего урока; или в случае контрольной, например. А отличник Леня Маркин, такой ушлый парнишка, так тот приспособился вообще все Кнопке сдавать: на перемене позубрит, побормочет под нос, прикрыв учебник — и Кнопке. И не подскажет никогда ничего, паразит. «Ты же знаешь, — занудит, — у меня же нет при себе ничего...» А идет отвечать, — хватать — и блещет. Русаня его все в пример ставила. «Вот, — говорит, — как может любой развить свою память, если регулярно заниматься и с первого класса учить стихи». А при чем тут память, когда все-таки совесть иметь надо.

Когда Юрку Малинина повлекли на педсовет за электрический стул (под сиденье учительского стула он привернул батарею БАС-80 и вывел полюса на шляпки

гвоздей), он, посообразав, оставил-ка у Кнопки на всякий случай задиристость, и грубость тоже.

— Вернее будет, — решил. — Ведь ляпну им неласково — точно в специнтернат переведут. И карты пока у себя подержи.

Кое-кто замер. Заговор созрел.

— Кнопка, — уговаривают вполголоса и на дверь оглядываются, — ты б выкинул это куда-нибудь, а? Ну сам посуди — какой прок-то? Доброе дело сделаешь!..

Кнопка подумал, очки поправил и отвечает рассудительно:

— Во-первых, сами понимаете, что Юрка может тогда устроить. Во-вторых, вдруг все равно отыщет. В-третьих, ну как он взамен раздобудет такое, что только хуже станет? В-четвертых, — и он вздохнул не без горделивости, — не могу: взял — значит, отдам. Иначе нельзя. Иначе представляете, до чего может зайти?..

От него отступились разочарованные, и со смутным уважением.

Насели на Юрку. Много благ сулили и объясняли выгоду. Юрка удивлялся, фордыбачил, набивал цену. Его соблазнили авторучкой с голыми картинками.

— Ладно, — снизошел. — Но ненадолго, посмотрим пока.

Смотрели два дня. Ощутимый результат. «Стрессовый уровень обстановки резко упал», — выразилась по этому поводу староста Долматова. На третий день Юрка пришел с фингалом и прихрамывая и потребовал все обратно.

— Пацаны на микрорайоне уважать перестали, — процедил нехотя на тактичные расспросы. — Ничего, сегодня у них будет вторая серия. Курская дуга, — и сплюнул.

...И был май, и листва за открытыми окнами, когда в понедельник перед химией (в девятом классе уже) Нинка Санеева подошла в коридоре и посмотрела Кнопке в глаза. Была у нее эта глупая привычка уставиться на тебя ни с того ни с сего, а потом отвести взгляд с высокомерным выражением.

— Кнопка, — говорит, — мне надо с тобой серьезно поговорить. Очень серьезно, — а сама все смотрит.

Кнопка кивнул, стараясь держаться уверенной. Нинка — Нинка идет по улице и несет на себе взгляды, как... как сорванные финишные ленточки. И соответственно манеры у нее свободные и характер неуправляемый.

Он пришел к углу возле универмага раньше времени, в выходных брюках, с ненужными свежим носовым платком и сигаретами в кармане. Нинке полагалось опоздать, и она опоздала; но он нервничал.

Отойдя, они сели на скамейку в скверике, и Нинка взяла его за руку, и его сердце пропустило удар.

— Кнопка, — спросила она, — ты мне друг?

— Друг, — сказал Кнопка, неловко сидя, стараясь не смотреть на руку.

— Ты мне должен очень помочь, — сказала она, и Кнопка заскользил убыстря в реальность, как на салазках с горы.

Нинка понизила голос:

— Тебе можно доверить самое главное?..

— Что? — спросил Кнопка, хотя он уже знал.

— Нет, ты сначала скажи!

— Можно, — дал он согласие с тяжелым сердцем.

— Вот... — сказала она с грустью...

— А зачем? — спросил он.

— Понимаешь... есть один человек... Я его люблю. На всю жизнь. А он не стоит этого. Он... он не любит меня и никогда, наверное, не полюбит. Вот и все. А я... иначе я боюсь наделать глупостей... И вообще....

— А может, — сказал Кнопка, сосредоточенно считая и сбиваясь, белые астры на клумбе, — ты уж лучше совсем... ее...

— А вдруг он меня когда-нибудь все-таки полюбит? Или меня полюбит другой, хороший человек? Выйду замуж и тоже буду его любить, понимаешь? А сейчас... не желаю я мучаться и унижаться... И... я не хочу потратить свою любовь так бездарно.

— Эх, — сказал Кнопка. Подумал, что надо вынуть руку из ее, но не стал: все равно сейчас расхотится.

— А ты сумеешь сохранить?

— Я сумею, — сказал он. — У нас как в сберкассе.

Нинка после этого всем видом демонстрировала некую умудренность и значительность; можно подумать, прибавилось у нее чего.

На выпускных экзаменах, конечно, Кнопка использовался на полную нагрузку. Помог здорово. К его услугам не прибег один Никита Осоцкий. Не то чтобы из гордости или желания выделиться — просто Никита такой удачный экземпляр человека, у которого и так все ладится, без всякого видимого напряжения, будто само

собой. Ничем его природа не обделила, ни по форме, ни по содержанию. Его любили и ребята, и учителя — случай редкий. Мне б его данные. Я бы на его месте тоже своими силами обошелся. А может, и нет. Чего зря рисковать, если можно подстраховаться.

Уже поступив в институты, мы забрали у Кнопки свои волнения. Жаль, но ничего не поделаешь, — тридцать-то человек! тут, знаете, и дом мог рухнуть, не выдержав.

Кстати, о доме: Кнопка переехал в новый район, на окраину без телефона, и по пустякам его просить перестали — добираться черт-те куда, и еще неизвестно, застанешь ли. Зато каждый год в первую субботу октября собирались у него отмечать годовщину окончания: трехкомнатная квартира, а родители уезжали к знакомым за город.

В позапрошлом году мы на этой встрече здорово надрались и чуть не устроили путаницу из Кнопкиной камеры хранения. Слава богу, разобрались. А то могли бы те еще накладочки получиться. Хотя не исключено, что кое-кто в этом был заинтересован.

Между письменным столом и батареей у Кнопки стоит мой вкус к жизни. Я свез его туда через месяц после поступления в аспирантуру. Иначе серьезно работать невозможно. На отпуск только беру. Ничего, еще будет время пожить в свое удовольствие.

Там же лежит мое желание выпить. Жена в свое время заставила: «Оно или я». И все равно через полгода мы развелись.

Всю эту неделю я сидел в лаборатории до десяти вечера, нажил бессонницу, в субботу шел дождь, простудился вдобавок, взял бутылку водки, — а пить никакого желания. Поколебался я и поехал к Кнопке.

Сошел я с 59-го автобуса на Загребском бульваре, нашел, как принято путаясь, его дом 5, корпус 3, звоню. Открывает он дверь, в байковой курточке, лицо усталое. Он вообще быстро стареет, Кнопка.

— Заходи, — радуется.

— Простыл я, — извиняюсь. — Давай, Кнопка, выпьем, что ли.

— А, — понимает. — Пошли в мою комнату, сейчас.

Накрыл он на стол по-быстрому. Мать его нам винегрет принесла, помидорки соленые.

— Что ж, — сетует, — редко заглядываете? Все по делу да на минутку...

Неловко даже как-то стало. Тем более, что я и сейчас, собственно, по делу — если это можно делом, правда, назвать.

Себе Кнопка томатный сок налил в рюмку. Не хочет пить.

— Он же у нас вегетарианец, — вздыхает мать. — Не пьет, не ест. Для здоровья, говорит, мол, полезно. А чего полезного, вон на кого похож.

Кнопка сделал умоляющий жест.

— Иду, иду... Сидите себе.

— Слушай, — предлагаю, — может, давай, а?... моего желания, знаешь, и на двоих хватит.

— Не в том дело.

Ни в какую. Ладно. Посидели мы с ним. Уютно у него в комнате, чистенько так. Поговорили о том о сем, — он инженером в ЦНТИ Облтранса работает.

— Сколько, — спрашиваю, — сейчас получаешь?

— Сто тридцать с прогрессом.

— Слушай, — не выдерживаю, — Кнопка, ну, выпить ладно, но у тебя столько здесь без дела лежит, неужели самому не хотелось когда воспользоваться? Что сделать-то можно!

Он улыбается мне снисходительно и головой качает.

— Как ты не понимаешь, — объясняет. — Это как ключи от французских замков — каждому только свое подходит. Уж кроме того, что непорядочно.

— Да попробовать?

— Помнишь, — вздыхает, — Светку Горячеву? Вот она ко мне в прошлом году мужа привела. Он, говорит, такой способный молодой ученый (биолог он), но уж очень робкий, застенчивый, все затирают его. Нельзя ли, мол, напористости ему, нахальства даже, хоть ненадолго? Просила так, редела — жизнь ломается, для пользы надо... Дал ему нахальство одно — на неделю...

— Ну?

— За эту неделю его выгнали с работы. Чего-нибудь в этом роде следовало ожидать. Человек-то прежний, и вдруг появляется в нем нечто ранее не присущее. Людям это, знаешь, не нравится.

Развезло меня немного. Сижую, смотрю на него, бедолагу, кассира при чужих деньгах. Он взгляд перехватил:

— Зря так смотришь, — говорит тихо... — Жизнь моя хорошая.

Смешался я.

— Жениться не думаешь? — брякнул.

— Да нет пока.

— А Нинка как живет? — Сам тут же пожалел, что у меня выскочило.

— Да так, — говорит. — Недавно опять любовь свою взяла. У нее ненадолго, — добавил.

Я представил себе стерву-Нинку с ее неснашиваемой любовью, и зло взяло.

— Кстати, ты учти, — говорит Кнопка, — кое-что ведь от хранения портится. Уж я слежу, как могу... Мне вот Леня Маркин одну идею сдал; шеф сейчас другое гнать заставляет, некогда, и вообще, говорит, не время; а отдать кому-нибудь он не хочет, жалко. А она довольно-таки скоропортящаяся, мать уже жалуется на запах, хотя я ее на балконе держу.

Подозреваю, что его мать прислушивалась к нашему разговору, потому что при этих словах она вошла с чайником и принялась мне жаловаться на бессовестных друзей своего сына.

— Ведь что ж такое, — сетует, убирая грязные тарелки и ставя чашки, — вся квартира завалена, ступить прямо некуда. Ну, не надо чего — распорядись как-то... Не склад...

Мы стали молча пить чай. После водки горячий чай обжигал горло.

— Знаешь, — сказал Кнопка, — я недавно был в гостях у Никиты Осоцкого. У него сын родился. Думали, как назвать.

Это явилось для меня новостью — что Кнопка ходит к Осоцкому в гости да еще думает, как назвать его сына. Осоцкий, вопреки ожиданиям, карьеры не сделал, жил тихо и встреч уклонялся.

— Я у него себя как дома чувствую, — продолжал тихо Кнопка. — Знаешь, есть в нем что-то особенное, славное такое.

Мне сделалось окончательно неловко и скверно. Невысказанное им было справедливо. Ясно, как к нему все относились. Пренебрежение — оно всегда чувствуется. И вдобавок — была ведь какая-то даже неприязнь: то ли от того, что он какой-то не такой, как мы, то ли от того, что, по совести, он многих в жизни крепко выручал, а отблагодарить вечно руки не доходили, знали — он и так не откажет, и оставалось какое-то смутное раздраже-

ние, по закону психологии переключенное на объект, с этим раздражением связанный.

— Мы, знаешь, о чем с ним еще думали? — поднял глаза Кнопка. — Тем летом Володя Алтунин утонул, помнишь... А у меня полкладовки осталось: там горячность его, наивность, принципиальность там, прочее... Он же до двадцати семи нигде не уживался, — после этого в гору пошел. Замначальника КБ был уже...

— Хотел бы я знать, — задумчиво проговорил он, — что мне придется с этим всем когда-нибудь делать?..

— Дьявол, — сказал я, — неужели нельзя как-то приспособить все для пользования? все же передавать, а?

— Откровенно говоря, я думал... не выходит. Да и здесь — ненужное.

— Кому и нужное.

Мы просидели с ним до двух ночи, строя планы один фантастичнее другого.

ДОЛГИ

1

Чем крепче нервы, тем ближе цель. С этим изречением я познакомился в девятнадцать лет: прочитал татуировку на плече. Плечо смотрелось: мускулистое под жестким загаром, оно как бы подкрепляло смысл надписи. И соответствующее лицо мужчины. Что слова эти из песенки американских матросов времен второй мировой войны, я узнал гораздо позднее.

У меня нервы скверные. Как у многих. Я долго запрягаю и медленно едущу, виляя по сторонам. Близость цели возбуждает меня сверх меры, перехлестывающий энтузиазм мешается со страхом упустить, и как следствие — паническая суета, затрудняющая дело. Мысленно я всего уже десять раз достиг и столько же раз потерял. И добившись наконец давно желаемого, я испытываю обычно только усталость и легкое разочарование, что ну вот и все.

Так было и сейчас — но и не совсем так. У меня вышла вторая книга. Не шедевр, греза начинающего, однако и не такая плохая книга, честное слово. На уровне. Телевидение поставило мой сценарий и заключило договор на другой. Тоже — не Штирлиц, но многим вполне понравилось. Я стал профессионалом.

Занятое мной положение не давало исчезнуть отраде, знакомой на моем месте любому. Удовлетворение лишь подстегивалось некоторыми отзывами вроде «талантливо начинал», «на халтуру разменивается», — подобные высказывания, как правило, исходят от людей, добившихся меньшего, чем ты, и продиктованы, вероятнее всего, завистью. А зависть, по формулировке Скрябина, есть признание себя побежденным... Я — оцениваю свои возможности реально; а профессионализм есть профессионализм: неумно тщиться гением в тридцать семь лет.

И вот в свои тридцать семь я получил возможность «остановиться, оглянуться», — право на передышку. Годы подряд я, без преувеличения, работал много и напряженно. Я писал и переписывал бесконечно, я предлагал десятки вариантов и вносил тысячи поправок. Кто сомневается, как трудно составить себе какое-то литературное имя, пусть попробует сам.

Теперь я обладал солидной суммой. Деньги гарантировали свободу во времени. Я погасил задолженность за свой однокомнатный кооператив. Раздал долги. И полтора месяца предавался сладостному ничегонеделанью.

Я просыпался в полдень, наливал из термоса кофе и читал в постели детективы. Бродил днем по музеям и просто по зимнему городу, едва ли не впервые воспринимая его красоту и красоту вообще всего кругом. Высшее, самое тонкое и полное наслаждение всем сущим доступно, наверное, одним бездельникам.

Характер мой выровнялся, исчезла раздражительность: я посвежел. Я наслаждался жизнью; с повторяемостью наслаждение требует дополнительной остроты: я мог позволить себе роскошь никчемных дел.

2

Большинство неактуальных вещей, которые мы откладываем, мы откладываем навсегда. Это можно считать слабостью характера; или давлением обстоятельств. Можно считать иначе: что не сделано, то не очень-то и нужно. И все же невыполненные намерения, неудовлетворенные желания, по мере времени теряя свою конкретность, превращаются в некий неопределенный груз, тяготеющий на душе. Ощущаешь какую-то незавершенность, неполноценность собственной личности и судьбы. А когда возраст переходит период надежд и откладывать уже некуда, эпизодическое отчаяние по поводу проходящих дней сменяется спокойным сознанием несостоятельности.

Ну, сознанием своей несостоятельности я, положим, не страдал. Главное-то я выполнил. А махнуть рукой на многое вынужден в жизненном движении каждый. Но тихо-тихо подтачивающий червячок, скрытый повседневностью, в моем комфортном состоянии сделался различимым.

У меня хорошая память на добро. Правда, не хвастаюсь. Вот ответить на него — это, по совести, несколько другое... Нужны деньги, или время, или то и другое, — а усилия направляешь на главное; все грешны...

Всегда перед появлением денег я решал рассчитаться по застаревшим долгам. Появившись, деньги с абсолютной неотвратимостью тратились на что угодно, долги же продолжали существовать; обычное дело.

В утешение я вспоминал байку, когда один меценат вещал о гордости человека слова, отдающего в срок, и как Маяковский отрубил, что присутствующим литераторам есть чем гордиться кроме отдачи долгов. Я не Маяковский, утешение действовало весьма частично.

Мне даже представляется я знаю, с чего у меня возникла эта внутренняя потребность не быть должным.

3

Во втором классе я проспорил Ленке Чашкину рубль. Споря, я поступал здраво и практично, прямо неловко становилось — запросто, задаром получить Ленкин рубль. Затрудняюсь изложить сомнительной приличности предмет спора. Ленка поплеывая попрал мораль, проявив известную мальчишескую доблесть. За поправление морали платить оказался обязан я. Рубль представлялся мне платой чрезмерной. У меня не было рубля.

Как все герои, Ленка был великодушен и забывчив. Через несколько дней вопрос о рубле, к моему облегчению, заглох. Радостью я поделился с отцом.

К моему разочарованию, поддержки в нем я не обнаружил. Отец преподнес мне те истины, что, во-первых, спорить вообще нехорошо, во-вторых, спорить на деньги особенно нехорошо, в-третьих, спорить на то, что не тобой заработано — вовсе плохо, но не отдавать проспоренное — не годится уже совершенно никуда. И выдал рубль.

Я вручил Ленке рубль. Он принял его, быстро скрыв уважительное удивление, с превосходством насмешки над неудачником и вдобавок дураком. Я ожидал иной реакции. Я слегка обиделся.

Но жить стало легче: исчезла опасность напоминаний, осталось сознание правильности поступка.

Первый перекося мое представление о необходимости отдавать долги получило на собрании абитуриентов, где Надька Литвинова одолжила у меня рубль до завтра, и это светлое завтра еще не наступило. У нее ни в коем случае руки не были устроены к себе, раздавая пять лет как староста группы стипендии она вечно себя обсчитывала, кому-то давая больше — и ей не всегда возвращали: легкая натура, не придавала она значения рублю. Рублю я тоже не придавал, а факт — ну засел, что ты поделаешь. Первый раз памятный.

Позднее я помню всего четыре случая, когда мне не возвращали. Черт его знает, не верится, чтобы всего четыре. Я задолжал куда больше, ого. Хороший я такой, что не помню, или скотина, что мне отдавали, а я нет — затрудняюсь определенно сказать.

Как я впервые не отдал — тоже помню отлично. В сентябре, в начале второго курса, собирались мы на какую-то пьянку. (Написал «пьянка» и споткнулся — предложат ведь заменить «вечеринкой», «днем рождения». И пусть слово цензурное, общелитературное, всеми употребляемое... А, — я сам раньше заменяю...) Да, и мне срочно требовались два рубля, причем не на вино, а на цветы. Кому цветы, зачем — позабылось, но точно на цветы. И занял я у Машки Юнгмейстер, и у Машки дочка кончает школу, и Машка наверняка ни сном ни духом про эти два рубля не ведает — а у меня память. Сколько раз я хотел отдать. Или цветов ей принести. Или конфет. Фиг. Не до того.

Мы все собираемся когда-нибудь раздать все долги. И наступает время. Или так и не наступает.

Господи, деньги у меня есть — больше нужного, машина, дача и лайковое пальто мне ни к чему, родные обеспечены, алименты платить не на кого, ресторанов я не переносу, пить избегаю, нынешние мои знакомые сами в достатке, а я столько в жизни добра от людей видел, клянусь, иногда злобишься: «Стану сволочью, — насколько легче заживется», — да оттаиваешь при касании участия человеческого...

Привлекает и благородная праведность — разбогатев, воздать за добро сторицей. Ну, сторицей — не шибко-то и получится, — но воздать. Желательно с лихвой.

«Понял?» — сказал я червячку, шевелящемуся в безмятежном довольстве моей души. И червячок явственно пообещал превратиться в благоухающую розу, лучшее украшение этой самой моей души.

6

По порядку — первый долг следовал Машке. Я запасся бутылкой сухого, тортом, купил букет белых цветов, названия которых и поныне не знаю — они одни зимой и продаются у нас, кажется хризантемы, — и отправился. Адрес еще уточнил в госправке.

Перед дверью постоял. Покурил.

Машка сама открыла. Толстая, нездоровая на вид. Секунду смотрела, узнавая.

— Ой, Тишка! — и повисла у меня на шее. — Тыщу лет!

Я видел ее как бы раздвоенно, не в фокусе, — глазами и памятью, и было чуть больно и печально, пока изображения не совместились и она не стала прежней Машкой, какую я всегда знал.

— С цветами! С бутылкой! Ну же ты лапуня!..

— Машка, — сказал я, — за мной должок.

Она отодвинулась взглядом.

Я вынул два рубля и подал:

— Восемнадцать с половиной лет. Вот — взбрело в голову...

— Ты что, спятил? — осведомилась Машка с собранным лицом. Она, похоже, заподозрила, что я решил расплеваться и демонстрирую жест.

— Спокойно, — успокоил я. — Просто я, понимаешь, немножко разбогател, и вдобавок мне нечего делать; и вдруг как-то припомнилось...

Она с исчезающей опаской послушалась, взяла:

— И черт с тобой, — удивилась она. — Раньше я за тобой ненормальностей не замечала. Да раздевайся, чего встал. Или только за этим приехал?

— Обижает, мать, — облегченно поспешил я. — Накормишь?

— Другой разговор. Цветы. Ну обалдеть! Спасибо, — чмокнула меня и впервые удалилась из захлавленной прихожей: — Вова! Кто к нам пришел!

Вовку Колесника, ее мужа, я знал со студенческих времен. Изменился он мало; приветствуя, мы друг друга похлопали.

Продолжалось обыденно: ну, пришел в гости... быстрое хлопотание, стол, рюмки, цветы в вазе. Представили свою шестнадцатилетнюю дочку, довольно милую, попутно упрекнув ее в слабовыраженности интересов. Сели вчетвером. Машка сияла. .

— Где работаешь-то?

— Пишу, — сказал я; не то чтобы я надеялся, что они меня читали...

— Да? Где тебя печатали?

— Ерунда, — небрежно махнул я рукой. — Так, печатаюсь. Телефильм тут недавно, «Зимний отпуск», не смотрели?

— Нет. А что, ты ставил?

— Не совсем, — сценарий мой.

— Так молодец!.. — стали радоваться они. — Его по второй программе еще будут показывать? знали бы... чего ты не предупредил-то.

Вовка преподавал в институте, Машка по-прежнему торчала в библиотеке; разговор пошел о делах... Когда-то Машка здорово играла на гитаре. И пела. И могла в стройотряде матом поднять на работу бригаду ребят.

— ...Гитара-то в доме есть, Машка? — спросил я.

— С ума сошел, — отреклась она, — десять лет в руках не держу.

— Возьми-и, — в голос заканючили Вовка и дочь Света.

После сухого Вовка твердо выдержал супружин взгляд и достал водку. Постепенно все стало хорошо, по-свойски, без нарочитости и напряжения, Машка без повторных просьб сама принесла гитару и пела те, старые песни, и было приятно еще от того, как смотрела на меня — писателя — юная дочка. Отпустили меня только в половине первого, — поспеть на метро. Мне неловко было говорить, что поеду я все равно на такси. Да и — им-то завтра на работу.

Засыпал я с удовлетворением. Первый пункт намеченной программы был выполнен толково.

Со вторым долгом обстояло сложнее.

На третьем курсе я одолжил у дяди Валентина червонец.

Зимним вечером мы с ребятами в общежитии тосковали: изыскание ресурсов окончилось безнадежно. Я плюнул, оделся и пошел к дяде, благо жил он через два дома. Надо заметить, время перевалило за десять, а стопы в его дом я направлял второй раз в жизни.

Долго звонил, вознамерившись не отступать (они рано ложились). Дверь открылась неожиданно — дядя в ночной старомодной рубашке до пят холодно смотрел.

Я шагнул, набрал воздуха и принялся сбивчиво врать про замечательный свитер, продающийся срочно и безумно дешево, так необходимый мне в эту холодную зиму, — и не хватает всего восьми рублей. Не дослушав, дядя вышел, вернулся с десяткой, улыбнулся, потрепал меня по плечу, пресек приличествующие расспросы о жизни и здоровье и дружелюбно подтолкнул к выходу.

Червонец был пропит через полчаса.

Глубокую симпатию к дядиному стилю общения я храню.

Дядя умер через несколько лет.

Я купил шоколадный набор за шестнадцать рублей (дороже не нашел) и поехал к тете, его вдове, которую не видел десять лет.

Тетя стала суровой и даже величественной старухой.

— Никак Тихон, — сощурилась она. — Заходи. Никак в гости сподобился. Порадовал. А я думала, уж только на моих похоронах встретимся. В тебе крепки родственные связи.

Я был препровожден в комнату, картиночно чистую, словно вещи век хранили раз навсегда определенное положение. Последовали наливка и типично родственный разговор, который легко представит каждый... Я не мог решиться. Конфеты лежали в портфеле.

Но незаметно переключились на дядю: его доброта, таланты... и я в самых благодарственных тонах прочувственно изложил ту давнюю историю. Тетка выслушала спокойно, тихо усмехнулась. И коробку конфет приняла как безусловно должное и приличествующее.

— Тетя Рая, — приступил я тогда. — Все собираемся, собираемся... Поймите правильно. Свербит у меня...

Ерунда, — но... Поймите, мне просто очень хочется, возьмите у меня, пожалуйста, этот червонец.

— Что ж, — она кивнула согласно. — Давай.

Мы распрощались друзьями. Я чувствовал, что следующее свидание теперь произойдет раньше ее похорон. Хотя уже в подъезде понял, что вряд ли...

Чуть-чуть — чуть-чуть продолжало свербить...

С десятирублевым букетом я поехал на кладбище.

Там березы гасли в пепельном небе, тени затягивали слабо расчищенные в снегу дорожки. Я долго искал дядину могилу. Найдя, снял шапку, опустил цветы на сумеречный снег.

— Такие дела, дядя, — сказал я. Закурил и надел шапку — холодно было. Постоял, подумал... — Может, не такое уж я животное, хоть и не общаюсь с родственниками. Дела, знаешь. Да и о чем разговаривать-то при встречах. А по обязанности — кому это нужно, верно?.. Но я помню все. Хороший ты был мужик. Ей-богу, хороший. Пускай тебе воздастся на том свете и за червонец тот, если таковой свет имеется. А я — вот он я...

То ли вечерний воздух кладбищенский, стоячий и чистый, так действовал, пахнувший зимним простором, то ли само пребывание в месте подобном, то ли просто собой я доволен был, — но уходил я с умиротворением.

На ночь я перечитал «Мост короля Людовика Святого». Когда-то я тоже хотел написать такую книгу.

8

«8 р. — Тамаре Ковязиной. (Нечем было срочно заплатить за телефон.)

«12.50 — Ваське Синюкову. (Моя доля за диван, подаренный на свадьбу Витьке Гулину.)

«4 р. — Виталику Мознаиму. (За что?...)»

«7 р. — Егору Карманову. (Не хватило на билет из Сыктывкара. И обещал прислать блесны и леску.)

«3 р. — Володе Зиме. (Пивбар.)

«11 р. — Б. Кожевникову. (Покер.)

«10 р. — Томке Смирновой. (Новый год.)

«40 р. — Витьке Андрееву. (Снятая комната, два месяца.)

«8 р. — Дмитриевым. (Шарф.)

«11 р. — Бате (Горшкову). (Пари.)

«5.30 — Боре Тихонову. (Пари.)

«5 р. — Игорю Гомозову. (Оставался без копейки.)
«Володе Подвигину — списаться — Барнаул — обещал прислать парик.
«Кабак — Королеву; Флеровой; бутылка — Цыпину; Блэк».

9

Человек с возрастом определяется, твердеет, исчезает внутренняя коммуникабельность, новых друзей нет, старые удерживаются памятью юности — а при встрече вдруг вместо симпатяги и умницы натыкаешься на полную заурядность: «где были мои глаза?..»

Старая истина открылась мне не сейчас; я не сентиментален. Я платил по счетам. Червячок постепенно рассыпался, как бы превращаясь в невесомую взвесь, сообщавшую дополнительную прочность веществу души. Но проявилось маленькое черное пятнышко, как ядро в протоплазме, оно выделялось все отчетливее.

Долг долгу рознь, рублем не покроешь. Кто не тешил себя обещаниями когда-нибудь кое-кому припомнить мерой за меру.

Пятнышко разрослось в слипшийся ком. Я отодрал одно от другого, рассортировал, — и с некоторой даже неожиданностью убедился в исполнимости.

10

Он унизил меня сильно. Служебная субординация... я проглотил: на карте стояло слишком много.

Я нашел его. Он был уже на пенсии. День был теплый и талый, с капелью, во дворе за столиком укутанные пенсионеры стучали домино.

— Круглов? — спросил я.

Они подняли лица в старческом румянце.

— Вы мне? — спросил он.

Я назвался. Он не помнил. Я очень подробно напомнил ему тот год, то лето, месяц, пересказал ситуацию.

Он заулыбался.

— Как же, как же... Да, отчебучили вы (он чуть замедлился перед этим «вы», по памяти обратившись было на ты), — отчебучили вы тогда штуку. Выговорил я вам тогда, да, рассердился даже, помню!..

Я сказал ему в лицо все. Румянец его схлынул, обнажив склеротическую сетку на жеваной желтизне щек...

Пенсионеры испуганно притихли. Но я был готов к жалости, и она мне не мешала.

— Я много лет жил с этим, — сказал я. — Теперь мой черед... Квиты! Помни меня.

Я отдавал себе отчет в собственной жестокости. Но к нему вернулся его же камень.

11

Первый такого рода долг за мной ржавел со второго класса.

Мы просто столкнулись в дверях, не уступая дороги.

— Пошли выйдем? — напористо предложил я.

— Выйдем?.. Пожалуйста! — он принял готовно.

Дорожка у заднего крыльца школы, огражденная низеньким штакетником, обледенела. Болельщики случились все из моего класса (он был из параллельного, причем меньше меня). Ободряемый, я ждал с превосходством.

Скомандовали:

— Раз! Два!.. Три! — и он ударил первый, и очень удачно попал мне по носу, а я стоял задом прямо к низкому, под колени, штакетнику и поскользнувшись перевалился через него вверх ногами.

Засмеялись мои сторонники.

Ободренный противник, не успев вылезти, бросился и изловчился отправить меня обратно.

Зрители помирали. Я растерялся.

И в этой растерянности он очень расторопно набил мне морду. Не больно, — не те веса у нас были, но довольно противно и обидно. Я был деморализован.

— Эх ты, — презрительно бросил назавтра знакомый из его класса, — Василию не смог дать...

Я так и не дал Василию. Черт его знает: меня били, я бил, и репутацией он не пользовался, бояться нечего было, — а остался его верх.

Это обошлось мне в пятьсот рублей и неделю времени. Я полетел в Карымскую, где тогда учился, поднял школьный архив, взял его данные и разыскал в Оловянной, в трех часах езды.

— Ну, здравствуй, Василь, — сказал я сурово, встав в дверях.

Он испугался, — хилый недомерок, полысевший, рябой такой.

— Одевайся, — велел я. — Разговор есть. Минут на пару.

Затравленно озирающегося, я свел его с крыльца в снег, к заборчику, треснул и подняв под бедра (легонького, не больше шестидесяти) свалил на ту сторону.

Он поднялся не отряхиваясь. И было не смешно. Но и жалко мне не было. Происходящее воспринималось как бы понарошке. Я знал, что все объясню, и мы вместе посмеемся.

— Не трусь, — ободрил я. — Лезь обратно.

И повторил номер.

Войдя в нечаянный азарт, я довесил ему, пассивно сопротивляющемуся, напоследок, и принялся очищать от снега. Он подавленно поворачивался, слушаясь.

— А теперь выпивать будем, — объявил я. — Зови в гости.

Он отдыхал один дома (работал машинистом тепловоза) — жена на работе, дети в школе.

— А помнишь, Василь, — со вкусом начал я, когда мы разделись и сели в кухне, за застеленный клеенкой стол напротив плиты, где грелась большая кастрюля, — помнишь, как во втором классе одному дал?

Под нагромождением подробностей, с ошеломленным и ясным лицом, он вскочил и уставился:

— Дак што?.. Ты-ы?!

Я выставил водку. Мы выпили за встречу. Я, уже привычно, объяснился — зачем пожаловал. Он смотрел с огромным уважением и не верил:

— Для этого за столько приехал?

Разговор пошел — о чем еще?.. — о судьбах школьных знакомых...

— А ты где работаешь?

— Пишу.

— В газете?

— Да не совсем. Книги.

— Писатель? — осмысливающе переспросил Василь.

— Так.

— Писатель, — он даже на стуле подобрался. — А... что написал? Я читал?

— Э... Вряд ли. — Я назвал свои книги.

Он подтвердил с сожалением.

— Обязательно в библиотеке спрошу, — пообещал он, и было ясно, что да, действительно спросит, и даже возможно найдет и прочтет, и будет рассказывать всем знакомым, что этот писатель — Рыжий, Тишка из второго Б, которому он когда-то набил морду, а теперь Тишка приехал и ему набил, вот дела, и поставил выпить.

Суетясь на месте, Василь уговаривал дождаться семью, обедать, погостить; приятно и ненужно...

Я оставил ему адрес. Он кручинился: семья, работа... я понимал прекрасно, что он ко мне не заглянет, да и говорить нам будет не о чем, а принимать на постой его семейство мне не с руки, — но, отмякший сейчас и легкий, приглашал я его в общем искренне.

12

Подобных должков еще пара числилась. И первый из кредиторов, надо сказать, обработал меня самым лучшим образом. Крепкий оказался мужик. Потом мне за прищечками в аптеку бегал и сокрушался. Последующее время мы провели не без удовольствия, он ахал, восхищался моей памятью, очень одобрял точку зрения на долги и все предлагал мне дать ему по морде, а он не будет защищаться; профессия моя ему почтения не внушала, это слегка задевало, но и увеличивало симпатию к нему.

Я честно сделал все возможное и ощущал долг отданным; он уверял меня в том же, посмеиваясь.

Мы расстались дружески, по-мужски, — без пустых обещаний встреч.

С другим обстояло сложнее. Круче.

Он увел у меня девушку. Такой больше не было. Он увел ее и бросил, но ко мне она не вернулась. Рослый и уверенный, баловень удачи, — чихать он на меня хотел.

Ночами я клялся заставить его ползать на коленях: типическое юное бессилие.

Расчет распадался, — разве только он теперь обдряб и опустился. Но вопрос стоял неогнимо: сейчас или никогда.

Он пребывал в Куйбышеве. Он был главным инженером химкомбината. Он процветал. Я оценил его издали, и костяшки моих шансов с треском слетели со счетов.

Восемь гостиничных ночей я лежал в бессоннице, а днями обрывал автоматы, уясняя его распорядок. Из гостиницы я не звонил, опасаясь встречной справки. Утром и вечером я припоминал перед зеркалом все, что пятнадцать лет назад на тренировках вбивал в нас до костного хруста знакомый майор, инструктор рукопашного боя морской пехоты.

Я пошел на девятый день. Я знал, что он один. Я переждал на лестничной площадке, ставя на внезапность, скрепляя на фундаменте своей боязни недолговечную постройку наглости. Я не звонил — я постучал в дверь, угрожающе и властно.

Он отворил не спрашивая — в фирменных джинсах, заматеревший, громоздкий.

— Ну вот и все, Гена, — сказала ему судьба моим голосом, и я шагнул, бледнея, в нереальность расплаты.

И знаете — он тут струхнул. Он отступил с застывшим вздохом, от неожиданности каждая часть его лица и тела обезволилась по отдельности, это был мой момент, и я обрел действительность в сознании, что не упущу этот момент и выиграю.

Я ударил его по уху и в челюсть, без всякой правильности, рефлекс мальчишеских драк — ошеломить, и знал уже, что он не ответит, и он не ответил, он закрылся, согнувшись, и инструкторский голос рявкнул из меня, окрыленного: «На колени!!», и я дал ему леща по затылку,

...и он опустил как миленький. И сказал: «Не надо...»

И во мне прокрутилась гамма: счастье, облегчение, разочарование, усталость, покой, растерянность. Я пихнул его носком ботинка в мощный зад, и все вдруг мне стало безразлично.

— Иди ум-мойся, — сказал я и стал закуривать, забыв, в каком кармане сигареты.

Он нерешительно поднялся и долгую секунду смотрел (он узнал меня) с робостью, переходящей в убедительнейшую любовь. Любовью всего существа он жаждал безопасности.

— Иди, — повторил я, кивнул, вздохнул и снял пальто. — Быстро.

Не стоило давать ему опомниться, но у меня у самого нервы обвисли.

Расположились средь современного интерьера: лак, чеканка, низкие горизонталы мебели. Любезнейший хозяин

метнул коньяк. Я припер жестом: заставил принять шестнадцать рублей — стоимость.

— За то, чтоб ты сдох.

Он улыбнулся с легкой укоризной, и мы чокнулись.

— Знаешь за что?

— Да.

За это «да» он мне понравился.

Я имел подготовленный разговор. «Почему ты на ней тогда не женился?» — «Ну... можно понять...» — «Я могу заставить тебя сделать это сейчас. Или — крышка, и концов не найдут». (Ужаснейшая ахиня. Я давно потерял ее из вида.) — «Пусть так, допустим даже... Но — зачем?..» — «Да или нет? Быстро! Все!» — Летучее лицемерие памяти: «Я думал иногда... Может, так было бы и лучше...» Вообще — дешевый фарс. Но взгляните его глазами: после прошедшей увертюры первые минуты ожидаешь чего угодно.

Мы проиграли нечто подобное взглядами. Превратившись в слова, оно обратилось бы фальшью.

— Я мог бы уничтожить тебя, — вбил я. — Верить?

— Да. — Правдивое «да» звучало лестно.

Ах, реализовалась фантазия, спал долг, да печаль покачивала... Я помнил, какой он был когда-то, и она, и я сам, и как я мучался, и как страдала она — из-за него, и ее страдание я переживал иногда острее собственного, честное слово.

Я не испытывал к нему сейчас ненависти. Нет. Скорее симпатию.

— Прощай.

Он тоже поднялся, неуверенно наметив протягивание правой руки. Я пожал эту руку, готовно протянувшуюся навстречу.

Когда-то при мысли, чего эта рука касалась, я погибал.

А почему бы, в конце концов, мне было теперь и не пожать ее?

13

Зима сматывалась с каждым солнечным оборотом, все более размашистым и ярким; таяло, сияло, позванивало; почки памяти набухли и стрельнули свежими побегамы воспоминаний о женщинах и любви.

И я полетел в Вильнюс, где жила сейчас моя первая женщина, жена своего мужа и мать двух их детей, которая

в семнадцать лет любила меня так, что легенды тускнели, и которой я в ответ, конечно, крепко попортил жизнь.

Я позвонил ей; она удивилась умеренно; я пригласил, и она пришла ко мне в номер — казенное гостиничное убранство в суетном свете дня.

Статуэтки с кукольными глазами, «конского хвостика», ямочек от улыбки — не было больше; она сильно сдала; во мне даже не толкнулась тоска, — она вошла чужая.

— Здравствуй, Тихон, — сказала она (а голоса не меняются) с ясной усмешкой, как всегда, уверенно и спокойно. А на самом-то деле редко она когда бывала уверенной и спокойной.

И инициатива неуловимым образом опять очутилась у нее, несмотря на предполагаемое мое превосходство. Из неожиданного стеснения я даже не поцеловал ее, как собирался.

Шампанское хлопнуло, стаканы стукнули с тупым деревянным звуком.

— Говори, Тихон.

— Я давно... давно-давно хотел тебе сказать... Я очень любил тебя, знаешь?..

— Неправда, Тихон. — Она всегда называла меня полным именем. — Ты не любил меня. Просто — я любила тебя, а ты был еще мальчик.

— Нет. Знаешь, когда меня спрашивали: «Ты ее любишь?» — я пожимал плечами: «Не знаю...» Я добросовестно копался в себе... Что имеешь не ценишь, а сравнить мне было не с чем... обычное дело. Я же до тебя ни одной девчонки даже за руку не держал.

— Ты мне говорил это...

Я собрался с духом. Я вел роль. Ситуация воспринималась как книжная. Ни хрена я не чувствовал, как она вошла — так у меня все чувства пропали. Но я понимал, что делаю то, что нужно.

— Двадцать лет. Я только два раза любил. Первый — тебя. К черту логику некрологов. Хочу, чтоб знала. Я ни с кем никогда больше не был так счастлив.

— Просто — нам было по семнадцать.

— По семь или по сто! Мне невероятно повезло, что у меня все было так с тобой. Ты самая лучшая, знай. И прости мне все, если можешь.

— Детство... Нечего прощать, о чем ты... Ты с этим приехал? Зачем? Ты вдруг пожалел о том, чего у нас не

было? Или ты несчастлив и захотел причинить мне тоже боль?

— Зачем ты... Я только по-хорошему...

— Что ж. Спасибо. — Она закурила. — Сто лет не курила. Да. Моя Катька уже влюбляется. — Она ушла в себя, тихонько засмеялась...

— Я хотел, чтоб ты знала.

— Я всегда это знала. Это ты не знал.

— А ты — ты ничего мне не скажешь?

— Спрошу. Ты счастлив?

— Да. Я жил как хотел, и получил чего добивался.

— Не верится. Ну... я рада, если так; правда.

Я попытался поцеловать ее. Она отвела:

— Не стоит. — И вся ее гордость была при ней. —

Ты всегда любил красивые жесты.

— Пускай. Но так надо было, — ответил я убежденно, мгновение жалея ее до слез и изрядно любуясь собой.

14

Душа моя очищалась от наростов, как днище корабля при кренговании. Зеленые водоросли, прижившиеся полипы не тормозили уже свободного хода, я чувствовал себя новым, ржавчина была отодрана, ссадины закрасены, — целен, прочен, хорош.

Или — я был хозяйкой, наводящей порядок в заброшенном и захламленном доме. Или — лесником, производящим санитарную порубку и чистку запущенного леса: солнце сияет в чистых просеках, сучья собраны в кучи и сожжены, и долгожданный порядок услаждает зрение.

Мне нравилось играть в сравнения. (А вообще пригодятся — употреблю в какой-нибудь повести.)

15

К концу стало приедаться. Но наступил март, а мартовское настроение наступило еще раньше. Весьма необременительно зачеркивать пустующие по собственной вине клеточки в своей судьбе, когда нужное является приятным.

Я позвонил Зине Крупениной. Знакомство семнадцатилетней давности, подобие взаимной симпатии: я ей нравился не настолько, чтоб кидаться в мои объятия сразу,

она мне — недостаточно для предпринятия предварительных действий. Лет пару назад, при уличной встрече, она улыбалась и дала телефон.

Все произошло до одури трафаретно, скука берет описывать: ну, вечер, двое, интимный антураж, предписанная каноном последовательность сближения... Лицемерием было бы назвать ночь восхитительной, — но не был, это, конечно, и чисто рассудочный акт.

Проснулись до рассвета, с мутной головой — перепили. Я долго глотал воду на кухне, принес ей, сварил кофе, влез обратно в постель, мы закурили. Окно светлело.

Я ткнул из кучи кассету в магнитофон. Оказался Кукин. Песенки, которые мы все пели в начале шестидесятых, несостоявшаяся грусть горожан.

Я люблю случающийся рассветный час после такой ночи: опустошенная чистота, и горечь и надежда утверждения истины.

— Час истины, — произнес я вслух.

Кажется, она поняла.

— Кукин... — сказала она. — Ах... Где он сейчас?..

— Работает в «Ленконцерте», — сказал я.

16

По тому же сценарию прошли еще три свидания. Связи, по инертности моей застрявшие на платоническом уровне, были приведены к уровню надлежащему.

У четвертой выявился полный порядок с семьей и отсутствие желания, но я уже впрягся как карабахский ишак и, преодолевая встречный ветер, три недели волок свой груз через филармонию, ресторан с варьете, выставку и вечер у знакомых актеров, пока не свалил в своем стойле с обещаниями, услышав которые волшебный дух Аладина сам запечатался бы в бутылку и утопился в море. И я поставил галочку против этого пункта тоже.

На субботу я снял банкетный зал в «Метрополе». Я разослал пятьдесят четыре приглашения. Я ходил ужинать к этим людям в дни, когда сидел без гроша. Они проталкивали мои опусы, когда я был никем, а они тоже не были тузами. Я был обязан им так или иначе. И я не был уверен, что случай отблагодарить представится. Кроме того, я давно так хотел.

На этом сборище я поначалу чувствовал себя нуворишем. Не все клеилось, многие не были знакомы между собой. Но по мере опустошения столов — вполне познакомились. Ну, кто-то льстил в глаза, ну, кто-то говорил гадости за глаза, — ай, привыкать ли к банкетам. Я их всех в общем любил. И все в общем прошло хорошо.

17

Наутро я проснулся — будто первого января в детстве. Четверть окончена, табель выдан, каникулы впереди, подарки на стуле у изголовья, и праздничное солнце — в замерзшем окне. Играет музыка, а веселые мама с папой разрешают поваляться в кровати. Жизнь чудесна!

Я побродил в халате по квартире, «Бони М» пели, сигарета была мягкой и крепкой, коньяк ароматным и крепким, апрельский свежий день светился, прошедшие дни в наполненной памяти лежали один к одному, как отборные боровички в корзине.

План мой, перечень на четырех листах, я перечитал в тысячный и последний раз, и против каждого пункта стояла галочка.

Я со вкусом принял душ, со вкусом позавтракал, со вкусом оделся и пошел со вкусом гулять, — путешественник, вернувшийся из незабываемой экспедиции.

Дошел до своего метро «Московская», и еще одно осенило: не раз под закрытие приходилось мне просить контролера пустить в метро без пятака — то рубль не разменять, то просто не было и врал про забытый кошелек, — и всегда пускали.

Я сосчитал по пальцам число станций нашего метро и купил в булочной тридцать одну шоколадку.

— Девушка, — сказал я девушке лет сорока, хмурящейся в своем загончике у эскалатора, — я задолжал вашей сменщице пятак, — и протянул шоколадку.

Она улыбнулась, взяла и сказала:

— Спасибо!..

Я тоже ей улыбнулся и поехал вниз.

Ту же процедуру я произвел на остальных станциях, и к исходу четвертого часа, слегка одуревший от эскалаторов и поездов, подъезжая к последней остающейся станции — к «Академической», — обнаружил, что

шоколадки кончились. Я каким-то образом ошибся в счете. Станций было не тридцать одна, а тридцать две.

Я устал. Выходить и снова покупать не хотелось. Пятак отдать? Ну, несолидно. И безделушек никаких — я похлопал по карманам. Единственное — шариковая ручка: простенькая, но фирменная, «Хавера». Привык, жаль немного. А, что жалеть, для себя же делаю.

И я подарил ручку с подобающими объяснениями светленькой симпатяжке с «Академической».

— И вам не жалко? — покрутила она носиком. — Спасибо. Хм, смешной человек!..

Я поехал домой.

18

Выйдя наверх, в отменно весеннюю погоду (уж и забыл о ней), я позвонил Тольке Хилину. Трубку никто не снял, — на дачу небось выбрался, работает. Позвонил Наташе — тоже никого. Усенко — не отвечает. Чекмыреву — никого нет.

Ну как назло. Хотелось поболтаться с кем-нибудь по городу, посидеть где-нибудь. День еще такой славный, настроение соответствующее.

Ладно у меня всегда запас двухкопеечных монет, на сдачу привык просить. Звоню Инке Соколовой.

— Вы ошиблись. Здесь таких нет, — отвечает мужской голос.

Странно. Я полез за записной книжкой. Книжки не было. Забыл дома, видно, хотя со мной это редко случается.

Я истратил все семь оставшихся монет. Телефонов пятнадцать не ответили. Семь раз сказали:

— Вы ошиблись. Таких здесь нет.

Во мне разрасталось странноватое ощущение. Не настолько дырявая память у меня. С этим странноватым ощущением я пошел домой.

В винном кладу мелочь:

— Пачку «Космоса».

А продавщица — рожа замкнута, смотрит сквозь меня — ни гу-гу.

— Мадам! Вы живы?

Тут мимо меня один протиснулся:

— За два сорок две.

Она отпустила ему бутылку. А на меня — ноль внимания. И хрен с ней. Не стоит настроение портить. Я вышел из того возраста, когда реагируют на хамство продавцов. В конце концов дом рядом, зачка имеется.

Дошел я до своего дома...

Дважды в жизни я такое испытывал. Первый раз — когда школу закрыли на карантин — грипп — а я после болезни не знал и приперся: по дороге ни единого ученика, окна темные и дверь заперта. Чуть не рехнулся. Второй — в студенческом общежитии пили, я спустился к знакомым на этаж ниже, а вернуться — нет лестницы наверх. Полчаса в сумасшествии искал. Нет! Ладно догадался спуститься — оказывается, я на верхний этаж, не заметив, пьяный, поднялся.

Моего дома не было.

Все остальные были, а моего не было.

Ровное место, и кустики голые торчат. Травка первая редкая.

Я походил, деревянный, с внимательностью идиота посмотрел номера соседних домов: прежние, что и были.

Старушечка ковыляет, пенсионерка из тридцатого дома, визуально знал я ее.

— Простите, — глупо говорю, — вы не подскажите ли...

Она идет и головы не повернула.

Я окончательно потерялся. Потоптался еще и пошел обратно к Московскому проспекту. Может, сначала попробовать маршрут начать?

Очередь на такси стоит. Покатаюсь, думаю, поговорю с шофером, оклемаюсь, а то что-то не того...

— Граждане, кто последний?

Ноль внимания.

Кошмарный сон. На улице без штанов. Руку до крови укусил. Фиг.

Пьяный идет кренделями, лапы в татуировке.

— Ты, алкаш, — говорю чужим голосом, — в морду хошь? — и пихнул его.

Он и не шелохнулся, будто не трогал его никто, и дальше последовал.

Чувствую — сознание потеряю, дыхание будто исчезает.

Иду куда глаза глядят по Московскому проспекту.

Мимо универмага иду. Зеркальные витрины во всю стену, улица отражается, прохожие, небо.

Иду... и боюсь повернуть голову.

Не выдержал. Повернул.

Остановился. Гляжу.

Все отражалось в витрине.

Только меня не было.

Я изо всей силы, покачнувшись слабо, ударил в зеркальное стекло каблуком. И еще.

И оно не разбилось.

ИДЕТ СЪЕМКА

Начинается съемка.

Приходит директор картины и принимает валидол. Ждет рабочих, идет на поиски.

Приходят рабочие (они тоже уже приняли), ждут директора.

Приходит художник, ждет директора. Характеризует все тремя словами. Считает с рабочими мелочь, один уходит.

Приходит некто. Ему отвечают кратко, и он идет.

Приходит осветитель с девицей. Лезет в свою будку с девицей.

Приходит оператор и говорит художнику, что сегодня ни черта не выйдет. Художник возражает, что вообще ни черта не выйдет.

Приходят два неглавных актера и объясняют, почему ни черта не выйдет.

Приходит помреж. Все объясняют ему, почему ни черта не выйдет. Он парирует, что и не должно.

Приходит гример. Оценивает обстановку и лезет в будку к осветителю.

Приходит ассистент режиссера, раскладывает свой столик, достает бумажки. Садится с двумя неглавными актерами играть в преферанс.

Приходит главная героиня и плохо себя чувствует.

Гример выпадает из будки осветителя. Оценивает обстановку и подсаживается к преферансистам.

Приходит режиссер. Смотрит на героиню, в зеркало, на героиню, в зеркало, на героиню, в зеркало. Раздражается. Хочет посмотреть на директора. Хочет посмотреть на дурака, который еще с директором свяжется. Обоих не видит. Капризничает. Не видит главного героя — хочет видеть. Видит помрежа — не хочет видеть.

Приходят не то чтобы все, но непонятно, кто еще не пришел, потому что уже пришли непонятно кто.

Начинается съемка.

Приходит директор и принимает валидол. Идет на поиски главного героя.

Режиссер принимает решение приступать. Все бросают курить. Расходятся по местам. Ждут. Закуривают.

У помрежа не оказывается рабочего плана.

У оператора не оказывается высокочувствительной пленки.

У долльщика не оказывается сил катать тележку с оператором.

У ассистента не оказывается денег расплатиться за преферанс.

У героини не оказывается терпения переносить это издевательство.

Приходит главный герой, играть отказывается. Он уже приходил два часа назад, — его послали. Директор унижается. Герой оскорблен. Помреж унижается. Герой возмущен. Ассистент унижается и просит отсрочить долг за преферанс. Герой негодует. Режиссер унижается. Герой неудовлетворен, но согласен.

Режиссер просит внимания и понимания.

Художник просит заменить декорацию.

Оператор просит рапид.

Долльщик просит катать оператора помедленнее.

Помощник оператора просит поставить его оператором.

Директор просит не сжечь павильон.

Герой просит героиню целовать естественнее.

Героиня просит чего-нибудь соленого.

Осветитель просит девицу. Девица не соглашается.

Режиссер просит свет. Осветитель против. На штангах ламп не повышается напряжение. У режиссера повышается напряжение.

Съемка продолжается.

Директору нужен валидол.

Художнику нужно воплотить декорацию.

Гримеру нужна французская морилка и колонковая кисточка.

Героине нужно полежать.

Режиссеру нужна лошадь.

Рабочим нужен перерыв, они устали.

Перерыв.

Оператор клянет пленку.

Долльщик клянет оператора.

Художник клянет рабочих.

Рабочие клянут тарифные ставки.

Директор клянет медицину.

Ассистент клянет преферанс.

Героиня клянет женскую неосмотрительность.

Осветитель клянет женскую осмотрительность.

Режиссер клянет всех вплоть до братьев Люмьер.

Гример оценивает обстановку и идет пить пиво. Все идут пить пиво.

После перерыва дело налаживается.

Директор принимает валокордин.

Герой попадает в образ.

Долщик попадает в ритм, катая тележку с камерой.

Героиня попадает под тележку с камерой.

Осветитель не попадает.

Героиню тошнит. Она говорит, что на сегодня все.

У оператора кончилась пленка. Он говорит, что на сегодня все.

Режиссер говорит всем, что на сегодня все, съемка окончена, всем спасибо.

ПЛАНОВОЕ СЧАСТЬЕ

(из протокола)

Директор. ...успешно освоили. Валовой выпуск счастья на ноль один процента выше планового. Улучшен и ряд качественных показателей. Снизилось количество случаев возврата и рекламаций. Счастьем нашего комбината обеспечено на четыре процента населения больше, чем в соответствующем квартале прошлого года.

Но наряду с достижениями имеются еще и недостатки. Все еще мало нашего счастья идет высшим и первым сортом. Медленнее, чем хотелось бы, внедряются новые образцы. По-прежнему отстает и портит общую картину шестой цех.

Начальник шестого цеха. А как можно вообще давать счастье на этом оборудовании? Нам нужна новая поточная линия! Наши станки вообще не рассчитаны на то счастье, которое сейчас выпускается! Пусть нам дадут облегченные образцы! Или прежние!..

Директор. Почему другие справляются? Четвертый цех? Мы должны выпускать то счастье, которое от нас требуется, на том оборудовании, которое мы имеем.

Начальник ОТК. Должен довести, что упомянутый четвертый цех в последний месяц, вопреки инструкциям, опять занимался штурмовщиной, результатом чего явилось сорок процентов забракованного счастья.

Представитель главка. Мы же пересмотрели вам стандарты!

Главный инженер. Да, и благодаря этому мы смогли половину брака пустить счастьем третьего сорта. Остальной же брак передали цеху ширпотреба для изготовления несчастья.

Начальник цеха ширпотреба. Благодаря бесперебойному снабжению и организации производства мы дали в этом квартале восемьдесят процентов несчастья сверх плана, при сохранении хорошего и отличного качества, и сейчас работаем в счет будущего года.

Представитель торга. Чтобы сбыть ваше несчастье, мы комплектуем подарочные наборы с кофе, коньяком, тресковой печенью и вашим несчастьем, перевязанным ленточкой! На него нет спроса!

Представитель главка. Странно... Плохо поставлена реклама! Разбаловались... Наша задача — делать счастье, ваша — сбыть его.

Активный из зала. А нельзя давать его бесплатно? В приложение? Или как премии постоянным покупателям?

Начальник коммерческой службы. Идя навстречу потребителю, мы и так снизили цены на наше несчастье — ниже некуда. Сейчас оно — одно из самых дешевых.

Начальник КТБ. Для изучения спроса населения на счастье, а также несчастье уже создается специальная лаборатория, которая поможет нам на научных основах максимально подойти к удовлетворению запросов. Также мы сейчас разрабатываем около двадцати новых современных образцов счастья, которые будут скоро запущены в серийное производство.

Главный технолог. Конструкторы опять мудрят со счастьем. А проектируя серийное счастье, его надо предельно упрощать. Мы должны снижать его себестоимость. Нам требуется счастье, технологически несложное в исполнении. С учетом трудоемкости, занятых рук и реального сырья. С сырьем трудности, перебои, от снабженцев такое порой получаем, что даже счастье третьего сорта еле выкраиваем.

Начальник снабжения. Вы хотите мне инфаркт? Я из себя вам делать счастье не могу! И из ничего тоже не могу! Вы и так имеете от меня то, чего нигде нет. Скажите, где лежит сырье для счастья высшего сорта, я поеду и завтра привезу! Не нравится то, что получаете — доставайте себе материал для счастья сами!

Представитель торга. И достают у спекулянтов! Пока ваше счастье до нас дойдет, оно морально устаревает! Пока выставочный образец станет серийным, его так упростят и из такого сделают, что потребитель от вашего счастья шарахается — за несчастье принимает. И все второй и третий сорт. И то приходит — лежалое, битое, порченное — как из-под трактора! И все стараются обзаводиться импортным!..

Активный из зала. А как его достают?..

Начальник складских помещений. У нас не хватает складов для счастья! Те, что есть — в аварийном состоянии! На готовое счастье капает, льет сквозь крыши, оно портится и гибнет, его негде хранить, оно валяется тюками в лужах! Чтобы счастье сохранялось в нормальном состоянии, надо выделять средства на хранение!

Начальник транспортной службы. И на транспортировку! Тары нет или она слабая, грузчики кантуют счастье при доставке, и оно доходит до потребителя в непотребном виде!

Начальник охраны. У меня претензии к транспортной службе. Охрана снова обнаружила в грузовиках незаприходованное по накладным счастье, которое водители пытались вывезти под сиденьями, а также в запасных скатах, бензобаках и под капотом. Также вахтеры на проходной извлекают счастье у расхитителей государственной собственности из сумок и портфелей, а некоторые несут на спине или под неудобными принадлежностями туалета. Чтоб не расхищали, надо пресечь, и увеличить охрану и вахтеров, а также ремонт проходных.

Представитель главка. А вы говорите — нет спроса.

Активный из зала. Так дефицит же!..

ХОЧУ БЫТЬ ДВОРНИКОМ

Есть люди, которые хотят познать все, и есть люди, которым тошно от того, что они уже познали. И вот вторые молчат, чтобы не было хуже, а первые встречаются всюду, надеясь сделать лучше. Чем нервируют окружающих.

Такие люди не приемлют реальность, как карась не приемлет сковородку. Шкворча от прикосновений мира, они полагают, что и для мира эти соприкосновения не должны пройти бесследно. Их активные попытки оставить след вызывают у мира, в лице начальства и жены, обострение инстинкта самосохранения, что имеет следствиями полный набор неприятностей, именуемый жизненным опытом. И когда они сочтут, что их жизненный опыт уже достаточен, они утихомириваются и складывают сказки о сивках, которых укатали крутые горки — куда их никто не гнал, когда нормальные кони скакали по нормальным дорогам, бодро взмахивая хвостами, и ели на стоянках овес.

И взоры их обращаются к детям.

Они, взрослые, учат их, детей, как бы они, взрослые, достигли того, чего должны достичь они, дети, если бы они, взрослые, могли этого достичь. Это называется передавать опыт.

Для детей начинается та еще жизнь. Знаю по себе.

Детские мечты редко сбываются. Хочешь стать дворником, а становишься академиком. Хочешь вставать раньше всех, вдыхать чистую прохладу рассвета, шурша гнать метлой осенние листья, поливать асфальт из шланга, собирать всякие интересные вещи, потерянные накануне прохожими, здороваться с идущими на работу жильцами — все тебя знают, все улыбаются, и никакое тебе начальство не страшно, их много, а дворников не хватает, не понизят тебя — некуда, не уволят — самим улицы мести придется, а вместо этого таскаешься со скрипкой в

музыкальную школу, с огромной папкой — в художественную, с портфелем пособий — на курсы английского языка, получаешь взбучки после родительских собраний, маршируешь строем в пионерских лагерях, занимаешься с репетиторами, трясешься перед выпускными экзаменами, наживаешь неврастению после конкурсных, сессии, курсовые, диплом, распределение, мама в обмороке, папа звонит старым друзьям, женишься, стоишь в очередях, получаешь квартиру, покупаешь мебель, защищаешь кандидатскую, а дети подрастают, и только хочешь, чтобы они были счастливы.

И без остановки, начальству нужны статьи, жене — шуба и машина, детям — штаны и велосипеды, потом — карманные деньги и свобода, потом высшее образование, потом им нужны жены и мужья, а тебе нужна неотложка.

Дети разъезжаются по городам, женятся, становятся на ноги, перестают тебе писать, хорошо еще поздравляют с праздниками, ты становишься дедушкой, выходишь на пенсию и получаешь возможность делать все, что душе твоей угодно.

И получив, наконец, возможность делать все, что душе моей угодно, я пошел в ЖЭК и легко устроился дворником. И теперь я встаю раньше всех, и вдыхаю чистую прохладу рассвета, шурша гоню метлой осенние листья, и все жильцы знают меня, и идя на работу здороваются со мной и улыбаются. И я поливаю асфальт из шланга и думаю, неужели мир устроен так, что обязательно надо сделать круг длиною в жизнь, чтобы прийти к тому, чего хотел. Наверное, это неправильно. И вся надежда, что хорошую сивку горки не укатают.

Из книги
«РАЗБИВАТЕЛЬ СЕРДЕЦ»

ПАУК

Беззаботность.

Он был обречен: мальчик заметил его.

С перил веранды он пошуршал через расчерченный солнцем стол. Крупный: серая шершавая вишня на членистых ножках.

Мальчик взял спички.

Он всходил на стенку: сверху напали! Он сжался и упал: умер.

Удар мощного жала — он вскочил и понесся.

Мальчик чиркнул еще спичку, отрезая бегство.

Он метался, спасаясь.

Мальчик не выпускал его из угла перил и стены. Брезгливо поджимался.

Противный.

Враг убивал отовсюду. Иногда кидались двое, он еле ускользал.

Укус смял. Он дернулся, припадая. Стена была рядом; он срывался.

Не успел увернуться. Тело слушалось плохо. Оно было уже не все.

Яркий шар вздулся и прыгнул снова.

Ухода нет.

В угрожающей позе он изготовился драться.

Мальчик увидел: две передние ножки сложились пополам, открыв из суставов когти поменьше воробьиных.

И когда враг надвинулся вновь, он прыгнул вперед и ударил.

Враг исчез.

Мальчик отдернул руку. Спичка погасла.

Ты смотри...

Он бросался еще, и враг не мог приблизиться.

Два сразу: один спереди пятился от ударов — второй сверху целил в голову. Он забил когтями, завертелся. Им было не справиться с ним.

Коробок опустел.

Жало жгло. Била белая боль. Коготь исчез.

Он выставил уцелевший коготь к бою.

Стена огня.

Мир горел и сжимался.

Жало врезалось в мозг и выело его. Жизнь кончилась.

Обугленные шпеньки лап еще двигались: он дрался.

...Холодная струна вибрировала в позвоночнике мальчика. Рот в кислой слюне. Двумя щепочками он взял пепельный катышок и выбросил на клумбу.

Пространство там прониклось его значением, словно серовато-прозрачная сфера. Долго не сводил глаз с незаметного шарика между травинок, взрослея.

Его трясло.

Он чувствовал себя ничтожеством.

ДУМЫ

Подумать хотелось.

Мысль эта — подумать — всплыла осенью, после дня рождения.

Женился Иванов после армии. За восемнадцать лет вырос до пятого разряда. А в этом году в армию пошел его сын. А дочка перешла в седьмой класс.

Какая жизнь? — обычная жизнь. Семья-работа. То сё, круговерть. Вечером включаешь носом в телик — и голову до подушки донести: будильник на шесть.

Дача тоже. Думали — отдых, природа, а вышла барщина. Будка о шести сотках — и вычеркивай выходные.

Весь год отпуска ждешь. А он — спица в той же колеснице: жена-дети, сборы-споры, билеты, очереди, покупки... — уж на работу бы: там спокойней; привычней.

Ну, бухнешь. А все разговоры — об этом же. Или про баб врут.

Хоп — и сороковник.

Как же все так... быстро, да не в том даже дело... бездумно?..

И всплыла эта вечная неудовлетворенность, оформилась: подумать спокойно об всем — вот чего ему не хватало все эти годы. Спокойно подумать.

Давно хотелось. Некогда просто остановиться было на этой мысли. А теперь остановился. Зациклился даже.

— Свет, ты о жизни хоть думала за все эти годы? — спросил он. Жена обиделась.

Мысль прорастала конкретными очертаниями.

Лето. Обрыв над рекой. Раскидистое дерево. Сквозь крону — облака в небе. Покой. Лежать и тихо думать обо всем...

Отрешиться. Он нашел слово — отрешиться.

Зимой мысль оформилась в план.

— Охренел — в июле тебе отпуск?! — Мастер крыл гул формовки. — Прошлый год летом гулял! — Иванов

швырнул рукавицы, высморкал цемент и пошагал к начальнику смены. После цехкома дошел до замдиректора. Писал заявления об уходе. Качал права, клячил и носил справки из поликлиники.

— Исхудал-то... — Жена заботливо подкладывала в тарелку.

Потом (вырвал отпуск) жена плакала. Не верила. Вызнавала у друзей, не завел ли он связь: с кем едет? Они ссорились. Он страдал.

Страдал и мечтал.

Дочка решила, что они разводятся, и тоже выступила. Показала характер. Завал.

Жена стукнула условие: путевку дочке в пионерский лагерь. Он стыдливо сновал с цветами и комплиментами к ведьмам в профком. Повезло: выложил одной кафелем ванную, бесплатно. Принес — пропуск в рай.

В мае жена потребовала ремонт. Иванов клеил обои и мурлыкал: «Ван вэй тикет!» — «Билет в один конец». Еще и новую мойку приволок.

Счастье круглилось, как яблоко — еще нетронутое, нерастраченное в богатстве всех возможностей.

Просыпаясь, он отрывал листок календаря. Потом стал отрывать с вечера.

Вместо телевизора изучал теперь атлас. Жена прониклась: советовала. Дочка читала из учебника географии.

Лето шло в зенит.

Когда осталась неделя, он посчитал: сто шестьдесят восемь часов.

Врубая вибратор, Иванов пел (благо грохот глушит). По утрам он приплясывал в ванной.

Чемодан собирал три дня. Захватил старое одеяло — лежать.

Прощание получилось праздничное. На вокзале оркестр провожал студенческие отряды. Жена и дочка улыбались с перрона.

Один, свободен, совсем, целый месяц — впервые за сорок лет.

В вагон-ресторане он баловался вином и улыбался мельканию столбов. Поезд летел, но одновременно и полз.

У пыльного базарчика он расспросил колхозничков и затрясся в автобусе.

Кривая деревенька укрылась духовитой от жары зеленью. Иванов подмигнул уткам в луже, переступил коровью лепешку и стукнул в калитку.

За комнату говорливый дедусь испросил двадцатку. Иванов принес продуктов и две бутылки. Выпили.

Оттягивал. Дурманился предвкушением.

Излучина реки желтела песчаной кручей. Иванов приценивался к лесу. Толкнуло: раскидистая сосна у края.

Завтра.

...Петухи прогорланили восход. Иванов сунул в сумку одеяло и еды. Выбрислся. У колодца набрал воды в термос.

Кусты стряхивали росу. Позавтракал на берегу, подалее от мычания, переключки и тракторного треска. Воздух густел; припекало.

Приблизился к своей сосне. Он волновался. Расстелил одеяло меж корней. Лег в тени, так, чтоб видеть небо и берег. Закурил и закинул руку под голову.

И стал думать.

Облака. Речной плеск. Хвоинка покалывала.

Снова закурил. И растерянно прислушался к себе.

Не думалось.

Иванов напрягся. Как же... ведь столько всего было.

Вертелся поудобней на бугристой земле. Сел. Лег.

Ни одной мысли не было в голове.

Попробовал жизнь свою вспомнить. Ну и что. Нормально все.

Нормально.

— Вот ведь черт, а. — Иванов аж пот вытер оторопело. Ведь так замечательно все. И — нехорошо...

Никак не думалось. Ни о чем.

И хоть бы тоска какая пришла, печаль там о чем — так ведь и не чувствовалось ничего почему-то. Но ведь не чурбан же он, он и нервничал часто, и грустил, и задумывался. А тут — ну ничего.

Как же это так, а?

Еще помучался. Плюнул и двинул в магазин. Врезать.

Не думалось. Хоть ты тресни.

ЭХО

Похороны прошли пристойно. Из крематория возвращались на поминки в двух автобусах, поначалу с осторожностью, а потом все свободнее говорили о своем, о детях, работе, об отпусках.

Квартира заполнилась деловито. Мужчины курили на лестнице; появились улыбки. Еда, закуски были приготовлены заранее и принесены из кулинарии, оживленное бутылками застолье по-житейски поднимало дух.

После первых рюмок уравнился приглушенный гомон. Как часто ведется, многочисленная родня собиралась вместе лишь по подобным поводам. Некоторые не виделись по несколько лет. Мелкие междоусобицы отходили в этой атмосфере (покачивание голов, вздохи), царили приязнь и дружелюбие, действительно возникало некоторое ощущение родства; отношения возобновлялись.

Две дочери, обеим под пятьдесят, являлись как бы двумя основными центрами притяжения в этом несильном и приятном движении общения, в разговорах на родственные, наезженные темы. В последние годы отношения между ними держались натянутые (из-за семей), — тем вернее хотелось сейчас каждой выказать любовь к другой, получая то же в ответ...

Разошлись в начале вечера, закусив, выпив, усталые, но не слишком, чуть печальные, чуть довольные тем, что все прошло по-человечески, что все были приятны всем, а впереди еще целый вечер — отдохнуть дома и обсудить прошедшее, — с уговорами «не забывать», куда вкладывалась подобающая доза братской укоризны и покаяния, с поцелуями и мужественными рукопожатиями, сопровождающимися короткими прочувственными взглядами в глаза; с удовлетворением.

Остались ближайшние: дочери с мужьями, сестра. Помыли посуду, выкинули мусор, расставили на места

столы. Решили, сев спокойно, что вся мебель останется пока на местах, «пусть все будет как было», может быть квартиру удастся отхлопотать.

Назавтра дочери делили имущество: немногочисленный фарфор и хрусталь, книги, налитые нафталином отрезки. Вздыхали, пожимали плечами, печально улыбались, неловко предлагая друг другу; много вытаскивалось устаревшего, ненужного, того, что сейчас, уже не принадлежащее хозяину, следовало именовать хламом — а когда-то вкладывались деньги... «Вот так живешь-живешь...» «Кому это теперь все нужно...» И все же — присутствовало некоторое радостное возбуждение.

Увязали коробки. Разобрали фотографии. Пакеты со старыми письмами и т. п. сожгли не открывая на заднем дворе. Помыли руки. Попили чаю...

Договорились в ЖЭКе, подарив коробку конфет. В квартире стал жить старший внук, иногородний студент. Прописать его не удалось. Дом шел на капитальный ремонт, через два года жильцов расселили; студент уехал по распределению тогда же. Перед отъездом продал за гроши мебель — когда-то дорогую, сейчас вышедшую из моды, рассохшуюся. Сдал макулатуру, раздарил ничего не стоящие мелочи. Среди прочего была старая, каких давно не выпускают, общая тетрадь в черном коленкоре, с пожелтевшими, очень плотной гладкой бумаги страницами, на первой из них значилось стариковскими прыгающими крючками:

«Костер из новогодних елок в углу вечернего двора. Жгут две дворничихи в ватниках и платках. Столб искр исчезает в черном бархатном небе. Погода снежная, воздух вкусный. Гуляя, я с тротуара увидел за аркой огонь и, подумав, подошел. Стоял рядом минут двадцать; очень было хорошо, приятно: мороз, снег в хвое, запах смолы и пламени, отсветы на обшарпанной стене. Что-то отпустило, растаяло внутри: я ощутил какое-то единение с жизнью, природой, бытием, если угодно. Давно не было у меня этого действительно высокого, очищающего чувства всеприемлемости жизни: счастья.

«Сегодня, сидя за столом с газетой, заметил на стене паука. Паучок был небольшой, серый, он неторопливо шел куда-то. Вместо того, чтобы убить его, смахнуть со стены, я наблюдал — пока не поймал себя на чувстве симпатии к нему; и понял, насколько я одинок.

«Ходи по путям сердца своего...

«Решительно не помню сопутствующих подробностей, осталось лишь впечатление, ощущение: белая ночь, тихий залив, серый и гладкий, дюны в клочковатой траве, изломанный силуэт северной сосны и рядом — береза. И под ветром костерок, догорающий...

«Почему так часто вспоминается костер, огонь?..

«Еще костер — на лесозаготовках в двадцать шестом году. Нам не нам подвезли тогда хлеб, лежали у костерка на поляне, последние цыгарки на круг курили, усталые, небритые, смеркалось, дождик заморосил; и вдруг бесконечным вдохом вошло счастье — подлинности жизни, единения и братства присутствующих... век бы не кончалось... черт его знает как выразить...

«Дождь — дождь тоже... после конференции в Одессе, в шестьдесят третьем, в октябре, видимо. Я улетал наутро, домой и хотелось и не хотелось, Ани не было уже, а весь день и вечер бродил по городу, моросил дождь, все было серое и блекнущее, буровато-зеленое, печально было, и впереди уже оставалось мало что, да ничего почти не оставалось, пил кофе, я курил еще тогда, и дома, улицы, море, деревья, дождь, серая пелена... а как хорошо, покойно как и ясно на душе было.

«Иногда мне думается, что каждый имеет именно то, чего ему больше всего хочется (обычно неосознанно). Может быть, если каждый это поймет, то будет счастлив? Или это спекуляция, утешительство?

«Я всегда был эгоистом. Гедонистом.

«Степь, жара, сопки, поезд швыряет между ними, солнце скачет слева направо, опять встали, кузнечики трещат, цветы пестрят, кружат коршуны, дурман и марево, снова движение, лягг и ветер в открытые двери тамбура, я аж приплясывал и пел «Полным-полна коровушка», не слыша своего голоса!..

«Решительно надо пошить новый костюм.

«Я боюсь. Господи, я боюсь!!

«До 20 необходимо: 1. Отослать статью в энциклопедию. 2. Отреферировать Т. К. 3. Уплатить за квартиру за лето.

«Охота. Утренняя зорька, сизый лес, прель и дымок, холодок ожидания и воздух, воздух...

«Облака. Сегодня сидел в сквере и долго смотрел. Низкие, темные, слоистые, их какое-то вселенское вечное движение в бескрайности, — сколько их было в жизни

моей, в разные времена и в разных местах, все было под ними, облака...

«В самом конце утра или перед вечером случается редко странное и жутковатое освещение: зеленовато-желтое, разреженное, воздух исчезает из пространства, тени резкие и глухие, — словно нависла всемирная катастрофа...

«Печали мои. Ерунда. Память. Истина».

Аспирант закрыл тетрадь, попавшую к нему со стопкой никому не понадобившихся записей и книг, — закрыл с почтением, пренебрежением, превосходством. Аспиранту было двадцать четыре года. Он строил карьеру. Смерть научного руководителя его раздосадовала. Она влекла за собой ряд сложностей. Аспирант размеривал время на профессию к сорока годам. Он был перспективный мужик, пробивной, знал, где что сказать и с кем как себя вести. Он считал признаком комфорта и пресыщенности позволять себе элегические вздохи, когда главная цель жизни благополучно достигнута. «И далеко не самым нравственно безупречным образом», — добавил он про себя.

Шеф его имел в прошлом известность одного из ведущих специалистов страны по кишечнорастворимой хирургии крупного скота. Часто делился с грустью, что ныне эта отрасль практически не нужна: лошади свое значение в хозяйстве утеряли, коров дешевле пустить на мясо, чем лечить; когда-то обстояло иначе... Последние годы почти не работал, отошел от дел кафедры, чувствовал себя скверно; после смерти жены жил один; был добр, но в глубине души высокомерен и нрава был крутого, «кремень».

Крупный, грузный, с мясистым римским лицом, орлиным носом, лысина в полукружии седины, носил черный с поясом плащ и широкополую шляпу, ходил на Амундсена, или старого гангстера, или профессора, кем и был.

АПЕЛЬСИНЫ

Ему был свойствен тот неподдельный романтизм, который заставляет с восхищением — порой тайным, бессознательным даже, — жадно переживать новизну любого события. Такой романтизм, по существу, делает жизнь счастливой — если только в один прекрасный день вам не надоест все на свете. Тогда обнаруживается, что все вещи не имеют смысла, и вселенское это бессмыслие убивает; но, скорее, это происходит просто от душевной усталости. Нельзя слишком долго натягивать до предела все нити своего бытия безнаказанно. Паруса с треском лопаются, лохмотья свисают на месте тугих полотнищ, и никчемно стынет корабль в бескрайних волнах.

Он искренне полагал, что только молодость, пренебрегая деньгами — которых еще нет, — и здоровьем — которое еще есть, — способна создать шедевры.

Он безумствовал ночами; неродившаяся слава сжигала его; руки его тряслись. Фразы сочными мазками шлепались на листы. Глубины мира яснили; ошеломительные, сверкали сокровища на острие его мысли.

Сведущий в тайнах, он не замечал явного...

Реальность отковывала его взгляды, круша идеализм; совесть корчилась поверженным, но бессмертным драконом; характер его не твердел.

Он грезил любовью ко всем; спасение не шло; он истязался в бессилии.

Неотвратимо — он близился к ней. ОНА — стала для него — все: любовь, избавление, жизнь, истина.

Жаждуше взбухли его губы на иссушенном лице. Опушенный полумесяц ее рта тлел ему в сознании; увядшие лепестки век трепетали.

Он вышел под вечер.

Разноцветные здания рвались в умопомрачительную синь, где серебрились и таяли облачные миражи.

На самом высоком здании было написано: «Театр комедии».

Императрица вздымалась напротив в бронзовом своем величии. У несокрушимого гранитного постамента, греясь на солнышке, играли в шахматы дряхлеющие пенсионеры.

— Ваши отцы вернулись с величайшей из войн, — сказал ему старичок.

— Кровь победителей рвет ваши жилы! — закричал старичок, голова его дрожала, шахматы рассыпались.

Чугунные кони дыбились вечно над взрябленной мутью и рвали удила.

Регулировщик с красной повязкой тут же штрафовал мотоциклиста, нарушившего правила.

Солнце заходило над Дворцом пионеров им. Жданова, бывшим Аничковым.

На углу продавали белые пачки сигарет — и красные гвоздики.

У лоточницы оставался единственный лимон. Лимон был похож на гранату-лимонку.

Человечек схватил его за рукав. Человечек был мал ростом, непреклонен и доброжелателен. Человечек потребовал сигарету; на листе записной книжки нарисовал зубастого нестрашного волка в воротничке и галстуке, и удалился, загадочно улыбаясь.

Он зашел выпить кофе. За кофе стояла длинная очередь. Кофе был горек.

Колдовски прекрасная девушка умоляла о чем-то мятого верзилу; верзила жевал резинку.

Он перешел на солнечную сторону улицы. Но вечернее солнце не грело его.

Пока он размышлял об этом, кто-то занял телефонную будку.

Дороги он не знал. Ему подсказали.

В автобусе юноша с измученным лицом спал на тряском заднем сидении; модные дорогие часы блестели на руке.

На улице Некрасова сел милиционер, такой молоденький и добродушный, что кругом заулыбались. Милиционер ехал до Салтыкова-Щедрина.

Девчонки, в головокружительном обаянии юности, смеясь, спешили к подъезду вечерней школы. Напротив каменел Дворец бракосочетаний.

Приятнейший аромат горячего хлеба (хлебозавод стоял за углом) перебивал дыхание взбухших почек.

«Весна...», — подумал он.

ЕЕ не оказалось дома.

Никто не отворил дверь.

Он ждал.

Темнело.

Серым покрасил улицу тягостный дождь. Пряча лица в поднятые воротники, проскальзывали прохожие вдоль закопченных стен. Проносились автобусы, исчезая в пелене.

Оранжевые бомбы апельсинов твердели на лотках, на всех углах тлели тугие их пирамиды.

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ

Полковник сидел у окна и наблюдал ландшафт в разрывах облаков. Капитан подремывал под гул моторов.

Полковник почитал, решил кроссворд, написал письмо и достал коробку конфет:

— Угощайтесь.

Они были одного возраста: капитан стар, а полковник молод. Сукно формы разнилось качеством: полковник выглядел одетым лучше.

— Где служишь, капитан?

В дыре. Служба не пошла. Застрял на роте. Что так? Всякое... Солдатик в самоходе начудил. ЧП на учениях... Заклинило.

Полковник наставлял с командных высот состоявшейся судьбы. Недавно он принял дивизию — «пришел на лампы». В колодках значилось Красное Знамя.

— Афган. — Он кивнул.

Отвинтил бутылку. Приложились. Полковник живописал курсантские каверзы — счастливые годки:

— ...и проиграл ему шесть кирпичей — в мешке марш-бросок тащить. И — р-рухнул через километр. А старшина приказывает ему... ха-ха-ха! возьмите его вещмешок! Мы все попадали. И он сам пер... ох-ха! девять километров! Стал их вынимать, а старшина... ха-ха!

Капитан соблюдал веселье по субординации. Его училище было скучноватей; серьезнее. Наряды, экзамены:

— ...матчасть ему по четыре раза сдавали. И — без увольнений.

Полковник расправился с аэрофлотовским «обедом». Капитан ковырялся.

— ...приводит на танцы: знакомьтесь, говорит, — моя невеста. А он так посмотрел: э, говорит, невеста, — а

хотите быть моей женой! А она — в глаза: а что? да! И — все! Потом майор Тутов, душа, ему месяц все объяснял отдельно — ничего не соображал.

— А у нас один развелся прямо в день выпуска — ехать с ним отказалась, — привел капитан.

Долго вспоминали всякое... Оба летели на юбилейную встречу.

— Сколько лет? И у меня пятнадцать. Ты какое кончал?

— Первое имени Щорса.

— Ка-ак?! — не поверил полковник. — Да ведь я — Первое Щорса.

Оба сильно удивились.

— А рота?

— Седьмая.

— Ну и дела! И я седьмая! А взвод?

— Семьсот тридцать четвертый.

— Т-ты что! точно? Я — семьсот тридцать четвертый! Стой... — полковник просиял: — как же я тебя сразу не узнал! Шаскольский!

— Никак нет, товарищ полковник, я...

— Да кончай, однокашник: без званий и на ты...

Луговкин!

— Да нет, я...

— Стой, не говори! Худолей?.. нет... Бочкарев!!

— Власов я, — извиняющийся представился капитан.

— Власов! Власов... Надо же, сколько лет... даже не припомню, понимаешь... А-а! это у тебя в лагерях танкисты шинель пристроили?

— У меня? шинель?..

— Ну а меня, меня-то помнишь теперь? Узнал?

— Теперь узнал. М-мм... Германчук.

— Смотри лучше! Сницын! Сницын я, Андрей! Ну? На винтполигоне всегда макеты поправлял — по столярке возиться нравилось.

— Извините... Гм. Вообще этим полигонная команда занимается.

— Ну — за встречу! Ах, хорошо. А как Худолей на штурмполозе выступал? в ров — в воду плюх, мокрый по песку ползком, под щитом застрял — и смотрит вверх жалобно: умора! А на фасад его двое втащили, он постоял-постоял на бревне — и медленно стал падать... ха-ха-ха! на руки поймали: цирк! А стал отличный офицер.

— Отличник был такой — Худолей, — усомнился капитан. — Не... А помните, Нестеров, из студентов, в личное время повести писал?

— Нестеров? Повести? Это который гимнаст, что ли? Он еще щит гранатой проломил, помнишь?

— Щи-ит? Может, у меня тогда освобождение от полевой было... А помните, как Вара перед соревнованиями команду гонял?

— Кто?! Вара?! Да он через коня ласточкой — носом в дорожку летал. А майора Турбинского с ПХР помнишь?

— Турбинского?.. Не было такого майора. Вот майор Ростовцев — он нам шаг на плацу в три такта ставил, это точно.

— Какой Ростовцев, строевую Гвоздев вел! А майор Соломатин — стрелковую. А Бондарьков — разведку.

— Только не Соломатин, а Соломин. И он подполковник был. А вел тактику. Седоватый такой.

Оба уставились друг на друга подозрительно.

— Слушай, — задумчиво сказал полковник, — а ты где спал?

— У прохода, третья от стены. Под Иоаннисяном.

— Под Иоаннисяном Андреев спал, не свисти. Пианист.

— Какой пианист?! он и в строю-то петь не мог. А все время тратил на конспекты — лучшие в роте, по ним еще все готовились.

— Андреев, что я, не помню. А я спал у среднего окна.

— У среднего окна Германчук спал.

— Ну правильно. А я рядом.

— Рядом Богданов. Они двое сержанты были.

— Я! Я ефрейтор был.

— Ефрейтором Водопьянов был.

— А я кем был?! — завопил полковник. — А я где спал?! Развелось вас! историки! Тебе только мемуары писать!..

Капитан виновато выпрямился в кресле.

— Ты скажи точно — ты в каком году кончал?..

Самолет пошел на посадку.

— А Гришу, замкомвзвода, пилотку всегда ушивал, чтобы углами стояла, помнишь?

— Никак нет, не помню. А старшего лейтенанта Бойцова помните?

— Какого Бойцова?!

Полковник был раздражен. Капитан растерян.

— Что же это за белиберда получается, — недоумевал полковник. — Ничего не понимаю...

В аэропорту он взял капитана в такси. Приехали к подъезду с вывеской бронзой по алому.

— Вот оно! — сказал полковник.

— Оно, — подтвердил капитан.

МИМОХОДОМ

— Здравствуй, — не сразу сказал он.

— Мы не виделись тысячу лет, — она улыбнулась. —

Здравствуй.

— Как дела?

— Ничего. А ты?

— Нормально. Да...

Люди проходили по длинному коридору, смотрели.

— Ты торопишься?

Она взглянула на его часы:

— У тебя есть сигареты?

— А тебе можно?

Махнула рукой:

— Можно.

Они отошли к окну. Закурили.

— Хочешь кофе? — спросил он.

— Нет.

Стряхивали пепел за батарею.

— Так кто у тебя? — спросил он.

— Девочка.

— Сколько?

— Четыре месяца.

— Как звать?

— Ольга. Ольга Александровна.

— Вот так вот... Послушай, может быть ты все-таки хочешь кофе?

— Нет, — она вздохнула. — Не хочу.

На ней была белая вязаная шапочка.

— А рыжая ты была лучше.

Она пожала плечами:

— А мужу больше нравится так.

Он отвернулся. Заснеженный двор и низкое зимнее солнце над крышами.

— Сашка мой так хотел сына, — сказала она. — Он был в экспедиции, когда Оленька родилась, так даже на телеграмму мне не ответил.

— Ну, есть еще время.

— Нет уж, хватит пока.

По коридору, вслушив поднятый хвост, гуляла беременная кошка.

— Ты бы отказался от аспирантуры?

— На что мне она?..

— Я думала, мой Сашка один такой дурак.

— Я второй, — сказал он. — Или первый?

— Он обогатитель... Он хочет ехать в Мирный. А я хочу жить в Ленинграде.

— Что ж. Выходи замуж за меня.

— Тоже идея, — сказала она. — Только ведь ты все будешь пропивать.

— Ну что ты. Было бы кому нести. А мне некому нести. А если б было кому нести, я бы и принес.

— Ты-то?

— Конечно.

— Пойдем на площадку, — она взяла его за руку...

На лестничной площадке сели в ободранные кресла у перил.

— А с тобой, наверно, было бы легко, — улыбнулась она. — Мой Сашка точно так же: есть деньги — спустит, нет — выкрутится. И всегда веселый.

— Вот и дивно.

— Жениться тебе нужно.

— На ком?

— Ну! найдешь.

— Я бреюсь на ощупь, а то смотреть противно.

— Не напрашивайся на комплименты.

— Да серьезно.

— Брось.

— А за что ей, бедной, такую жизнь со мной.

— Это дело другое.

— Бродяга я, понимаешь?

— Это точно, — сказала она.

Зажглось электричество.

— Ты гони меня, — попросила она.

— Сейчас.

— Верно; мне пора.

— Посиди.

— Я не могу больше.

— Когда еще будет следующий раз.

— Я не могу больше!

Одетые люди спускались мимо по лестнице.

— Дай тогда две копейки — позвонить, — она смотрела перед собой.

— Ну конечно, — он достал кошелек. — Держи.

ЛЕГИОНЕР

Его родители эмигрировали во Францию перед первой мировой войной. В сороковом году, когда немцы вошли в Париж, ему было четырнадцать. Он был рослый и крепкий подросток.

Родители были взяты заложниками при облеве в квартале. Он прочитал на стене объявление о расстреле.

Он бежал в маки. Цель, смысл жизни — мстить. Было абсолютное бесстрашие отпетого мальчишки: отчаяние и ненависть.

Всею мальчишеской страстью он предался оружию и войне. Он лез на рожон. В пятнадцать лет он был равным в отряде. Он вел зарубки на ложе английского автомата. В сорок четвертом, когда партизаны вступили в Париж прежде авангардов генерала Леклерка, ему было восемнадцать лет и он командовал батальоном франтиреров.

Он праздновал победу в рукоплесканиях и цветах. Но война кончилась, и ценности сменились. Герой остался нищим мальчишкой без профессии. Он пил в долг, поминал заслуги и поносил приспособленцев. Был скандал, драка, а стрелять он умел. Замаячила гильотина.

...Он записался в Иностранный легион. Вербовочный пункт отсекал слежку, прошлое исчезало, кончался закон: называл любое имя.

Он умел воевать, а больше ничего не умел: любить и ненавидеть. Любить было некого, а ненавидел он всех. Капралом был румын. Взводным немец. Власовцы, итальянцы, усташи, четники, уголовники и нищие крестьяне.

На себе стоял крест: десятилетний контракт не сулил выжить. Он дрался в Северной и Экваториальной Африке, в Индокитае. Легион был надежнейшей частью: не сдавались — прикончат, не бежали — некуда, не отступали — пристрелят свои. Держались, сколько были живы и имели патроны.

Он узнал, что такое легионерская тоска — «кяфар». Пронзительная пустота, безысходность в чужом мире (джунгли, пустыня), бессмысленность усилий, — безразличие к жизни настолько полное, что именно оно и стало основным ощущением жизни.

Разум и совесть закуклились. Отребье суперменов, «солдаты удачи», наемное зверье — они были вне всех законов. Жгли. Вырезали. Добивали раненых. Выполняли приказ и отводили душу. Личный состав взвода менялся раз за разом. Он был отчаян и везуч — выжил.

По окончании контракта он получил счет в банке и чистые документы: щепетильная Франция одаряла легионеров всеми правами гражданства. Лысый, простреленный, в тридцать лет выглядящий на сорок, он жил на скромные проценты. Гулял по бульварам. Молодость прошла; проходила жизнь.

Кончались пятидесятые годы. Запахло алжирской войной. Только не воевать: его трясли кошмары. Русские эмигранты говорили о родине и тянулись в Союз. Он вспомнил свое происхождение. Родители рассказывали ему об Одессе. Он пошел в советское посольство.

...В тридцать три он начал новую жизнь. Аппетит к жизни всколыхнулся в нем: здесь все было иначе.

Он поступил в электротехнический институт. Влюбился и женился. Родился ребенок; защитили дипломы; получили комнату. Он уже говорил по-русски без акцента, зато акцент появился во французском.

Нормальный инженер встал на ноги. Терзаясь и веря, он рассказал жене о себе. Она плакала в ужасе и восхищении. Не верила, пока не свыклась.

Всех забот у него казалось — что подарить жене и детям. Лысенкий, очкастенький, небольшой, а — крепко, как дубовый бочонок.

Авантюристическая жилка ожила в нем и заиграла. Он занялся альпинизмом, горными лыжами, отпуск работал спасателем в горах. Потом увлекся дельтапланером. Парил под белым парусом в синем небе и хохотал.

ПРАВИЛА ВСЕМОГУЩЕСТВА

«Что бы я сделал, если бы все мог».

— А вы?

Мефистофель с хрустом ввернул точку:

— А я могу больше: одарить этим вас. — Он отер мел и обернулся к ученикам: — Соблазняет? Прошу дерзать!..

Тема была дана.

Здесь надо пояснить, что Мефистофеля вообще звали Петром Мефодиевичем. Или Петра Мефодиевича звали Мефистофелем? как правильно? Велик и могуч русский язык; не всегда и сообразишь, что в нем к чему. Валерьянка вот не всегда соображал, и скорбные последствия... простите, не Валерьянка, а Вагнер Валериан. «Школьные годы чудесные» для слабых и тихих ох не безбедны, а еще дразнить — за какие ж грехи невинному человеку десять лет такой каторги.

Но — о Петре Мефодиевиче: он здесь главный — он директор средней школы № 3 г. Могилева. А по специальности — физик. Но любит замещать по чужим предметам.

Прозвище ему, как костюм по мерке: черен, тощ, нос орлом, лицо лезвием — и борода: типичный этот... чертик с трубки «Ява». Но это бы ерунда: он все знает и все может. Поколения множили легенду: как он выкинул с вечера трех хулиганов из Луполова; как на картошке лично выполнил три нормы; как по-английски разговаривал с иностранной делегацией; а некогда на Байконуре доказал свою правоту самому Королеву и уволился, не уступив крутизной характера.

Петр Мефодиевич непредсказуем в действиях и нестандартен в результатах. Когда Ленька Мацилевич нахамил химозе, Петр Мефодиевич сделал ему подарок — книгу о хорошем тоне, приказав ежедневно после уроков сдавать страницу. К весне измученный, смирившийся Мацыль взмолил, что жизнь среди невежд губительна, а станет он метрдотелем в московском ресторане.

После его урока географии Мишку Романова вынули в порту из мешка с мукой: он бежал в Австралию. Замешал историчку — и Валерьянка всю ночь рубился с римскими легионами; проснулся изнеможенный — и с шишкой на голове!

На Морозова только полыхнул угольными глазами, и Мороз зачарованно выложил помрачающие ум карты; он клялся, что действовал под гипнозом, оправдываясь дырой на том самом кармане, прожженной испепеляющим взором Петра Мефодиевича.

А однажды у стола выронил фотографию, а Геньчик Богданов подал: так Геньчик уверял, что на фотке молодой Петр Мефодиевич в форме офицера-десантника и с медалью.

Вследствие вышеизложенного Петр Мефодиевич титуловался заслуженным работником просвещения и писал кандидатскую по педагогике с социологическим уклоном; ныне модно. И ему необходимо набирать материал и личные контакты по статистике. (Опять я, кажется, неправильно выражаюсь.)

Теперь понятно, почему Мефисто... простите, Петр Мефодиевич обломал кайф классу, праздновавшему болезнь русачки срывом с пятого-шестого сдвоенных русск. яз-а и лит-ры. Петр Мефодиевич нагрянул лично, пресек жажду свободы и дал взамен свободу воображаемую в рамках педагогики: ход, высеченный мелом на влажном коричневом линолеуме доски.

— Почему нерешительность? М? Чего боимся? — подтолкнул Петр Мефодиевич.

Класс вперился в доску. Сочинение на свободную тему: искус и подвох... Школа — она приучит соображать, прежде чем раскрывать рот, будьте спокойны. С этой задачей она справляется неплохо. Некоторые так вышколены, что потом всю жизнь... но мы отвлекаемся.

«Что сделал, если б все мог», — хо-хо! Эх-хе-хе... Так им все и скажи: нашел дурных. А потом кому диссертация, а кому колония для малолетних? Класс поджался и замкнул души.

— Писать донос на себя самого? вот спасибо, — суммировал общественное подозрение скептик Горявин. — Милые идеи у вас, Петр Мефодиевич.

«Я еще мал для душевного стриптиза», — пробурчал коротышка Мороз. А Олежка Шпаков успокоительно поведal:

— Я, если б мог, вообще бы ничего не делал.

Свалившаяся вседозволенность озадачивала неясностью цели: одно — стать отличником, чтоб они все отцепились, а другое — превратить недостатки настоящего в цветущее будущее.

— Тяжкая стезя? — ехидно посочувствовал Петр Мефодиевич. — Морально не готовы? Или — не хочется?..

— Все — это сколько? В каких пределах? — осведомился вдумчивый Валерьянка, Вагнер Валериан, и показал руками, как рыбак сорвавшуюся рыбу: широко, еще шире, и вот рук уже не хватает.

— Все — это все, — кратко разъяснил Петр Мефодиевич, взмахнув рукой вкруговую. — Ни-ка-ких ограничений. — Он гордо выпрямился: — Я освобождаю вас от химеры, именуемой невозможностью.

Освобожденный от химеры класс забродил, как закваска.

— Напишем чего думаем, а потом ваша наука не туда пойдет, — посочувствовала пышка-Смелякова.

— А отметки ставить будете?..

— А без этого нельзя, — соболезнующе сказал Петр Мефодиевич.

— Э-э... — укорил Курочков, прославленный изобретатель самопадающих в двери устройств. — Удобная позиция: не ограничивать нас ни в чем, чтоб мы себя сами ограничивали во всем.

— Отметки пойдут не в журнал, а в мою личную тетрадку, — обнадежил Петр Мефодиевич, улыбаясь провокаторски.

— Час от часу не легче, — отозвался из-за спин спортсмен Гордеев.

— А фамилий можете вообще не ставить, — последовал сюрприз. — Это для меня роли не играет...

О?! Класс взревел, словно у него отлетел глушитель. Отчетливо запахло счастьем, свободой; возмездием.

А Петр Мефодиевич, погружаясь в огромную черную книгу с иностранным названием и физическими формулами на обложке, подтолкнул:

— Вы всемогущи! То, о чем всегда мечтали люди — дано вам!

Дотошный Валерьянка снова потянул руку:

— А это всемогущество — предоставляется нам всем? Или как будто мне одному?

— Только тебе, одному на свете за всю историю. Решайся! — второй такой возможности не представится никогда.

А не писать можно, опасливо хотел спросить Валерьянка... но жалко упускать такую возможность... И только поинтересовался:

— А — как же все? Остальные?

— Этого вопроса не существует, — отмел Петр Мефодиевич. — Нет остальных, — вскричал он. — Есть только ты, всемогущий, который сам все делает и сам за все отвечает.

Он потряс черной книжкой, извил пасс худыми руками, кольнул бородкой. «Гипнотизирует», — суеверно подумал Валерьянка и успел сравнить угольные глаза с пылесосом, всасывающим его.

И неожиданно улыбнулся, принимая условия игры — как бы открывая их в себе: да, он всемогущ. Он: один. Здесь и сейчас.

И очень просто.

Он покачнулся и сел.

И посмотрел на белый прямоугольник — раскрытый лист...

Лист был чист и бел. И в то же время неким внутренним зрением он словно провидел на нем абсолютно все. Ему оставалось только сделать это. В смысле написать. В смысле — это означало одно и то же.

1). Начнем с яйца (вареного или жареного?): прежде всего Валерьянка элементарно хотел есть. Последние уроки, вот и подсасывало. Аж желудок скрипел, как ботинок (кстати, их тоже ели, только варить долго).

На обед предполагались котлеты с картошкой и борщ, но тут уж Валерьянка щадить себя не стал. Он угостился шоколадным тортом и закусил его ананасом (интересно, каковы на вкус эти ананасы?). Желудок застонал в экстазе, и голодный чародей охладил его дрожь двумя порциями пломбира. Какое легкомыслие — две! Двенадцать! А если бефстроганов смешать с вишнями и залить какао, что выйдет? — блюдо богов! Жаль, что их нет и они этого не знают.

Нет грез слаще, чем гастрономические грезы голодающего. Как говорится, жизнь крепко меня ударила, но сейчас я ударю по жратве еще крепче. Валерьянка зарылся в яства, как роторный канавокопатель: он давал сеанс одновременной жратвы.

Черствая жизнь обернулась своей съедобной стороной. Вместо супов и каш были семечки. В полях самовыкапывался картофель фри в масле, а на лугах паслись бифштексы. Конфетные города шумели лимонадными фонтанами. С домов отваливались балконы из пирогов, водопровод плевался компотом, а в унитазах... э, стоп, это чересчур.

В газетных киосках давали варенье. Школьный буфет награждал пирожным в компенсацию за каждый отсуженный срок урока. Арбузы и персики катились по улицам, тормозя перед светофорами. Мармеладный милиционер в шоколадной будке махал копченой колбасой.

— Дорогу жиртресту! — скомандовал милиционер, и Валерьянка обмер и провалился. Верно — он стал «плечист в животе»: он был просто приделан к этому дирижаблю, а где застегивались брюки торчало опорное колесико, как у самолета. Где-то внизу переступали, с натугой толкая вес, нечищенные (не достать!) ботинки... Правда, мороженое вызвало хроническую ангину, избавившую от школы, но не такой же ценой... а если вместо этого гланды вырежут?..

Его дразнили на улице и лупили во дворе. Спасибо вам за такие возможности!

2). Прожорливый волшебник закручинился. Мочь все — занятие не для слабых: шагнул шаг — и последствий не оберешься...

Скажем, еда: возьмется ниоткуда — или все же откуда-то? Если да — то откуда? А вдруг там после этого голодают? и ОБХСС ищет... Тень тюремной решетки пала на веер кошмарных картин:

Арбузная бахча укатилась на север, и сторож продает свое имущество — шалаш, берданку и пугало, покрывая убытки. Продукция кондитерской фабрики испарилась в неизвестном направлении, но клятвам директора вторит саркастический смех прокурора. Магазин пуст, и денег в кассе, естественно, не прибавилось: ревизия вызывает конвой.

Ничего себе закусили. Теперь требуется какое-то сверхмогущество, чтобы вызволить невинных из скверных ситуаций...

Может, лучше всем за все платить? Но тогда — кому, сколько, а главное — чем?.. на такую диету мама с папой отреагируют касторкой и клизмой в лучшем случае, но не карманными деньгами — на его аппетит их зарплат не хватит.

Еда должна браться ниоткуда — это решит массу трудностей. Порядок возможен при одном условии: чтобы все делалось из ничего.

А есть явно или тайно? Тайно — нехорошо, явно — еще хуже: могут занести в Красную книгу и в зоопарк, как достопримечательность.

Ясно одно: толстеть отменяется. Проблему питания лучше всего решить таким образом, чтобы вообще не есть, но всегда быть сытым. А на фига такое всемогущество, если даже не поест толком?..

А если потечет пироговая крыша? Вода-то ладно, подставил таз и порядок, а варенье потечет? это замучишься потолок облизывать.

Благое предприятие рушилось девятым валом проблем. Всемогущество требовало продуманности и организации. И оно было организовано: Валерьянка придумал

Первое правило всемогущества

Что бы ни делалось — это хорошо, и ничего плохого не будет.

И, упорядочив этим всеобщий хаос, переключился на следующую страницу славных деяний, где

3). в подъезде его по обычаю приветствовал падла Колька Сдориков из 88 квартиры: в зад пинок, в лоб щелбан: «Привет, Валидол!».

Пусть победит достойный (хоть раз в жизни)! Изящная поза, легкое движение, и — поет победная труба, воеет «скорая», спешат санитары, связку гипсовых чурок задвигают в машину: поправляйся, Коля, уроки я тебе буду носить.

— Всех не перебьешь! — доносится мстительно из-под гипса.

— Перебью, — холодно парирует Валерьянка. — Рубите мебель на гробы.

Вендетта раскручивается, как гремучая змея: в карательную экспедицию выходят, загребая пыль, дворовые террористы — жать из Валерьянки масло, искать ему пятый угол, снимать портфель с проводов. Трепещет двор и жаждет зрелищ: балконы усеяны, как в Колизее (девочки опускают большой палец: не щадить!).

— Открываем долгожданный субботник по искоренению хулиганства, — возвещает Валерьянка. — Концерт

по заявкам жертв проходит под девизом «За одного битого двух небитых бьют». Соло на костях врагов!

Страшный восьмиклассник Никита-башня рушится, как небоскреб (длинного бить интереснее — он дольше падает). Похабщик Шурка висит на дереве: во фрукт поспел, пора и падать. Дурной Рог перепахивает клумбу: жуткая рожа среди цветов. А обзывала-Чеснок влетел в песочницу, одни ноги дрыгаются (и те кривые).

С балконов летят цветы и рукоплескания: «Свободу храброму Спарт... тьфу, — Валерьянке! Освободить его от физкультуры до конца школы!»

Поигрывая сталью мускулов, Валерьянка превращает поверженных в тимуровскую команду и гонит носить воду бабуле Никодимовой. (А на черта ей вода, у нее ж водопровод?.. Его прорвало! Чем меньше удобств, тем больше можно заботиться о человеке.) И под гром оваций...

4). Ага: вот заявятся родители этих битых обалдуев — будет гром оваций...

Толпа ярилась в прихожей, разрывая рубахи и тряся кулаками в жажде крови. А впереди сурово качал гербовой фуражкой участковый, предлагая пройти в милицию — и далее, лет на... сколько влепят?..

Что бы ни сделал — одновременно получается и противоположное... Отпадет всякая охота действовать, если в итоге неприятности вечно забывают удовольствие. Нет худа без добра — а вот есть ли добро без худа?.. Тоже нет?..

Да где же справедливость?! Сейчас будет. И Валерьянка ввел

Второе правило всемогущества

Что бы ни делалось — справедливость ненаказуема.

Но один считает справедливым одно, другой — другое... туманная вещь эта справедливость: рехнешься мозги ломать в каждом отдельном случае. Помногу думать над всем — вообще ничего сделать невозможно, разозлился он. И в окончательной, исправленной и дополненной редакции

Второе правило всемогущества

звучало так:

Что бы ни делалось — все довольны.

Это означало то же самое, но было гораздо проще и удобнее.

О! Сияющие родители в очередь жали ему руку, благодаря за чудесное перевоспитание их бандитов. «У вас огромные педагогические способности», — позавидовал доцент пединститута Малинович. Участковый отдал честь и пригласил возглавить детскую комнату милиции: «Только вы в состоянии исправить современную молодежь». А тренер Лепендин из 25 дома восхитился: «Бойцовский характер! Вы — феномен атлетики! Бокс по тебе плачет: жду завтра на тренировку».

5). В зале Валерьянка сделал заявление — исключительно в целях славы спорта — о включении его в сборную Союза. Тренер имел предложить сборную по нахальству и украсить скромностью. Непонятливый (по голове, видать, много били).

Валерьянка украсился скромностью и на построении нокаутировал неверующую секцию одним боковым ударом. Шеренга сложилась, как веер, и хлопнулась со стуком, как кегли. В заключение тренировки он нокаутировал тренера, что было квалифицировано как действие, заслуживающее минимум звания мастера спорта.

...На чемпионате мира сборная была представлена во всех одиннадцати весовых категориях одним человеком (так зато это ж был человек!). Что позволило значительно сократить расходы на содержание команды и тренеров. Экономилось и время: бои кончались досрочно — на тринадцатой секунде: две тратились на сближение с противником, одна на удар, и десять — счет рефери над поверженным.

— Чего считать: снимай шкуру, пока теплый, — добродушно шутил чемпион; публика восхищалась его обаятельным остроумием. Восторженным репортерам Валерьянка охотно открыл свой спортивный секрет победы:

— Я бью только два раза: второй — по крышке гроба.

Сэкономленное в боях время он уделял пропаганде спорта:

— Было бы здоровье, — говорил он, — а остальное купим. Сила есть — ум найдут. Плюс утренняя зарядка!

Триумф был заслуженный и сокрушительный. Фотография: Валерьянка на пьедестале весь в лентах и венках, как юбилейный монумент — сияла со всех изданий от «Пионерской правды» до «Курьера ЮНЕСКО».

Одиннадцать золотых медалей положили начало музею наград, в который ЖЭК переоборудовал его комнату.

По утрам подъезжал грузовик с цветами, кубками и вымпелами. Сантехник Вася сидел у дверей и выдавал посетителям тапочки, а физрук Пал Иваныч проводил экскурсии, рассказывая о школьных годах героя и первых успехах, бессовестно приписывая их себе (или наоборот — каясь в близорукости: эх, не сумел разглядеть...).

Председатель спорткомитета отдавал Валерьянке рапорт и благодарил за облегчение и образцовую организацию работы: весь спорткомитет руководил теперь одним человеком — им; а он неизменно оправдывал, поддерживал, защищал, не срамил, умножал, поднимал и радовал, побеждая всех, везде и во всем, на воде, в небесах и на суше.

Он вывел в чемпионы мира футболистов, уронил в воду судей результатами плавания, сломал штангу взятием веса и метнул молот из Лужников на стадион Кирова. Он обыграл Карпова, дав ему ферзя форы; Карпов похудел на десять кило.

Большой спорт превратился в физкультуру, потому что смысл рекордов исчез: все они принадлежали Валерьянке. Бывшие чемпионы вытерли слезы спортивной злости и возглавили группы здоровья. Самые отчаянные и честолюбивые смотрели кино, анализируя его приемы и оспаривая вторые места.

Международная федерация присвоила ему почетное звание супермастера по всеборью, а в награду остальным отлила его золотую статуэтку с крылышками и надписью: «Валерьянка — бог победы».

Уфф!..

6). Зинка, по глупости родителей — старшая сестра, а по нудной натуре — придира, отреагировала на это так (завидует):

— Вырос-таки спортсменом. Лоботряс. Предупреждала я. У тебя ум в пятках, а образование в кулаках. Не стыдно, неуч?..

— Балеты долго я терпел, — сказал Валерьянка и превратил ее в кобру, предусмотрительно лишенную ядовитых зубов. Кобра в отчаянии раскачивалась над задачкой по алгебре, не имея рук записать решение. В крохотном мозгу с трудом умещалась лишь та мысль, что один плюс один — это много; иногда даже слишком. На

капюшоне у кобры блестяли очки во французской пятидесятирублевой оправе — Зинкина гордость. Пока кобра пыталась сквозь эти очки учить «Луч света в темном царстве», Валерьянка развернул ее обратно, а сам —

познал все и стал президентом Академии наук. Был большой академический праздник. Академики от радости прямо давились друг на друга, поздравляя его. Премию за открытие всего он отдал на... на что лучше?.. на то, что государству нужнее, оно само определит. (Личный автомобиль — инвалиду Яну Лукичу, шофера — на стройку кирпичи возить.)

— Пора нам изобрести все и оторваться от всех еще дальше, — напомнил Валерьянка во вступительной речи.

— Пора, — обрадовались старенькие академики, не чаявшие дожить до полного торжества науки над природой.

— Неучи, — укорил Валерьянка, качая головой размер 65. — У вас ум в пятках, а образование в кулаках!

Пристыженные академики покраснели. Самые сознательные сложили с себя звание и пошли работать в школу. Даже почин такой объявили: «Узнал сам — научи других!».

Валерьянка подарил Академии стадион для бега трусцой и диетическую столовую, а саму Академию упразднил на ненадобность. Чего надо — он сам откроет. Они же все такие старенькие — просто зверство гонять их на работу: куда смотрит общественность?.. Пусть отдохнут на заслуженной пенсии. Как поется, старикам везде у нас почет. Все равно они уже плохо соображают.

Хотя у академиков, наверно, мозги устроены иначе, чем у других: чем старше, тем умней? Тогда Валерьянка вывел на Кавказе вид академиков-долгожителей, а самого старшего, двухсотлетнего, назначил своим вице-президентом.

— В каком фраке вы полетите на конгресс в Париж, коллега? — осведомился вице-президент. — Вам пойдет алое с золотом.

7). Путь славы уперся в благосостояние. Ум умом, а пожить хочется.

По городу Валерьянка раскатывал в белом мерседесе, а на природе — в желтом лендровере. Он облачился в белые кроссовки, синие джинсы, клетчатую сорочку, алый пуссер и черный вельветовый пиджак. На руке тикали и звонили часы «Ролекс», палец охватывал золотой

перстень с печаткой, а на груди блестел орден. Он невз-
тяжку курил сигареты «Ява-100» и жевал земляничную
резинку. Он поражал взор и слепил воображение.

Фарцовщики льстиво здоровались, а прохожие рыдали от зависти. Они б еще не так зарыдали, если б знали, что джинсов у него целый чемодан, а кроссовок три пары.

Видеомагнитофон услаждал его «Белым солнцем пустыни», стереомаг гремел «Машину времени», а с проигрывателя забрасывала юного набоба миллионом алых роз Алла Пугачева.

— Мой сын — барахольщик, — презрительно отвернулся папа. — Оброс рухлядью, жалкий потребитель — в доме шагу ступить негде!

Сами обростете — другое запоете! Валерьянка подарил родителям четырехкомнатную квартиру — чтоб они не возникали. Начальник чего-то главного перерезал ленточку в подъезде. Сборная штангистов затащила новую мебель. Сводный оркестр вышиб из труб «Взвейтесь кострами». Родители просили у крутого сына прощения и разных хороших вещей.

8). И вот тогда — к нему робко приблизилась Люба Рогольская... Она потерела передник, в раскаянии заплакала и прошептала:

— Прости меня, Валерьян, что я не пошла с тобой на каток... Меня родители не пустили...

Валерьянка знал, что она врет, но простил. Благородства в нем было еще больше, чем ума.

Они посетили каток, кино, цирк и буфет, а потом... все так делают... может, не надо?.. Валерьянка покраснел, оглянулся и женился.

Свадьбы, конечно, не было — чувствам реклама противопоказана: задразнили бы на фиг. Идиоты. В гробу он их всех видал. (Траурная вереница влачилась по проспекту. Рупора рвали рокот из «Последнего дюйма»: «Какое мне дело до вас до всех, а вам до меня». На балконе стоял Валерьянка — весь в белом: и показывал гробам фигу.) (Но он не зверь же был: на завтра всех оживил. Пусть живут и помнят. Рыцари еще есть, просто возможностей у них нет.)

Любовь пропела свою журавлиную (соловьиную? лебединою? жавороночью? а от птицы горлицы как будет прилагательное?) песнь: они жили счастливо — выходили из подъезда вместе, при всех держась за руки. А дома имели супружеское счастье целоваться. Без света тоже.

Летом ходили в походы и купались в речке, а на обед Люба варила компот и пекла пирожки. Все остальное время она слушала, что он ей рассказывает, и ждала его с чемпионатов и конгрессов: она оказалась идеальной женой.

(Все это здорово, — но что же дальше с ней делать?..)

9). Как, однако, быстро разнообразие семейной жизни исчерпывается до однообразия. А настоящему мужчине хочется решительно всего — испытать, совершить, попробовать: какая к чертям семья, пожили и хватит, — дел невпроворот! время летит!..

Чтоб успешней выполнить все намеченное, Валерьянка раздвоился: один открывал звезды, другой валил лес. Мало! И он размножился до полного покрытия потребностей:

Он варил сталь и суп, рыл каналы и золото, сеял пшеницу и добро, разведывал нефть и вражеские секреты, сдавал кровь и рапорты, спускался в шахты и поднимался до мировых проблем; он успевал везде и делал все.

Деятельность завершилась космосом. Пульс был отличный, и особенно аппетит. Все бортовые системы функционировали лучше нормального. Он проявил отъявленное мужество в критических ситуациях, предусмотренных заранее, а годовую программу выполнил полностью за неделю: в невесомости-то легко, не устанешь, это не металлолом таскать. Пролетая над всеми, он наблюдал их в подзорную трубу: поприветствовал всех, кого надо приветствовать, и послал им в поддержку свой привет. А кому надо — тем он прямо сказал что надо сверху. Без дипломатии. Не стесняясь. На агрессоров он плевал из открытого космоса. На каждого лично. На главных — по два раза. А на базы еще не то, эти поджигатели потом замучились дезинфекцию проводить.

Один из... них? (или надо сказать — один из его?) забил блатное место: служил моделью для фото-, теле- и кинорепортеров, избавленных от метаний по миру: снимай себе спокойно всю жизнь его одного, и подписывай что хочешь. Благодарные за такой технический переворот в репортерстве, фотошники провозгласили своего кормильца лучшей моделью столетия и мистером Солнечная система. (Если на других планетах и обнаружат марсианина, вряд ли он окажется красавцем.)

10). Мистер Система выглядел всем мистерам мистер. Так что девочки краснели, а мужчины бледнели, и

и те и другие предлагали дружить, — понимая под дружбой вещи несколько разные, но безусловно приятные.

Валерьянка перевел классические ковбойские шесть футов два дюйма в метрические меры и получил сто восемьдесят восемь: отличный рост, и на кровати помещаешься. Вес его равнялся, согласно занимательной математике Перельмана, весу рослого римского легионера: восьмидесяти килограммам. Окружность бицепса — шестьдесят сантиметров, талии — пятьдесят: кинозвезды матерились, культуристы плакали.

Волосы вились черные, глаза синие, подбородок квадратный, нос перебитый. Ровные белоснежные зубы ему вставили в Голливуде. Нет, на «Мосфильме». Что у нас, своих зубов мало?

Легкая походка, тяжелый бас, мягкая улыбка, твердый характер. И все что надо тоже будь здоров.

А возраст ему пришелся, в котором Александр Македонский дрался на Ганге, а Наполеон стал первым консулом: тридцать лет.

Конечно — таким и жить можно!..

11). Расправившись с первоочередными задачами, он вдарил по культуре. Культура взлетела вверх, и больше оттуда не спускалась.

Он написал тысячу книг, и их перевели на тысячу языков. Эта сокровищница мысли и стиля венчала мировую литературу, а заодно и философию с прочей гуманитарной ерундой, для понимания которой много знать не надо.

От прозы Валерьянка перешел к поэзии, и тогда Пушкин перешел на второе место, а Евтушенко и Данте спорили за третье.

Наконец с литературой было покончено. После его гениального вклада сказать уже было нечего: прозаики создавали его биографию, а поэты ее воспевали.

Очередь в Эрмитаж, где поражали его картины, тянулась от Русского музея, где потрясали его скульптуры; нетленным шедевром высилась мраморная статуя Любы Рогольской в закрытом купальнике и с веслом. Под веслом плакал Хаммер, сидя на мешке с долларами, и пытался всучить миллион. Куда мне твои доллары? получи фотографию бесплатно.

О нем пели песни, а он сочинял симфонии, как Моцарт, и дирижировал ими, как Сальери (кажется, они дружили?). За билет на его концерт отдавали Пикуля или тонну макулатуры. Зал в экстазе скандировал:

«Валерьянку!». (Походило на праздник мартовских котов или съезд сердечных больных.) «Ла Скала» вылетел в трубу и на стажировку к нам.

Он достиг всего и был похоронен на... э, стоп, давай назад. Еще есть время. Трудился-трудился — и что же? пожалуйста закапываться? дудки. Кто все может — может обождать умирать. Э?

12). Что ценно во всемогуществе — трудись сколько хочешь, отдыхай сколько влезет. Валерьянка слегка устал.

Он посетил дискотеку и карнавал в Рио-де-Жанейро, гульнул в настоящем ресторане, уволил официантов и заменил дружинниками. В весеннем лесу пил кокосовый сок и охотился в джунглях на царей природы — браконьеров. На кинофестивалях в Каннах и Венеции запретил за безобразие «детям до шестнадцати», а главного приза удостоил «Отроков во Вселенной». Он просветил Феллини, и тот стал снимать вполне понятные подросткам фильмы. После чего сел в надувную лодку (он, а не Феллини, понятно) и отбыл в кругосветное путешествие, наказав Сенкевичу в «Клубе кинопутешествий» не перевернуть:

(тем более что акулы грызлись с рыбадзором в Днепре, неприхотливые верблюды ели пираний на Амазонке, а пингины преодолевали пустыню в сумках кенгуру: географию Валерьянка смутно полагал превратившейся из науки для извозчиков в науку для дипломатов, и вместе с зоологией изучал творчески: он не ждал милостей от природы, и ей не приходилось ждать их от него).

13). Путешествие в одиночку имеет тот плюс, что о нем можно рассказывать что угодно, и тот минус, что рассказывать это некому — пока не вернешься. Валерьянка сменил лодку на пиратский бриг, здраво рассудив, что возможности к перемещению во времени и в пространстве у него совершенно равные, но первое куда легче из-за массы замечательных книг: воображаемое путешествие требует и действительности воображаемой.

Восемнадцатый век затрещал под напором жизненной активности хроникера; хрустнули и времена соседние.

Благородные индейцы во главе с Оцеолой, вождем семинолов, вышибли колонизаторов в Гренландию: не успевших смыться захватчиков пристрелил Зверобой-Соколиный глаз. Сын Чингачгука оказался далеко не последним из могикиан, а переодетой дочерью, которая вышла замуж за Зверобоя, и они произвели такой демографический взрыв — заселили материк гуще японцев.

Ветер великих перемен достиг парусов капитана Блада: он сказал Арабелле, что она дура и второго такого фиг найдет, дядю-плантатора повесил, из пиратов организовал трудолюбивый коллектив, рабов объединил в республику хлопкоробов, а сам вообще плюнул на эти вшивые острова и стал королем Англии, дав Ирландии свободу, а власть народу, и, получив персональную пенсию, сделался профессором медицины.

Тем самым д'Артаньяну отпала надобность переться в Лондон, а мушкетерам проливать кровь за реакционную королеву. Атос заколол кардинала на дуэли и простил миледи, ставшую начальником разведки; д'Артаньян получил маршала в двадцать лет и женился на мадам Бонасье и Кэти сразу, чтоб никого не обидеть; Арамис додумался до атеизма и, как человек интеллигентный и со связями, был назначен министром культуры; все деньги и ордена отдали Портосу — много ли у него еще радостей в жизни; с Испанией заключили мир, испанцы тоже люди, и Сервантес посетил Париж в рамках культурной программы.

Адмирал Клуба отважных капитанов, Валерьянка направил капитанскую отвагу в русло прогресса:

Капитан Гаттерас кончил мореходку, покряхтел на экзаменах и пробился к полюсу на атомоходе «Сибирь». Капитан Грант выучил морзянку, вызвал яхту по радио, и по семейной профсоюзной путевке поплыл в Сочи: отвага отвагой, а здоровье беречь надо; не пройдешь комиссию — и визу закроют. Пятнадцатилетний капитан организовал в команде контрразведку и благодаря бдительности избежал приключений с лишениями.

А Робинзон держал в пещере вертолет, и Пятница, кончив аэроклуб, раз в год возил его домой в отпуск; а иначе это зверство.

14). Что за прекрасное поле для фантазии — история! Вот где раздолье. Валерьянка недоумевал: сколько трагических несправедливостей и прямого вздора — и как еще бедная история умудрялась двигаться куда надо... пора поспособствовать ее движению! Надо торопиться переделать историю! — времени до звонка все меньше. И:

Спартак установил в Риме народную власть, а гладиаторы стали вести секции каратэ. Кстати, о Риме. Папа Римский при всем народе сознался, что бога нет. Можно себе представить радость римлян.

Монастыри были преобразованы в гостиницы и институты. Мрачное средневековье стало светлым. Джордано Бруно сам сжег всех инквизиторов. Магеллан дружил с туземцами и стал Заслуженным путешественником Португалии. Наполеон протянул руку помощи Робеспьеру и установил мир и братство в Европе.

Вещий Олег присоединил Царьград к Руси и сделал прививку от змеиного яда. Батя от волнений хватил инфаркт, а татаро-монголы перешли к прогрессивному оседлому образу жизни на целинных и залежных землях.

Стрельцы помогали Петру чем могли. Петр жил сто лет и прорубил окна во все стороны. Крепостного права не существовало, народовольцев не вешали, декабристы победили.

История была прополота, как ухоженная грядка. Валерьянка беспощадно корчевал сорняки и закрашивал позорные пятна.

15). Прошлое стало не хуже будущего, а в настоящем наступил порядок. Все оружие было уничтожено, войны запрещены, и счастье торжествовало на всех пяти континентах. Безработица ликвидировалась заодно с самим капитализмом: капиталисты понурились в очереди на раздачу цветной капусты и кефира (полезно-то полезно, но как мерзко!).

Болезни искоренили, а кстати и докторов, — довольно этих убийц в белых халатах с их шприцами, всем и так хорошо. Население сплошь стало стройным и умным. Расовые и национальные различия исчезли (половые пока на всякий случай остались): все смуглые и высокие. Женщины в основном блондинки.

За добро платили добром, потому что зла нигде не было. Военных преступников переработали на мирные нужды, а милитаристы перевоспитались и охраняли мир. У всех все было, поэтому никто ничего не воровал, и тем не менее все работали. Не дрались, не пили, не курили, не ругались, а врали только из гуманизма.

Умерщвлять таких людей рука не поднимается, и Валерьянка даровал человечеству бессмертие. И процветание — чтоб умереть не хотелось.

16). Он растопил Антарктиду, пресек экологическую катастрофу и извлек энергию из космических лучей. Зима радовала снегом, лето — солнцем, а дожди для сельского хозяйства лили ночью.

В степях паслись мамонты и бизоны. Волки и тигры питались концентратами морской капусты. Ружье и рогатка украшали Музей пережитков прошлого.

Меж прозрачных зданий и шумящих сосен ездили велосипеды и лошади. Труд стал умственным, а все остальное — техническим. В семь часов двадцать минут все делали зарядку. А детей в семьях была куча, и растить их помогали восьмирукые хозяйственные роботы и идеальные няньки — овчарки-колли.

17). Дети мигом устроили скачки на овчарках, а за ними в панике гнались хозяйственные роботы, роняя из восьми рук кошелки и веники. Валерьянка ужаснулся своему созидательному гению:

Воды растаявшей Антарктиды захлестнули ароматные сосны и прозрачные здания. Степи и вовсе не осталось: расплодившиеся мамонты и тупые жвачные бизоны сожрали всю траву, — черные бури сметали тигров и волков, захиревших на капустной диете, как приведения. И среди всего этого кошмара полчища старцев делали утреннюю зарядку — они были бессмертны.

Валерьянка допускал отклонения от идеала: времени нет детально обдумать, какое ж дело застраховано от ошибок? — на подобные неприятности он заблаговременно заготовил

Третье правило всемогущества

Что бы ни делалось — все можно будет переделать.

Дамбы, санитарный отстрел и вечная молодость. Это нам раз плюнуть.

18). Бессмертных людей прибывало, и Земля завесилась табличкой: «Свободных мест нет». Вот и звезды пригодились. Всем взлет!

Братья по разуму выкарабкивались из «летающих тарелок», маша флагом дружбы и сотрудничества. А где вы раньше были, граждане? Теперь мы сами с усами, над вами шефство оформим.

Звездолеты бороздили обжитую Вселенную: колпаки над планетами, искусственная атмосфера, синтетика и кибернетика: счастье...

Так. А что же дальше?.. Все? Жаль... Еще оставалось время. И чистое место в тетради.

— Сашка, ты что делаешь? — прошептал он через проход.

— Д'Артаньяна королем, — трудолюбиво просопел Гарявин.

Иванов играл в баскетбол за сборную мира. Лалаева уничтожала все болезни. Генка Курочков строил двигатель вечный универсальный на космическом питании. Новые идеи отсутствовали...

— Петр Мефодьч, я все, — сообщил Валерьянка. — Можно сдать?

— Как так — все? — изумился Петр Мефодиевич. — Раньше срока сдавать нельзя. Ты должен сделать все, что только можешь.

— А зачем? — скучно спросил Валерьянка. Он устал. Надоело.

— Задание такое, — веско объяснил Петр Мефодиевич.

Валерьянка вздохнул и задумался.

— А вдруг я сделаю что-то не то? — усомнился он.

— Это не мое дело, — отмежевался Петр Мефодиевич, вновь прикрываясь своей черной физикой с формулами. — Решай сам. «То», не «то»... Все — «то»! Всемогущество и безделье несовместимы. (Безделье — частный случай всемогущества.)

...И под чарующим дурманом личной безответственности — коли фамилий и отметок не будет — в Валерьянке зашевелилось искушение, выкинуло длинный хамелеоновский язык, излучило радугу... Где и когда же, если не здесь и сейчас?..

19). «Если нельзя, но очень хочется — то можно». Валерьянка казнил себя безнравственностью и оправдывался желанием, подозревая его у всех.

...Он правил в хрустальном дворце. Пенилось море о мраморную ступень, и шептали пальмы. Под сенью фонтанов, истому оркестра, он отвеживал яств и напитков. Дворец ломился золотом, личные яхты и самолеты ждали сигнала. Толпа повиновалась движению его бровей. Он был Султан Всего.

Султан воровато оглянулся, прикрыл тетрадь локтями и проследовал в гарем. В гареме цвели все красавицы мира, проводя время в драках за очередь на его внимание. Гарем представлял собою среднеарифметическое между спортивным лагерем «Буревестник» и римскими банями периода упадка, и упадок там был такой — кто

хочешь упадет. Кинозвезды по его команде показывали такое кино, куда даже кинемехаников не допускают.

Он мгновенно удовлетворял любые свои прихоти — и мгновенно удовлетворять стало нечего... Скука кралась к незадачливому султану.

— Друг мой, железный граф, — плакал он на груди Атоса. — Я чудовище. Я погряз в пороках.

— Жизнь — обман с чарующей тоскою, — вздыхал Атос. — Вы еще молоды, и ваши горестные воспоминания успеют смениться отрадными.

— Жизнь пуста, — разбито говорил Валерьянка.

— Выпейте этого превосходного испанского вина, — меланхолично предлагал Атос.

Валерьянка запивал виски ромом, купался в шампанском и сплевывал коньяком. Крутилась рулетка, трещали карты, рассыпались кости: он сорвал все банки Монте-Карло, опустошенный Лас-Вегас играл в классики и ножички. Тьфу...

20). В каждом холодильнике отогревался водочкой Дед-Мороз с подарками. Канарейки пели строевые песни с присвистом. Животные заговорили и высказали людям все, что о них думают. Обезьяны наконец-то превратились, посредством упорного труда, в людей и влились в братскую семью народов Вселенной...

Всемогущество начало тяготить, как пресловутый чемодан без ручки: тащить тяжело, бросить жалко...

Валерьянка попробовал ввести для интереса ограничения и препятствия своим возможностям, но самообман с поддавкой не прошел: преодолевать искусственные трудности, созданные себе самим — занятие для идиотов.

— Петр Мефодиевич, а отказаться от всемогущества можно?

— Нельзя.

Учитель-мучитель... Ну, чего еще не было? Пробуксовка...

На одной планете обезьяны посадили людей в зоопарк. По будильнику кровать стряхивала спящего в холодную ванну. Ветчина охотилась на мясников. Девчонки, вечно желающие быть мальчишками, стали ими — различия между мужчинами и женщинами исчезли: ну и физиономии были у некоторых, когда они обнаружили это отсутствие различий!.. Детей не будет? — зато никто не вякает, алиментов не платить, стрессов меньше; а народу и так полно.

21). Он слонялся по ночному Парижу (шпага бьет по ногам) и затевал дуэли, коротая время. Время еле ползло. Мертвый якорь. Непобедимый бретер был прикован к всемогуществу, как каторжник к ядру. Раздраженный неодолимым грузом, он трахнул этим ядром наотмашь.

«Веселый Роджер» застил солнце, и теплые моря похолодели от ужаса: пиратский флот точил клинки. Не масштаб: Валерьянка спихнул Чингиз-хана с белой кошмы и нарек Великим Каганом себя. Пылали и рушились города, выжженная пустыня ложилась за спиной.

От его имени с деревьев падали дятлы. Он ехал на вороном, как ночь, коне, — весь в черном, с золотым мечом. При виде его люди теряли сознание, имущество и жизнь. Зловещий палач следовал за ним — Тристан-Отшельник из «Собора Парижской богородицы».

Прах и пепел. Бич народов — Валерьянка, так его и прозвали.

Черный звездолет «Хана всему» вспарывал космос, и обреченно металась на своих курортных планетах бесполокрасавица.

22). Зачем он дал себе волю?! Может, вырвать эту страницу? Но выпадет и еще одна — из другой половины тетради: слишком заметно, и бессвязно получится...

Не видно никакого смысла в его последних действиях! Хм...

— Петр Мефодиевич... в чем смысл жизни? — решил Валерьянка.

— Сделать все, что можешь! — захохотал настырный пастырь.

Академию наук мобилизовали искать смысл жизни. Академики рвали седины, валясь с книжных гор. Пожарники заливали пеногонами дымящиеся ЭВМ. Смысл!

Творить добро? Для этого надо, во-первых, знать, что это такое, во-вторых, уметь отличать его от зла, в-третьих, — уметь вовремя остановиться. Хоть с бессмертием: чего ценить жизнь, если от нее все равно не избавишься? Или со Спартаком — а что тогда делать Гарибальди? И Возрождения не будет — чего возрождать-то? Если всюду натворить добра, то в жизни не останется места подвигу, потому что подвиг — когда легче отдать жизнь, чем добиться справедливости. Исчезнет профессия героя — это не простят!

Несостоявшиеся герои всех эпох и народов гнались за Валерьянкой, потрясая мечами и оралами. Бежали

полярники, тоскующие без льдов, доктора, разъяренные всеобщим здоровьем, строители, спившиеся без новостроек, — весь бессмертный безработный мир, кипящий ненавистью и мстостью к нему, своему благодетелю...

А навстречу неслись, смыкая окружение, спортсмены, лишенные рекордов, топыря могучие руки, и красавицы, озверевшие в гареме от одиночества.

— За что?.. — задыхался удирающий Валерьянка. — Я же вам... для вас!.. А если нечаянно... стойте — ведь есть

Четвертое правило всемогущества

Что бы ни делалось — я не виноват.

Камнем, бесчувственным камнем надо быть, чтоб сердце не разбилось людской неблагодарностью!

23). Валерьянка стал камнем.

Тверд и холоден: покой. Все нипочем. Века, тысячелетия.

Когда надоело, он пророс травинкой. Зелененькой такой, мягкой. Чуть корова не сожрала.

Фигушки! Он сам превратился в корову. Во жизнь, ноу проблем: жуй да отрыгивай. Только рога и вымя мешают. И молоко, гм... доить?.. Лучше быть собакой. А если на цепь? Улетим птицей. А совы?

Утек он рекой в океан. Так прожил себе жизнью, наверное, семьсот, и...

24). — Заканчивайте, — предупредил Петр Мефодиевич. — Пора.

Ах, кончить бы чуть раньше — на том, как все было хорошо! И пихнула его нелегкая вылезти со своей готовностью: сидел бы тихо. А теперь ерунда какая-то вышла... все под конец испортил.

В тетрадке оставалась одна страница. Хоть у него почерк размашистый, но — сколько успел накатать! Наверно, потому, что не задумывался подолгу, а — без остановки.

Переписать бы... Уж снова-то он не наворотил бы этих глупостей, сначала обдумал бы как следует толком. Вообще нельзя задавать такое сочинение без подготовки. Предупредили бы заранее: обсудить, посоветоваться...

Он перелистал тетрадь в задумчивости. Словно бы раздвоился: один, единый во всех лицах, суетился в созданной им, благоустроенной до идеала (или до ошибки?)

и испорченной Вселенной, а второй — как будто рассматривал некую стеклянную банку, внутри которой мельтешили все эти мошки, — эдакий аквариум, где он поставил опыт...

— Всё! — приказал Петр Мефодиевич. — Ошибки проверять не надо.

...и опыт, подошедший к концу, его удручает. И Валерьянка, повинувшись сложному искушению — подгоняемый командой, влекомый этим последним чистым листом, втянувшийся в дело, раздосадованный напоротой чувшью: уж либо усугубить ее до конца, либо как-то перечеркнуть, и вообще — играть так уж играть, на всю катушку! — грохнул к чертям эту стеклянную банку, дурацкий аквариум, этот бестолковый созданный им мир, взорвал на фиг вдребезги. Чтоб можно было с чистой совестью считать все мыслимое сделанным, а тетрадь законченной, и следующее сочинение начать в новой.

И в этот самый миг грянул звонок.

25). Валерьянка сложил портфель и взял тетрадь. И растерялся — помертвел: тетрадь была чистой. Как...

Он только мечтал впустую!! Ничего не сделал! Лучше б хоть что-нибудь! Чего боялся?!

И увидел под партой упавшую тетрадь. Уффф... раззява. Он их просто перепутал.

— Урок окончен, — весело объявил Петр Мефодиевич, подравнивая стопку сочинений. — Обнадежен вашей старательностью.

Замешкавшийся Валерьянка сунул ему тетрадь, поспешая за всеми.

— Голубчик, — укоризненно окликнул Петр Мефодиевич, — ты собрался меня обмануть? — И показал раскрытую тетрадь: чистая...

— Я... я писал, — тупо промямлил Валерьянка, не понимая.

— Писал — или только хотел? М?

Наважденье. Сочинение покоилось в портфеле между физикой и литературой: непостижимым образом (от усталости?) он опять перепутал: сдал новую, уготованную для следующих сочинений.

— Извините, — буркнул он, — я нечаянно.

Петр Мефодиевич накрыл тетради своей книжкой и встал со стула.

Тут Валерьянка, себя не понимая (во власти мандража — не то от голода, не то от безумно кольнувшей

жалости к своему чудесному миру, своей прекрасной истории и замечательной вселенной) сбобел и отчаялся:

— Можно я исправлю!

— Уже нельзя, — соболезнующе сказал Петр Мефодиевич. — Времени было достаточно. Как есть — так и должно быть, — добавил он, — это ведь свободная тема.

— Какая же свободная, — закричал Валерьянка, — оно само все вышло — и неправильно! а я хочу иначе!

— Само — значит, правильно, — возразил Петр Мефодиевич. — От вас требовалось не придумать, а ответить; ты и ответил.

— Хоть конец чуть-чуть подправить!

— Конец и вовсе никак нельзя.

— А еще будем такое писать? — с надеждой спросил Валерьянка.

— Одного раза вполне достаточно, — обернулся из дверей Петр Мефодиевич. — Дважды не годится. В других классах — возможно... Ну — иди и не грешни.

В раздевалке вопила куча-мала, Валерьянку съездили портфелем, и ликование выкатилось во двор, блестящий лужами и набухающий почками. Гордей загнал гол малышне, Смолякова кинула бутерброд воробьям, Мороз перебежал перед троллейбусом и пошел с Лалаевой.

Книжный закрывался на перерыв, но Валерьянка успел приобрести за пятьдесят семь копеек, сэкономленных на завтраках, гашеную спортивную серию кубинских марок.

— Ботинки мокрые, пальто нараспашку, — приветствовала его Зинка. — Не смей шарить в холодильнике, я грею обед!

Холодильник был набит по случаю близящегося Мая, Валерьянка сцапал холодную котлету и быстро сунул палец в банку с медом, стоящую между шоколадным тортом и ананасом.

ИСПЫТАТЕЛИ СЧАСТЬЯ

— Шайка идиотов, — кратко охарактеризовал он нас. — Почему, почему я должен долдонить вам прописные истины? — Я смешался, казнясь вопросом.

Нет занятия более скучного, чем программировать счастье. Разве только вы сверлите дырки в макаронах. Лаборатория закисала; что правда, то правда.

Но начальничек новый нам пришелся вроде одеколона в жаркое: может, и неплохо, но по отдельности.

I

Немало пробитых табель-часами дней улетело в мусорную корзину с того утра, когда Павлик-шеф торжественно оповестил от дверей:

— Жаловались, что скучно. Н-ну, молодые таланты! угадайте, что будем программировать!..

С лентой погадали:

— Психосовместимость акванавтов...

— Параметры влажности для острова Врангеля...

— Музыкальное образование соловья. — Это Митька Ельников, наш практикант-дипломник, юморок оттачивает. Самоутверждается.

— Любовь невероломную. — А это наша Люся ресницами опахнулась.

А Олаф отмежевался:

— Я не молодой талант... — Олафу год до пенсии, и он неукоснительно боится даже от собственного отражения.

Павлик-шеф погордился выдержкой и открыл:

— Счастье. — Негромко так, веско. И паузу дал. Прониклись чтоб. Осознали.

Вот так все в жизни и случается. Обычная неуютность начала рабочего дня, серенький октябрь, мокрые плащи на вешалке, — и входит в лабораторию «свой в стельку»

Павлик-шеф, шмыгает носиком: будьте любезны. Счастье программировать будем. Ясно? А что? Все сами делаем, и все не привыкнем, что есть только один способ делать дело: берем — и делаем.

Павлик же шеф принял капитанскую стойку и повелел:
— Пр-рисушаем!..

Ну, приступили: загудели и повалили в курилку: переваривать новость. Для начальства это называется: начали осваивать тему.

Эка невидаль: счастье... Тьфу... Деньги институту девать некуда. Это вам не дискретность индивидуального времени при выходе из анабиоза на границе двух гравитационных полей.

Обхихикали средь кафеля и журчания струй ту пикантную деталь, что фамилия Павлик-шефа — Бессчастный.

Потом прикинули на зуб покусать: похмыкали, побубнили...

Вдруг уже и сигареты кончились, забегали стрелять у соседей; на пальцах прикидывать стали, к чему что. Соседи же зажужжали; и весь институт зажужжал, насмешливо и завистливо. Нас заело. Мы от небрежной скромности выше ростом выправились.

Стихло быстро: работа есть работа. Мало ли кто чем занимается. Вдосталь надержавшись за припухшие от перспектив головы, всласть обсосав очередное задание кто с родными, а кто с более или менее близкими, — и вправду приступили.

— Два года сулили... я обещал — за год, — известил Павлик-шеф.

Втолковали ему, что мы не маменькины бездельники, время боится пирамид и технического прогресса, дел-то на полгода плюс месяц на оформление, ибо к тридцати надо иметь утвержденные докторские.

Ельникова мы законопатили в библиотеку: не путайся под ногами.

Люся распахнула ресницы, посветила зеленым светом, — и все счастье в любви и близ оной препоручили ее компетенции.

А сами, навесив табличку «Не входить! Испытания!», сдвинули столы, вытряхнули сухую вербу из кувшина, работавшего пепельницей, и (голова к голове) принялись расчленять проблему на составные части и части эти делить сообразно симпатиям.

И было нам тогда на круг, братцы, двадцать четыре года; знаменитая вторая лаборатория, блестящий выводок вундеркиндов, отлеченный цвет университета. Одному Олафу стукнуло пятьдесят девять, и он исполнял роль реликта, уравнивая средний возраст коллектива до такого, чтоб у комиссий глаза не выпучивались.

Прошел час, и другой, — никто ничего себе брать не хочет.

— Товарищи гении, — обиделся шеф, — я эту тему зубами выгрыз!

— А, удружил... — перекорезил шкиперскую бородку Лева Маркин. — Через полгода сдадим и забудем — и втягивайся в новое... Пусть бы старики из седьмой до пенсии на ней паразитировали...

— У стариков нервная система уже выплавлена... такой покой прокатают — плюй себе на солнышко да носы внукам промакивай...

— Ошипаетесь! — скрипнул Олаф. — Старики-то на излете учтут то, о чем вы и не подумаете по молодости...

Мы были храбры тогда: размашисто и прямо брались за главное, не тратя время и силы по мелочам. И поэтому, вернувшись из столовой (среда — хороший день: давали салат из огурцов и блинчики с вареньем), мы разыграли вычлененные задачи на спичках и постановили идти методом сложения плюсовых величин.

Митьку прогнали за мороженым, мы слевой забарикадировались справочниками, Игорь ссутулился над панелью и защелкал по клавиатуре своими граблями баскетболиста, а Олафу Павлик-шеф всучил контрольные таблицы («Ваш удел, старая гвардия... не то наши молокососы такого наплюсуют...») Сам же Павлик-шеф уместился на подоконнике и замурлыкал «Мурку»; это он называл «посоображать».

— Поехали!

Вот так мы поехали. Мы заложили нулевой цикл, и в основание его пустили здоровье («Менс сана ин корпоре сана», — одобрительно комментировал из-под ворота книг испекающийся до кондиции эрудита М. Ельников), и на него нахлобучили удовлетворение потребностей первого порядка. Затем выстроили куст духовных потребностей и свели на них сеть удовлетворения. Промотали спираль разнообразия. Ввели эмиссионную защиту. Прокачали ряды поправок и погрешностей.

Люся все эти дни читала «Иностранку», полировала ногти и изучала в окно вид на мокрые ленинградские крыши.

— У тебя с любовью все там, более или менее? — не выдержал Павлик-шеф.

Из индивидуального закутка за шкафом нам открылись два раскосых зеленых мерцания, и печально и насмешливо прозвенело:

— С любовью, мальчики, все чуть-чуть сложнее, чем с рациональным питанием и театральными премьерами...

И — чуть выше — на нас с сожалением и укоризной воззрились Лариса Рейснер, Марина Цветаева и Джейн Фонда: вот, мол, додумались... понимать же надо...

Павлик-шеф закрыл глаза, сдерживая порыв к уничтожению нерадивой программистки в обольстительном русалочьем обличе. Молодой отец двух детей Лева Маркин пожал плечами. Олаф скрипнул и вздохнул. Мы с Митькой Ельниковым переглянулись и хмыкнули. А Игорь с высоты своего баскетбольного роста изрек:

— Бред кошачий...

Мы встали над нашей «МГ-34», как налетчики над несгораемой кассой, и шнур тлел в динамитном патроне у каждого. Взгретая до синего каления и загнанная в угол нашей хитроумной и бессердечной казуистикой, несчастная машина к вечеру в муках сигнализировала, что да, ряд вариантов в принципе возможен почти без любви. Злой как черт Павлик-шеф остался на ночь, и к утру выжал из бездушной техники, капитулировавшей под натиском человеческого интеллекта, что ряд вариантов счастья без любви не только возможен, но даже и не совместим с ней...

И через две недели мы получили первый результат. Его можно было бы считать бешено обнадеживающим, если бы это не было много больше... Мы переглянулись с гордостью и страхом: сияющие и лучезарные острова утопий превращались в материки, реализуясь во плоти и звеня в дальние века музыкой победы... Священное сияние явственно увенчало наши взмокшие головы...

— Надеюсь, — скептически скрипнул Олаф, — что несмотря на радужные прогнозы, пенсию я все же получу.

Его чуть не убили.

— Вопрос в следующем, — шмыгнул носиком Павлик-шеф. — Вопрос в следующем: может ли быть от этого вред.

Ельников возопил. Олаф крикнул. Люся рассмеялась, рассыпала колокольчики. Игорь постучал по лбу. Лева поцокал мечтательно.

И, успокоенный гарантиями коллектива, Павлик-шеф отправился на алый ковер директорского кабинета: ходатайствовать об эксперименте.

От нас потребовали аргументированное обоснование в пяти экземплярах и через неделю разрешили дать объявление.

II

— Что лучше: несчастный, сознающий себя счастливым, или счастливый, сознающий себя несчастным?..

— А ты поди различи их...

Вслед за Павлик-шефом мы вышли на крыльцо как пророки. Толпа вспотела и замерла. В стеклянном солнце звенела последняя желтизна топольков.

— Представляешь все-таки: прочесть такое объявление... — покрутил головой Игорь. — Тут всю жизнь пересмотришь, усомнишься...

— Настоящий человек не усомнится... хотя, как знать...

— А мне, — прошептала Люся, — больше жаль тех, которые на вид счастливы... гордость...

Мы устремились меж подавшихся людей веером, как торпедный залп. Респектабельный и осанистый муж... чахлая носатая девица... резколицый парень с пустым рукавом... кто?.. рыхлая, заплаканная старуха... костыли... золотые серьги... черные очки... Лица менялись в приближении, словно таяли маски. Обращенные глаза всех цветов и разрезов кружились в калейдоскопе, и на дне каждого залегло и виляло хвостом робкое собачье выражение. Слабостная дурнота овладела мной; верят?.. последняя возможность?.. притворяются?.. урвать хотят?.. имеют право?..

Неужели мы сможем?

Пророк и маг ужаснулся своего шарлатанства. Лик истины открылся как приговор. Асфальт превратился в наждак, и ослабшие ноги не шли. Неистовство и печаль чужих надежд разрушали однозначность моего намерения.

— Вам плохо, доктор?..

...На первом этаже я заперся в туалете, курил, сморкался, плакал и шептал разные вещи... У лестницы упал и расшиб локоть — искры брызнули; странным образом удар улучшил мое настроение и немного успокоил.

В лаборатории мы мрачно уставились по сторонам и погнали Ельникова в гастроном.

Люся появилась лишь назавтра и весь день не смотрела на нас.

Подопытного привел презирающий нас старик Олаф. «Дошло, за что мы взялись?» — проскрипел он.

III

Это был хромой мальчик с заячьей губой и явными признаками слабоумия. Сей букет изъянов издевательски венчался горделивым именем Эльконд.

Лет Эльконду от роду было семнадцать. «Ему жить, — пояснил Олаф свой выбор. — Счастливым желательно быть с молодости...»

Мы подавили вздохи. Сентиментальность испарилась из наших молодых и здоровых душ. Это вам не рыдающая хрустальными слезами красавица на экране, не оформленное изящной эстетикой художественное горе: горе земное, жизненное — круто и грубо, с запашком не амбрэ. Наши эгоистичные гены бунтовали против такого родства, и оставалось только сознание.

Мальчик затравленно озирался, ковыряя обивку стула. Однако он знал, за чем пришел. Тряся от возбуждения головой и пуская слюни, проталкивая обкусанные слова через ужасные свои губы, он выговорил, что если мы сделаем его счастливым... обмер, растерялся, и наконец прошептал, что назовет своих детей нашими именами.

Олаф положил передо мной карточку. Он не мог иметь детей...

Каждый из нас ощутил себя значительнее Фауста, приступившего к созданию гомункулуса. Мы должны были выправить самую природу, по достоинству создав человека из попоранного его подобия.

...Сначала мы сдали его в Институт экспериментальной медицины, и они вернули нам готовый продукт в образцово-показательном состоянии. Это оказалось проще всего.

Теперь имя Эльконд по чести принадлежало юному графу. Веселый ореол здооровья играл над ним.

Павлик-шеф улыбнулся; Люся подмигнула ведьминским глазом; Олаф скрипнул о лафе молодежи...

Графа препроводили в Институт экспериментального обучения, и педагоги поднатужились: мы вчистую утеряли умственное превосходство над блестящей помесью физика с лириком.

Прямо в вестибюле помесь нахамила вахтеру, тут же была развернута на сто восемьдесят и загнана на дошлифовку в Институт Экспериментального воспитания, отквившийся недавно и очень кстати.

И тогда мы прокрутили на него всю нашу программу и отпустили, любуясь совершенным творением рук своих, как создатель на шестой день. А Митьку Ельникова прогнажи за шампанским и цветами.

И выпустили его в жизнь.

И он влетел в жизнь, как пуля в десятку, как мяч в ворота, как ракета в звездное пространство, разогнанная стартовыми ускорителями до космической скорости счастья.

Романтика и практицизм, жизненная широта и расчет сочетались в нем непостижимо. Он завербовался на стройку в Сибирь, а пока комплектовался отряд, сдал экзамены на заочные биофака и исторического. Купил флейту и самоучитель итальянского, чтоб понимать либретто опер; заодно увлекся Данте. Занялся каратэ. Помахав ему с перрона Ярославского вокзала, мы пошли избавляться от комплекса неполноценности.

...На контрольной явке на него было больно смотреть. Печать былых увечий чернела сквозь безукоризненный облик. Эльконд влюбился в замужнюю женщину — исключительно неудачно для всех троих.

— С жиру бесится, — пригорюнился Олаф, крестный отец.

А эрудит Ельников процитировал:

— «Человек, который поставит себе за правило делать то, что хочется, недолго будет хотеть то, что делает...»

Павлик-шеф сопел, коля нас свирепыми взглядами.

— Несчастливая любовь — тоже счастье, — виновато сообщила Люся.

— Вам бы такое, — соболезнующе сказал Эльконд.

Люся чуть побледнела и стала пудриться.

— «Любовь — случайность в жизни, но ее удастаиваются лишь высокие души»; — утешил Митька.

А Павлик-шеф схватил непутевого быка за рога: чего ты хочешь?

Увы: наше дитя хотело разрушить счастливую дотопе семью...

— «Не философы, а ловкие обманщики утверждают, что человек счастлив, когда может жить сообразно со своими желаниями: это ложно! — закричал Ельников. — Преступные желания — верх несчастья! Менее при- скорбно не получить того, чего желаешь, чем достичь того, что преступно желать!!»

Однако обнаружили мысли о самоубийстве...

— Да пойми, ты счастлив, осел! — рубанул Игорь. — Вспомни все!

— Нет, ты хоть понимаешь, что счастлив? — требо- вательно спросил Лева, выдирая торчащую от переживаний бороду.

— Что есть счастье? — глумливо отвечал неблаго- дарный дилетант.

— «Счастье есть удовольствие без раскаяния!» — во- пил Ельников, роняя из карманов свои рукописные цитат- ники. — «Счастье в непрерывном познании неизвестного! и смысл жизни в том же!» «Самый счастливый человек — тот, кто дает счастье наибольшему числу людей!»

— Вряд ли раб из Утопии, обеспечивающий счастье других, счастлив сам, — учтиво и здраво возразил Эль- конд.

— «Нет счастья выше, чем самопожертвование», — воздел руки Ельников жестом негодующего попа.

— Это если ты сам собой жертвуешь. Чаще-то тебя приносят в жертву, не особо спрашивая твоего согла- сия, а?

Ельников выдергивал закладки из книг, как шнуры из петард, и они хлопали эффектно и впустую: перед нами стоял явно несчастливый человек...

IV

«Милый мой, хороший!

Долго ли еще я буду не видеть тебя неделями, а вмес- то этого писать на проклятое «до востребования»... Я уже совсем устала...

Павлик-шеф выхлопотал мне выговор за срыв сроков работы всей лаборатории. А требуется от меня ни больше ни меньше подготовить данные: как быть счастливым в любви...

А ведь легче и вернее всего быть счастливым в браке по расчету. Со сватовством, как в добрые прадедовские времена. Тогда все чувства, что держала под замком, все полнее направляются на избранника, словно вынимают заслонки из водохранилища, и набирающая силу река размывает ложе... Кто-то умный и добрый (как ты сама, пока не влюбилась) позаботится о выборе, и тогда тебе: — предвкушение — доверие — желание — близость, а уже после — узнавание — любовь. Наилучшая последовательность для заурядных душ. А я — человек совершенно заурядный.

А внешность и прочее — так относительно, правда? Лишь бы ничего отталкивающего. Я понимаю, как можно любить уroda: уродство его тем дороже, что отличает единственного от всех...

Глупая?.. Знаю... Когда созреет необходимость любить — кто подвернется, с тем век и горюем. Но только — прислушайся к себе внимательно, родной, будь честен, не стыдись, — на самом первом этапе человек сознательным, волевым усилием позволяет или не позволяет себе любить. Сначала — мимолетнейшее действие — он оценит и сверит со своим идеалом. Прикинет. Это как вагон вдруг лишит инерции — тогда можно легким толчком придать ему ход, а можно подложить щепочку под колесо. Вот когда он разгонится — все, поздно.

Ах, предки были умнее нас. Когда у девушки заблестят глаза и начнутся бессонницы — надо выдавать ее замуж за подходящего парня. И с вами аналогично, мой непутевый повелитель...

И пусть сильным душам противопоказан покой в браке, необходимы страсти, активные действия... они будут ногтями рыть любимому подкоп из темницы, но неспособны к мирной идиллии... ведь таких меньшинство. Да и им иногда хочется покоя — по контрасту...

Господи, как бы я хотела хоть немножко покоя с тобой...
Твоя дура — Люська...»

V

И навалились мы всем гамузом на любовь.

Нельзя, твердили, ее просчитать... Отчего так уж вовсе и нельзя? Прimitивные женолюбы всех веков, малограмотные соблазнители, прекрасно владели арсеналом: заронить жалость, уколоть самолюбие, подать надежду и отказать; восхитить храбростью и красотой, притянуть своей силой,

поразить исключительностью, закружить весельем, убить благородством; привязать наслаждением и страхом...

Лишенная привилегий Люся вошла в разработку на общих основаниях. И коллективом мы споро раскрутили универсальный вариант счастливой любви, — на основании предшествующего мирового, а также личного опыта; при помощи справочников, таблиц, выкладок и замечательной универсальной машины «МГ-34».

Мы ушли все. На фундаменте инстинкта продолжения рода мы возвели невиданный дворец из физической симпатии и духовного созвучия, уважения и благодарности, радужного соцветия нежных чувств и совместимости на уровне биополей; спаяли швы удовлетворением самолюбия и тщеславия, пронизали стяжками наслаждения и страсти, свинтили консоли покоя и расписали орнаменты разнообразия, инкрустировав радостью узнавания, стыдливостью и откровенностью.

Мы были молоды, и не умели работать не отлично. Нам требовалось совершенство. И мы получили его — как получаешь в молодости все, если только тебе это не кажется...

И когда в четырехтомной инструкции по подготовке данных была поставлена последняя точка, Казанова выглядел перед нами коммивояжером, а Дон Жуан — трудновоспитуемым подростком. Мы были крупнейшими в мире специалистами по любви. По рангу нам причиталось витать в облаках из роз и грез, не касаясь тротуаров подошвами недорогих туфель, купленных на зарплату младших научных сотрудников.

Институт вслух ржал и тайно бегал к нам за советами.

А мартовское солнце копило чистый жар, небесная акварель сияла в глазах, ватаги пионеров выстреливались из дверей с абордажными воплями, спекулянты драли рубли за мимозки, и коварные скамейки раскрашивали под зебр те самые парочки, уют которым предоставляли.

Но если раньше осень пахла мне грядущей весной, — теперь весна пахла осенью... На беспечных лицах ясно читались будущие морщины. И имя «Эльконд» вонзилось в совесть серебряной иглой.

Наверное, мы сделались мудрее и печальнее за эти полгода. Усталая гордость легла в нас тяжело и весомо. Хмуроваты и серы от зимних бдений, мы были готовы дать этим людям то, о чем они всегда мечтали. Счастье и любовь — каждому.

VI

Избегая огласки, мы обратились в Центральное статистическое бюро и прогнали двести тысяч карточек.

— А как меня на работе отпускают? — тревожилась Матафонова Алла Семеновна, 34 года, русская, не замужем, бухгалтер «Ленгаза», образование среднее... воробушек серый и затурканный...

— Оплатят сто процентов, как по больничному, — успокаивал я.

— Я больна? — пугалась Алла Семеновна, и на поблекшем личике дрожало подозрение, что институт-то наш — вроде онкологического.

— Вы здоровы, — ангельски сдерживался Павлик-шеф. — Но... — и в десятый раз внушал, что летнего отпуска она не лишится, стаж, права, положение, имущество сохранит, — а вдобавок...

— Ах, — чахло улыбнулась Алла Семеновна, уразумев, наконец. — Не для меня это все... Я ведь неудачница; уже и свыклась, что ж теперь... — рученькой махнула...

Уж эти мне сиротские улыбки ютящихся за оградой карнавала...

К Маю Алла Семеновна произвела легкий гром в родимой бухгалтерии. Зажигая конфорку, я глотал смешок над потрясенным «Ленгазом».

Возник кандидат непонятных наук со старенькой мамой (мечтавшей стать бабушкой) и новыми «Жигулями». Мил, тих, спортивен, в присутствии суженой он впадал в трепет. Грушевый зал «Метрополя» исполнился скромного и достойного духа счастливой свадьбы неюной четы. Невеста выглядела на ослепительные двадцать пять. Сослуживицы, сладко поздравляя, интересовались ее косметикой.

Развалившись вдоль резной панели, мы наслаждались триумфом, как взвод посажёных отцов. Олаф сказал речь. В рюмках забулькало. Закричали «горько!». Запахло вольницей. Нетанцующий Лев Маркин выбрыкивал «русскую» с ножом в зубах, забытым после лезгинки. Игорь «разводил клей» с джинсовой шатенкой: две модные каланчи...

В понедельник все опоздали, Игорь предъявил помаду на галстук и тени у глаз и затребовал отгул. Нет — три отгула! И все захотели по три отгула. И попросили. По пять. И нам дали. По два.

Отоспавшись и одурев от весенней свежести, кино, газет и телика, я заскучал и сел на телефон. Люся нежно звенькнула и бросила трубку. У паникующего Левы Маркина обед убежал из кастрюль, белье из стиральной машины, а жена — из дому: сдавать зачет. Мама Павликшефа строго проинформировала, что сын пишет статью. Олаф отпустил дочку с мужем в театр и теперь спасал посуду и мебель от внучки.

А ночью я проснулся от мысли, что хорошо бы, чтоб под боком посапывала жена — та самая, которой у меня нет. Черт его знает, куда это я распахал всех, кто хотел выйти за меня замуж...

Нет; древние были правы, когда начинающий серьезное предприятие мужчина удалялся от женщин. Не один Пушкин, «влюбляясь, был слеп и туп». Сублимация, трали-вали... Негающийся очаг возбуждения переключается на соседние, восприимчивость нервной системы обостряется, работоспособность увеличивается... азбука...

Но счастье, прах его... Уж так эти молодожены балдели... Собственно, был ли я-то счастлив. Неужто сапожник без сапог...

Разбудоражившись, я расхаживал, курия и корча зеркалу мужественные рожи, пока не зажгли потолок косые солнечные квадраты.

...На контрольной явке Алла Семеновна, светясь и щебеча, шушукалась с Люсей в ее закутке и рвалась извлечь из замшевой торбы «Реми Мартен». Но перед билетами на гастроли Таганки мы не устояли: нема дурных. Хотя без Высоцкого — не та уже Таганка...

Митька выразил опаску: потребительницу напрограмировали; однако «Ленгаз» восторгался: и всем-то она помогает, и подменяет, и исполняет, и вообще спасибо ученым, побольше бы таких.

Выдерживая срок, мы перешли к разработке поточной методики.

Новое несчастье свалилось на наши головы досрочно. При очередной явке в щебете счастливицы прозвучали фальшивые ноты; а шушуканья с Люсей она уклонилась.

Резонируя общей нервической дрожи, Олаф ухажерски принял Аллу Семеновну под локоток и увлек выгуливать в мороженицу. И взамен порции ассорти и двухсот граммов шампанского полусладкого получил куда менее съедобное сакраментальное признание. В его передаче слова экс-неудачницы звучали так: «Что-то как-то э-мн...».

Я аж кипятком плюнул. Павлик-шеф взъярился. Люся пожалала плечиками. Игорь припечатал непечатным словом. Измученный домашним хозяйством Леня Маркин (жена сдавала сессию) зло предложил «вернуть означенную лошадь в первобытное состояние».

— Чефо ше ты, душа моя, хочешь? — со стариковской грубоватостью врубил Олаф в лоб.

— Не знаю, — поникла Алла Семеновна, 34 года, трехкомнатная квартира, машина, муж-кандидат, старший уже бухгалтер «Ленгаза» и первая оной организации красавица. — Все хорошо... а иногда лежишь ночью, и тоска: неужели это все, за чем на свет родилась.

Хотел я спросить ядовито, разве не родилась она для счастья, как птица для полета... да глаза у нее на мокром месте поплыли...

VII

— Когда все хорошо — тоже не очень хорошо...

— Кондитер хочет соленого огурца... Сладкое приторно...

— В развитии явление перерастает в свою противоположность — это вам на уроках опществоведения не задавали учить, зубрили-медалисты? — и Олаф постукал в переносицу прокуренным пальцем.

— Система минусов, — хищно предвкусил Павлик-шеф, вонзая окуроч в переполненный вербно-совещательный кувшин. — Минусов, которые, как якоря, удерживают основную величину, чтоб она не перекинулась со временем за грань, сама превратившись в здоровенный минус.

— Хилым и от счастья нужен отдых? — поиграл Игорь крутыми плечами, не глядя на Люсю.

— «Мужчина долго находится под впечатлением, которое он произвел на женщину», — шепнул Митька, воротя нос от его кулака.

Игорю указали, как он изнемог от женских телефонных голосов...

— Перца им, растяпам! — сказал я. — Под хвост! Для бодрости!

— Заелись! Горчицы!

— Соли!

— Хрена в маринаде!

— Дуста! — мрачно завершил перечень разносолов Павлик-шеф.

Ельников, по молодости излишне любивший сладкое, осведомился:

— А как будем считать пропорции? По каким таблицам?

И попал пальцем не в небо, и не в бровь, и даже не в глаз, а прямо в больное место. Откуда ж взяться таким таблицам-то...

Расчет ужасал трудоемкостью, как постройка пирамиды. На нашей «МГ-34» от перегрева краска заворачивалась красивыми корочками...

— Не ляпнуть бы ложку дегтя в бочку меда...

И выяснились вещи удивительные. Что прыщик на носу красавицы делает ее несчастной — хотя дурнушка может быть счастлива с полным комплектом прыщей. Что отсутствие фамилии среди премированных способно отравить счастье от труда целой жизни. Что один владелец дворца несчастлив потому, что у соседа дворец не хуже! — а другой счастлив, отдав дворец детскому саду, и в шалаше обретает сплошной рай, причем даже без милой.

Н-да; у всякого свое горе: кому суп жидок, кому жемчуг мелок.

Тупея, мы поминали древние анекдоты: что такое «кайф», о доброй и дурной вести, о несчастном, постепенно втащившем в хибару свою живность и, выгнав разом, почувствовавшем себя счастливым...

Один минус мог свести на нет все плюсы, в то время как сто минусов каким-то непросчитываемым образом нейтрализовывали один другой и практически не меняли картину пресыщения...

Мы тонули в относительности задачи, не находя точку привязки...

VIII

Мы раскопали безропотного лаборанта словарного кабинета, упоенно забаррикадировавшегося от действительности приключенческой литературой, и сделали из него классного зверобоя на Командорских островах. Лаборант-зверобой забрасывал нас геройскими фотографиями, которые годились иллюстрировать Майн-Рида, а потом затосковал о тихом домашнем очаге.

Хочешь — имеешь: получай очаг. Думаете, он успокоился? Сейчас. Захотел обратно на Командоры, а через месяц вернулся к упомянутому очагу и попытался запить,

красочно повествуя соседям о тоске дальних странствий и клянча трешки. Паршивец, тебе же все дали! Ну, от запоя-то его мигом излечили...

— Лесоруб канадский! — ругался Игорь. — В лесу — о бабах, с бабами — о лесе!..

Пробовали и обратный вариант: нашли неустроенного, немолодого уже мужика, всю жизнь пахавшего сезонником по Северам и Востокам, с геологами и строителями, и поселили в Ленинграде, со всеми делами. Через полгода у него обнаружился туберкулез, и он слал нам открытки из крымского санатория...

IX

— Великий человек — это тот, кто нанес значительные изменения на лицо мира, — изрек Митька и в третий раз набухал сахару, поганец, вместо того чтоб один раз размешать. — Тот, чья судьба пришлась на острие истории.

Мы гоняли чай ночью у меня на кухне.

— Независимо от того, хороши они или плохи? — хмыкнул я.

— Независимо, — поелозил Митька на табуреточке. — Главное — велики. Хороши, дурны, — это относительно: точки зрения со временем меняются, а великие личности остаются!

— Хм?..

— Если считать создание и уничтожение города равновеликими действиями с противоположным знаком, то ведь сжечь сто городов легче, чем построить один. На этом стоит слава завоевателей.

Смотри. Наполеон: полтора века притча во языцех. Результат: смерть, огонь, выкошенное поколение, заторженная культура, европейская реакция... ну, известно.

Отчего же ветеран молится на портрет императора и плачет, вспоминая былые битвы — когда одни парни резали других неизвестно во имя чего, вместо того чтоб любить девчонок, рожать детей, разминать в пальцах ком весенней пашни, понял, — он разволновался, стал заикаться, возвысил штиль, — вместо того, чтоб плясать и пить на майских лужайках, беречь старость родителей... эх...

— Вера в свою миссию, — я сполоснул пепельницу, прикурил от горелки. — Величие Франции, мораль, иллюзии, пропаганда.

— Величие империи стоит на костях и нищете подданных! — закричал Митька, и снизу забарабанили по трубе отопления: час ночи. — Знамена, победы... Чувствуй: ноги твои сбиты в кровь, плечи растерты ремнями выкладки, глотка — пыль и перхоть, и вместо завтрашнего обеда имеешь шанс на штык в брюхо; и мечты твои — солдатские: поспать-пожрать, выпить, бабу, и домой бы. «Миссия...»

— А сунь его домой — и слезы: «Былые походы, простреленный флаг, и сам я — отважный и юный...»

— Дальше. Великий завоеватель не может стабилизировать империю: империя по природе своей существует только в динамическом равновесии центробежных и центростремительных сил. Преобладание центростремительных — завоевания, со временем же и с расширением объема начинают преобладать центробежные: развал. Один из законов империи — взаимное натравливание народов: ослабляя и отвлекая их, это одновременно создает сдерживающие силы сцепления, но готовит подрыв целостности и развал в будущем! Почему Наполеон, умный и образованный, с восьмисот девятого года ощущавший обреченность затеи, не ограничился сильной Францией и выгодным миром?

— Преобладание центростремительных сил, — сказал я. — Завоеватель, мечтающий о спокойствии империи, неизбежно ввязывается в бесконечную цепь превентивных войн: любой неслабый сосед рассматривается как потенциальный враг. А с расширением границ увеличивается число соседей. В идеале любая империя испытывает два противоположных стремления: сделаться единой мировой державой и рассыпаться на куски. При чем тут счастье, Митька?

— При слезах ветеранов этих братоубийственных походов.

— Насыщенность жизни, сила ощущений... тоска по молодости... что пройдет, то будет мило... Вообще хорошо там, где нас нет...

— Вот так америки и открывали, где нас не было! — взъярился Митька, и снизу снова забарабанили. — Чего ржешь, обалдуй! Если люди, вспоминая, тоскуют, — есть тут рациональное зерно, стоит копнуть на предмет счастья!

— Вот спасибо, — удивился я. — Ни боев, ни смертей, ни походов нам, знаешь, нэ трэба. Не те времена. И не ори!

— А какие сейчас, по-твоему, времена?

— Время разобраться со счастьем. Потому что некуда откладывать.

— Всю историю, фактически, с ним ведь только и разбирались!

— Да не ори ты! Много с чем разбирались. И разбирались. Человек мечтал о ковре-самолете — и получил. Мечтал о звездах — и получил. Равенство. Радио. Мечтал о счастье — и время получить.

— В погоне за счастьем человек всегда совершает круг. Обычно это круг длиною в жизнь, — сказал Митька грустно.

Но тогда я его не понял.

Х

Чем менее счастлив человек, тем больше он знает о счастье. Мы знали о счастье все. А система наша разваливалась, фактически не родившись, а только так, будучи объявленной.

Вечером я заперся в лаборатории и стал выкраивать из системы монопрограмму. Мне требовалось счастье в работе. Да; так. Перейдя в иное качество, мы откроем для себя то, чего не видим сейчас.

По склейкам и накладкам обнаружилось, что не я первый. Я не удивился; я выругал себя за медлительность и трусость...

...Уплыл по Неве ладожский лед; сдавали экзамены, загорали на Петропавловке, уезжали на целину; отцвели сиренью на Васильевском, отзвенели гитарами белые ночи. Растаяло изумление: ничто, абсолютно ничто во мне после накладки программы не изменилось. Лишь боязнь покраснеть под долгим взглядом: мы не могли сознаться друг другу в нашем контрабандном и несуществующем счастье, как в некоем тайном пороке.

Нас прогнали в отпуск (всех — в августе!) и выдали к нему по пять дополнительных дней; но это был не отпуск, а какая-то испытательская командировка. Я лично провел его в библиотеках и поликлиниках: кончилось переутомлением и диагнозом «гастрит», гадость мелкая неприличная. И теперь, презирая свое отражение в зеркале шкафа, я вместо утренней сигареты пил кефир.

— Счастье труда, — остервенело сказал Лева Маркин, — это чувство, которое испытывает поэт, глядя, как

рабочие строят плотину! — В бороде его, как предательский уголок белого флага, вспыхнула элегантная седая прядь.

Люся, вернувшаяся в сентябре похудевшая и незагорелая, с расширенными глазами, даже не улыбнулась. Зато Игорь, после спортивного лагеря какой-то тупой и нацепивший значок мастера спорта, гоготал до икоты.

Более прочих преуспел Митька Ельников: он не написал диплом, был с позором отчислен с пятого курса, оказался на военкоматовской комиссии слеп как кувалда, устроился к нам на полставки лаборантом (больше места не дали), вздел очки в тонкой «разночинской» оправе — сквозь кои нам же теперь и соблезновал, как интеллектуальным уродам, не читавшим Лао Цзы и Секста Эмпирика.

А вот Олаф — молодец: утянул брюшко в серый стильный костюм, запустил седые полубачки, завел перстень и ни гу-гу про пенсию.

В октябре сравнялся год наших мук, и мы не выдали программу. Нам отмерили еще год — на удивление легко. «Предостерегали вас умные люди — не зарывайтесь, — попенял директор Павлик-шефу. — Теперь планы корректировать... А на попятный нельзя — не впустую же все... Да и — не позволят уже нам... Ну, смотрите; снова весь сектор без премии оставите». Павлик-шеф произнес безумные клятвы и вернулся к нам от злости вовсе тонок и заострен как спица.

И поняли мы, что тема — гробовая. Пустышка. Подкидыш. И ждут от нас только, чтоб в процессе поиска выдали, как водится, нестандартные решения по смежным или вовсе неожиданным проблемам.

С настроением на нуле, мы валяли ваньку: кофе, журналы, шахматы... к первым числам лепя тусклые отчеты о якобы деятельности.

И когда вконец забуксовали и зацвели плесенью, Люся вдруг засветилась неземным сиянием и пригласила всех на свадьбу.

Но никакой свадьбы не состоялось. За два дня до назначенного сочетания Люся ушла на больничный, и появилась уже погасшая, чужая.

И понеслось. Развал.

— Ребята, — жалко улыбался Игорь на своей отвальной, — такое дело... сборная — это ведь сборная... зимой

в Испанию... «Реал»... судьба ведь... — и нерешительно двигал поднятым стаканом.

— Спортсмен, — выплеснули ему презрение. — Лавры и мавры... изящная жизнь и громкая слава...

— Что слава, — потел и тосковал Игорь. — Сборы, лагеря, режим, две тренировки в день... себе не принадлежишь... А как тридцать — начинай жизнь сначала, рядовым инженером, переростком. Судьба!..

— Не хнычь, — сказал я. — Хоть людей за зарплату развлекать будешь. А что мы тут штаны за зарплату просиживаем без толку.

— Шли открытки и телеграммы, старик!

Вместо Игоря нам никого не дали. Место сократили. Лаборатория прослыла неперспективной. Навис слух о расформировании.

В конце зимы — пустой, со свечением фонарей на слякотных улицах, — от нас ушел Павлик-шеф. Его брали в докторантуру. И ладно.

Безмерное равнодушие овладело нами.

XI

В качестве начальника нас наградили «свежаком».

«Свежак» — специалист, данным вопросом не занимавшийся и, значит, считается, не впавший в гипноз выработанных трафаретов. В идеале тут требуется полный нонконформист. В просторечии такого именуют нахалом. Он должен хотеть перевернуть мир, имея точкой опоры собственную голову. Поэтому голова, как правило, в шишках размерами от крупного до очень крупного.

Если у человека есть звезда — его звездой была комета с хвостом скандальной славы. Неудачник без степеней, пару институтов вывел к свету, но самому под этим светом места не хватило, как водится; а пару ликвидировал, что положения его также не упрочило. Нам его подкинули из Приморья: генеральную тему приютившего самоподрывника института он вывернул таким боком, что Министерство закрыло институт прежде, чем Академия наук раскрыла рты.

Решили, хихикнула Динка-секретарша, что нам он не навредит...

Забрезжило: свежак закроем тему, и заживем мы по-прежнему...

Свежак был подтянут, собран и стремителен. Молча оглядев нас пустыми глазами, он вернулся с графином и

тряпкой: чисто протер пустой стол, стул, телефон. Ветер развевался за ним. Ветер пах утюгом, одеколоном «Эллада» и органическим отсутствием сомнений в безграничности его возможностей. Затем он тронул русский пробор, подтянул тонко вывязанный галстук и погрузился в чтение машинного журнала. Звали свежака старинным и кратким именем Карп.

— Пр-риказываю сделать открытне, — передразнил Лева в курилке.

— Матрос-гастролер, — скрипнул Олаф. — Я уше стар для суеты...

То был последний перекур. На столах нас встретили стандартные стеклянные пепельницы. Угрозы коменданта здания Карпа явно не интересовали.

— Курить здесь. — Он отпустил нам взглядом порцию холодного омерзения, опорожня вербно-окурочный кувшин в корзину.

— Ты взглядом сван никогда не забивал? — восхитился Митька.

— «Вы», — бесстрастно сказал Карп. — Приступить к работе.

И тоном дежурного по кораблю бурбона-старшины предложил «разгрести свинюшник» и представить личные отчеты за полтора года.

Мы написали отчеты. И он их прочел. И сообщил свое мнение.

— Шайка идиотов, — охарактеризовал он нас всех кратко.

ХII

— Сократ, если Платон не наврал от почтения, имел неосторожность выразиться: «Я решил посвятить оставшуюся жизнь выяснению одного вопроса: почему люди, зная, как должно поступать хорошо, поступают все же плохо...».

Карп сунул руки в карманы безукоризненных брюк и качнулся с носков на пятки. Подзаправившись информацией, наш чрезвычайный руководитель с лету заехал под колючую проволоку преград и опрокинул проблему с ног на уши:

— Почему люди, зная, что и как нужно им для счастья, сплошь и рядом поступают так, чтоб быть несчастливы? Решение здесь. И?

Вам виднее, товарищ начальник, выразили наши взгляды...

— Представление о счастье у каждого свое, — жал Карп, — ладно. Но отчего порой отказываются от своего именно счастья; и добро бы жертвуя во имя высших целей — нет же! неизвестно с чего! наушение лукавого? как с высоты вниз шагнуть манит, что ли?

Охмуренный стальным командиром Митька запел согласие, приводя рассказ Грина, где новобрачный скрывается со своей счастливой свадьбы, следуя неясному импульсу, и т. д. А Карп прицельно извлек из книжного завала в углу черный том и прочеканил:

— «Томас Хадсон лежал в темноте и думал, отчего это все счастливые люди так непереносимо скучны, а люди по-настоящему хорошие и интересные умудряются вконец испортить жизнь не только себе, но и всем близким».

И мы как под горку покатались считать и пересчитывать. Искаженные судьбы и разбитые мечты вырастали в курган, и прах надежд веял над ним погребальным туманом. Мы прикасались к щемящей остроте странных воспоминаний о том, чего не было, и манящий зов неизвестного терзал наш слух и отравлял сердце.

Барахтаясь в философско-психологическом мраке субъективизма и релятивизма, мы изнемогали: в чем проклятое преимущество несчастья перед счастьем, если в здравом рассудке и трезвой памяти люди меняли одно на другое?..

Ахинея!! — старательно ведя себя за шиворот по пути несчастий, люди не прекращали тосковать о счастье! не успевало же оно подкатиться — раздраженно отпихивали и, тотчас заскорбев об утраченном, двигались дальше!

— О, тупой род хомо кретинос! — рвал Лева взмоющую бороду.

А Митька, кое-как собрав в портрет искаженное непосильным умственным усилием лицо, выпаливал:

— В законодательном порядке! паршивцы! приказ! мы тут мучайся, а они нос воротят! выпендриваются! а потом жалуются еще!

— Да-да-да, — подтвердил Карп при общем веселье. — «Команде водку пить — и веселиться!» Дура лэкс, сэд лэкс: будь счастлив!

Он щелкнул пальцами, Митька виновато поежил-ся, выхватил из кармана бумажку и торжествующе за-чел:

«Так что же заставляет нас вновь и вновь возвращать-ся сердцем в те часы на грани смерти, когда раскаленный воздух пустыни иссушал наши глотки и песок жег ноги, а мечтой грезился след каравана, означавший воду и жизнь?..»

ХІІІ

— Мерзавцы, Люсенька, — как, впрочем, и сте-рвы, — самый полезный в любви народ... Вы рассыпае-те пудру... Судите: они потому и пользуются большим успехом, чем добропорядочные граждане, что являют-ся объектами направленных на них максимальных ощу-щений. Они «душевно недоставаемы» — души-то там может и вовсе не быть, достаточна малая ее имитация. Но поведением то и дело играют доступность: мол вот-вот — и я всей душой, не говоря о теле, буду при-надлежать только тебе. Обладать таким человеком — как достичь горизонта. Потребители! — они потребляют другого, и этот другой развивает предельную мощность душевных усилий, чтоб наконец удовлетворить любимо-го, счастливо успокоиться в долгожданном равновесии с ним. Они натягивают все душевные силы любящего до предела, недостижимого с иным партнером, добрым и честным.

Кроме того, они попирают мораль, что неосознанно воспринимается как признак силы: он противопоставляет себя обычаям общества!

Они — как бы зеркальный вариант: зеркало отразит вам именно то, что вы сами изобразите, но за холодной поверхностью нет ничего... Продувая мундштук папиро-сы, держите ее за другой конец, табак вылетит... Но именно в этом зеркале душа познает себя и делается такой, какой ей суждено сделаться, какой требуется не-коей вашей глубинной, внутренней сущностью, чтоб силы жизни ее явили себя, а не продремали втуне...

Конечно, если человек теряет голову — то не все ли равно, сколько там было мозгов... Опыт полезен вот чем: да, интеллект составляется к пятнадцати годам — но ведь способность решать задачи — это прежде всего спо-собность правильно их ставить. Нет?

«Жизнь может рассматриваться как сумма ощущений (ибо ощущение первично). Они могут вызываться раздражителями первого и второго порядков: внешнее, физическое действие, и внутреннее — через мышление, воспоминания, чтение и т. п.

Самореализация — культивированный инстинкт жизни, т. е. активности, действий, мыслей, событий; в известном плане — максимальное стремление ощущать. Стремление к полноте жизни.

Счастье — категория состояния. Возникает при адекватном соответствии всех внешних условий, обстоятельств, факторов нашим *истинным* душевным запросам, потребностям.

Полнота жизни может быть уподоблена графику в прямоугольной системе координат, где горизонтальная ось (однонаправленная от нуля и конечная) — время, а вертикальная (продолжающаяся неопределенно-длительно) — напряжение человеческой энергии, или ощущения, или эмоции (вверх от нуля положительные, вниз — отрицательные). Чем больше длина ломаной линии, состоящей из точек напряжения во все моменты времени — тем более реализованы возможности центральной нервной системы, тем более полна жизнь. Максимальные размахи в обе стороны от оси времени соответствуют максимальной полноте жизни.

Стремление к страданию объясняется потребностью в самореализации, необходимостью сильных ощущений. Статичность ситуации — даже еще в перспективе — неизбежно снижает уровень ощущения. Когда душа не может иметь сильных ощущений в верхней половине «+», она ищет их в нижней половине «-». Сильная душа неизбежно стремится к такой ситуации, где получит максимальные ощущения, и выходит из нее или вследствие ослабления ощущений, или уже под диктат инстинкта самосохранения, дабы сохранить себя для дальнейших ощущений, с тем чтобы сумма их в результате была максимальной в течение жизни.

Счастье и страдание различны по знаку, но идентичны по абсолютной величине. Упомянутый график не плоскостной: ось ощущений искривлена по окружности перпендикулярно оси времени, и в неопределенном удалении половины «+» и «-» соединяются в единое

целое. То есть имеется как бы цилиндр, где предельные отметки счастья и страдания лежат в близкой, взаимопроницающей и даже одной области.

Человек подобен турбине, как бы пропускающей через себя некую рассеянную в пространстве энергию. Мощная турбина захиреет на малых оборотах, слабая — искрошится на больших. Сильная душа жадна до жизни — ей нужен весь цилиндр целиком. Для нее более смысла в сильном страдании, нежели в слабом счастье...»

Дальше шли расчеты.

— Тавтология, — ощетинился Лева. — Счастье — это счастье, а страдание — это тоже счастье... Эх, термины...

— Кого возлюбят боги, тому они даруют много счастья и много страдания, — проскрипел Олаф и кивнул.

— «Для счастья нужно столько же счастья, сколько несчастья», — провещал Митька Ельников, оракул наш самоходный, став в позу.

Рукопись Карп переправил из больницы. С разбирательства пред начальством он вернулся темен лицом, выпил графин воды, выкурил пачку «Беломора»; а на вид такой здоровый мужик.

XV

Монтажников нам не дали. И отсрочек не дали. А в случае срыва пообещали распустить.

Чуть пораньше бы — распустились с радостью. Но сейчас... Словно ветер удачи защекотал наши ноздри — неверный, дальний...

Грянули черные будни. Самосильно, под дирижирование Карпа, мы сооружали установку с голографической камерой, действующую модель его «цилиндра счастья».

В чаду паяльников, прожигая штаны и заляпываясь трансформаторным маслом, мы спотыкались среди хлама. Лева хвастал спертыми у юных техников ферритовыми пластинами. Люся прибыла с махновского налета на радиозавод, раздутая от добра, как суслик. Мы шатались по корпусу, подметая что плохо лежит; канючили намотку и транзисторы, эпоксидку и лампы. Сблизились с жуками из приемки старых телевизоров. Люсин серебряный браслет пошел на припой. Карп экспроприировал у Олафа «до победы» золотые запонки, и знакомый ювелир

протянул из них роскошную проволоку. Дома, обнаружив пропажу, подняли хай: дочь в панике выпытывала по телефону, не пьет ли Олаф и не завел ли молодую любовницу; а если нет, то почему он так хорошо выглядит и так поздно приходит. В ответ рассерженный Олаф вообще остался ночевать на работе.

Оргстекло явно казенное, я купил у столяра Казанского собора.

Всех превзошел, опять же, Митька Ельников: он устроился по совместительству в ночную охрану, и прозной начальство об его партизанских рейдах по лабораториям экспериментаторов и внутреннему складу — не миновать Митьке счастья труда подале-посеверней.

XVI

Настал день.

Конструкция громоздилась, зияя незакрашенными швами, пестрея изолентой: рабочая модель... Зайчики текли по стеклу голографической камеры. Наш облезлый друг «МГ-34» в присоединении к ней выглядел насекомым, высосанным раскидистым паразитом.

Мы курили на столах, сдвинутых в один угол: все, что ли? или еще какие гадости предстоят?

— Поехали, — сказал Карп.

Вот так мы поехали.

Митька мекнул, высморкался, махнул рукой, нога об ногу снял кроссовки и полез через трансформаторы и емкости в рабочее кресло, стыдясь драного носка. Мы слевой обсаживали его ветвистой порослью датчиков и подводили экраны. Олаф с Люсей на четвереньках ползали по расстеленной схеме, проверяя наши манипуляции.

— От винта. — Карп возложил руки на клавиши. В чреве монстра загудело; замигали панели. Передо мной стояла Люся и бессмысленно обламывала ногти.

— Сейчас дым пойдет, — бодро просипел Митька.

Карп, поджав губу, крутил верньеры.

Камера светилась. Зеленоватый прозрачный цилиндр, расчерченный координатной сеткой, проявился в ней.

Ждали — гласа господня из терновой кушины.

Ломаная малиновая линия легла на цилиндре густо, как гребенка. Митька выдохнул и глупейше распялил рот. Работающая приставкой «МГ-34» пискнула, на ее

табло вермишелью покрутились цифры и остановились: 0,927.

— Так, — сказал Карп. Этот человек не умел удивляться.

За него удивились мы. Прокол, начальничек. Чтоб лоботряс-Митька оказался, выходит, счастлив на девяносто три процента!..

— Надо же... А по виду и не скажешь...

— Следующий? — бесстрастно произнес Карп.

Люся отвердела лицом и ступила на подножку. Мы подступили с датчиками. Возникла заминка. Она взглянула вопросительно — и рассмеялась, — прежним ведьминским смехом, пробирающим до истомы...

0,96 условного оптимума было у Люси.

И она заревела — детски икая и хлюпающая носом. Не умею передать, но какой-то это был светлый плач. И доплавав, стала прямо юной.

— Следующий.

Олаф: 0,941.

Лева: 0,930.

— Почему же у меня меньше? — убежденно сказал он. — Не. Не-не.

— Потому, — назидательно курлыкнул Олаф. — Когда дочек своих выдашь замуж, тогда узнаешь, почему.

А я сказал то, что подумал:

— Халтура.

В ответ Карп поволок меня жесткой лапой за плечо: мы извлекли с улицы преуспевающего джентльмена, по ходу объясняя на пальцах.

0,311 — равнодушно высветило табло.

Переглянувшись — мы высыпали на облаву за следующими жертвами.

Диапазон был охвачен: от 0,979 у закрученной матери четырех детей до 0,027 у чада высокопоставленного отца, кой полагал себя счастливым, как сыр в масле, и высокомерно пожал плечами...

Мне выдало 0,928. Хм. И ничего я такого не испытывал.

Карп вытер белейшим платком лицо и руки и сел последним.

Ломаная, нервная линия легла густо, как нить на катушку. Предостерегающе запищало, замигало, дрогнуло. «1,000».

— Э-э, ты ее по себе сварганил, — разочарованно протянул Лева.

— Ну, вот и все, — опустошенно сказал Карп, не отвечая.

Вылез. Прошелся. Глянул в окно. Сел. Закинул на стол ноги в сияющих туфлях. Выудил последнюю «беломорину» и смял пачку.

— А теперь останется только вводить поправки при наложении программы, — пустил колечко. — Индивидуальное определение режима и загрузки нервной системы мы получили. Нагрузки надо давать на незагруженные участки, напрягая их до оптимума. Качество нагрузок варьируемо, они сравнительно заменяемы; всех мелочей не учтешь, да и ни к чему... Ведь личность изменяется, в процессе деятельности приспособлявая себя к тому, что имеет. Нет? Ромео можно было подставить вместо Джульетты другую... Нет?.. Эх...

— А как же... мы? — не выдержал я, кивнув на табло.

— Не жирно ли нам? — поддержал Лева Маркин.

— «Мы», — усмехнулся Карп. — Мы работаем. Плохо живем, что ли?

Он грустнел. Тускнел. Отчетливей проступало, как он уже немолод, за сорок, наверное, и хоть и здоровый на вид мужик, а выглядит погано: тени у глаз... одутловатость...

— Ах, ребятки-ребятки, — он раздавил окурок и встал. — От каждого по способностям, каждому по потребностям, — великий принцип. Вот на него мы и работаем. Как можем.

XVII

— Шо вы хотите, — сказал завкардиологией добрым украинским голосом. — Нельзя ему было так работать; знал он это. Полгода не прошло, как от нас вышел. Гипертония, волнения, никакого режима. Взморье бы, сосновый воздух, физические нагрузки, нормальный образ жизни. Эмоций поменьше. Болезни лекарствами не лечатся, дорогие мои... жить надо правильно...

Вошла сестра с серпантинном кардиограмм, и мы поднялись.

— Живи так, как учишь других, и будешь счастлив, — прошептал у дверей Митька стеклянному шкафу.

чику с медицинской дребеденью, и я оглянулся на усталого доктора, вряд ли живущего так, как полезно для здоровья...

А первый инфаркт у Карпа случился в тридцать один год; тогда ему зарубили кандидатскую, зато позже на ней вырос грибной куст докторских в том институте, который он поставил на ноги.

Потом был морг. Потом кладбище. Потом мы вернулись в лабораторию.

XVIII

К нам возвратился Павлик-шеф — уже защитивший докторскую и ждущий утверждения в ВАКе. Он поспежел, помолодел, поправился и снова говорил, что ему двадцать девять лет, и он самый молодой доктор наук в институте.

Мы спокойно раскручивали методику и оформляли диссертации. Все постепенно вставало на свои места — будто ничего и не было... Пошли премии. Пошел шум. Павлик-шефу утвердили докторскую, он выступал на симпозиумах и привозил сувениры со знаменитых перекрестков мира.

Над столом у него висит фотокопия графика Карпа: малиновая ломаная кривая, густо, как нитка катушку, оплетающая зеленоватый сетчатый цилиндр.

XIX

— Слушай, — спросил Митька, — ну, пойдет наша программа... а потом?

Митька после сдачи программы тоже стал кандидатом, сразу, — Павлик-шеф позаботился, все устроил, из ученого совета сами провернули насчет диплома; даже перепечатывала оформленные бумажки машинистка из нашего машбюро. Митька принялся буйно лысеть и до безобразия уподобился доценту из дурной кинокомедии.

Мы сидели у меня на кухне, и белые ночи буйствовали за открытым окном над ленинградскими крышами, и словно не было всех этих лет...

— Слушай, — повторил Митька, — что дальше будет?..

— Лауреатами станем, — мрачно сказал я. — Золотыми памятниками почтят. Чего тебе еще?..

— Нет, — сказал Митька, кладя в стакан восьмую ложку сахара, паршивец. — Ну, начнут все жить в полную силу. Все. А что из этого выйдет? В мире, на Земле? А? Ты думал?

— Многие думали, — успокоил я. — В общем, должно выйти то, что все будет хорошо, как давно бы уже полагалось. Да; а что?

— А я думаю, — сказал Митька, — что выйдет то же самое, что и так вышло бы, только быстрее.

Снизу забарабанили по трубе. Глаза у меня слипались.

— Это уже следующая история, — примирительно сказал я.

А он сказал:

— История-то у нас, браток, одна на всех... Прав был Карп.

Но тогда я его не понял.

КАРЬЕРА В НИКУДА

Эта вековой дали затерянная история была рассказана мне двадцать лет назад покойным профессором истории Ленинградского университета Сигизмундом Валком. Профессор собрался пообедать в столовой-автомате на углу Невского и Рубинштейна. Он пробирался к столику, держа в одной руке тарелку с сардельками, а в другой ветхий ученический портфельчик, и сквозь скрепленные провололочкой очки подслеповато высматривал свободное место. Под его ногой взмякнула кошка, сардельки полетели в одну сторону, потфель в другую, очки в третью, сам же профессор — в четвертую, где и был подхвачен оказавшимся мною (что не было подвигом силы: вес профессора был соизмерим с весом толкнувшей его кошки, на чей хвост он наступил столь неосмотрительно). Я собрал воедино три дотопле совместные части, выловив очки пальцем из чьей-то солянки, к негодованию едока, сардельки же бойко выбил без очереди взамен растоптанных. Ободрившийся старичок в брезентовом дождевичке вступил в благодарственную беседу — и я был поражен знакомством: профессор с мировым именем. Кажется, своеобразно польстило и ему — то обстоятельство, что воспитанные манеры принадлежали именно студенту родного факультета.

Апрельское солнце клонилось, Мойка несла бурый мусор, Летний сад закрылся на просушку: я провожал профессора до Библиотеки Академии наук. Он поглядывал хитро и добро, покачивал сигареткой в коричневой лапке, шаркал ботиночками по гранитам набережных: рассуждал... Был вздох о счастье юности, вздох о мирской тщете, вздох о всесии времени; легкой чередой вздохи промыли русло мысли, слились в сюжет — характер, судьба, история. Он касался рукой имен, дат, названий — просто, как домашних вещей: история казалась его домом, из которого он

вышел ненадолго, лукавый всеведущий гном, на весеннюю прогулку.

Записки мои потерялись в переездах. Я пытался восстановить обломки фактов расспросами знакомых историков — безуспешно; эрудиция и память Валка были феноменальны.

Сохранилось: происходило все во второй половине прошлого века, в Петербурге и двух губернских городах, герой воевал в русско-турецкую войну 1876 года, по молодости примыкал к народникам, знался с народовольцами, достиг поста не то губернатора, нет то чего-то в таком роде, — уж не вспомнить, да и не имеет это, наверно, принципиального значения. Кончил же он в доме умалишенных, до водворения туда исчез надолго так, что еле нашли: слухи о загадочном исчезновении поползли среди людей, не обошлось, разумеется, без суеверия и выдумок глупейших, хотя и небезынтересных самих по себе: некий сочинитель даже повестушку про то намарал, — забыл названного Валком автора, забыл название, издательство, — где искать концы, как? да и стоит ли...

Ах, сторицей, сторицей расплатился со мной старенький профессор за порцию сарделек и выуженные из супа очки, если двадцать лет прозревают во мне пророненные им слова. Возможно, память что исказила, но главное-то я помню, держу, не раз ворошил, прикидывал слышанное в тот теплый апрельский вечер шестьдесят седьмого года: сияла в закате Петроградская сторона, кружились в Неве льдинки, звенел трамвай на Тучковом мосту, шурился и смеялся своему рассказу профессор, объяснял без назидания, учил не поучая — делился: со мной, девятнадцатилетним.

И жаль дать пропасть словам его в забвении, жаль!

Не читать мне лекций по истории, не быть профессором, не обедать сардельками в той забегаловке — нет ее больше; попытаться могу лишь передать, оставить поведенное им; а то время идет — и проходит.

МАЯТНИК ДУШИ

19 лет. Простые ценности.

Санкт-Петербург.
«186... г.

...я не хочу карьеры. Почтенный папенька, прости... Вы сами воспитывали меня в духе уважения к людям, сострадания к сирым и обиженным. Учили жить по совести, и быть, главное, хорошим человеком.

Карьерист же, как я представляю, означает человек, болеющий не о пользе дела, но о деле ради своей пользы и выгоды. Неуважение и презрение ему отплатой, зависть и ненависть. Им льстят — но клеветуют, порядочные люди должны отвертываться от них, не подавать руки; они низки и эгоистичны. Все в этом враждебно мне.

Гнаться за успехом? класть на это жизнь? зачем?.. Какой смысл? В богатстве и власти? — мне это не нужно. Разве в этом предназначение человека?.. Разве это приносит счастье?

Я поступил на курс университета изучать право, чтобы помогать людям и улучшать действительность. И хочу единственно вещей простых и никому не заказанных: счастья, любви ближних, доброго мнения людей и настоящего дела, честным исполнением которого смогу гордиться. Хочу быть полезен, нужен людям и обществу.

Мне все пути открыты, пишете Вы: мол, и внешность, и ум, и трудолюбие, и умение влиять на людей, и деньги (я краснел)... И растратить это все на суету, достижение внешних отличий? трястись и волноваться — вдруг пост достанется не мне?

Я избрал иной путь. По окончании курса я хотел бы уехать куда подальше, где цивилизация еще не наложила свое губительное клеймо продажности и разврата, где люди не соревнуются в излишествах и пороках; где чисто сердце и крепок дух. Я хочу найти свою судьбу среди людей, работающих честно и тяжело, преодолевая истинные трудности и борясь с суровой природой. Насаждать Закон и справедливость, пресекать зло и утверждать добро, — вот профессия правоведа.

И если я таков, как Вы считаете, — то сумею сделать многое — и, следовательно, мои способности и возможности будут замечены, поприще мое будет расти, выситься, — ибо везде нужны хорошие работники: будет по заслугам и честь. Старайся исполнять свое дело наилучшим образом и не думай о награде — она придет сама. Только такой род карьеры мог бы меня прельстить.

Я знаю, это нелегкий путь. Но я готов к трудностям и не боюсь их. Вы правы: жизнь отнюдь не гладка, есть и несправедливость, и пороки, и недостатки; но разве борьба с ними — не достойный, не высший удел?

Денег мне, спасибо, вполне хватает. Но Вы напрасно опасаетесь, что меня увлекают кутежи, франтовство, «доступные женщины» и прочие «студенческие шалости». Друзья мои — чудесные и достойные люди, и если нам весело — на то и молодость.

А дурное влияние Дмитревского Вы подозреваете безосновательно, — напротив: он человек в высшей степени рассудительный, умный, образованный, душой чист и благороден; ему я многим обязан, в том числе и воздержанию от скверных наклонностей. Он как раз серьезен, положителен, — Вам бы понравился непременно...»

21 год. Мы переделаем мир.

Нытики, пессимисты, тоскующие, — презираю вас. Кто хочет делать — находит возможности, кто не хочет делать — изыскивает причины.

Еще ничего в жизни не сделали — уже стонут, уже всем недовольны! Все критикуют — никто ничего делать не хочет. Все видят недостатки — никто не хочет действовать за их устранение. А вы хотите, чтоб недостатки сами исчезли? — так ведь и тогда будут брюзжать, найдут повод, брюзги насчастливы!

Как не поймут: жизнь будет такой — и только такой! — какой мы сами ее сделаем. Никто за нас не делает, не поднесет готовое. И вот когда вы слезете со своего дивана, и подотрете свои сопли, и засучите рукавички на чистеньких бездельных ручках, — только тогда что-то может измениться.

Все сделать можно, все в наших руках. И не надо ждать, что все сразу как по маслу пойдет — так не бывает. И трудности будут, и поражения, и несправедливости, и боль, — но будет делаться дело, будет улучшаться

ся жизнь, становиться счастливее люди — и вы сами в первую очередь.

«Коррупция кругом», «продажность заела»... А ты сам с этой коррупцией уже сталкивался? с этой продажностью хоть раз боролся? Ты же сам ее первый соучастник — если видишь — и миришься!

Еще смеют говорить — жизнь, мол, такова! Жизни-то не знают — уже уверены, что она дурна. Бороться не пробовали — уже смирились.

Чем же дурна? Что рабства более нет? Что всяк волен грамотен стать, образование получить? Что стезя каждому открыта? Что журналы выходят? Что железная дорога грузы перевозит, со смертельными болезнями бороться научились, что гласность во всем, каждый может свое мнение вслух публично высказать?

Нет, не высказывают: друг другу жалуются, а вслух — нет: даже этого не сделают, улитки унылые, лежащие камни.

Некогда за веру ссылали, сжигали, продавали как скотов, чума страны косила, в нищете и невежестве в тридцать лет умирали — и после этого говорить, что прогресса нет? что жизнь не улучшается?! да оглянитесь кругом — у вас глаза-то есть?

Согласен: есть еще и неравенство, и подлость, и мздоимство, — а вы хотите, чтоб вам был рай готов? Гарибальди Италию освобождает, в американских штатах белые воюют с белыми же рабовладельцами, негров от гнета избавляя, — так действуют настоящие люди, желающие лучшей и справедливой жизни! Вспомните пятерых повешенных на Сенатской: не прошло даром их дело, обязаны мы им!

(Один подлец, отказавшийся подписать петицию, чтоб Дмитревского оставили в университете, заявил, что причина моих взглядов — богатство, происхождение и пр. Мол, достоинство тебе по карману, совесть мучит потому, что не мучит желудок. Думаешь об общем благе, ибо нет нужды заботиться о благе личном. А бедняк спор выгоды с совестью решает в пользу жизни своей семьи. Благородство возвышает богача среди себе подобных, ему достигать нечего, он наверху; а бедняку выбиться в люди, занять место по способностям, не хуже других, можно лишь ничем не брезгуя...)

Если б каждый вместо нытья сказал всю правду вслух, сделал бы все, что мог — уж рай настал бы! Ведь

мерзость-то вся — она же только нашим молчанием, нашим смирением сильна; мы б ее давно смели. И должны смести. И сметем!

А будет сопротивляться сильно — прав Дмитревский, любыми средствами надо бороться за правду и справедливость. Надо — так и огнем и мечом, не боясь жестокостей Французской революции...

23 года. Наказание добродетели.

А как-то все-таки странно: лучшие места получили совсем не самые способные и заметные из нас. Сколько обещающих юношей, блестящих умов, бьющих через край энергий — где же они? влачат самые рядовые обязанности. А места, свидетельствующие о признании, раскрывающие перспективы, требующие, казалось, наибольших качеств, заняты сравнительно незаметными и заурядными... Ну — связи, деньги, продажность; но когда и нету этого — все равно: неясным образом сравнительные серости преуспели больше звезд (?).

Вспоминаю наших профессоров... многие студенты к концу курса были и умнее большинства их, и образованнее, и куда лучше говорили. Как вышло, что именно они в чинах и званиях? ведь и на их курсах учились промежути более достойные — где они, как?

Во мне не говорит обида, я лично ничем не задет, никому не завидую, роз под ноги и не ждал; я просто понять хочу. Конечно: блестящий ум часто сочетается с самолюбивым и несдержанным характером — это мешает, таких людей стараются избегать, отодвигать, они наживают влиятельных врагов. Но даже если они скромны, вежливы — все равно! тем легче теряются...

Мое место незначительно, обязанности несложны, я делаю больше положенного не из корысти — а просто могу много больше, да и работать плохо неинтересно. Кругом же валаандаются спустя рукава, поплевывают — и припевают! А мне чуть что — выговаривают...

Ладно, обошли повышением, не нужны мне эти копейки и фанаберия, — несправедливость обидна. Даже не она: дико, вредно для дела, неправильно! — ты хочешь работать хорошо, а тебе не дают.

Кому плохо, если я буду работать в полную силу? да за то же самое жалованье? Если я могу делать больше, лучше, разумнее — так повысьте меня, дайте возмож-

ность использовать все силы — вам же во благо, — людям, обществу, делу, начальству тому же, — ведь работа подчиненных им же в заслугу идет! Не повышаете — так хоть на моем месте дайте мне работать, пойдите навстречу — если вам это нетрудно, ничего не стоит, а польза дела очевидна! Ладно, не помогайте, — так хоть не мешайте, не суйте палки в колеса, не бейте за то, что работаю лучше других!

Бред: я стараюсь работать хорошо во благо, скажем так условно, своему учреждению и начальству. А учреждение и начальство наказывают меня, требуя, чтоб я работал плохо — как большинство.

Кто работает «как все» (плохо!!) — ими довольны и повышают в должностях. А кто хорошо — бедствуют. Честно борешься с недостатками — ты же и виноват. А кто недостатки эти умножает — оказывается прав. Хотя сам на эти недостатки жалуется! хотя ему самому эти недостатки мешают! не понимаю...

Какова же эта поразительная антилогика, что наверх идут заурядности? Кому это выгодно, зачем, почему?..

Известно: новое, лучшее — утверждает себя в борьбе с отжившим, и вообще — чем больше хочешь совершить, тем больше трудностей надо преодолеть; так. Но — кто тут друзья, кто враги, каковы их мотивы?.. Ясно бы враждебный департамент, противная точка зрения, конкурент на место; но откуда упорное неприятие, неприязнь коллег и начальства, когда я хочу что-то делать лучше, по-новому, больше — для нашего общего дела?

... Да, брат: одно дело знать, что путь добродетели усыпан не розами, а терниями, а совсем наоборот — по ним идти. Что ж — кто ж из известных людей жил и пробивался без трудностей. Вид пропасти должен рождать мысль не о бездне, а о мосте. Одно мучительно: на словах-то все тебе союзники, а вот на деле... Ну, Дмитревскому еще куда труднее, чем мне. Как прозябает, бедный, светило наше.

25 лет. Жизнь несправедлива.

Меня не то гнетет, что в жизни много трудного и несправедливого. Не то, что хорошие и добрые люди часто незаслуженно страдают. Не то, что зло подминает добро. Это бы все ерунда... сожмем зубы в борьбе и победим! Я молод, здоров, я не знаю, куда приложить

бьющую энергию, я чувствую в себе силы совершить что угодно, добиться всего, одолеть все; клянусь — я могу!..

Другое меня гложет, гложет непрестанно, иссасывает душу, подтачивает веру. Если несправедливость царит в отдельном случае, меж отдельными людьми, в отдельном месте, в отдельную эпоху, наконец, — с ней можно и должно бороться. Будь настоящим бойцом, сильным, умелым, упорным — и ты победишь: победит правда и добро. Но так ли, так ли устроен мир, чтоб они побеждали?..

Я чувствую себя по возможностям Наполеоном — но что, что мне делать, скажите! я не знаю! В чем смысл всего? как добиться торжества истины? возможно ли оно вообще? и что есть истина? Я смотрю вокруг — это бы ладно, но я смотрю в историю — и безнадежность охватывает:

Древние греки, гармоничные эллины — приговорили к смерти Сократа! Не успел умереть Перикл, покровительствовавший Фидию — и Фидий гибнет в темнице! Да что Фидий — царь Соломон, мудрейший Соломон — первое что сделал, придя к власти, — приказал убить родного брата, чтоб устранить возможного конкурента! Англия, твердят, демократические традиции, — а не Англия уволила с флота славного Нельсона, и за что? пытался мешать ворах растаскивать казну империи! Битвы выигрывал он — главные награды получали другие. Не Англия ли казнила свою славу — Томаса Мора, светлейшего из людей? Колыбель свободы, Франция? что ж ничтожный король и французы оставили на сожжение Жанну д'Арк, свою гордость, освободительницу, святую? А поздней? Дантон, Марат, Робеспьер, Демулен — все лучшие срублены! Наполеон — умер в ссылке. Цезарь — убит своими. Данте — умер в изгнании. Наш Пушкин — убит на дуэли. И несть конца, несть конца! вот убит ничтожеством Линкольн! вот что изводит душу!..

Неужели извечны горе и гибель лучших людей? торжество зла? и если хочешь нести свет и добро — будь готов к цене ковра, меча, креста? И это бы меня не испугало, не остановило, — знать бы, что после смерти истина моя восторжествует. Но ведь те же самые, благонамеренные и послушные, которые лучших людей изгоняли и убивали, — после возводили их в святые, и продолжали уничтожать еще живых. Разврат и продажность Ватикана — это что, торжество дела первомучеников? Сожжение еретиков, которые ту же Библию на родном

языке читали — это милосердие христианства? И после этого вы мне предлагаете верить в бога? Не могу я в него верить.

... Либо мир устроен неправильно, либо мои представления о нем неправильны. Но ведь за торжество и победу этих представлений лучшие из лучших жизнью жертвовали! вера в добро вечно живет!

Две истины есть в мире: истина духа — и истина факта. Истина того, у кого в руке в нужный момент оказался меч, — и истина того, кто не дрогнув встречает этот меч с поднятой головой. Один побеждает — второй непобедим. И две эти истины, каждая права и непоколебима по-своему, никогда не сойдутся...

Это как клещи, две неохватные плоскости — небо и земля, твердые, бесконечные, плоские: сошлись вместе, давят меня, плющат, темнеет в глазах, не вдохнуть, тяжело мне, темно, безысходно...

А Дмитревский в ссылке. За то, что добра хотел сильнее, чем мы все! «Противозаконно»... ведь цели его и Закона одни: счастье, справедливость... Безнадежно: везде филеры, сыск, тайный надзор...

27 лет. Так создан мир.

Представим:

Пустырь. На одном его краю — карета. На другом — десять человек. Сигнал! — они бегут к карете. Кто же поедет в ней? — тот, кто лучше правит? Нет — тот, кто быстрее бежит. Кто сумел обогнать, растолкать всех; а ездить он может весьма плохо.

Так во всем. Любая вещь принадлежит не тому, кто наиболее способен ею распорядиться, а тому, кто наиболее способен ею завладеть и удерживать.

Поэтому «высокий чин» сплошь и рядом — посредственность и заурядность во всем, кроме одного — он гений захвата и удержания своего поста. Все его помыслы направлены именно на это, а не на свершение дел. И, естественно, он достигнет и сохранит пост гораздо вероятнее, чем тот, кто, будучи даже более умен — и несравненно более способен распорядиться постом, — энергию направит на свершение дел, а не сосредоточит единственно на удержании поста.

Преимущества карьериста очевидны: каждый его шаг подчинен захвату цели. Любое действие он рассматривает

только под этим углом целесообразности. Все, что способствует захвату цели — хорошо, что не способствует — ненужно, что мешает — плохо. И будет всем доказывать, что именно он достоин владеть, все силы направит на пресечение чужих домогательств, на создание мнения, видимости, положения — таких, что его не скывырнешь. А дело он делает лишь так и лишь настолько, как полезнее для удержания поста, а не для самого дела.

Это первое. А второе:

Два человека, равно умных и энергичных. Разница: первый порядочен и добр, а второй способен на любой, самый злой поступок.

Кто вернее достигнет трудной цели? Второй.

Почему? — Потому что он в два раза вооруженнее, сильнее: он способен и на добрые средства, и на злые, а первый — только на добрые. Из всех возможных поступков для первого возможна только одна половина сферы, а для второго — вся сфера, весь арсенал.

Могут сказать, что это дурно. Но разве я и сам так не считаю?.. Могут сказать, что этого не должно быть. Но разве я виноват, что так есть? Могут сказать, что это несправедливо. Это так же несправедливо, как землетрясение: худо, а не отменишь, негодовать бессмысленно, а замалчивать вредно — надо знать о нем больше, чтоб как-то существовать, приспособливаться, спастись.

Вот поэтому добродетель всегда будет в рабстве у порока, благородство — у низости, ум — у серости, талант — у бездарности, ибо слабость всегда будет подчиняться силе.

А победитель всегда прав. Ибо через его действия и происходят объективные законы жизни, природы. А жизнь, природа — всегда права. Жизнь — она и есть истина: она — данность, кроме нее ничего нет. Ошибаться могут лишь наши представления о ней.

Возразят: пошлость мысли... Спросят: а как же мораль и бог? Но в бога я не верую, а мораль понял...

[Отчего, говорите, мораль и совесть противоречат личной выгоде?

Ответ первый: чтоб люди вовсе не пожрали друг друга; в обществе необходим порядок, правила нравственности и поведения.

Ответ второй: мораль нужна сильному, попирающему ее — чтоб подчинять себе слабого, верящего в нее и следующего ей.

Это — пошло, общеизвестно, зло. Но вот третье:

Диалектика мудрого Гегеля: единство и борьба противоположностей. Жизнь и смерть, добро и зло, верх и низ, красота и уродство — одно без другого не существует, как две стороны медали: одно тем и определяется, что противоречит другому.

Где есть реальность — там есть и идеал. Это единство противоположностей. Мораль — это идеал реальности. Она вечна, как вечна реальность, и недостижима реально — ибо есть противоположность реальности.

И четвертое:

Опять Гегель: любая вещь едина в противоречии двух своих сторон, противоречие вещи себе самой — свойство самого ее существования, закон жизни. В организме процессы, необходимые для жизни, одновременно тем самым приближают организм к смерти. Ходьба затруднена силой тяжести, вызывающей усталость, — но ею же делается вообще возможной, давая сцепление с землей.

Жить — значит чувствовать. Чувство — это противоречие (обычно неосознанное) между двумя полюсами: имеемое и желаемое, хотение и долг, владение и страх потерять, лень и нужда, добро и зло, голый прагматизм — и запрет «скверных» средств, пусть и вернейших для достижения цели.

Совесть и выгода — это единство противоречия. Это две мачты, растягивающие парус — чувство: доколе он несет — это и есть жизнь. А инстинкт диктует жить, т. е. чувствовать, т. е. иметь это противоречие.

Это противоречие в душе человеческой постоянно. И чем сильнее, живее душа — тем сильнее оно! (Недаром великие грешники становились великими праведниками.) Каждый не прочь и блага все иметь — и по-совести поступать. Выгоде уступишь — мораль скребет, морали последуешь — выгода искушает. Отказ от выгоды — сильное чувство, переступить мораль — еще более сильное. В чувствах и жизнь.

Люди — разные: один уклонится в выгоду, мораль вовсе отринув, другой — в праведность, выгоду вовсе презрев; но это крайности, а жизнь вся — между ними...

А насколько следовать морали — натура и обстоятельства сами диктуют.

Конечно, мои рассуждения философски наивны, но каждый ведь для себя эти вопросы решает.]

Везде в жизни действует закон инерции — стремление сохранить существующее положение. Это не плохо: во-первых, это так, потому что так мир устроен, во-вторых — это инстинкт самосохранения. Общество, скажем, инстинктивно, по объективному закону, не зависящему от сознания и воли отдельных людей, — стремится сохранить все то в себе, с чем смогло выжить, развиваться, подняться до настоящего уровня цивилизации и на нем существовать. Время произвело беспощадный отбор, и выжило то, что оказалось наиболее жизнеспособно, т. е. верно для жизни и развития людей в обществе.

А сколько в веках прожектеров, авантюристов, ниспровергателей! Послушать их, последовать всем их заманчивым проектам — человечество не могло бы существовать: они противоречат друг другу, придумывают немыслимое, выдают желаемое за действительность, обещая быстро и легко переделать мир. Что будет, если человечество будет следовать за ними всеми? — анархия, развал всего, что с таким трудом достигнуто за века и тысячелетия, упадок, гибель.

Сама жизнь отбирает из их прожектов реальные.

Поэтому первая и естественная реакция общества на такого гения — обострение инстинкта самосохранения: придавить его, чтоб не разрушал. Каждый, кто высовывается над толпой — потенциальный враг общества, угрожающий его благоденствию. Любая система стремится к стабильности, а гений — это дестабилизатор, он стремится изменить, и система защищается — как в естественных науках. Он говорит, что для нашего же блага? все так говорят! дави их всех, а жизнь после разберется, кто прав. Что ж — после некоторым ставят памятники...

Каждый, кто хочет блага обществу — должен быть готов пожертвовать собой во имя лучшего будущего общества, будущего блага... Но и в будущем обществе точно так же подобных ему благородных саможженцев будут давить и уничтожать — вот в чем трагедия! Ибо развитие непрерывно, бесконечно, доколе жизнь существует. Ничто в принципе не меняется...

Значит, ждать награды за добро нечего. Хула и травля наградой благородным и мятущимся действенным умам. Да посмертная слава. Да улучшение жизни после их смерти — если они окажутся правы. Но какое улучшение? — такое, в каком среднему человеку, стаду, будет сытнее и привольнее, — а страсти-то останутся те

же, несправедливости те же, лучших, избранных — тра-
вить будут так же.

Стоит ли, понимая все это, жертвовать собою ради
такого положения вещей?

Каждый решает это для себя сам...

Но я — Я — не чувствую в себе сил, веры, самоот-
верженности класть свою жизнь на алтарь служения че-
ловечеству, — ибо это не алтарь никакой, а камень до-
рожный под колесом истории. Человечество катит в ко-
леснице, а лучшие из лучших мостят дорогу под колеса
своими костями. Им поют славу и сошвыривают под ко-
леса новых народившихся лучших людей, чтоб ехать и
петь дальше: ровней дорога, больше еды, теплей солнце,
а суть-то все та же самая...

Вот как это все устроено...

Я обыкновенный человек, и хочу всего обыкновенно-
го: и достатка, и всех благ людских, и всех мирских ра-
достей... нет во мне фанатизма жертвовать собой.

А не жертвовать — значит отказаться от лучшего, что
есть в твоей душе. От самого высокого и достойного.
Измельчиться. Жить ничтожнее, нежели ты способен...

30 лет. Здесь мое место.

Как дошел я до жизни такой? Да, я мечтал об истине,
имел идеалы, хотел жить по совести, — но, в общем,
никогда сознательно не избирал мученичество. Как путь
мой завел меня к нему?.. Я ведь такого не хотел... Духу
столько не было, чтоб решиться, выбор сделать, созна-
тельно пойти — а вот...

Да разве десять лет назад поверил ли бы я, решился
ли бы — если б от меня потребовалось стать нищим,
состарившимся, одиноким, изгнанным, только что подая-
ния не прошу — и то! и то! даст порой кто, на нищее
платье мое глядя, крендель или гривенник — и беру! и
стыд-то перестал испытывать! Да я ведь по миру пошел,
Христа ради пошел, куда ж ниже!

Как же вышло, что благородные побуждения юности
завели меня на рубеж, дальше которого уже и нет ниче-
го?! Ведь действительно получилось, что я своим убеж-
дениям всем, всем пожертвовал — ничего в жизни не
имею, гол, как праведник!

Сам-то я знаю, и клянусь, что не настолько же я был
подвержен поиску истины, служению справедливости,

чтоб за них умереть в цвете лет нищим под забором! — а вот умираю нищим под забором.

А самое парадоксальное — за что? Ведь я совсем не тот, что был в двадцать лет, и нет у меня уже тех святых и наивных убеждений, что тогда были! нету! жизнь их вытоптала, выбила, развеяла. За что же я страдаю и гибну? Я ниц — а нищету ненавижу! Праведен — а праведность презираю! не хочу я ее, само собой это получилось. Не делаю ничего — а бездельников не переносу, хочу дела, мне не хватает его, мне деятельность требуется.

А какая? Ради куска хлеба? — мало, скучно, труда не стоит. Ради мелкого достатка? Нет; меня лишь большое удовлетворит.

Значит — добиваться, рвать, идти вперед, вверх...

... Так зачем же человек вступает на путь карьеры — если заранее предвидит все издержки и горести? А ведь вступает...

Человек большой карьеры счастлив — на самый поверхностный взгляд. На взгляд более углубленный — доля его тяжка:

Семья ему не отрада. Женится обычно по расчету. Дети растут чужими. У него нет настоящего домашнего очага — блеск особняков в беде не согреет, выгодная жена в горе не утешит. Вот его любовь.

Любовница? красива и молода — из денег и выгод. Бросит его первая чуть что, продаст, сменит на лучшего при удобном случае.

Деньги? куда они ему — и имеющихся-то не потратить. А вот и старость: здоровье ни к черту, ходит с трудом, ест по диете, хмур и мрачен, — что радости в миллионах?..

Слава? в глаза-то льстят, за спиной плюются. Помрет — и слезы не проронят: собаке собачья смерть. Презрение и ненависть.

Дела его? Нет никаких дел, одна суэта и видимость.

Положение? Жри все время других, и бойся, что они сожрут тебя.

Отдых, безделье? Тоже нет. Ведь заняты все время, что-то делают, устраивают, договариваются, ни часа свободного, устают смертельно, здоровье гробят, в могилу сходят раньше времени.

И хоть бы радость, счастье в этом имели — так ведь тоже нет! Озабочены, насторожены, вечно козни подо-

зревают, угрозы своему положению; тяжело им, хлопотно, невесело.

Делают что хотят? — и вовсе нет! Рабы они своего места, делают только то, что выгодно месту — удержать; чтоб начальство не осердилось, подчиненный не подси-дел. За рамки эти жестокие — не вышагнуть!

Почему же не выйти в отставку, не отдохнуть на покое, наслаждаясь плодами долгого труда и праздностью?

Во-первых — не очень-то и дадут. За долгую карьеру врагов много себе нажил, и как власти лишится — за все ему отомстить могут, в клочья разорвать, лишить последнего, в гроб загнать, а семью пустить по миру. Уйти с поста — самому себя зубов лишит, которые нужны нажитое охранять и врагов сдерживать. Затянуло колесо, горят глазами волки, назад хода уже нет.

Во-вторых, нелегко на старости лет резко снижаться в глазах людей, в весе, в образе жизни. Был почет — а тут могут и руки не подать, не узнать бывшие подхалимы. То семье твоей кланялись все — а тут она обделенной себя чувствует, обедневшей, чуть не нищей, униженной.

В-третьих — а ведь никакой другой радости-то в жизни, кроме службы на посту высоком, и не осталось уже! Ведь всю жизнь себя к одному-единственному приспособлявал — карьеру делать; этому всем жертвовал, все подчинял, — куда ж теперь деться? Семья чужая, здоровья нет, желания все угасли, повыветрились, — вся-то жизнь в одном-единственном осталась, сосредоточилась: лишняя награда, благодарность начальства, хвала подчиненных, уверяющих тебя в мудрости и величии твоем. Этого последнего лишится — что ж тогда вообще в жизни останется?..

А самое главное — человек должен стараться делать самое большое, на что он в жизни способен. Это закон жизни. Трудно, как трудно дойти до вершин в карьере, еще труднее бывает там удержаться. Все силы, все помыслы на это, всей жизнью своей на это себя натаскивал; это — смысл жизни карьериста.

И это главное, этот закон жизни побуждает меня пойти по стезе карьеры. Я себе иллюзий не строю: я в тридцать лет эгоист и нигилист законченный. Ни во что не верю и кроме собственного блага и удовольствия ничего не желаю.

Куда ж мне податься, кроме служебной карьеры? Никаких особенных талантов у меня нет, искусства и науки того не дадут, что служба; не торговлей же деньги сколачивать: почет не тот, престиж не тот; да и я много умней, образованней торгашей — чего ж способностям моим зря пропадать?

А настоящая карьера — всех сил, всех способностей требует. И актерских, и памяти, и работоспособности, и внешних данных, и характера, — здесь я всего себя приложить смогу.

Зачем? — А зачем все?.. Тогда все бессмысленно. Нищий гений писал картины — а ими услаждаются тупые богачи; где смысл? А в том, что я сказал: максимально прикладывать в жизни все свои силы.

Зачем? Затем, что прозябать в нищете и унижении я далее не могу. Я не имею средств содержать семью, у меня нет приличного платья, я питаюсь от чего отставной инвалид отвернется. Друзья мои вышли наверх и меня не узнают, молодость пропадает впустую, люди, несравненно ниже меня по уму, образованию, душе, — спесиво унижают меня на каждом шагу; я не могу так больше!!

Я страдаю от моего положения, страдание это доставляет постоянную и мучительную боль, боль вызывает злобу на всех: кто выше, потому что я по качествам личности своей лучше их; кто рядом — потому что я не ровня этим мелким сошкам, тупым обывателям; кто ниже — свиньям и рабским созданиям, грубым, пьяным, не желающим ничего, кроме сытого пьянства в своем хлеву.

О, рядом с ними люди карьеры — это герои, сверхчеловеки! Они могущественны, умны, энергичны, приятны в общении! У них довольно ума, чтоб понять лживость и фарисейство морали, смеяться над этими бреднями для бедных дураков. У них довольно силы и энергии работать непрестанно, довольно мужества, чтобы прокладывать себе путь там, где никто никому пощады не дает. У них достаточно бодрости и веселья, чтобы никогда не унывать, не жаловаться, подниматься из падения с улыбкой и снова шагать наверх.

Жизнь — борьба: вот они борются и побеждают.

Где бедняк плачет — человек карьеры стискивает зубы. Где бедняк проклинаяет — человек карьеры смеется. Где бедняк обвиняет весь мир в своих бедах — человек карьеры холодно делает себе урок из собственной ошиб-

ки. Он знает, что все люди — враги, и во всем можно обвинять только себя самого: плохо рассчитал, слабо добивался.

Рядом с бедняком я сам чувствую, что становлюсь смиреннее, слабее, мельче; рядом с человеком карьеры я словно подзаряжаюсь его энергией, оптимизмом, жесткостью, сознанием достижимости любой цели.

Кто же достойнее: кто видит жизнь в истинном свете и живет по ее законам — или тот, кто не желает снять розовые очки и отягощает всех своими сетованиями? Тот, кто имеет силы повелевать — или тот, кто в слабости подчиняется? Тот, кто может сделать что угодно — или тот, кто не может сделать даже собственное скромное благополучие? Кто имеет ум обманывать — или кто имеет глупость обманываться? Кто равнодушно принимает поклонение, презирая льстецов, — или кто подобострастно кланяется, смиряя свою ненависть?

Только тот, кто стоит высоко, имеет возможность что-то совершить в жизни, влиять на нее. Иначе — затопчут тебя вместе с твоими благими намерениями и предложениями. Ведь каждый в жизни охраняет собственное благополучие и интересы — поэтому надо быть сильным, чтобы совершить что-то. А сила в человеческом обществе — это власть и деньги.

Власть же по плечу только сильным. Повелевать людьми, внушать другим свою волю, добиваться исполнения ее — это тяжкий труд, далеко не каждому посильный. Это особый склад натуры; слабого такой груз отпугнет, оттолкнет.

Только имеющий власть может что-то изменить, улучшить в обществе: он имеет для этого средства. Это мог император Петр, а вот чиновничек благодушный ни шиша не может изменить.

Вот и получается, что куда ни кинь — но если ты личность сильная, энергичная, богатая, — то никуда, кроме карьеры, тебе не податься. И добро творить — надо для этого возможностей, власти творить его добиться, и личное благо урвать — опять же карьера, если не стезя тебе торговать, подкупать полицию и подличать перед всякой властью униженно; а это не по мне.

Что ж; я потерял много времени для карьеры — но имею сейчас много опыта, целеустремленности, рассудительности. Еще есть время все наверстать. Да

и — с самого низа как куда ни пойдешь — все наверх выйдет.

Что ж мне, как Дмитревскому, в каторгу идти? Не хочу. Чего ради? Ах, Дмитревский, слушал я тебя некогда, да не послушал ты меня... Один ты был друг у меня... Что бы я ни отдал сейчас, чтоб вызволить тебя, помочь... Вот опять же: сила нужна для всего: имел бы я сейчас власть, влияние — и твою бы участь облегчил... Дитя мое наивное... Иной мой путь теперь, иной. Авось когда еще свидимся — сам поймешь, что за мной правда: за жизнью...

Глава вторая

ПУТЬ НАВЕРХ

Скромный чин. Вхождение.

изнутри:

1. Полное подчинение всех страстей и желаний воле и рассудку.
2. Готовность на любые средства и поступки во имя цели.
3. Постоянный анализ поступков: разбор ошибок, учет удач.
4. Крепить в себе самообладание, терпение, волю, веру в успех.
5. Приучиться видеть в людях шахматные фигуры в твоей игре.
6. Гольй прагматизм, избавление от совести и морали.
7. Овладение актерством: убедительно изображать нужные чувства.
8. Готовность и стойкое спокойствие к взлетам и неудачам.
9. Готовность и желание постоянной борьбы в движении к успеху.
10. Целеустремленность, равнодушие ко всему, что не способствует успеху.
11. Постоянная готовность использовать любой шанс, поиск любого шанса.
12. Беречь здоровье — залог сил, выносливости, самой жизни.

снаружи:

1. Позаботься о первом впечатлении от себя: оно многое определит.
2. Будь опрятен, аккуратен, подтянут — но без щегольства и претензий.
3. Будь скромнен. Не заводи разговора первый. Не вылезай вперед.
4. Не выделяйся. Не будь первым ни в чем. Держись в тени.
5. Будь ровен, тих, неприметен, не весел и не грустен. Разделяй общее настроение — искренне, но скромно. Не раздражай веселых своим унынием, а хмурых — весельем.
6. Не проявляй инициативы. На работу не напрашивайся, от работы не бегай. Исполни добросовестно и в срок — не лучше всех.
7. Ты не должен давать никаких поводов для зависти или жалости — ни достатком, ни успехами, ни перспективами, ни здоровьем. Помни: пока ты мелок и зависим от всех, тебе опасна неприязнь любого, нужно добиться доброго к себе отношения от всех.
8. Начни общение с человека маленького, забитого: он станет предан тебе бескорыстно во всем.
9. Не имей врагов. Не участвуй ни в чьей травле, если не уверился в ее полной для себя безвредности — и только если она необходима тебе для союза с другими.
10. Не излишне часто спрашивай совета в работе, выражая неуверенность, что сможешь достигнуть мастерства имярек: это располагает к тебе, говорит о значительности спрашиваемого и незначительности, но разумности, доброте, скромности твоей.
11. Изучай, изучай и еще раз изучай коллег и особенно начальство. Делайся преданнейшим другом человеку наиболее влиятельному и перспективному.
12. Будь собранием всех добродетелей — не подчеркивая, лишен всех пороков — неприметно; ты должен добиться, чтобы коллеги любили в тебе человека доброго, неглупого, отзывчивого, порядочного, приятного — но неконкурентоспособного и малозначительного.
13. Не торопись. Промах в начале пути особенно тяжело исправим.

Сносный чин.

Библиотека честолюбца:

«Никогда не быть бедным».

Князь Талейран.

«Полное подчинение всех страстей и желаний воле и рассудку».

Наполеон.

«В общество надо вкрасься как чума или врезаться как пушечное ядро. Смотрите на людей как на лошадей, которых надо загонять и менять на станциях».

Бальзак.

«Начальник есть богом данное начальство».

Козьма Прутков.

«Лишь раболепная посредственность достигает всего».

Бомарше.

«Умными мы называем людей, которые с нами соглашаются».

Вильям Блейк.

«Для успеха по службе были нужны не усилия, не труды, не храбрость, не постоянство, а нужно было только умение обращаться с теми, кто вознаграждает за службу, — и он часто удивлялся своим быстрым успехам и тому, как другие могли не понимать этого».

Граф Толстой.

Изучайте человека

1. Внимательно наблюдайте: его лицо, фигуру, манеры и т. п. Физиономистика и психология — ваше постоянное оружие.
2. Узнайте о нем все: семья, прошлое, привычки, болезни, вкусы, увлечения, симпатии и антипатии, друзья и враги, дети и женщины, слабости и пороки, этапы карьеры, достаток, претензии, перспективы и т. д.

3. Старайтесь влезть в его шкуру, на все смотреть с его точки зрения, добивайтесь некоего слияния своей внутренней личности с его.
4. Думайте о нем постоянно, сопоставляйте, анализируйте, — лицо, возраст, фигуру, почерк, гороскоп, линии руки, обстоятельства рождения и женитьбы, привычку одеваться и т. п.
5. Сведите знакомство, лично или через чье-то посредство (слуг, родственников, коллег) с кем-либо из его близких, родных, друзей.
6. Узнайте там, где он служил ранее, каков он был в иной роли и иных обстоятельствах.
7. Пользуйтесь каждой возможностью — и создавайте эти возможности сами, но незаметно — узнавать его мнение обо всем, и прежде всего — о нем самом: косвенно это явствует из всех его высказываний.
8. Узнав о каком-то событии, старайтесь предугадать, вычислить его реакцию на это событие. Ошибки анализируйте, уточняя себе образ и характер этого человека.
9. Главное, что надо знать о человеке:
 - а) чего он больше всего хочет, не хочет, любит, боится, уважает, презирает;
 - б) каков он на самом деле, каким он сам себя представляет, каким его представляют другие, какими он представляет других;
 - в) как, познав его, вызвать его любовь, ненависть, уважение, презрение, гнев, умиротворение, благодарность, страх, жалость.
10. И постоянно развивайте в себе интуицию, наблюдательность, умение сопоставлять и делать заключения, предвидя ситуацию.

Пристойный чин.

Начальники.

1. Сделавший карьеру с самого низа, трудно и медленно, в тяжелых условиях, сам всего добившийся, — умен, жесток, безжалостен, требователен, все может понять — но не снизить. Не склонен прощать промахи. Грубую лесть не приемлет — это средство ему знакомо, с ним дает обратный эффект. Услуги и подарки принимает охотно, но благодарности не испытывает. Наиболее

трудный тип: ведь то, что ты сейчас делаешь, ему знакомо по собственному опыту.

Средства: образцовое исполнение своих обязанностей. Работа сверх меры, но без рекламы: Точное исполнение приказов, демонстративная безжалостность к себе и подчиненным. Изображаемый тип: ревностный служака.

2. Подлипала: сделавший карьеру снизу, прислуживая тянувшему его за собой хозяину. Наилучший тип — максимально предсказуем в действиях и реакциях: чванлив, заносчив, самолюбив, самодоволен, необразован, глуп, труслив, избегает инициативы и ответственности. Хорошо реагирует на неумеренную лесть. Подарки принимает как должное. Раболепие обожает. Опасность: хитер, осторожен, нерешителен, переменчив. Ревнует к вниманию своего хозяина. Слабость: робеет перед твоей связью с высокой персоной — дошедший до него слух об этом способен творить чудеса.

3. Выскочка: быстро взошел снизу благодаря случаю, обстоятельствам, удаче. Неплохой тип: не успел слишком озлиться в борьбе, самоуверенность (от успехов) перемежается с неуверенностью (от недостатка знаний, опыта; привычки к своему положению). Благодарен за почтительную помощь и поддержку снизу: особенно ценит «даримые» идеи, сделанную подчиненным за него работу и т. п. Очень признателен за уверения в его полной компетентности, хвалы необычайным способностям, позволившим сделать быструю карьеру: может возражать, но душой жаждет убеждений в этом: Угодливости, дорогих подарков конфузится, не любит. Предпочитает подчиненных компетентных, с чувством собственного достоинства — при условии, что они умеют поставить себя ниже его. Способен на жалость, порыв, благородство, сочувствие: может войти в положение.

4. Высокопоставленный болван: солдафон, тупым усердием выслужившийся в генералы. Средство: беспрекословное подчинение в подражательном стиле. Будучи честным идиотом, он может сам рекомендовать вас выше. Если нет — перепрыгивать или огибать его, завязывая отношения с начальством через его голову.

5. Высокопоставленный бездельник: по происхождению баловень судьбы. Всю его работу мягко взять на себя — это он особенно ценит. Легко прибирается к рукам, ему можно внушить что угодно. Слабоволен, ибо более всего ценит покой и веселье. Изменчив, легкомыс-

лен, непредусмотрителен. Подчиненных думает что любит, хотя их не знает. Способен на благородные порывы — но и на полные низости. Ощущает себя настолько выше сортом подчиненных, что умиляется своей добротой, говоря с ними как с равными.

6. Сынок с хваткой: отпрыск могущественного лица, карьера которого намерена взойти к самым звездам, молодой богач с огромной перспективой. О! — за его спиной можно подняться ввысь, в него надо вцепляться, как блоха в собачий хвост, этот начальник может быть судьбой на всю жизнь. По неопытности и безнаказанности склонен к ошибкам. Ошибки эти брать на себя и других — прежде, чем он почувствует неловкость: не дать ему оконфузиться, на его ухабы подстилать собственную спину! Учить его — в форме вопросов, на которые сам предлагаешь варианты ответов, сомневаясь в своих действиях — и таким образом освещать ему весь круг проблем. Заранее готовить запасные варианты по его ошибочным приказам — чтобы в первый же миг представить их как естественно входящие в ваши обязанности. Внушать ему, что служить под ним крайне легко и приятно: он дает инициативу, позволяет расти, побуждает к наилучшим решениям — а это-то и есть идеальный начальник: и посоветуется, и похвалит, и зажжет своей молодой энергией.

7. Пустое место: малоспособен, бесхарактерен, тих, добр, мягок, — сделал карьеру волею начальников, случайностей, отсутствием под рукой более подходящих кандидатов — за свое согласие со всеми, порядочность, отсутствие злых слухов, проступков и врагов, за хороший послужной список. Самой судьбой предназначен, чтоб выдти его до конца и при возможности съесть. Основная черта — неспособность к организованному сопротивлению: податлив, робок. Обязывать его благодарностью, апеллировать к справедливости, демонстрировать свои вознагражденные добродетели. Прибирается к рукам полностью. Особенно ценен тем, что сам же будет хлопотать за тебя в верхах. Опасность: слабый характер, постоянно понуждаемый, может дать взрыв, подсознательно стремясь к освобождению. Не терять с ним бдительности, не пережимать, чтоб его деликатность всегда перевешивала внутреннее раздражение: пусть злится, но делает то, что тебе надо. Будь почтителен и осторожен — он злопамятен на обиду. Но даже не любя тебя, поступает так, как диктуют его представления о порядочном человеке, каковым

он себя считает прежде всего. Поэтому с ним хорош полный диапазон: от слезных мольб до жесткого требования своих прав. Его возможный отказ заранее можно парировать заявлением, что он откажет из личных чувств: этого он стесняется и поступает согласно вашей просьбе и даже в ущерб собственным интересам.

8. Отыгравшийся: уже готовится к отставке и пенсии. Слегка зол, что не достиг большего, печален, что конец. А). Подумывает о преемнике, о своей доброй памяти. — Умильно перенимать его опыт, на словах от преемничества отказываться, плакать о его доброте, незаменимости, мудрости. Б). Махнул на все рукой — «после нас хоть потоп». — Исподволь брать все вожжи самому, выполнять работу свою, его, — пусть себе бездельничает всласть. В). Самодурствует под конец. — Незаметно смягчать его приказы, облегчая участь прочих подчиненных, а ему хвалить его энергию: пение хвалы и полный саботаж с прицелом на то, чтоб удовлетворить своей деятельностью вышестоящее начальство.

9. Застрявший: давно рассчитывает на повышение. А). Всеми силами толкать его наверх, помогать ему, организовать кампанию по его выдвижению. — Либо займешь его место, либо он потащит тебя за собой. Б). Желание его выдвижения сделать видимым предлогом для своей активной деятельности — и использовать как отвлекающий момент, чтоб обойти по службе этот вросший пень.

10. Пониженный: видал лучшие виды, обижен, желчен, страдает, надеется вернуться обратно в высокие сферы. В тонкости дела не вникает, привык к иному размаху. Убеждать его в достоверных известиях об его скором повышении, петь дифирамбы, клясть несправедливость. Аналогично номеру девятому.

Изрядный чин.

Искусство лести:

1. Лесть должна казаться человеку правдой. Необходим индивидуальный подход: знать, каким человек считает себя сам — и каким он хочет себя считать.
2. Умелая лесть — сильное и безотказное средство.
3. Любую лесть проглотят тогда, когда уверены в вашем уме, доброжелательности, компетентности, бескорыстии.

4. Дураку годится и самая грубая лесть, граничащая с издевкой.
5. Умный и опытный, заметив лесть, настораживается и не доверяет вам более; лесть — это агрессия на коленях; умному надо льстить тонко и точно.
6. Лесть должна быть уместной — гармонировать с ситуацией и настроением.
7. Составляйте себе репутацию человека сдержанного, честного, нельстивого — тогда ваша лесть будет действовать сильнее и вернее.
8. Избегайте прямой лести — открытого восхваления и восхищения, если не убеждены полностью, что она уместна.
9. «Случайная лесть» — льстить за глаза так, чтоб человек «случайно» это подслушал.
10. «Косвенная лесть» — как бы передавать человеку мнение других, особенно тех, к кому он прислушался бы.
11. «Переданная лесть» — льстить за глаза близким ему людям, с расчетом, что они ему передадут.
12. Выражать желание когда-нибудь хоть приблизиться к его уровню достоинств.
13. Признаваться в доброй зависти: прямо — своей, косвенно — чьей-то зависти к его достоинствам и успехам.
14. Объявлять его примером для подражания: прямо — своим, косвенно — чьим-то.
15. Удивляться его мудрости, способностям, талантам и т. п. — без лестных слов.

Искусство клеветы:

1. Осуждать «нелепый слух», излагая его содержание.
2. «Защищать» человека от слуха, излагая таковой.
3. Рассказывать «по великому секрету» тому, кто разнесет, — выдумывая надежный и непроверяемый источник и открещиваясь самому.
4. Наводящими вопросами побуждать чьего-то врага допускать предположения, и затем ссылаться на сего врага, делая его источником.
5. Приписывать человеку глубокую скрытность, притворство, тайные умыслы: подозрение, не имея явной пищи, само начнет толковать нейтральные черты и поступки в пользу обвинения.
6. Вытаскивать такие истории из прошлого человека, где уже нельзя определить и доказать истину, и толковать факты в неблагоприятном свете.

7. Для реальных поступков человека находить низкие побуждения.
8. Приписывать ему зависть к собеседнику: этому верят особенно охотно.
9. Провоцировать его вопросами на неосторожные ответы и пересказывать их.
10. Заранее предсказать какой-то очевидный его поступок, представив его как следствие скверных, скрытых умыслов: сбывшись, такой поступок очень убеждает всех в правоте ваших суждений о нем.
11. Анонимные письма и доносы.
12. Подкупленные лжесвидетели, жалующиеся начальству, семье, друзьям и т. п.

Искусство интриги:

1. Интрига — это такая игра в шахматы, где сражающиеся на доске фигуры воображают себя игроками, а двигающий их игрок остается невидим и неизвестен, пожиная все плоды победы.
2. Искусство интриги состоит в том, чтобы определить нужных людей, знать, как они поступят при соответствующих условиях и обстоятельствах, и эти поступки соединить, как звенья, в цепь, идущую от вас к вашей цели.
3. Преимущество интриги состоит в том, что люди, несравненно более могущественные, чем вы сами, добиваются ваших интересов со всем напором, полагая, что действуют в интересах собственных.
4. Тонкость интриги состоит в том, что каждый участник действия лично заинтересован в своих поступках, руководствуется собственными желаниями и страстями, и двигает механизм интриги в нужном вам направлении — даже вопреки своей выгоде.
5. Безопасность интриги заключается в том, что вы сами делаете лишь первые один или несколько ходов, невинных, незаметных и безопасных, а ко всему дальнейшему не только не имеете отношения, но даже напротив — можете выбрать такую линию поведения, чтобы в глазах окружающих выглядеть безупречно и осуждать тех, кто тратит силы в неблагоприятных действиях, ведущих к нужной вам конечной цели.
6. Надежность интриги заключается в том, что главную цепь действий можно подкрепить целым рядом запасных

вариантов, а уязвимые узлы усилить дополнительно вовлекаемыми лицами.

7. Эффект интриги заключается в том, что в результате разных событий, к которым вы не имеете никакого отношения, вы получаете то, что вам нужно, сохраняя репутацию человека, который ничего не добивается и наверх не лезет.

8. Недоказуемость интриги в том, что лично вы не только ни в чем не можете быть признаны виновны, но и действительно не совершали абсолютно ничего неблагоприятного, да и вовсе ничего не совершили, ваши слова и поступки сами по себе не имеют ни малейшего значения, а за действия людей, которые вам не подчинены, от вас не зависят, которых вы ни к чему не подстрекали — напротив, возможно, предостерегали от того, что они стали делать далее, — вы за все это никак не можете отвечать.

9. Неотвратимость интриги в том, что вы в покое обдумываете все звенья и варианты, подготавливаете все действия незаметно для всех — а затем разом запускаете механизм, который люди уже не только не успевают остановить, но даже не могут увидеть целиком в совокупности всех частей, а видят лишь отдельные явления, внешне даже не связанные между собой.

10. Гарантия интриги в том, что у каждого человека есть слабые стороны, желания и страсти, грехи и мечты, каждый способен на какие-то предсказуемые шаги, каждого можно какими-то известиями и предупреждениями заставить сделать шаг, невинный и нетрудный для него сам по себе, но вызывающий чей-то следующий шаг.

Высокий чин.

Жри их всех:

1. Избавляться от всех конкурентов: явных, скрытых и потенциальных.
2. Ставить невыполнимые задачи.
3. Перегружать работой. При жалобах — не давать работы и наказывать за безделье.
4. Поощрять их ошибочные действия до полного конфуза и провала.
5. Рекомендовать их в чужие ведомства и даже искать им там места.

6. Постоянно задевать их самолюбие, изводя им нервы.
7. Постоянно дергать их по пустякам, не давая работать.
8. Стравливать их друг с другом.
9. Подавать им надежды, не выполняя обещанного.
10. При увольнении провожать с почетом, с хорошими рекомендациями — дабы все знали, что лучше уйти, чем остаться.
11. Если его работа ладится — передать ее другому.
12. Успехи замалчивать, недостатки раздувать.
13. Постоянно приводить им в пример работников явно худших.
14. Найти темные пятна в их прошлом и настоящем.
15. Известить, что его место обещано другому.
16. Провоцировать на грубость и проступки.
17. Оказать «доверие», которое невозможно оправдать и даст повод для выговора.
18. Возложить ответственность за явно невыполнимое дело.
19. Склонить к служебному злоупотреблению — и раскрыть с позором.
20. Захваливать настолько, чтобы он явно не оправдывал похвал.
21. Ставить его под начальство его врага или завистника.
22. Дать ему в подчинение бездельника — и упрекать за неумение справляться с подчиненными.

Не упусти свой:

1. Выгодная женитьба на деньгах, связях, положении.
2. Не раскрывать душу никому: никому нельзя доверять.
3. Не быть мстительным и злопамятным: это отвлекает силы от пути наверх. Напротив, великодушные располагают к вам.
4. Богатеть любимыми способами. Скрыть богатство легче, чем бедность. Деньги позволяют управлять людьми, покупая им нужные вещи, удовольствия, услуги, посты. Любое предприятие нуждается в деньгах; отсутствие их подрывает самый гениальный план, заставляет упустить порой единственный шанс.
5. Польза от обладания суммой должна покрывать вред вашей репутации, нанесенный способом, каким эта

сумма добыта: миллион покроем практически любые моральные издержки и откроет перед вами более дверей наверх, чем закрыло его приобретение.

6. Не будьте скарედны: умеете тратить много, чтоб получить больше.
7. Кажитесь щедры, но будьте расчетливы: скупость сохранит богатство, позволяющее щедрость, мотовство развеет его и уничтожит самую возможность щедрости.
8. Умейте внушать страх: люди ценят доброе расположение того, за кем знают силу и власть смять их, кого боялись бы иметь врагом, но пренебрегают тем, кто вообще добр и не может быть им опасен.
9. Всегда давайте подчиненным чувствовать пропасть между ними и собой. И только когда достигнете самых больших высот — иногда перешагивайте эту пропасть и держитесь на равных: тогда это уже будет восприниматься с восторгом и повышать ваш авторитет.
10. Демонстрируйте справедливость и доброту, публично помогая несчастным, которые абсолютно неопасны, пользуются жалостью окружающих и будут славить вас потом всю жизнь.

Всемогущий чин.

ВОЛК СРЕДИ ВОЛКОВ.

- Ну... здравствуй, Дмитревский.
- Чему обязан, ваше высокопревосходительство?
- И кандалов с тебя не сняли...
- Да, и ковров не постелили в камере.
- Что ж, и руки не подашь?..
- Немыгты, ваше высокопревосходительство. Да и неловко в кандалах, знаете. Завтра поутру почтите ли присутствием? будут давать небольшой спектакль со мной в главной роли. Прошу! абонирую вам место в первом ряду у эшафота. Или кресло на помосте прикажете?
- Перестань ерничать, Дмитревский... Ты что, не узнаешь?
- Не имею чести.
- Прощение о помиловании не подашь?
- Нет, не подам.
- Отчего?

— Чтоб совесть вам облегчить. Что, мол, сам виноват. Ведь все равно повесите. Разве не так?

— Может, и не так.

— То-то: может... Не будем считать друг друга за дурачков, ваше высокопревосходительство.

— Да оставь ты это «высокопревосходительство»!.. Дмитревский, ведь это же я к тебе пришел...

— Зачем?

— Не знаю... Сказать тебе многое надо... Не так-то все просто в жизни.

— Вы не ко мне пришли. К своей совести. И все ответы мои знаете сами.

— Тебе не страшно?

— Нет.

— А мне страшно.

— Ничем не могу помочь.

— Можешь.

— Чем же? Утешить, что вы совершенно ни в чем не виновны, утвердив мой смертный приговор?

— У тебя есть, может быть, последнее желание? Я сделаю все; исполню, передам.

— Нет.

— Хорошо... Тогда у меня есть... Ты можешь исполнить мою последнюю к тебе просьбу, Дмитревский? ради тех далеких счастливых лет, когда я, щенок, был влюблен в тебя, смотрел тебе в рот?

— Вы, кажется, решили исповедаться завтрашнему висельнику?

— Не плюй мне в душу... это неблагородно, недостойно тебя.

— Нет у вас души. И вообще — позвольте мне поспать. Тьфу, да что за иудины слезы! Утри сопли и ступай в свою резиденцию, лопух эдакий!

— Друг милый, ведь ничего у меня теперь не останется в жизни, ничего!.. ведь ненавижу я их всех, ненавижу!.. как же это так вышло...

— Да? Так пиши приказ о моем освобождении — и бежим. А?

— Невозможно.

— Отчего?

— Я всего себя отдал за эту карьеру. От меня уже ничего не осталось. Понимаешь — ведь человек тех любит, кто его любит. Вот я каждого, каждого, с кем жизнь сводила, не просто обольщал — а чем-то и любил. Насильно.

Дружил. Улыбался. Старался все лучшее в нем видеть — иначе ведь вынести невозможно. И вышло — что каждому отрезал я ломоть от любви своей. От души своей. Всех их любил, кого друзьями себе сделал, подлецов, эгоистов, саванников, дураков... и себе уже ничего не осталось.

— Видишь, какая у нас многозначительная ситуация, да? — мертвый вешает живого. Достоинно немецких романтиков.

— Как ты можешь шутить?

— А я — живой. И любовь отдал тем, кого любил. И жизнь — тому, во что верил.

— А я ведь тебе завидую, Дмитревский.

— Врешь. Себе врешь. Ты завидуешь только тем, кто сильнее и богаче тебя.

— Когда-то, много лет назад, я мечтал, что стану богатым, сильным, — и при случае помогу тебе, спасу...

— Ценю благие намерения. А что же потом? Что теперь?

— А потом... Чем выше поднимаешься, тем беспощаднее борьба, смертельнее вражда, каждый старается уничтожить каждого, кто может ему помешать. Пока однажды не почувствуешь, что ты готов своими руками убить любого, лишь бы подняться еще на одну ступеньку: все прочее не имеет уже для тебя цены. И вот тогда ты готов, созрел для настоящей карьеры.

— Поздравляю.

— Но я никогда не мог бы подумать, что это может быть так буквально. Ведь я не хотел, клянусь тебе... Я не знаю, как это все сложилось... клянусь тебе всем святым, что я не хотел, не хотел дойти до того, чтобы казнить человека, которого боготворил!

— Ладно, облегчу твою душу... Я тоже никогда не хотел быть повешенным. И никогда не хотел быть в каторге. Не хотел быть нищим, не хотел болеть чахоткой. Когда я в первый раз попал в Акатуй, я ночами в изумлении спрашивал себя: как же это вышло?... Да, я имею идеалы, верю в иное и лучшее будущее, хочу способствовать его приходу — но не апостол я, нет! я тоже хочу любви, счастья, благополучия, хочу иметь семью, детей, хочу работать, и не бегать вечно от полиции. Видно, наши желания всегда заводят нас дальше, чем мы сами предполагаем.

— Как странно слышать это от тебя... В тридцать лет я думал точно так же... и тогда я сделал выбор.

— И вот ты здесь.

— И вот мы оба здесь. Но ужас в том, что я прав! Я, подлец, живу и властвую! а ты, святой, принимаешь смерть. Значит, правда жизни на моей стороне?

— Тогда почему ты мне жалуешься на свою жизнь, а не я тебе? Почему мне нечего исправлять в моей жизни, а тебе твоя противна?

— Потому что умереть святым проще, чем жить грешником.

— Красивые слова... Я помню твои юношеские письма. Ты все тогда правильно понимал. Просто духу у тебя не хватило, урвать свой кусок захотелось.

— Разве это такой большой грех?

— Нет. Только не плачь теперь. В конце концов, это меня завтра вешают, а не тебя.

— Откуда у тебя столько духа?

— А я верю в то, что больше, значительнее меня. А все, что дорого тебе — существует для тебя одного. После меня останется мое дело, а после тебя — только деньги и ордена.

— Обречено твое дело, ничего ты не изменишь в мире, люди таковы, каковы они есть, неужели ты не понимаешь!!

— Совсем ты поглупел. Вечно мое дело, бессмертно, непобедимо! Уж если лучшие из людей всегда всем жертвовали, и жизнью самой, за это дело, — значит, ценность его выше твоей брэнной житейской выгоды, а? Значит, есть счастье высшее, чем грызть ближнего и возвыситься над ним, а? Так-то. Иди, иди. И распорядись дать мне утром чистую рубаху и побрить. Ну, ступай, бедолага.

Глава третья

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК

175 см. Жена.

— Милочка, ты прости мне мои откровенности... нервы совсем расшалились... ах, налей еще, налей. Мы же с тобой с детства дружим, ты же знаешь, я всегда рассудительной была... а сейчас не знаю, что и делать... я с ума сойду! с ума сойду, если хоть с тобой не поделюсь...

Ой, ерунда, про любовниц его я давно знаю, и актриску эту подлую содержит... сначала плакала, потом

рукой махнула, что ж делать, все они такие; и дети растут, куда я денусь... я понимала всегда прекрасно, что он из выгоды на мне женился, такой видный, красивый... а он кого хочешь обольстить умеет, уговорит, уломает, внушит что угодно, — особенно если сама в это верить хочешь...

Не бьет, как ты могла подумать!.. ах, что я опять вру, уже ведь и руку поднимал, и слова говорил такие, такие, что подумать страшно... Я уж и с этим смирилась, мало ли как в семье бывает; и вдруг последнее время совсем все ужасно стало...

Встань пожалуйста, душечка. Прошу тебя, на минутку. Вот. Не удивляйся... Мы же с тобой всегда одного роста были, правда? О, не смотри на меня так, я нормальна, нормальна, не сумасшедшая я!

Скажи... я ведь не стала больше... ну, выше — не стала, нет?

Вот слушай. Это все так началось: он в присутствие одевался, мундир надевает новый — а рукава длинные. Он загорячился — и Павлуше, камердинеру, в ухо и стукнул. Ведь уже много лет шьется ему все по одной мерке, он совсем не толстеет, не меняется, такой же красивый... изверг...

Мундир тот же час подкоротили. Портного привезли, тот кается... А он и на меня ногами затопал — при людях прямо: я же за всем в доме следить должна, он так завел: а что, говорит, тебе еще делать... и слова ужасные... ну, не буду, не буду, все уже.

А назавтра фрак надевает в собрание ехать вечером — и снова та же история... Павлуше лицо в кровь разбил, портной уж на коленях ползал, а мне... на меня... водички подай, да.

Я мышьяку принять хотела... всему предел есть. Никакой радости не осталось, дети чужие растут, злые, в доме страх всегда, копейки на расходы нет... вот — выйди замуж за бедного и благородного, так сама станешь бедной и благородной: ему честь, а тебе горе.

А вечером он ко мне в спальню мириться пришел. Бледный, несчастный, дрожит, лица нет. Господи, когда он добрый бывает — да я всю жизнь, всю кровь ему отдам, лучше него нет тогда человека на свете! А ведь вначале он всегда был такой...

И вот, ночью... муж ведь, милочка, ты понимаешь, есть много, как бы это сказать.. примет разных... Ведь

после свадьбы, первое-то время, это такое счастье было, все как сейчас живое помнится. И вот у меня такое ощущение возникло, словно... словно он поменьше как бы стал.

Как же редко, думаю, он ко мне приходит, что я уже и забывать его как мужа стала.

А назавтра он так злобно на меня посмотрел: что, говорит, вытаращилась, кукла чертова? А я смотрю и плачу, так люблю его...

А после слов этих вспомнила сомнения ночные: он ведь раньше такой большой казался мне, высокий, сильный. А тут как пелена с глаз: и вовсе не такой большой он. Нет, не маленький, но — обычный. Обычный.

Я на него всегда снизу вверх заглядывала, на цыпочки привставала, а тут стою рядом — и ничего такого. Вот что называется ослепление юности, любовь... Среди всех он мне выше всех казался — а теперь вижу: многие и выше есть.

А он и говорит: что-то ты, матушка, вовсе стала костлява и долговяза. Растешь на старости лет, что ли? И это при лакеях! У меня как в голове закружилось — и при докторе только в себя пришла.

Доктор успокоил, прописал нервы лечить: на воды, говорит, необходимо ехать. Да ведь эти доктора, они правды больному никогда не скажут. Он уехал, я все свои платья старые перемеряла, которые прислуге не отдала — и не пойму: то ли длинны оттого, что похудела сильно, а то ли... ведь невозможно.

А на него как посмотрю... и страх во мне... Он же Николая, лакея комнатного, на полголовы выше был — а ныне подает ему Николай халат — а роста-то они одного! одного, как есть!

Я Николаю допрос вчинила, а он смеется: барин наш, отвечает, орел, как раньше, а может, и еще выше, а Павлуша разгильдяй, и портной пьяница, они сами повинились. Ну?!

Я до чего дошла: в гардеробной его стала рукава и пантолоны длиной сравнивать... не сходятся!! А Павлуша говорит: что вы, барыня, это ведь моды меняются, ныне короче носят, чем допреже, а его превосходительство должен во всем образцом быть и идеалом...

... Я уж без опия и спать не могу. Платья перешивать не успеваю, так худею. Куска проглотить не могу. До чего дошло: сын его целует, а я в ужас: да он скоро с

сыном одного роста будет! Лишь потом сообразила: сын-то растет, тянется сейчас быстро, скоро юноша.

Милочка, может, ты мне француза своего доктора посоветуешь? немцы эти совсем ничего не понимают. Может, это у меня от женских неурядиц все? ведь в желтый дом угожу, или чахотка съест...

И мысль еще страшная гложет: уж не специально ли он все эти сцены подстроил, чтоб мне сумасшествие доказать, или вовсе сжить со свету? а сам после на Белопольской женится... Ведь словно одна я ума и зрения лишилась, а прочие-то все нормальные, видят все как есть!

Совсем худо мне, милая... Может, за границу одной поехать, в Швейцарию, или Баден-Баден?..

165 см. Друг.

— А ведь в одних номерах жили; обед в трактире брали на двоих один; да... А теперь допустить до себя не велит, даже в день ангела поздравить.

Я понимаю: государственная персона. Но ведь — на десять шагов не приближает никого! Входит куда — один впереди, все толпой позади на двадцать шагов. А уж ручку пожать удостоить — только сидя: два пальчика протянет из креслица — тот переломится, пожмет с чувством, и в поклоне к двери убегается.

Гордость, говоришь. Кхе... Ну, ты уж только — никому!..

Он почему так прямо держится, каблучки поларшинные, нос вверх? — чтоб выше быть, вот почему. А сам-то вовсе невысок, как будет залой проходить — приглядишься внимательней. Невысок; низок даже!

Пусть нормальный, не в том суть. Только — я-то помню же, я ему шинель свою некогда одалживал, на службу полтора года в одну дверь ходили, — он высокий был! верно говорю, гвардейского росту, вершков девять, а то и все десять! Ей-богу, я крест приму!

Вот потому и держится всегда один, от всех поодаль, чтоб не заметить этого было в сравнении с прочими. Потому и служащих своих старинных всех поувольнял — да не просто, а так задвинул, что кто в Омске, кто в Томске, кто в Тифлисе, — подальше, долой. Хотя, говорят, наградных дал щедро, чтоб не обижались и молчали, но главное — чтоб не было рядом тех, кто его еще знал другим, высоким.

Потому, брат, и старых друзей к себе не допускает: боится, стыдится, опасается: вдруг конфуз, слухи компрометирующие, бестактный вопрос. Далеко ли до скандала...

Понятно: когда человек рослый, видный, — он и уважения больше внушает, трепета приятного, для глаз удовольствие. А у него в последние-то годы как карьера вознеслась: ведь в министры метит! да еще, может, не просто в министры, а в самые главные...

Вот оттого и сердит часто стал, ногами топает, — нервничает. То ко двору представляться, то чиновник с особым поручением от государя жалует — самое время разворачиваться! И вдруг — такая беда, что рост все меньше да меньше! А ведь одно дело назначать на большой пост человека видного, осанистого, значительного, а другое — маленького да писклявого...

А он так сумел себя поставить, на таком счету при дворе, что всегда им довольны — умеет угодить да угадать. И какие враги ему ковы строили, какие недоброжелатели были влиятельные и злобные, — всех обошел, смял, обдурил, всех выше поднялся. Узнают они теперь — вой подымут, осмеют, в отставку уйти заставят!

Так что обижаться на него нельзя. Такое несчастье... Лучше уж несправедливым прослыть, высокомерным, страх и ненависть внушить, — да только чтоб про слабость его не прознали, это конец.

Потому и выезжать перестал, на балы больным сказывается, общение прекратил, — никто похвалиться не может, что рядом с ним был, говорил запросто. Занятостью объясняют, здоровьем, праведностью натуры: мол, все в работе, уединение и книги предпочитает, развлечений чужд... Ага! — я-то его помню чиновником мелким: услужлив, общителен, веселье всегда разделит... а порой такие кутежи начальству устраивал, все умел достать, и цыгане, и женщины, и главное — никакой огласки, все шито-крыто!

Так что я не обижаюсь, что увольняют меня из службы. Дело свое исполнял исправно, в дурном не замечался... разве что подольститься не умел. Конечно: я его бедным знал, помогал чем мог, и поэтому теперь я человек для него нежелательный: могу сказать не то, знакомством скомпрометировать, старое напомнить... не должен быть большой человек знаком с таким ничтожеством, как я. Не может он иметь со мной ничего общего, даже в прошлом.

Так что прощай, брат. Уеду к себе в Малороссию, в деревеньку... может, женюсь еще, детишек нарожу. А все же как вспомнишь иногда ночью, не спится, как мы с ним некогда в холодном номере один горшок щей трактирских ели.. и слеза прошибает. Хороший был человек.

150 см. Слуга.

— Ты как смеешь, холоп, смерд, такие вещи поганым своим языком молоть, а?! Ну что «вашскородие» «вашскородие»? Молчи, подлец! тут тебе полицейский околоток, а не кабак!

Вы, ребята, выйдите-ка: это дело государственным пахнет, я с ним, ракальей, один на один говорить буду. Да я таких вещей и повторить не смею, не то что записать. Двери плотнее затворите!

Ну, вставай с колен, хватит. Пропойца, босяк, ты как смеешь лгать, что в доме самого его высокопревосходительства служил? Врешь, сукин кот! я узнавал: ответили, что знать такого не знают!

Ну, так кто тебя надоумил говорить, что его высокопревосходительство... проссти, госссподи, слова мои грешные... что он карлой стал? А?! Что портной в доме живет и каждый день ему платье другое шьет? Что каждый день измеряется — все меньше и меньше? Да сейчас тебе дам промеж глаз — ты у меня разом меньше мыши станешь!

Ты подумай дубовой своей башкой: а как он с людьми-то говорит? Ах, через двери. И еще из постели лежа, далее порога не пускает. Ну ты артист.

И ноги, значит, со стула до полу не достают? И обедать изволит в пустой столовой за закрытыми дверьми? И с женой... не твоего ума дело, негодяй!

Ты хоть понимаешь, что ты с ума спятил? А в присутствие... карету к подъезду подают, и никто не видит, как он садится? Складно! А на службе из нее выходит — тоже всем приказано подалее быть и не смотреть? А посетители что, слепые? Ах, издали, стол специальный ему сделали, маленький, чтоб не понять было.

И потому, говоришь, никто его не видит. А зачем тебе, козявке, его видеть? с тебя знать достаточно, что он есть, обязанности свои, самим государем определенные,

исполняет, и бдит о тебе денно и ночью. Он не фигляр, чтоб твари всякой на глаза выставляться.

Ты над кем насмешки допускаешь, злодей! Значит, он уже и до дверных ручек еле достает, и на цыпочки поднимается, чтобы на стол заглянуть, и под стул прячется, если ненароком зайдет кто... и ест мало, как ребенок, — а на что ему много есть?

Ты что гогочешь! Ах-ха-ха-ха-ха! тьфу на тебя... ха-ха-ха! Значит, бегаешь по резиденции его высокопревосходительство в аршин ростом, носом на столы натывает, на детской мебели сидит...

Пятнадцать лет у него служил? И слуг он всех рассчитал? Ну, я тебя сейчас иначе рассчитаю, вложу розгами ума через заднее-то место. И — по этапу, по этапу тебя вышлю, сочинителя...

70 см. Спаситель.

— Не любо — не слушай, а врать не мешай. Да и не вру я, братцы, вот как на духу.

Я с детства вырезывать из дерева любил, пошел за папашей по столярной части, и мастерскую он мне оставил, царство небесное покойнику... ну, да не о том речь. А только начал для забавы фигурки разные резать, на Сенном рынке сбывала их лотошница, — а кончил тем, что фигуры делал в модные магазины на Невский. И были мои фигуры лучше парижских или немецких. Лицо из цветного воска, парик натуральный, — как живые. Дело собственное имел и доход, двух мастеров держал, пять учеников.

И вот заходят двое — господа. Вежливые, ласковые. А у меня вывеска была, золотом. И говорят: а можешь такую-то куклу изладить, чтоб за шаг от живой не отличить? А я — гоголем: хоть турецкого султана, хоть мать его. Говорят: заказ очень важный, надо чтоб никто не знал ничего. Ни ученики, ни жена даже. Плата — тысяча серебром. Засомневался я, да ведь это три с половиной тыщи ассигнациями.

Обговорили размеры все, изделал я фигуру — на шарнирах, любую позу принимает. Огромная у меня тогда способность была... Потом они мне рисунков нанесли — какое лицо должно быть. С лицом я долго мучился, из глины раз десять переделывал, все их не устраивало. Четыре месяца всего работал без продыху. Уж так приди-

рались — к каждому волосику. Бородавку на щеке — и то сколько раз переделывал.

Но — угодил. А зачем — не говорят. Ладно — ваши деньги, мой молчок. Похвалили они, сказали — завтра приедут забирать, и деньги завтра... А только ночью стук в дверь: по мою душу... Ты такой-то? — Я. — Пошли. — В карету, с боков зажали — и ночью через весь город. А карета без окон. Вот так: отлеталась пташечка...

Привозят: крепость. Выходи. Я было в ноги — а меня по рылу. Наковали железы — да в камеру. В каком же таком, думаю, деле я оказался?

Трижды в день еду мне в окошечко ставят, да по утрам парашу забирают. Тишина, и камень кругом. За окном птички поют, а не видно: железным листом окно забрано.

Ну, да это все известное дело, что говорить. А когда царь преставился и новый царь стал (про то я после узнал), перевезли меня в тюрьму, да и по этапу в каторгу: бессрочный особого разряда, родства не помнящий. А я и рад не помнить: молчу, чтоб хуже не было; сообразил, что молчать уж лучше...

А в каторге уже, в Краснокаменском остроге, был у нас один из благородных. При лазарете, доктор бывший. Я занемог раз, попал в лазарет, а потом кормился долго там, помогал ему. Он без креста был, но человек в остальном неплохой, понимающий. И оказалось, братцы, что страдаем мы с ним по одному делу. Во, а?

Он доктором был при одном высоком генерале. Генерал в большой силе был, лично к царю приближен. И напала на него болезнь: стал расти обратно — уменьшаться. Доктор его и так, и сяк: уменьшается!

Росту он был огромного, пока до нормального уменьшался — все ничего. Может, кто и подметил — да молчал. Чтоб большой генерал тебя из жизни выкинул — ему много роста не надо. Со страху да выгоды и карлика великаном именуют.

Но дело совсем плохо стало: уменьшается генерал да уменьшается. Уж под столом проходит: аршин росточку. Это уже скандал невиданный и оскорбление генеральского чина. Чего делать?

Генерал службу бросать не хочет: жалко ему. Его сам царь знает и ценит. И хочет новые высокие должности дать. А царю перечить нельзя. Как про такое доложишь?

огорчится он за любимца, и навечно ты за такую новость в немилость впадешь.

А главное — генерал свою беду от всех скрывает. Работу всю за него подчиненные делают. Он им за то — награды. Повысится — и их за собой повысит. Им тоже невыгодно его терять: со старым-то хозяином спелись, а нового еще как найдешь.

А прознают враги генерала про такое его уменьшение — сразу его без масла сожрут.

И умы нельзя смущать такими чудесами и безобразиями: уважения не станет к генералам и к власти, если они могут в аршин ростом быть.

Но иногда надо же людям показаться: хоть в карете по городу, хоть с балкона. Не то слухи пойдут — и рога тебе придумают, и что с ложки кормят, и из ума выжил, и вообще помер, мол, да это скрывают.

Понял, куда я гну? Вот для чего куклу я делал. Одели ее в генеральское — и показывали иногда, чтоб сомнений не возникало. Не ответит — что ж, думает. Не встанет — устал.

Потом, говорят, механизм к ней сладили, что и садится и встает сама, руку поднять может. Движения неловкие? а ревматизм, суставы болят, в молодости в военных походах застудил.

И все отлично. Он себе управляет по-прежнему, награды получает, послушников наказывает, в чинах растет. А что ростом с кошку — то никому не ведомо, фигура за столом — а он сидит под столом и приказы пишет. Пустит посетителя — развернет фигуру в кресле спиной к нему, бумагу ей в руки вложит — мол, занят, читает; а сам говорит из-под стола. Посетитель стоит у дверей, трясется: горд генерал, сердит, раз даже не повернется.

Утром фигуру — на службу в карете, вечером — домой. Сопровождает ее огромный адъютант, а сам генерал под его шинелью-то и прячется, за пазухой тот его пронесит на место. Адъютанту зачем выдавать? ему хорошо, а чуть брякни — разжалуют приказом в солдаты, да на войну. Тайна.

Вот для тайны меня-то в бессрочную и укатали. И доктора, что лечить его пробовал — тоже, с которым мы встретились. А каторжному кто поверит. Ты вот веришь? Ну и дурак. Дай ножик, я тебе сейчас такую куклу вырежу, что ты не видал никогда...

15 см. Любовница.

— А говорят, ты с ним была когда-то, — правда, аль брешут? А правда, что ты в хоре тогда пела, и плясала? и квартира своя была на Подъяческой? А потом тебя отовсюду... и к нам сюда... да ты не обижайсь. А он тогда нормальный был?

А девки говорили, он с огурец ростом, вершка четыре: такого наплели — и смехота, и срамота... мы все утро смеялись.

А он тебе денег много давал? Конечно: граф... Эх, мне бы такого, я б сейчас в собственной карете ездила, а не здесь, по десяти гостей за вечер принимала.

Правда — любила?.. Первый... вот оно как. Не плачь — ему-то небось счас хуже, чем нам.

Говорили — на службу его телохранитель в кармане носит. А в кабинете посадит остороженько на стол, а там столик, стульчик — кукольные. Бумажка нарезана с почтовую марку, перышки воробьиные точены — и он приказы пишет. А чиновники их в увеличительное стекло читают и исполняют. А буквы-то крохотные, не разобрать, да и головка у него как у голубка, разве такой головкой сообразишь что? Вот и пишет каракульки, а чиновники делают что хотят, а ему врут все, что исполняют. А он как проверит? ему и самому все равно, абы жить как живет в своей должности.

Как представляю себе жизнь эту... беденький! Дети в гимназию уходят — пальчиком его тронут за плечико — мол, до свиданья! Жена его, небось, в тарелке купает по субботам, кончиком пальца намыленным... ха-ха-ха! Маникюрными ножничками подстригает — боится головенку отстричь. Слушай, а как они спят-то? ха-ха-ха! Ой, па-адумайте, цаца какая, оскорбили слух ейный.

А как он у детей уроки проверяет? Бегает по тетрадке и буквы по одной читает? Да, тут деткам не скажешь — берите пример с папочки... уж лучше сума да тюрьма.

А в кабинете его, говорят, огромное увеличительное стекло, и в него его рассматривают — и он размером для посетителя как настоящий. А шьет на него одна модистка — как на куколку. Ордена у него — дак ему такой орден и на спиночку не взвалить, крошечке. Кушает ложечкой для соли из кофейных блюдец, они как миска огромная ему. Про другое уж не говорю.

А верно говорят, что он до баб охоч был? А что ж теперь? — такая неприличность, тьфу! умора. Девки за кофеем так хохотали про это, такого напредставляли безобразия, как он кого к себе на ночь требует да что делает... бегают и бесится гномик... мерзость какая.

Я б на месте графини его в банку посадила да смотрела, и все. А все же — богатство, честь, есть-пить сладко, жить в палатах. А ты б согласилась быть с огурец, а жить в чести и богатстве? Я — да.

А вдруг птица склюнет? Или кошка съест? Или в чашку с водой упадет — да и утонет?

Это ж любой враг — щелк по голове, и нет тебя! И, говорят, он многих подозревает: чуть заподозрил — сразу в Сибирь! Никто при нем долго не держится. Я б на их месте его выбросила на помойку, и дело с концом, а у них порода такая: подслужиться надо, хоть ты с перст ростом, а раз начальник — служат тебе.

Представляешь: стоит перед ним здоровенный гренадер, а он на столе своим ножками топает, потом двумя ручками за волосок в усах гренадерских ухватится — и ну вырывать! Да я б в него раз плюнула — и снесло б его в окно!

Да... а если настоящий, большой усы вырывать станет — это еще хуже, больно, вырвет все... уж лучше этот, игрушечный... да уж больно обидно от него, козявки, терпеть!

Слышь — а говорят еще, что он не один такой... Это у них, у графьев и министров, есть такая болезнь специальная, открыли ее. В булочной сказывали утром, что многие из них такие, потому и не показываются никому. И поэтому и злобствуют против народа и своих же, что боятся, как бы ни случилось что с ними. А чем держаться-то им? только страхом! Пока боятся его — и рады, что он не показывается, и трогать его никто думать не смеет. А тронешь — и нету его, болезного.

Не, она врать не станет, у ее нитка жемчужная им подарена, и к завтраку на извозчике приехала, прямо от него, глаза так и вертятся от удивления. Хотела я еще, говорит, ему ротик зажать — да в карман, и сюда привезти, — вот бы потеха была! да боязно.

Чего — бабушкины сказки? Саму ее почал, до желтого билета довел, — это не сказки? А сказали бы тебе в хоре твоём, когда и квартира, и карета, и граф в любовниках, что девкой в трехрублевом заведении будешь — что, поверила бы? Все в жизни бывает, люди зря говорить не станут.

0,0. Память.

— Половой, еще пару чаю! А кенарь-то распелся, а, шельмец!..

Дак вот, робяты, што я вам скажу: на самом-то деле все это сказки. Почему? Да потому, што на самом-то деле его и не было на свете никогда.

Ты обожди мне кукиш совать, а то сам и выкусишь. Ну чего — памятник? Памятник можно и Бове-королевичу поставить, а кто того Бову самого видел? то-то.

Я твои байки уже слыхал. Что делается он меньше да меньше, что носят его в мыльнице, что кричит он в специальный рупор бумажный, а человек ухо приставит и еле слышно, что разглядывают его в подзорное стекло, стал он с наперсток, потом с муравья, а потом такая соринка, что и не разглядеть.

И значит, по-твоему, что чиновники сами пишут за него приказы, офицеры сами отдают команды, все все сами делают, а кланяются пустому креслу и ему и служат. А если так, то они и раньше, значит, могли без него обойтись, верно? Вот и обходились.

Нет такого закона в природе, чтоб человек уменьшался! А вот чтоб его вовсе не было — такой закон есть. А еще есть такой закон, что каждый норовит лучший кусок ухватить... а ну положь мой расстегай, ишь разинул пасть-то!

Дак вот: эти, которые чиновники и офицеры-генералы, каждый сам хочет на то кресло сесть, а других не пустить. И вот никто из них одолеть не может: другому помешать еще есть силы, а самому занять — уже нет. И тогда они договариваются: пусть считается, что кто-то его занял, придуманный, несуществующий — ни вашим, ни нашим, никому не обидно. А дело, мол, будем делать, как и раньше делали. Отсюда и сказки про исчезнувшего начальника, которого на самом деле никогда не было, а только кресло пустое. Понял? Плати за сахар, раз понял, без сахара пушай исчезнувший пьет.

БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА

1969, 20-е июня.

— У каждого случается впервые — весна, и прозрение сердца; есть у каждого свои Бермудские острова: душа жаждет обретения. Прекрасны и далеки Бермудские острова. Там изумрудное небо проломлено малиновым булыжником солнца и прогнуто над зеркалами лагун, где хрустальные волны дробятся в коралловых рифах и под океанским прибоем звенят пальмы, а белый песок поет о верности под узкими ступнями яснолицых девушек, встречающих из дали судьбу: отважных авантюристов с жесткими усмешками.

Человек взрослеет, и ускользящее движение лет все стремительней под растущим грузом насущных дел, и все недоступней и сказочнее за туманным горизонтом обетованный мираж, его Бермудские острова.

И есть — смиряются; так положено от веку. Они строят города и пишут книги, их любят семьи и уважают друзья. И сны их спокойны в ночи и чиста и горда совесть. Они — хлеб жизни. И никогда их твердым шагам не прозвучать на таинственном побережье, путь куда, обманен и зыбок, не сманил их, чужд.

И есть — романтики и изгои — их верность не смиряется ничем. Отковывая желание на преградах и оттачивая на неудачах, стремятся и рвутся они к старинной

цели. И хрупкие и нежные ростки их душ обламываются о вечные грани мира. Пройдя шторма и преодолев пустыни, достигают они своих Бермудских островов; но отмерившие рубеж глаза в иссеченном ветрами прищуре не умеют видеть так, как видят глаза юности, и сильные сердца разучаются трепетать, — даже внимая великой красоте познанной сказки.

И тогда понимают они, что счастье — в коротком мгновении, когда жар-птица, настигнутая через далекие годы у края света, бьется огненными крылами в твоих руках, ты овладел ею отныне, и не пришло еще сознание, что состоит она из тех же перьев и мяса, как и обыкновенная курица.

И горечь этого понимания велика.

И поэтому я хочу выпить за то, чтобы каждый из вас достиг своих Бермудских островов, сохранив всю детскую чистоту души в далекой и трудной дороге.

...Сегодня — особенный и памятный день, какой случается лишь однажды. Вы окончили школу. Вы вступаете в большую жизнь. Идти по ней не в белых платьях и черных костюмах — вы снимете их завтра. К одному призываю вас — будьте верны себе.

Вы дороги мне тем больше, что вы — мой первый выпуск. Все лучшее, что умела, я старалась вложить в вас. Семь лет назад был мой выпускной вечер. Сегодня — снова — и мой праздник; и я счастлива вашими надеждами, вашей юностью... у нас одно счастье!..

(Анна Акимовна Амелина, 25 лет, преподаватель русского языка и литературы, диплом с отличием Ленинградского университета, классный руководитель 10-го «Б», умна, мила, патетична, одинока, садится с мокрыми глазами.)

Выпускной вечер.

Аркаша Абрин любит Алю Астахову.

Алеша Аверцев тоже любит Алю Астахову.

Аля Астахова любит того, кто любит другую.

Связи класса трогательны в конечном напряжении и истаивают на глазах.

институт	
конкурс	
сессия	— Нормально
стипендия	— Звони
стройотряд	— Поздравляю
диплом	— Я люблю тебя
распределение	— Одолжи до двадцатого
	— К чертовой матери
	— Видел его недавно

начальство	
план	
аванс	
получка	
водка	аборт
премия	свадьба
	ребенок
	развод

квартира	
обмен	
площадь	отпуск
кооператив	юг
деньги	пляж
родители	замужем
очередь	магнолия
	рюкзак

	болеть	джинсы
		замша

	похороны	дубленка
--	----------	----------

долги

работа

плащ

магнитофон

(За семь лет все клетки человеческого организма полностью обновляются?)

1976, 19-е июня.

Алина Астахова, метрдотель лайнера «Александр Пушкин».

На верхней палубе загорают в шезлонгах, плещутся в бассейне, фотографируются у шлюпок и спасательных кругов.

Шестые сутки идет «Пушкин» через Атлантику. Сменяются вахты в рубках и у машин, парятся повара, улыбаются бармены.

Скользят ночами огни встречных судов, уходя и теряясь среди звезд.

Она листает «Таймс», лежа в своей каюте. Крутит транзистор: тихо поют «Песняры».

Еще пять минут можно кейфовать; и пора разбираться с обедом. Меню, официанты, наштукатуренные капризные старухи, «...сегодня мы предлагаем вам...» — грехи наши тяжкие.

Сидела б я дома, детей нянчила, варила обед, ждала мужа с работы. Доля бабья, все не так, лоск этот... Детей-то хочется от любимого мужика, заковыка вот.

Ветер гонит косые капли вдоль черных бортов.

Четыре тысячи миль от Ленинграда.

Двое возьмется с лебедкой на баке.

Чайка, поводя головой, пропускает под собой белые надстройки палубы, ускользая хвостом к корме, падает, выхватывая что-то из пены кильватера.

Аркадий Абрин, переводчик советского торгпредства в Бразилии.

Сумерки коротки на улицах Рио; верхние этажи еще пылают под солнцем, севшим за малиновую кромку Корковадо.

За полтора года в Бразилии я не видел двух одинаковых закатов.

Он тянет пиво на балконе жилого особняка.

В углу сада рядом с кактусом магнолия приотпускает цветок.

У дверей магазина (с пластинки поет Доривал Каими), радостно скалясь, худенькие девчушки оттаптывают самбу, коричневые исцарапанные ноги мелькают.

Мозаичные мостовые Ипанемы и Леблona, фиолетовая вода и знаменитый белый песок Копакабаны.

Ветерок с океана не доносит вонь бедняцких кварталов близ роскошного аэропорта.

Люблю эту страну? и странно даже...

Ребята почти не пишут, дьяволы.

А дома белые ночи.

Завтра трудный день.

...Под вспыхнувшими прожекторами на горе тридцатиметровый белого камня Христос простирает руки над городом.

Алексей Аверцев, лейтенант, командир огневого взвода артиллерийского полка 327-го мотострелкового полка.

Дождливый июнь бесконечен.

След тягача на глинистой дороге.

Полк стоит в лесу у озера; туман встает вечерами с низкого берега.

Он курит и кашляет, сидя на деревянной терраске ДОСа; кутается в наброшенный плащ.

С двадцать второго учения; скверно, если не прекратятся дожди. Полк кадрированный, людей в расчетах не хватает.

Отпуск будет в августе; далеко Ленинград...

Доски покрываются под табуретом.

Ельничек сбегает по сочной траве, тот берег размыт за далью.

Солдатский долг: пожизненная профилактика собственной профессии.

Неделю назад его приняли в партию.

Серое серебро струек, перебор капель.

Окурок шлепается в лужу, расходятся круги.

Он разворачивает отсыревшую газету:

«Заслуженную популярность на океанских линиях мира снискал советский лайнер «Александр Пушкин». Комфортабельность, высокая культура экипажа привлекают любителей морских путешествий из многих стран. Экипаж коммунистического труда возглавляет один из самых опытных капитанов Балтийского морского пароходства Герой Социалистического Труда В. Г. Оганов. Вчера «Александр Пушкин», совершающий круиз по Атлантике, ошвартовался в порту Гамильтон (Бермудские острова)».

(«Комсомольская правда», 19 июня 1976 г.)

ВОЗВРАЩЕНИЕ

А в Ленинграде шел снег. Вспушились голые ветви Александровского сада. Мягко выбелился ледок, стянувший сизые разводья Невы. Ударила петропавловская пушка, взметнув ворон из-под стен.

— Ким приехал!

Колпак Исаакия плыл. Медный всадник ссутулился под снежным клубуком. Несли елки.

— Дьявол дери... Ким!

— Здор-рово! Ким! Бродяга! ух!

— Ну... здравствуй, Ким! старина...

— Кимка! Ах, чтоб те... Кимка, а!

— Салют, Ким. Салют.

— Ки-им?!

— Братцы: Ким!

Билеты спрашивали еще от остановки. Подъезд светился у Фонтанки. Высокие двери не поспевали в движении. Билетерши снисходили в причастности искусству. Программки порхали заповедно; шум предвкушал: сняв аплодисменты, двинулся занавес.

— За встречу!

— Ким! — твой приезд.

— Гип-гип, — р-ра!!

— Горька-а! Ну-ну-ну... — эть!

— Ха-ха-ха-ха-ха!

— Ти-ха!.. Ким, давай.

— И чтоб всегда таким цветущим!

— Позвольте мне себе позволить... э-э... от нашего...

э-э...

— «Пр-риходишь... — привет!»

— Ну расскажи хоть, как ты там?

— Спой что-нибудь, Ким. Эй, дай гитару.

— Пойдем потанцуем!

Раскрывается свежее тепло анфилад, зеленая и призрачная нестеровская дымка, синие сарьяновские тени на

горящем песке, взрывная белизна Грабаря, сиреневый парящий сумрак серовской балерины и предпраздничная скорбь Демона.

- Отлично выглядишь! здорово.
- Надолго теперь?
- Молоток. Завидую я тебе!..
- Ну ты даешь.
- Расскажи хоть поподробнее!
- Все такой же красивый.
- Что, серьезно?
- Одет прекрасно.
- Где? Ой, я хочу на него посмотреть!

Назавтра день был прозрачный, оттепель, влажные деревья мотались в синеве, капало с блестящих под солнцем крыш, девушки блестя глазами гуляли по набережным, и большой водой, фиалками и талым подмерзающим снегом пахли сумерки.

- Мощный мужик.
- Ну авантюряга!
- Вот живет человек так как надо!
- Не каждый так может, слушай.
- Этот своего всегда, в общем, добивался.
- Ким, ну идем!
- Значит, в восемь, Ким!
- Так жду тебя обязательно.
- Завтра-то свободен? всё, соберемся. Приходи, смотри!
- Так в субботу, Ким, мы на тебя рассчитываем.
- На дне рождения-то будешь?
- Да давай Ким, не сомневайся, тебе там понравится!

В филармонии было душно, музыка звучала в барабанные перепонки, тихо вступили скрипки, нарастая, музыка прошла насквозь, захватила в мерцании и сполохах, и в отчаянии заламывала руки и падала женщина на угрюмом берегу, металась под тучами чайки, и накатилась, закрывая все в ярости, огненная волна, стены города рушились в черном дыму, гремел неотвратно тяжкий солдатский шаг, но среди этого запел, защелкал невесть откуда уцелевший дрозд, и утренний ветер пробежал по высокой траве, березки затрепетали, в разрыве лазури с первым утренним лучом показался парус, он рос победно, и только пена кипела в прибрежных скалах.

«Да. Эдуард слушает. Что?! Ким, драть твои веники!! Старик сто лет когда скотина давай идет титан конечно. Да как, у меня нормально. Митьке? пятый уже, недавно вот стихотворение выгучил. Анька молодцом, вертится. Обязательно, о чем речь, сейчас я смоюсь с работы. Подходи, подходи! Да у меня и останешься, и не думай, что отпущу... кто стеснит — ты? с ума сошел! посидим хоть душу отведем. Отлично! Добро!»

- Здорово!
- Даже так?
- Помнишь!..
- Помнишь...
- Помнишь...
- Помнишь...
- Помнишь...

Официант склоняет пробор: коньячок, икорка; оркестр в полумраке. Покойно; вечер впереди; твердые салфетки; по первой. Женщины красивы.

- Танька — вон, русский, высокий.
- Это и есть тот знаменитый Ким? Симпатичный.
- ... — ...? — ... — ...! — ... — ...

«...откуда ты взялся такой... господи... мне кажется, я знаю тебя давным-давно... Поцелуй меня еще... милый...»

Витрины в гирляндах яркие. Длинноногая дива склонилась к окошечку кассы. Светлые волосы легли по белой шубке. Короткая шубка задиралась. Девушка чуть приседала, говоря к кассирше. Открытые бедра подавались в прозрачных чулках. Она отошла к прилавку, переступая невероятно длинными и стройными ногами, гордая головка возвышалась.

- Дорогой, заходи же скорее, заходи!
- Спасибо, ну зачем же; спасибо, родной. О! Боренька, ты смотри какая прелесть.
- Да не снимай ты туфли ради бога. Ниночка, скажи ему.
- Ну дай-ка я тебя поцелую. Да загорелый ты какой!
- Выглядишь ты прекрасно, должен тебе сказать.
- И как раз к обеду, очень удачно! Боренька, достань белую скатерть из шкафа.
- Так; водка у нас есть? — хорошо. Сейчас я только позвоню Черткову, скажу, что сегодня мы заняты.
- Ну дай же я на тебя посмотрю-то как следует.
- Ниночка, где у нас в холодильнике семга оставалась?

— Кушай ты милый не стесняйся, давай-ка я еще подложу.

— Ну, как твои успехи? А что делать собираешься?

Болезньщики выламывались из троллейбусов. Из надеющихся доказывал книжкой рыбфлота. Шайба щелкала под ревом. Лед в хрусте пылил веерами. Короткие выкрики игроков. Транслирующий голос закреплял взрывы игры.

— Привет, Ким!

— Как дела, Ким?

— Здравствуй, Ким.

— Здравствуй.

— Здравствуй.

— Ким приехал.

— Он мне звонил вчера.

— А мы с ним в пять встречаемся, присоединяйся.

— Давно, давно я его не видел.

Неимоверно морозный день калился в багровом дыму над Марсовым полем. Побелевшие деревья обмерли под кровоточающим солнцем, насаженным на острие Михайловского замка. Звон стыл.

— За встречу!

— Ким! — твой приезд.

— Гип-гип, — р-ра!!

— Горька-а! Ну-ну-ну... — Эть!

— Ха-ха-ха-ха-ха!

— Ти-ха!.. Ким, давай.

— И чтоб всегда таким цветущим!

— Позвольте мне себе позволить... э-э... от нашего...

э-э...

— «Пр-риходишь... — привет!»

— Ну расскажи хоть, как ты там?

— Спой что-нибудь, Ким. Эй, дай гитару.

— Пойдем потанцуем!

Дети катались с горки, падали, ликующе визжа, те-ребили своих пап в саду Дворца пионеров. Светилась огнями елка; лохматый черный пони возил малышей, бренчал бубенчиками, струйки пара вылетали из широких мягких ноздрей. Румяный кроха восседал на папиных плечах, всплескивая радостно руками.

— Как Ким-то? Что рассказывает?

— Вчера его Гоша видел. Цветет!

— Слушай, так что там насчет места в финансово-экономическом?

— В четверг буду знать; позвоню тебе.

— Если что — с меня причитается. Как твоя публикация?

— Вроде удастся пристроить в «Правоведении».

В толпе наступали на ноги, магазины, автобусы, метро, толстые и тонкие, старость — молодость, осторожно — двери закрываются, портфели, сапожки, ондатры, сегодня и ежедневно, топ-топ-топ по кругу, вы проходите — не мешайтесь.

— Еще что нового?

— Вчера Кима видел.

— Еще что нового?

— Вчера Кима видел.

— Еще что нового?

Лыжню припорошило. Снежная пыль сеялась с сосен. Дымки стояли от крыш в серо-молочное небо. А здесь пахло промерзшим лесом, лыжной мазью, чуть увлажневшей шерстью свитера, руки с приятным автоматизмом выбрасывали палки, отталкивались четко посылая, необыкновенно приятно было глотать лесной воздух.

— Эдуард, Митька опять ночью кашлял.

— Драть твои веники, звоню сегодня Иваницкому, у него есть знакомый хороший терапевт, а то что ж такое.

— Позвони, пожалуйста, не забудь. Как твоя изжога?

— Анька, отстань. Пью твой овощной сок.

— Как Ким?

— Нормально.

— Увидишь — передай привет. Сегодня среда, у меня семинар; буду поздно. Купишь поесть.

— Добро.

— И Митьку заберешь из садика.

— Могла не напоминать.

Автобус был пуст, и темные улицы тоже пусты. Согреться удалось только на заднем сиденье, но там высоко подбрасывало и пахло сильно выхлопом. На поворотах слышно было, как позвякивают и пересыпаются в кассах медяки.

— Боренька, ты совсем себя не бережешь.

— Ниночка, не пили меня. Я купил на рынке парной телятины.

— Милый, но зачем ты тащил эту картошку?

— Умеренные нагрузки полезны. А еще нам достали билеты на Темирканова, я Черткову звонил.

— Ты поблагодарил его?

— А как ты думаешь?

— Ким не давал о себе знать?

— При мне нет.

— Ну ложись, ложись, отдохни. Вон до сих пор еле дышишь.

— Сейчас, Ниночка, сейчас, положу все в холодильник.

Девушка притоптывала, поглядывая на часы. Парень подошел, невзрачный какой-то, маленький. Они поцеловались дважды, она, сняв варежку, погладила его по щеке, он обнял ее за плечи, они ушли прижавшись друг к другу.

— Танька — вот, тени французские, нужны? Ты что, того? Что — Ким?

Мороз заползал под брюки и жестко стягивал бедра. Дубленка была короткая, ветер распахивал полы и продувал насквозь. Руки в карманах, ветер забирался в рукава до локтей. Зато пальцы не мерзли. Каждые несколько минут приходилось вытаскивать правую руку из кармана и тереть онемевший кончик носа кожаной холодной перчаткой. На перчатке всякий раз после этого оставался мокрый след.

— Старик, моя статья будет в четвертом номере «Правоведения».

— Король! Как ты ее все-таки умудрился там просунуть?

— Уметь надо.

— Рад за тебя.

— Сигарету. Так вот, место в финансово-экономическом — сто тридцать пять без степени. Сеньшин (ты слышал) заинтересован в своем человеке, ему нужен молодой мужик против старых дур на кафедре. Смысл, пожалуй, есть. Я обещал, что ты дашь ответ послезавтра.

— Смысл есть...

Подушка была тугая, постель свежая.

От настольной лампы резало глаза, но в темноте толку не было.

Четыре сигареты оставались в пачке.

Под серым дождем таяли сугробы на пустой площади.

В домах светились окна только лестничных площадок.

В шесть часов зашаркал скребок дворника.

МИГ

— Осторожно, двери закрываются! Следующая станция — Петроградская.

Напротив сидела красивая женщина. Он смотрел на нее секунд несколько — сколько позволяли приличие и самолюбие. Страшно милая.

Хлопнули сдвоенно двери. Ускользящий вой движения.

Не столько красивая, сколько милая. Прямо по́ сердцу. Проблеск судьбы... не упустить — наверняка упустишь; с белых яблонь дым... И это тоже пройдет. Пройдет. Подойти. Трусость. Как просто все делается. Судьба, мимо, — а если?.. если, да... слово, взгляд, касание, добрая женственность, мягкое и округлое, ночное тепло, стон, музыка, плывет, головокружение, слишком любил, не нанес рану, повелевать — а не искать счастья в рабстве, подчинить, а счастье — сразу, вместе, желание навстречу; нет в мире совершенства, — сказал лис: вместе читали, а потом то письмо, телеграмма, никогда не увидятся, дурочка милая что натворила, лучшая из всех, лучше нее, пятнадцать лет, узенький купальник, старая дача, сейчас там все другое, берег зарос, камыши, бил влет, кислая гарь, прорвемся, ветреный рассвет, белые зубы, оружие по руке, армия без мелихлюндий, в двадцать лет мир твой, по выжженной равнине за метром метр, зачем рано умер, плакали, во дворе с гитарой, Галя, сама, не надеялся, неправда, лучше чем в кино, близость благодарные слезы преступить, куда мы уходим, когда над землю бушует весна, какая узкая талия, поздно увидел, маленькие руки ее санки спор, Света покажи, а дашь потрогать, через двадцать лет там все перестроили, зайцем на поезде, дайте до детства плацкартный билет, крутили пласты после уроков, два золотые медалиста ненавидели учителей, прав Наполеон — люди шахматная игра, презирать и использовать, еще все

будет было бы здоровье, плечо на Севере застудил — опять ноет, а зубы, швейцарские протезы пятьсот рублей, врачи коновалы, а что их зарплата, загорали в Солнечном план ограбить инкассатора, деньги у тех кто их добивается, побеждают слабые — они целеустремлены к жизни: работа, семья, дом, машина, сколько лет мечтал о машине — а сейчас уже не хочу, исчезают после тридцати желания, дорога ложка к обеду, первые груши на базаре не купила — дорого, теперь не люблю груши, слушался, верил, сволочи что же вы со мной делали, хорошего человека задолбать не легко, а он с кастетом, поломал локтем коленом и в почки еле смылся, перешагнуть через страх, пять драк с Мартыном перед классом, с Воробьем ночью в походе о жизни, весь урок на лавочке за мастерскими бесконечно разговор, она выглядела совсем взрослой, а все оказалось сплетней, фата и туфли скользкие, лучше Родена, голубое и прозрачное, синее, тоска, покину хижину мою уйду бродягою и вром, цыгане, Ромка курчавый отличный слух в музыкальную школу не загнать, успеет еще накрутиться белкой в колесе, закат, и не повидал мир, в бананово-лимонном Сингапуре, в бурю, мулатки с ногами от коренных зубов всегда готовы бахрома на бедрах, Рио-де-Жанейро, белые штаны за двадцатку в Пярну, белые ночи, мосты, будильник на полседьмого, выйду на пенсию — молотком его, время, летит в командировках не знаешь как убить самолет грохнулся хорошая смерть дурак в авиаучилище насели сдался уже майор подполковник смотрят как на человека пенсия двести лопух Ленке уже тринадцать начальство на ты, тыкни ему — ха-ха, а наряды он закрывает, премию урежут — на скандал, чего она шумит я еще не пью все домой, раковина течет проблема, слесарь бабки пивной ларек вообще миллионеры, лакеи, своя мафия, в гробу вас, не хотел, манило горько страдание романтика все познать не зарудешься познали до нейтронной бомбы, война или кирпичом по балде — какая разница, не боится умереть а операции, общий наркоз, наркотики старому пню подкинуть и донос на него, сам подонок, добрый только язык длинный — а слово ого оружие убить можно а сам в стороне смотреть как мы хребты и головы ломаем второй по самбо бегать надо кишечник ни к черту отощал кашей дразнила вот ножки были утонула узнал год спустя страшно бедная поцелуй мою грудь густой треугольник

желтая блузка одевалась кроссовки лопнули шапку новую Валька в комиссионке деньги на магах пулеметной очередью шагнуть с балкона покой золотые волосы большие ягодицы как нибудь сорок лет как отстрелянные патроны, а сколько старушек, после блокады девочками приезжали, старый город, всех не обеспечишь...

— Станция Петроградская!

Напротив сидела красивая женщина. Он смотрел на нее секунд несколько — сколько позволяли приличие и самолюбие. Страшно милая.

Знакомо... где и когда он ее уже видел?.. Не вспомнить... давно или недавно?.. но что-то было — что?..

— Осторожно, двери закрываются! Следующая станция — Черная речка.

НИ О ЧЕМ

Самое простое, самое верное, всегда пройдет, понравится, затронет, оставит след, создаст настроение, произведет впечатление; изящество фразы, ностальгия, тень любви, тень потери, тень мысли: ажурная тень жизни, тонкий штрих, значительность деликатного умолчания, шелест мудрой печали, сиреневое кружево, шелковая нить сюжета; солнечный зайчик, лунный блик, капля дождя, забытый запах, тепло руки, река времени.

Нечто приятное и впечатляющее, но несуществующее, как тень от радуги, пленительная мелодия трех дырок от флейты — трех нот собственной души, тихий и простой отзвук гармонии: надтреснутое, но ясное зеркальце, отражение нехитрое, но в этой нехитрости зоркость и мастерство.

Как мило, как изысканно, как виртуозно: ломкая паутина лет, прихотливое взаимопроникновение разностей, вуаль и веянье страстей — трепет памяти, цвет весны, жар скромных надежд — и осень, осень, угасающее золото, синий снег, сумерки, сумрак, далекий бубенчик...

Архаические проблески архаизмов словаря Даля, прелесть бесхитростных оборотов — выверенный аграмматизм, длинное свободное дыхание фразы, ее текучее матовое серебро; и простота, простота; и наивность, как бы идущая от чистоты души, от еретической мудрости, незыблемости исконных драгоценностей морали: добро, истина, прощение, и горчинка всепреходящести; о, без этой горчинки нет пикантности, нежной тонкости вкуса — так благоуханную сладость хорезмских дынь гурман присыпает тончайшей солью.

Как хорошо... Как талантливо... Как глубоко — и просто!.. Ненавязчивая, комфортная возможность подступа благородной слезы, нетрудное эстетическое наслаждение, щемящая душа разбережена бережно, чуть истомлена сладко, как на тихих медленных качелях

любви. И как в жизни: правдиво, правдиво; но красиво, благородно; увидел, понял, разобрался, смог, сумел, показал, объяснил; о... Нет, есть и порок, и зло, и несправедливость, и трагизм, — но светло! светло! И некрасивость есть — но светом добра поднята! И борьба, возможно поражение даже — но дух добра над всем торжествует, вера в людей — как в ясном прожекторе цветок распускается, белый голубь летит, вечный флаг вьется. Пусть даже кости — так белы, дождями омыты.

Не напрягать мозги, не ужасать воображение, не мучать сердце, ничего грубого, натуралистичного, могущего вызвать отвращение, никогда; ласкать, бархатной лапкой, приятно, от понимания приятно, сочувствия, доброты, ума, образованности, — а если в бархатной лапочке острый коготок царапнет — так это царапанье ласку острее сделает, удовольствие сильнее доставит: словно и боль, и кровь, да уместные, невсамделишные, желаемые.

Не открывать америк, уж открыта, известна, у каждого своя, она и нужна — а не другая, неправильная, чужая, лишняя будет; каждый хочет то узнать, что уж и так знает, то услышать, что сам хочет сказать — да случая не имеет: вот и радость, удовлетворение, согласие, благодарность: польсти его уму — он и примет, превознесет. А что все знают? — то, что всем известно; и чуть свежести взгляда, чуть игры формы — интересно, выделяется, умно — а и понятно.

Не бить в главное, как петух в зерно: неумело, примитивно — (стук в лоб — переваривай!); а виться кругами, ворковать певуче, взмести пыль дымкой жемчужной: хвост распущенный блещет, курочки волнуются, жизнь многосложная качает, с мыслями и чувствами, хорошая жизнь.

Проблемы, тайники души, конфликт чувства с долгом, и обыденность засасывает, необыденность манит — порой пуста, обманна; коснется ребенок со смертью, разлучатся влюбленные, прав наивный, преодолет трудности сильный... Щедрая веселая молодость, умудрена старость, пылкость разочаровывается — не гаснет огонь: переплетенье по правилам, головоломка-фокус из веревочки — прихотлив и продуман запутанный узор, а потянуть за два кончика — и растянулось все в ровную ниточку; не должны запутаться сплетенья, нельзя затянуть узелки, в том и уменье.

Сталкиваются характеры, идет дело, скрыты — но явно проявляются чувства, высказывается умное, а дурное осуждается не в лоб, но с очевидностью. С болью любовь, с потерями обретения, с благодарностью память, со стыдом грех. Ласка и смущение, суровость и чуткость, богатство и пустота, достоинство и черствость... Солнце садилось, глаза сияли, годы шли, мороз крепчал...

Кушают лошади сено и овес, впадает Волга в Каспийское море, круглая Земля и вертится, во всем сколько нюансов, оттенков, открытий, материи к замечанию, размышленью, вздоху и взгляду: времена года, и быстротечность жизни, и он и она, нехорошо зло и хорошо добро, хоть сильно зло бывает — тем паче хорошим быть надо; края дальние, красота ближняя, занятия разные, времена прошлые и надежды будущие, многоликое и доступное, разное и родное, счастье с горем пополам — вот и отрадно, а это главное — отрадно.

СВИСТУЛЬКИ

Он очнулся нагой на берегу. Рана на голове кровоточила.

Сначала он пытался унять кровь. Прижимал рукой. Промыл рану соленой жгучей водой. Отгонял мух. Потом нарвал листьев и осторожно залепил. В дальнейшем рана зажила. Шрам остался от лба до темени. И иногда мучали головные боли.

Возможно от удара по голове, ему начисто отшибло память. Если он видел какой-то предмет, то вспоминал, что к чему в этой связи. А с чем не сталкивался — о том ничего не помнил.

Изнемогая от жажды, он четыре дня скитался по лесу и набрел на ручей. Ел он ягоды и корешки (с опаской, несколько раз отравившись). Первый дождь он переждал под деревом. При втором построил шалаш. Впоследствии он построил несколько хижин: одну из камней у береговой скалы, другую в лесу у раздвоенной пальмы, из сучьев и коры. Хижины выглядели неказисто, но от непогоды укрывали. А когда он наткнулся на глину и приспособил для обмазки, жилища стали хоть куда.

Наблюдая, как чайки охотятся на рыбу, он пытался добывать ее руками, палкой, камнем, отказался от безуспешных способов и сложил в лагуне ловушку-запруду из камней, в отлив удавалось поймать. Собирал моллюсков. Из больших, с твердым глянцем листьев соорудил подобие одежды, защиту от жгучего солнца. Насушил травы для постели. Вылепил посуду из глины.

Жизнь наладилась, лишь немного омрачала настроение язва на ноге. Она саднила и мешала при ходьбе. Однако не настолько, чтоб он не смог предпринять путешествие на гору с целью осмотреться. Он взбирался сквозь заросли наверх с восхода до заката и остановился на вершине, задыхаясь: кругом до горизонта темнел океан, и солнце угасало за его краем. Это был остров.

На вершине горы он приготовил сигнальный костер. Рядом сделал хижину и стал глядеть вдаль, где покажется корабль. Он спускался только за водой и пищей и очень торопился обратно.

Через два года он, потеряв сначала надежду на корабль, вслед за ней потерял уверенность, что вообще существуют корабли, да и сами другие люди тоже. Нет — значит нет. А что было раньше — строго говоря, неизвестно. Голова иногда очень сильно болела. Даже из происшедшего на острове он уже не все помнил.

Он вернулся к хозяйству. Четыре добротные хижины, запас вяленой рыбы и сушеных корней, кувшины с водой, протоптанные тропинки, инструменты из камешков, палок, раковин и рыбьих костей. Конечно, обеспеченный быт требовал немало труда.

Выковыривая как-то моллюска из глубин витой раковины тростинкой, он дунул в тростинку, чтоб очистить ее от слизи — и получился свист. Ему понравилось. Он подул еще, с удовольствием и интересом прислушиваясь к звуку. Потом дунул в другую тростинку — та тоже свистела, но чуть иначе, по-своему.

Он развлекался, увлеченный. Тростинки, толстые и тонкие, надломленные и длинные — каждая имела свой звук. Он улавливал закономерности.

Первая мысль, которая пришла ему наутро — подуть в полую раковину. Раковина зазвучала басовито и мощно. Другие раковины тоже звучали. Он стал сортировать их по силе и высоте звука.

Вскоре он уже обладал сотней разнообразнейших свистулук. Были там из пяти, восьми и более неравных тростинок, скрепленных глиной, были глиняные и из раковин, с дырочками и без, прямые и гнутые. Он придумывал комбинированные, позволяющие извлекать сложный звук.

У него обнаружился музыкальный слух. Он научился наигрывать простенькие мелодии, переходя к более сложным. На лице его появлялось при этом задумчивое и болезненное выражение, — возможно, он пытался вспомнить многое... и не мог, но как бы прикасался к забытой истине, хранящейся, видимо, где-то в глубинах его существа, куда не дотягивался свет сознания.

Он познал в этом наслаждение и пристрастился к нему. Совершенствовал мелодии и сочинял новые. Иногда у него даже вырывался смешок, появлялась слеза —

а раньше он смеялся только при удачной рыбалке, а плакал от боли.

Хозяйство терпело некоторый ущерб. Усладиться мелодией было иногда желанней, чем добывать свежую пищу, коли какая-то оставалась.

Он, вполне допустимо, полагал себя гением. Не исключено, что так оно и было.

Гора на острове оказалась вулканом. Вулкан начал извержение утром. Плотный грохот растолкнул воздух, пепел завесил небо. Белое пламя лавы излилось на склоны, лес сметался камнепадом и горел. А самое скверное, что остров стал опускаться в океан. Это произошло тем более некстати, что с некоторого времени человека гнело несовершенство последних мелодий, а накануне вырисовалось рождение мелодии замечательнейшей и прекраснейшей.

Он оценил обстановку, вздохнул, взял вяленой рыбы и кувшин с водой, взял любимую свистульку из восьми тростинок, четырех раздвоенных глиняных трубочек и двух раковин по краям, и стал пробираться через хаос и дымящиеся трещины к холму в дальней части острова. Там он отдохнул, закусил, и принялся с бережностью нащупывать и строить мелодию. Устав, он пил воду, разглаживал пальцами губы и играл дальше.

Не то чтоб он не боялся или ему было все равно. Но он понимал, что — а вдруг уцелеет; и от его сожалений ничего не зависит; надо же чем-то занять время и отвлечься от грустной перспективы; хоть насладиться любимым занятием; да и — просто хотелось, вот и все.

Извержение продолжалось, и остров опускался. Через сутки волны плескались вокруг холма, где он спасался. У него еще оставалось полрыбы. Когда сверху летели камни, он прикрывал собой инструмент. Если ему не удавался очередной сложный пассаж, он ругался и топал ногами. А когда мелодия звучала особенно чисто и завораживающе, он прикрывал глаза, и лицо у него было совершенно счастливое.

ЦИТАТЫ

«А старший топорник говорит: «Чтоб им всем сгореть, иродам».

Плотников, «Рассказы топорника».

«Джефф, ты знаешь, кто мой любимый герой в Библии? Царь Ирод!»

О. Генри, «Вождь краснокожих».

«Товарищ, — сказала старуха, — товарищ, от всех этих дел я хочу повеситься».

Бабель, «Мой первый гусь».

Однако! Я заржал. Ничего подбор цитаточек!

Записную книжку, черненькую, дешевую, я поднял из-под ног в толкотне аэропорта. Оглянулся, помахав ею, — хозяин не обнаружился. Регистрацию на мой рейс еще не объявляли; зная, как ощутима бывает потеря записной книжки, я раскрыл ее: возможно, в начале есть координаты владельца.

«Я б-бы уб-бил г-г-гада».

Р. П. Уоррен, «Вся королевская рать».

«Хотел я его пристрелить — так ведь ни одного патрона не осталось».

Бр. Стругацкие, «Парень из преисподней».

«Я дам вам парабеллум».

Ильф, Петров, «12 стульев».

Удивительно агрессивные записи. Какой-то литературовед-мизантроп. Читатель-агрессор. Зачем ему, интересно, такая коллекция?

«Расстрелять, — спокойно проговорил пьяный офицер».
А. Толстой, «Ибикус».

«К тому времени станет теплее, и воевать будет легче».
Лондон, «Мексиканец».

Нечто удивительное. Материалы к диссертации о милитаризме в литературе? Военная терминология в художественной прозе?.. Я перелистнул несколько страниц:

«У нас генералы плачут, как дети».
Ю. Семенов, «17 мгновений весны».

«Имею два места холодного груза».
В. Богомолов, «В августе 44».

Я перелистнул еще:

«Заткнись, Бобби Ли, — сказал Изгой. — Нет в жизни счастья».
Ф. О'Коннор, «Хорошего человека найти нелегко».

«И цена всему этому — дерьмо».
Гашек: трактирщик Паливец, «Швейк».

«Лежи себе и сморкайся в платочек — вот и все удовольствие».
Н. Носов, «Незнайка».

Эге! Неизвестный собиратель цитат, кажется, перешел на вопросы более общие. Отношение к более общим вопросам бытия тоже не сверкало оптимизмом.

Странички были нумерованы зеленой пастой. На страничке шестнадцатой освещался женский вопрос:

«Хорошая была женщина. — Хорошая, если 6 стрелять в нее три раза в день».
Ф. О'Коннор, «Хорошего человека найти нелегко».

«При взгляде на лицо Паулы почему-то казалось, что у нее кривые ноги».

Э. Кестнер, «Фабиан».

«Жене: „Маня, Маня“, а его б воля — он эту Маню в мешок да в воду».

Чехов, «Печенег».

Облик агрессивного человеконенавистника обогатился конкретной чертой женоненавистничества. Боже, что ж это за забавный человек?

Но вот цитаты, посвященные. так сказать, гостеприимству:

«Я б таким гостям просто морды арбузом разбивал».
Зощенко.

«Увидев эти яства, мэтр Кокнар закусил губу. Увидев эти яства, Портос понял, что остался без обеда».
Дюма, «Три мушкетера».

«Не извольте беспокоиться, я его уже поблевал».
Колбасьев.

«Попейте, — говорят, — солдатики. — Так мы им в этот жбанчик помочились».
Гашек, «Швейк».

«У Карла всегда так уютно, — говорит один из гостей, пытаясь напоить пивом рояль».
Ремарк, «Черный обелиск».

Цитаты были приведены явно вольно. Некоторые даже слегка перевернаны. Уж Чехова и Зощенко я помнил.

Но зачем они владельцу книжки? Эрудиция начетчика? Остроумие бездельника, отлакированное псевдообразованностью? Реплики на все случаи жизни? Блеск пустой головы? Конечно, цитирование с умным видом может заменить в общении и ум, и образованность...

И тут же наткнулся на раздел, близкий к моим размышлениям:

«И находились даже горячие умы, предрекавшие расцвет искусств под присмотром квартальных надзирателей».
Салтыков-Щедрин, «История одн. города».

«Проклинаю чернильницу и чернильницы мать!»
Саша Черный.

«Мосье Левитан, почему бы вам не нарисовать на этом лугу коровку?»

Паустовский, «Левитан».

Объявили регистрацию на мой рейс. Оценив толпу с чемоданами, я взял свой портфельчик и пошел к справочному: пусть объявят о пропаже. У стеклянной будочки толпилось человека четыре, и я, не отпускаемый любопытством, листал через пятое на десятое:

«Если б другие не были дураками — мы были бы ими».

В. Блейк.

«Говнюк ты, братец, — печально сказал полковник. — Как же ты можешь мне, своему командиру, такие вещи говорить?»

Серафимович, «Железный поток».

«Ничего я ему на это не сказал, а только ответил».
Зощенко.

Страничка 22 вдруг касалась как бы национального вопроса:

«Его фамилия Вернер, но он русский».
Лермонтов, «Герой нашего времени».

«А наша кошка тоже еврей?»
Кассиль, «Кондуит и Швамбрания».

«Меняю одну национальность на две судимости».
Хохма.

Я приблизился к окошечку, взглянул на длинную еще очередь у стойки регистрации — и, отшагнув и уступая место следующему за мной, полистал еще. В конце значились какие-то искалеченные, переименованные поговорки:

«Любишь кататься — и катись на фиг».

«Чем дальше в лес — тем боже мой!»

«Что посмеешь — то и пожмешь».

Последняя страница мелко исписана фразами из анекдотов — все как один бородатые, подобные видимо тем, за какие янки при дворе короля Артура повесил сэра Дэнейди-шутника.

«Массовик во-от с таким затейником!»

«Чего тут думать? трясти надо!»

Переделанные строки песен:

«Мадам, уже падают дятлы».

«Вы слышали, как дают дрозда?»

«Лица желтые над городом кружатся».

Это уже походило на неостроумное глумление. Я протянул книжку милой девочке в окошечке справочного и объяснил просьбу.

— Найдена записная книжка черного цвета с цитатами! Гражданина, потерявшего, просят...

Я чуть поодаль ждал с любопытством — подойдет ли владелец? Каков он?

Объявили окончание регистрации. Я поглядывал на часы и табло.

В голове застряли несколько бессвязных цитат:

«Жирные, здоровые люди нужны в Гватемале».

О. Генри, «Короли и капуста».

«И Вилли, и Билли давно позабыли, когда собирали такой урожай».

Высоцкий, «Алиса в стране чудес».

«Поле чудес в стране дураков».

Мюзикл «Буратино».

«И тут Эдди Марсала пукнул на всю церковь. Молодец Эдди!»

Сэлинджер, «Над пропастью во ржи».

«Стоит посадить обезьяну в клетку, как она воображает себя птицей».

журн. «Крокодил».

«Не все то лебедь, что над водой торчит».

Станислав Ежи Лец.

«Умными мы называем людей, которые с нами соглашаются».

В. Блейк.

«Почему бы одному благородному дону не получить розог от другого благородного дона?»

Бр. Стругацкие, «Трудно быть богом».

«В общем, мощные бедра».

Там же.

«Пилите Шура, пилите».

Ильф, Петров, «12 стульев».

«А весовщик говорит: Э-э-ээ-ээээээээ...»

Зоценко.

«Приходить со своими веревками, или дадут?»

Мне вспомнился одноклассник (сейчас ему под сорок, а все такой же идиот), у которого было шуток шесть на все случаи жизни. Через погода знакомства любой беззлобно осаживал его: «Степаша, заткнись». На что он, не обижаясь, отвечал — тоже всегда одной формулой «Запас шуток ограничен, а жизнь с ними прожить надо». И живет!

Вспомнил и старое рассуждение: три цитаты — это уже некое самостоятельное произведение, они как бы сцепляются молекулярными связями, образуя подобие нового художественного единства, взаимообогащаясь смыслом.

Я уже давно читаю очень медленно — возможно, реакция на молниеносное студенческо-сессионное чтение, когда стопа шедевров пропускается через мозги, как пулеметная лента, только пустые гильзы отзвываются. И с некоторых пор стал обращать внимание, как много афористичности, да и просто смака в массе фраз настоящих писателей; обычно их не замечаешь, проскальзываешь. Возьми чуть не любую вещь из классики — и наберешь эпиграфов и высказываний на все случаи жизни.

Причем обращаешь внимание на такие фразы, разумеется, в соответствии с собственным настроением: вычитываешь то, что хочешь вычитать; на то они и классики... В принципе набор цитат, которыми оперирует человек, — его довольно ясная характеристика. «Скажи мне, что ты запомнил, и я скажу тебе, кто ты»...

И тут он подошел к справочному — торопливый, растерянно-радостный. Средних лет, хорошо одет, доброе лицо. Странно...

Улыбаясь и жестикулируя, он вертел в руках свой цитатник, что-то толкая девушке за стеклом. Она приподнялась и указала на меня.

Он выразил мне благодарность в прочувственных выражениях, сияя.

— Простите, — сознался я, мучимый любопытством, — я тут раскрыл нечаянно... искал данные владельца... и увидел... — Как вы объясните человеку, что прочли его записи, а теперь хотите еще и выяснить их причину? Но он готовно пришел на помощь:

— Вас, наверно, позабавил набор цитат?

— Да уж заинтриговал... Облик вырисовался такой... не соответствующий... — я сделал жест, обрисовывающий собеседника.

— А-а, — он рассмеялся. — Видите ли, это рабочие записи. По сценарию один юноша, эдакий пижон-нигилист, произносит цитату — характерную для него, задающую тон всему образу, определяющую интонацию данной сцены, реакцию собеседников и прочее...

— Вы сценарист?

— Да; вот и ищу, понимаете...

— И сколько фраз он должен произнести?

— Одну.

— И это все — ради одной?! — поразился я.

— А что ж делать, — вздохнул он. — За то нам и платят: «За то, что две гайки отвернул, — десять копеек, за то, что знаешь, где отвернуть, — три рубля».

Я помнил это место из старого фильма.

— «Положительно, доктор, — в тон сказал я, — нам с вами невозможно разговаривать друг с другом».

Он хохотнул, провожая меня к стойке: все прошли на посадку.

— Вот это называется пролегомены науки, — сказал он. — «Победа разума над сарсапариллой».

Мне не хотелось сдаваться на этом конкурсе эрудитов.

— «Наука умеет много гитик», — ответил я, пожимая ему руку, и пошел в перрон. И вслед мне раздалось:

— «Что-то левая у меня отяжелела, — сказал он после шестого раунда».

— «Он залпом выпил стакан виски и потерял сознание».

Вот заразная болезнь!

«Не пишите чужими словами на чистых страницах вашего сердца».

«Молчите, проклятые книги!»

«И это тоже пройдет».

КЕНТАВР

Уж кто кем родился, дело такое. Стыдиться тут нечего. Бывает. У нас, так сказать, все равны. Александра Филипповича, например, — так того вообще угораздило родиться кентавром. Кентаврам еще в античной Греции жилось хлопотно. А сейчас о них почти и вовсе ничего не слышно.

Сначала его не принимали в детский сад: намекали, что нужна специальная обувь, кровать и прочее. Пришлось без боли вырвать заведующей два зуба, устроив ее к знакомому частнику-стоматологу. Но и тогда не велели ложиться в кровать с копытами, а на прогулках он должен был плестись в конце и не размахивать хвостом.

В школе, куда его записали против желания — всеобщее обучение есть всеобщее обучение, — он пользовался уважением, как личность необыкновенная, обладающая к тому же смертельным ударом задней левой. На физкультуре его ставили в пример, но когда на городских соревнованиях жюри не засчитало ему побед в беге и прыжках, он затаил обиду и к спортивной карьере охладел, несмотря на бешеные посулы заезжих тренеров.

Он стал задумываться о судьбах кентавров в истории. И выдержал конкурс на исторический факультет (хотя предпочтение отдавалось имеющим производственный стаж), где прославился как достопримечательность костюмированных балов (первые призы) и душа пикников, на которых он катал верхом всех желающих девушек. Он долго боялся, что не может нравиться девушкам, но оказалось, что многие испытывают к нему сильнейший интерес. И на последнем курсе он удачно женился на профессорской дочке. Правда, семья прокляла ее, но потом опомнилась, что других-то детей нет, и Александра Филипповича оставили в аспирантуре.

Защита диссертации «Роль кентавров в современности» шла бурно: один профессор проснулся и напал с

обвинениями в антинаучной фальсификации истории: утверждал, что у античных кентавров было шесть ног, две из которых в результате прогресса и превратились в руки. К счастью, выяснилось, что профессор спутал четвероногих кентавров с шестикрылыми серафимами и шестируким Шивой.

Завотделом кадров воспротивился приему Александра Филипповича в НИИ истории, заявив, что фактом своего существования он подрывает научные основы и мешает атеистической пропаганде, так что тестю-профессору пришлось закрутить все связи. Зато в отделе Древней Греции Александр Филиппович сразу стал непререкаемым авторитетом и предметом зависти со стороны других отделов: сектор средних веков даже попытался устроить к себе настоящую ведьму, но встретил резкий отпор в лице директора, заявившего, что хватит с него и тех ведьм, которые в институте уже работают.

Недолюбливали Александра Филипповича лишь комендант здания, ругавшийся, что приходится менять паркет, и вахтер, на лице которого каждое утро, когда Александр Филиппович аккуратно предъявлял пропуск, появлялось болезненное и беспомощное выражение.

Несчастья начались с разнарядки на сельхозработы. Кто возмущался, что людей много, а кентавр один, а кто возражал, что именно поэтому его и надо отправить. Жена со временем стала стесняться Александра Филипповича перед окружающими (хотя наедине по-прежнему очень любила), и тесть-профессор не заступился. Вдобавок замдиректора, заполняя бланк, в графе «число людей» указал «1», и в мучительном затруднении пояснил в скобках: « + один конь ».

— Это ж надо, — восхитился в колхозе бригадир Вася, — какую полезную породу людей вывели! Давно пора! Во что мы уже умеем, а?

И Александра Филипповича рационально приспособили к телеге с картошкой: он сам насыпал ее в мешки, сам нагружал их, вез, разгружал, складывал и считал; а Вася отмечал палочками в блокноте.

— Как работать — так лошадь, а как кормить — так человек? — неумело пошутил Александр Филиппович в столовой. Ответили об установленных нормах порций, а кто недоволен — может хоть на лугу пастись.

А в дом приезжих его со скандалом не пустила уборщица.

Назавтра, голодный и невыспавшийся, он забастовал. Вася прибег к кнуту. Возмущенный Александр Филиппович поскакал жаловаться председателю колхоза. У того хватало проблем и без кентавров, он порылся в бумагах и кратко разъяснил в руководящем стиле:

— Указано: «Один человек плюс один конь». Не хотите работать — накатим такую жалобу, что вас вообще из ученых в лошади переведут.

Александр Филиппович стал худеть. Осунулся. Глаза его запали, зато ребра выступили. На поле кони встречали его сочувственным ржаньем, и это было особенно оскорбительно. Зоотехник при встрече с ним ужасался, а завклубом норовил проехаться на его телеге и сговориться о бесплатной лекции «Разоблачение мифов».

После дня под дождем Александр Филиппович простудился, слег. Врач при виде торчащих из-под одеяла копыт и хвоста в негодовании пообещал заявить о пьяных шутках бригадира Васи кому следует и ушел. Приглашенный Васей ветеринар высказал опасение, что Александра Филипповича придется усыпить. После такого прогноза больной лечиться у ветеринара отказался наотрез, и даже боялся принимать аспирин — черт их знает, что они могут подсунуть.

Добрый Вася принес водки, Александр Филиппович выпил и заснул. Вася стал решать вопрос: хоронить ли Александра Филипповича по-людски, или же сдать шкуру на заготпункт, а на вырученные деньги помянуть. А Александру Филипповичу снилась античная Греция, где среди цветущих холмов гуляли люди и кентавры, мирно беседуя о смысле истории и борьбе с общими врагами-чудовищами, а самый мудрый кентавр, которого звали Хирон, занимался воспитанием мальчика, которого звали Геракл, и никто не видел в этом ничего странного.

Из книги
«РАНДЕВУ СО ЗНАМЕНИТОСТЬЮ»

ДЕТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

КОНЕЦ ШЕСТИДЕСЯТЫХ

реквием ровесникам

Мы были, были!.. Мы, старперы, несостоявшееся поколение, дети победителей величайшей из войн, волна демографического взрыва — сорок шестой-пятидесятый года рождения, самое многочисленное поколение за всю историю страны. Мы, состарившиеся в мальчиках, вино, перебродившее на уксус и не дождавшееся праздника: нас не подпустили к столу, мы не дотянулись до бокалов, а ножи были предусмотрительно убраны: лакеи захватили буфеты и стали хозяевами праздника. Мы, брюзги, неудачники, одни спившиеся, другие продавшие незадорого, потому что дорогой цены уже не давали: предложение с лихвой превышало спрос. Мы, чьи лучшие рабочие годы — с двадцати пяти до сорока — ушли водой в песок, погрязли в болоте, ухнули в бездонную пропасть, в жизнеподобную пустоту непереносимо фальшивого фанфарного пения: оно скребло своей наглой фальшью нервы, и мы стали истеричны, оно резало сердце, и инфаркты подкрались к нам рано, оно разъедало душу, и нам уже нечем стало верить во все хорошее и честное. Мы, плешивые, потому что метались беспорядочно по жизни, пытаюсь жить, мы, гнилозубые, потому что жрали всякую дрянь — а что еще было жрать, потому что не на что было вставлять зубы у частного, поди еще его найди, не стальных же фикс ждать два года в бесплатной очереди: мы были, были, были!

Нам было по пятнадцать, мы были юны, стройны, красивы, полны сил и веры: острая брага юности запенилась в нас, детях победителей, когда Хрущев материл-

ся с трибун и учил писателей писать — но никого не сажали, и казалось, что никогда уже не будут сажать, никогда не будет страха: анекдоты о Хрущеве рассказывали везде, издевались над кукурузой: мы выросли без страха в крови, культ личности был историей, Твардовский редактировал и публиковал «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, Некрасов печатал в «Новом мире» «По обе стороны океана», «Коллеги» Аксенова были знаменитейшей из книг и «Звездный билет» тоже, критики громили Асадова — мы его читали: суки, человек потерял глаза на войне, прекрасные стихи, читали Евтушенко, читали Вознесенского, переписывали «Пилигримов» Бродского: мало знали, еще меньше понимали, но верить умели, это тоже было у нас в крови, — нет, сомневались, издевались, но — верили. Что было, то было — верили.

И когда слетел Никита — радовались. Демократия, справедливость, хватит кумовства, лысый дурак, наобещал коммунизм через двадцать лет, твердо зная, что двадцать лет не протянет и позор не падет на его лысую голову: восьмиклассники сдавали экзамен по истории СССР, а в коридорах издевались над тем, что отвечали насчет построения коммунизма: нет, не настолько наивны были; но — верили: в добро, в справедливость, в честь, в правду.

И потрясающее свойство юности: знать — а не понимать, видеть — а не понимать, спорить — а не понимать! Судили Бродского, выслали: это было плохо, но в основном все было хорошо. Судили Даниэля и Синявского по статье, которой и в кодексе-то не было: соглашались: поделом врагам народа, антисоветчикам. Не знали, что они написали, не знали толком, в чем дело, газетам своим вообще не верили — а в частности верили!.. обычная штука, юных так легко заморочить, внушить, направить: энергия брызжет, опыта нет, идеалы жгут, и на этих-то идеалах умело, как всегда, играли прожженные сволочи, умные и безжалостные бандиты, сделавшие карьеры на костях собственного народа, на пепле своей земли, на почерневшей в застое крови моего поколения.

А мы рвали семирублевые гитары и пели:

Ну и беда мне с этой Нинкою,
она живет со всей Ордынкою!

Но циниками не были, ох не были: был тот цинизм как панцирь на нежном теле краба, который прикрывал душу: все в порядке было с душой: в любовь верили, в дружбу верили, в советскую власть, в торжество добра, в святые идеалы, в нерушимое преимущество нашего строя над ихним, безжалостным и античеловечным.

Над Канадой небо синее,
меж берез дожди косые,
хоть похоже на Россию,
только все же не Россия...

Как же мы ухнули, как пролетели мимо кассы, как похоронили уже кое-кого из друзей, как ссучились, упустили свою волну, остались на обнажившемся бесплодном дне; ушел трамвай, ту-ту, и последними, кто успел прицепиться к колбасе, были те, кто родился на десять лет раньше нас, в тридцать седьмом-восьмом: Распутин, Маканин, Высоцкий. Больше в литературу имен не вошло, да что в литературу, что в искусство: в действительность нашу больше имен не вошло: пардон, все места заняты, двери закрываются, ждите следующего поезда...

И мы ждали, еще не понимая, что не будет поезда, что тот, на ком форма кондуктора, гонит нас в тупик, а жезл в его руке — на самом деле дубинка...

Уходит наш поезд в Освенцим
сегодня и ежедневно...

I

Когда слышался хруст? Пожалуй, что с процесса Даниэля и Синявского, но мы, семнадцатилетние, этого еще не понимали: ату гадов, ату власовцев, ату предателей: кто не с нами — тот против нас!

Тебе семь лет, идешь по улице и читаешь, по складам еще почти, лозунг: «Советская избирательная система — самая демократичная в мире!» И на всю жизнь впечатывается, вчеканивается: да; самая демократичная! гордость, достоинство, — вот так, наша. У них — голод и синтетика, у нас — натуральные продукты, у них — произвол, у нас — законы, у них — расизм, у нас — интернационализм.

И ведь поразительно: в пятом классе анекдоты рассказывали: американский инженер: «А сколько вы зарабатываете?» — советский: «Ну и что? А у вас негров вешают». Вроде и знали — а вроде никаких обобщений не делали. Похоже, юность не способна к абстрактному гуманитарному мышлению. Нет, не способна. Особенно если ее отучают думать.

Иногда говорят исключительно о поколении москвичей и ленинградцев; чушь; это всего-то пара процентов от всех: Москва — это еще не Россия. В основном-то все мы жили по небольшим городкам, в них именно народа было всего больше, а в столицы стекались сливки провинций, как и было всегда и везде. Мы были здоровы — что было, то было: гнилья в душах у нас в общем не было. Было, но нечасто. Сравнительно нечасто. Мы были убеждены, что если что — то в военкоматы пойдем в первый день и добровольцами; и в основном пошли бы, ей-богу!

Это — тогда. А сейчас — немногие бы туда отправились: научила жизнь отматываться от всего такого.

В провинциях наших зажима и тупости было побольше, в столицах, понятно, поменьше: мы балдели от свобод и демократий. Сколько позволено всего! И не сажают!

И при этом прекрасно знали, что на нашем университетском филфаке, скажем, полагается стукач на каждую группу, и знали, как происходит вербовка — в пустом кабинете декана, и каковы средства давления, и даже кое-кого из стучащих знали! И язык в общем держали на привязи. И все равно балдели от свобод, вот ведь что поразительно! Пьешь водку в общаге со стукачом — и балдеешь от свободы! Будь вы прокляты, грязные фискалы, наследнички палачей, сеявшие драконьи зубы, которые дохрупали теперь державу до самых костей.

Не будут прокляты. Хорошие зарплаты, приличные квартиры, социальный статус, спецобслуживание. Не давятся. Давимся мы.

А все-таки — все-таки — комплексуют! Истеричными делаются на этой работе, со стеснением о ней сообщают, а если спорят о деле своем — так с озлоблением, тупым отверганием всего не своего... Как ни верти — а ремесло доносчика, полицейского, палача, — всегда было презренным ремеслом.

(«А куда было деться, меня бы исключили за академическую задолженность...»)

«А куда было деться, потом не устроился бы ни на какую приличную работу, только в деревенскую школу...»)

Когда (по слухам, официальной информации — тютю) у Виктора Некрасова конфисковали архив, то один из уходящих с пачками бумаг сказал вежливо, смущенно, человечно: «Простите ради бога, Виктор Платонович, — служба...» — На что был ответ: «А вот службу себе, молодой человек, каждый выбирает сам». Тоже не всегда сам. Но в наше-то не слишком голодное время — сам, сам, голубчик. И что, получил ты счастье со своей службой? Нет, дорогой, если ты не ощущаешь себя единым, родным со своим народом, — все у тебя может быть, а счастья нет. Э, а может и есть — собаке собачье счастье.

Следователь-хмурик с утра на валидоле,
как пророк подследственный бородой оброс...

И было в Ленинградском политехническом «дело декабристов» — в декабре проходил процесс над студенческой организацией:

— Мы знали с самого начала, что успеха добиться не можем, ничего сделать не сможем, но — должен, должен же кто-то сказать правду!!

После этого Политех навсегда перестал быть в Ленинграде рассадником вольнодумства. Тоже, помнится, шестьдесят пятый год.

Так что — похрустывало, похрустывало уже тогда, но мы этого еще не понимали, не знали многого, да и накат инерции был велик: мы еще годик-другой побалдели...

Когда на сердце тяжесть,
И холодно в груди...

II

Потом грянула Шестидневная израильско-египетская война. Май шестьдесят семь. Вот тут-то и запахло керосином.

Насера у нас не любили, не уважали, не почитали: крайне порицали Никиту, что он дал ему Героя, а особенно возмущались, что наглый Насер на фотографии у

Асуанской плотины даже не надел Звезды: уже потом узнали, что Звезды-то и не было, Никита дал ему Героя самочинно.

Напиши мне, мама, в Египет,
как там Волга моя течет...

И ведь передавали, что Насер сгноил в концлагерях всех коммунистов, которые до того в Египте были, что египтяне ленивы, трусливы и жуликоваты, живут в страшной бедности, и рожа у Насера противная была, уж это точно; нет, Насер у нас популярной фигурой не был.

Правда, и евреи никогда не были уж самым любимым народом нигде. Но, поскольку интеллигенция всегда настроена оппозиционно, в среде интеллигенции настроения наблюдались антиофициальные, а антиофициальные — это произраильские. Анекдоты ходили про эту войну все в одни ворота: евреи выступали хитрыми и расчетливыми, но арабы — тупыми и неудачливыми.

Воля ваша, но евреям после этих событий лучше не стало — то есть советским евреям. Разумеется, советские евреи самые счастливые в мире, как и все прочие советские люди: но назови мне такую обитель, где девушки и молодые женщины то и дело сжигают себя?! братцы, ведь только у нас, только у нас! привет нашему гуманизму. Нет, это не еврейские девушки, норма по их сожжению была перевыполнена в военные годы надолго, — это мусульманские девушки. Евреи всегда отличались возмутительным жизнелюбием и жизненной цепкостью. У нас в школе выпускников было двести человек — три одиннадцатых класса и четыре десятых. Обе золотые медали получили евреи, а также две серебряные из пяти.

Русский советский еврей евреем себя особенно не ощущает, он обычно рад бы ощутить себя русским, но его русским ощущают не все и не всегда. Графа «национальность» в паспорте присутствует, вроде, только в нашем интернационалистском государстве. Мнение отнюдь не столь редкое: «Гитлер, конечно, был гад, фашист, но вот с евреями он все-таки поступил правильно, жаль не всех успел...» Короче, запахло еврейским вояжом, а это всегда нехороший признак.

Весной шестьдесят восьмого в Ленинградском университете арестовали около двухсот человек: так передавали, с преувеличениями. Не то земельная партия, не то террористическая программа, но троим впаяли больше десяти лет, еще несколько получили по мелочи, еще несколько десятков исключили с волчьим билетом. Как-то даже не верилось, что это произошло с нашими однокашниками.

А потом был август шестьдесят восемь — и в основном, что поразительно, мы занимали совершенно официальную позицию! Мы, кому было двадцать, полагали, что — да, иначе в Чехословакию вступила бы ФРГ, а антисоветские, антисоциалистические мятежи надо давать, это контрреволюция.

А потом на общежитских наших пьянках плакали чешские студентки-стажерки: «Мы вас любили больше всех, действительно как братьев, зачем вы это сделали?..». Вот в шестьдесят восьмом все и определилось, и те, кто постарше, поумней, это поняли. Прикрутили анекдоты «армянского радио», прикрутили помалу все: перестали печатать Гладилина, а он, худо-бедно, был зачинателем нашей новой молодежной прозы: «Хроника времен Виктора Подгурского», катаевская «Юность», пятьдесят пятый год. Дали Аксенову по мозгам за «Бочкотару». Придушили «Новый мир». И вот после шестьдесят восьмого ничего значительного в нашу культурную жизнь уже не пришло, новых фамилий не появилось: кто успел зацепиться, заявить о себе до того, напеть песен, выпустить книгу, застолбить место — те остались, а новые — шиш! Разве что Никита Михалков и Татьяна Толстая, но, заметьте, без своих семейных связей фигу бы они сделали свое: каста замкнулась.

И этого мы, двадцатилетние, не понимали. Мы жили шестьдесят пятым годом, когда на дворе стоял уже шестьдесят девятый. И это нам стоило дорого.

III

Ах, мы искали смысл, мы заново открывали для себя Павла Когана, Хикмета и Экзюпери, мы мечтали о больших делах; кто ж не мечтал.

Мы ехали в стройотряды — рвались сами, отбирались по конкурсу. Мы еще носили эту форму с гордос-

тью, добывали к ней тельняшки и офицерские ремни: образца шестьдесят шестого года она была в Ленинграде желто-оливковая, шестьдесят седьмого — серая, шестьдесят восьмого — зеленая, такой и осталась, вышла из моды, ею уже не гордились те, кто пришел за нами.

На Мангышлаке мы строили железную дорогу в пекле пустыни, в отрядах кругом ребята гибли: несколько десятков гробов пришло за лето из четырехтысячного отряда Гурьевской области: сгорали на проводах ЛЭП, ломали шею об дно ручья, обваривались битумом, хватали тепловые удары. Мы вламывали по десять часов в день — рвали жилы на совесть: мы — могли, мы — проверили себя, испытали — и утвердились! мы были — гвардия, студенты, — за двести рублей за лето! пахали, как карлы.

Наши командиры и мастера еще не обкрадывали своих.

Жгли сухой, как порох, «Шипкой» легкие, — мускулистые, поджарые, черные, зверски выносливые, в одних плавках, девчонки наши узенькими купальниками ввергали в раж работяг, бабы плевались — завидовали, красивы были наши девочки, тогда мы это не понимали, поняли позднее, когда — сдали, расплылись, обморщились. Ладони были как рашпиль, — гордились. «Здесь я нашла свою Испанию...» — сказала королева бетономешалки. Нам нужен был смысл. Смысл!

«Иностранное слово «романтика» по-русски звучит здесь «работа». «Стройотряды — школа коммунизма».

Форме нашей при возвращении завидовали, значки стройотрядов носились с гордостью — элита! — держались кучей: мы были — свои!

А уже присосались паразиты, заруководили, запланировали, засели в штабах, заездили по отрядам районные и областные комиссары: бороды брить, деньги в общий котел — отрядная коммуна, это передовее, чем коммуна бригадная. Не любили их, хотели — сами. Хоть это мы еще успели — сами, все кончилось на наших глазах.

И комиссары в пыльных шлемах
склонятся молча надо мной.

.....
Бандьера росса триумвера!

Мы были той крысой, которая успела вскочить на тонущий корабль.

Только плацкартного места той крысе уже не досталось — исключительно палубное.

В шестьдесят девятом году всех почти ленинградских студентов загнали в Ленобласть на мелиорацию — товарищ Романов осушал землю. Не записавшихся в отряд не допускали к экзаменам. Нынешний ленинградский спецкор «Известий» Анатолий Ежелев опубликовал в «Смене» подлейшую статью о конференции комсомола ЛГУ, где по приказу парткома наплевали на устав ВЛКСМ, устав ССО: отменили принцип добровольности стройотрядов, записанный параграфом первым статьи первой устава ССО, — заменили разнарядкой. Физики пытались организовать сопротивление — не удалось.

Партсекретарь ЛГУ выступал зло, демагогически, напирал на сорок первый год — мол, не козырять добровольцами, все нужны! Интересно, что он делает сейчас? Вряд ли бедствует...

За голосование против нас потом лепили выговора, грозили исключением из комсомола, прорабатывали на комиссиях: мы трезвели понемногу.

Мы еще сумели провалить кандидата в секретари факультета, навязанного парткомом: выигранное сражение в проигранной войне — орден он цапнул через несколько лет.

Глядь — едет
на лисапед
бывший комсомольский секлетарь.
Как бы, братцы, не было нам худа...

На рубеже семидесятого года ситуация сменилась как-то быстро, скачком: молодежь резко стала лучше одеваться; резко утратила романтизм; резко стали лучше жить материально; но все это было за нами; мы-то попали в промежуток — ни то, ни другое: сознанием еще там, впереди, а телом-то уже здесь, позади.

«Ну, а дальше? Что было дальше? Что было потом?» — «Не было дальше. Не было потом».

Мы еще смотрели «Леди Гамильтон» в кинотеатре старого фильма «Сатурн», на Садовой близ угла Мучного переуллка; я жил как раз напротив.

IV

Мы разогнались, как истребитель ко взлету, но с бетонки слетели в пашню, по вязкому болоту пытались мы взлететь, пережигая в форсаже двигателя, еще надеясь на высоту, скорость, небо, простор — глядя, как крутят высший пилотаж другие, не намного старше нас. Истребитель стареет быстро; около двадцати лет — срок огромный в человеческой жизни; по возрасту нас уже можно списывать в транспортную авиацию.

V

Самое многочисленное из советских поколений, дети победителей, отроки оттепели, юноши шестидесятых, — к сорока годам не дали ни единого человека, что встал бы вровень с достойными прежних времен. Нет, не были мы ни глупы, ни серы, ни вялы; нас не расстреливали, не пытали, не высылали за границу, не раскулачивали, в общем даже не сажали; нас задавили на корню.

VI

Бывает.

VII

Мы еще живы. Мы еще не вышли в тираж. «Еще ноги наши ходят, еще кони наши скачут, и пушка моя возле тела греется. Еще рука моя тебя достигнет».

VIII

Весной шестьдесят девятого на китайской границе в боях за остров Даманский погиб мой когдатошний одноклассник Толик Шамсутдинов.

Сталин и Мао — братья навек!

Мы еще застали китайских студентов — поразительно трудолюбивых, дисциплинированных и скромных.

Лица желтые над городом кружатся.

Паровозы, грузовики, истребители «МиГ»-15 и автоматы ППШ — взамен плащи и рубашки «Дружба», термоса и авторучки: отличные.

Над Китаем небо синее,
меж трибун вожди косые, —
хоть похоже на Россию,
только все же не Россия.

IX

Летом шестьдесят девятого Анатолий Кузнецов остался в Англии: черта была подведена. Кончился «Новый мир», умер Твардовский: жирная черная черта. Аксенова, Евтушенко, Медынского и Розова выперли из редколлегии «Юности». Кочетов напечатал в «Октябре» «Чего же ты хочешь». Иван Шевцов издал «Любовь и ненависть». Мы цитировали их наизусть — мы смеялись. Плакали мы позднее.

А потом заработали верховные редакторские ножницы, отстригая от пространства нашей духовной жизни строчку за строчкой. Спился и замолчал Казаков. Замолчал и уехал Гладиллин. Выслали Солженицына. Уехал Бродский. Пошли нескончаемой чередой уезжанты и невозвращенцы: Растропович, Барышников, и кого только не было. Уехал Некрасов. Уехал и погиб Галич. Умер Шукшин. Уехали Белоусова и Протопопов. Агония.

Точку воткнул восьмидесятый год: лишили гражданства уехавшего Аксенова; смерть Высоцкого; бойкот Олимпиады. Финиш.

Смерть Трифонова весной восемьдесят первого прозвучала завершающим аккордом; эпилогом.

Ах, как дивно работали наши боссы! Как сладостно руководить: запретить кому угодно что угодно. Крошка Цахес с партийным билетом.

Перековав свой меч на щит
и затыкая нам орало.

Затыкали рты, выкручивали руки, резали рукописи, смывали картины, чтобы потом иметь наглость заявить: «Наше искусство было недостаточно смелым». Н а ш е — достаточно. Смелых замалчивали, запугивали, сажали, высылали, — по вашим указаниям, дорогие благодетели.

Но — эти уже состоялись.

Мы — нет.

Места не было.

Нужды не было.

Мы — лишнее поколение?

Замолчанное поколение.

Заткнутое.

Х

И те же, кто сотнями тысяч — сотнями тысяч! миллионами! — укладывал на поле боя наших отцов, чтоб выслужить орден и звездочку, отрапортовать о взятии города к очередному празднику, — укладывал со всем идиотизмом и безжалостностью бюрократической системы: реку ли губить, землю ли распылять, людей ли в эту землю укладывать, — дело служивое, карьера есть карьера, машина власти и благ остается той же, — те же гении и предводители давили нас. Работа такая.

«Не ко мне они ходят советоваться, а к маузеру моему».

«Строим, с песней, добровольно!»

Изнасилованная страна, изолганная история, изуродованная экономика, пьянство и безверие: кровь, ложь, капкан.

«Хрусть — и пополам! Пойду забудусь сном».

Сколько миллионов в валюте могли бы дать одни только картины Макаренко? А что дали нашей культуре они? Всесильные и ненасытные молохи Госкомиздата, Минкульта, советов, комитетов, комиссий: оборотни-вампиры в черных лимузинах. Нигде в мире нет столько о р г а н о в, и нигде в мире нет, чтоб так трудно пробиться чему угодно незаурядному. Радетели вы наши.

Классовой — классовой ненавистью ненавидит мое поколение ваш класс номенклатурной бюрократии. Класс, лишивший нас возможности сделать в жизни свое — новое — лучшее — собственное: оставить на земле себя — для земли и людей. Прощать тут нечего, не-

кому, — это противоречие смертельное, непримиримое. Они это знают. И дают. И задавят, вероятно, — прошедшие годы отучили нас от оптимизма.

XI

«Довольно крови!..» В переводе на русский язык это сейчас означает: довольно крови невинных мучеников, не надо прибавлять к ней кровь палачей, убийц, преступников, пусть хоть они живут спокойно в многострадальной стране.

Христианство?

«Каин убил Авеля. И с тех пор повторял своим детям: «Берегите, дети, этот мир, за который отдал жизнь ваш дядя».

XII

Пели Городницкого, пели Галича, пели Окуджаву, Визбора, Высоцкого. Официальных песен не пели. А ведь вранье — мы еще пели их:

Забота наша такая, забота наша простая...

Пели, братцы.

Сотня юных бойцов из буденновских войск
на разведку в поля поскакала...

Тихо, на пьянках, с душой — родное пели, свое.

Полюшко-поле, полюшко широко поле...

И сейчас ведь их любим. Думаем иначе, относимся иначе, знаем иначе, а — любим... Милитаризм ненавидим, а парады — смотрим... Шовинизм презираем — а Ермаком гордимся.

XIII

Откуда ж у нас может взяться настоящая российская интеллигенция, если за интеллигентность — сво-

бодомыслие, порядочность, гражданственность, принципиальность, благородство — все-то годы карали так жестоко, семей не щадя: уничтожали, научно уничтожали, обстоятельно, систематически. Увольняли, обыскивали, «лечили». Подбросят наркотики при обыске и дадут срок. Грузовиком по тротуару размажут. Газетную травлю организуют. Уголовникам в камере дадут указание — искалечить вонючего антисоветчика. Потом антисоветчика провозглашают провозвестником перестройки, а те, кто велел кости ломать, восклицают: «Ну, довольно крови». Десятилетиями мгновенно вытаптывали малейший росток интеллигентности, да еще землю вокруг пропалывали профилактически. Взгляните-ка, кто провозглашает сейчас с экранов телевизоров принципы перестройки. Те, кто дивно преуспел в период застоя. Завтра они опять переквалифицируются. Дело обычное.

Нет, интеллигент — это Сахаров.

В отличие от, скажем, Боровика, представителя второй древнейшей, который всегда тщательно работал на генеральную линию — что линия Брежнева, что линия Горбачева.

Мыслие — всегда инакомыслие, это ясно. Ибо повторение чужой мысли означает отсутствие собственной. Интеллигент — это тот, кто провозглашаемые истины принимает не к сведению, а к размышлению. А если кто умеет размышлять, тот всегда глянет на предмет хоть чуток, да по-своему.

Мое поколение — в общем целиком инакомыслящее. К началу восьмидесятых к официальному слову нам создали иммунитет. Мы выжили — ценой того, что стали на это слово плевать. Иначе оставалось попасть в психушку из-за разрыва слышимого и видимого. Некоторые и попадали.

XIV

Государство имеет три основные функции:

безопасность жизни своих граждан;

материальное благополучие;

духовные свободы. Реализовать свои возможности.

Если оно с этим справляется плохо, то любые оправдания и объяснения — демагогия для самосохранения

правлящего аппарата. Где эти три условия выполняются лучше — то государство и лучше. Все остальное — ложь, изрекаемая бандитами, чтобы удобнее грабить людей и порабощать.

Мы приходили к этим нехитрым истинам сами, медленно, годами. Читать нам было нечего: все убиралось на спецхран. Еще в конце шестидесятых в университетской библиотеке можно было взять Шопенгауэра или Библию; потом это пресекли.

Мы не могли никак разобраться в преподаваемой нам политэкономии социализма, пока не поняли, что эта галиматья не имеет ни малейшего отношения к действительности, ни к логике, ни к элементарному здравому смыслу.

Мы не могли понять, как все, кто делал революцию, стали ее врагами и были расстреляны или явно убиты. Потом мы прочитали «Евангелие от Робеспьера» Гладиллина, изданное в «Пламенных революционерах» в семидесятом, помнится, году (как проверишь, и она была изъята). И логика убирания всех мыслящих и незаурядных медленно доходила до нас.

Потом мы научились читать Герцена. К восьмидесятому году Герцен звучал чудовищным диссидентом, не хуже Солженицына; только спокойнее, мудрее, интеллигентнее. Герцен сказал много о нас, будущих...

Спрашивайте, мальчики, спрашивайте...

XV

Слава богу, спрашивать нас родители еще отучили, — а то б глодать лагерную пайку многим из тех, кто — жил на относительной, да все ж воле...

На первом курсе профессор (тогда доцент) Хватов, креатура профессора Выходцева, предложил нам на лекции по введению в теорию советской литературы поспорить с ним насчет того, что художник при социализме свободен. Мы даже не усмехнулись: слишком дешевый трюк. Но иностранцы, стажеры наши, восприняли всерьез. Дальше было два академических часа бесплатного развлечения: Хватов терпеливо строил карточный домик, за разом раз, и одним щелчком тот домик был разрушаем: «Все-таки при капитализме ху-

дожник может примкнуть к его сторонникам, а может к врагам, и может сделать частную выставку, продавать картины, и его не арестуют, не посадят, не запретят...»

Художники группы «Санкт-Петербург» — давно в Париже и Нью-Йорке. По всему миру.

А на черта они нужны Министерству культуры? хлопоты одни.

А теперь скажите, на черта нам нужно Министерство культуры — вместо просто культуры? Заодно еще с сотней министерств?

Наши министерства могли бы составить население небольшого европейского государства. Страшное то было бы государство. Не начались бы в Сахаре перебои с песком.

Объясните глупым, мы выслушаем с благодарностью.

XVI

Гениальный из анекдотов минувшей эпохи: человек разбрасывает листовки, которые при рассмотрении оказываются чистыми листками бумаги. «А почему ничего не написано?» — «А что, разве все и так всё не знают?...»

XVII

Дорогой Никита Сергеевич. Да будет Вам пухом земля Новодевичьего кладбища, коли уж, по мнению любезных коллег Ваших, Вы, руководитель партии и государства — XX Съезд! — на Кремлевскую стену не потянули. Мы еще всерьез некогда читали «Трех мушкетеров»: «Слава павшему величию». Конец концлагерей, избавление от страха, нет всеислия жуткой бериевской госбезопасности, урезание огромной армии — деньги в жилье, сельское хозяйство, культуру, книги и кино, отмена полного крестьянского рабства, Куба и Египет, Индонезия и Африка: небывалая волна исторического оптимизма: слишком поздно мы прозревали от заблуждений молодости — поздно поняли, оценили в сравнении. Не хватило Вас на наш век.

XVIII

Молодость, переходящая в старость, минуя период социальной зрелости, — вот главная отличительная черта моего поколения.

За хлеб и воду
и за свободу
спасибо нашему советскому народу.

(Сойдет ли мне с рук написанное? Напечатают ли эту цитату из Высоцкого? Пропустят ли? Не вызовут ли автора на беседу куда надо? Не припомнят ли костоломно через несколько лет, если все повернется по-старому?)

XIX

Как много нас было!..

Как счастливо мы вступали в жизнь!..

Запрещение ядерных испытаний, полет Гагарина, разделение власти Первого секретаря и Предсовмина, микрорайоны — отдельную квартиру каждому, рост продолжительности жизни до семидесяти лет: ах, еще несколько лет, и мы всем покажем, мы примем эстафету, мы пойдем дальше!

Мы носим узкие брюки и снежные в голубизну нейлоновые рубашки, мы курим первые сигареты с фильтром — болгарский «Трезор» за тридцать копеек или «Фильтр» за восемнадцать, мы покупаем на три рубля бутылку «Московской» водки за два восемьдесят семь и белый батон за тринадцать копеек — на троих, в общаге застилаем стол газеткой и молча стоим под Гимн Советского Союза, поминаем Гагарина, которого сейчас хоронят. Мы вырезаем из чужих журналов портрет Че Гевары, последнего настоящего революционера XX века, мы танцуем шейк вместо твиста, мы не ходим в кабаки, даже когда есть деньги — нам там скучно, а денежных людей мы презираем. Мы пьем в общаге при свечах, поем под гитару, заводим допотопнейший магнитофон и танцуем, прижимаемся, ласкаем и целуем по углам и лестницам наших девочек, по общежитским койкам и парковым скамейкам,

ах гостиница моя ты гостиница
на кровать присяду я, ты подвинешься,

на тонких запястьях девочек отвернуты рукава болоньевых плащей, плоские золоченые часы «Полет» на черных нейлоновых ремешках, туфли на шпильках, мини, еле прикрывающие резинки чулок, и неживая шершавая гладкость чулка сменяется прерывающей дыхание прохладной теплотой нежной кожи бедер, дешевейшее советское, позорное несчастное белье и стройные, округлые, замечательные юные тела, наши отцы и деды не были алкоголиками, поля не были забиты химией, с генофондом у нас все было в порядке, боже, как красивы были наши девочки, надо было пожить, чтоб понять это, и как мы все были неприятельны, и бедны по нынешним меркам, и не нужно было ничего,

мы мечтали о морях-океанах,
собирались напрямик на Гавай.
И как спятивший трубач спозаранок,
уцелевших я друзей созываю.

Нет друзей: разбежались: один в Вологде, другой в Париже, третий уж там — ждет нас; не так долго и осталось, кто пробежал больше половины дистанции, кому Бог и короче судил...

Не страшно в прах лечь — исход всеобщий; жаль не прожитых минувших лет.

XX

Врезал по нас серпом шестьдесят восьмой годочек. Баррикады на Монмартре, бои в студенческих кампусах Америки, наши танки в Праге; а мы летом долбали в Норильске вечную мерзлоту ломами, пили спирт от простуды, щеголяли формягой ССО, тосковали по своим любовям, — мы были обречены, но, конечно, этого еще не знали.

XXI

Это через несколько лет мы, женившись, разво-
дились, измучившись жить вдвоем и втроем на двести

рублей, снимая при этом комнату и пытаясь купить все необходимое: нищие по всем стандартам развитых стран, живущие ниже порога официальной бедности. Это через несколько лет наши девочки начнут высказывать замуж за американцев и итальянцев, а мальчики жениться на француженках и шведках: и остались бы, но бедствовать без прописки и, стало быть, без работы не могли, а ехать в глушь, чтоб там за те же сто рублей снимать ту же комнату, только с сортиром во дворе, с теми же унижениями, с тем же сознанием ненужности своих знаний и возможностей, — не хотели. Это через несколько лет фарцовщики станут королями Невского, галерея Гостиного двора станет их Бродвеем, проститутки засядут в «Севере», а в «Березку» нас пускать перестанут, и цена на доллар взлетит вдвое на черном рынке. Это через несколько лет уже нельзя будет купить Плутарха и Шеллинга с лотка на Университетской набережной, и мы засунем дипломы подальше и пойдем в таксисты, сварщики и шабашники, создавать бригады маляров-доцентов и лесорубов-учителей. Это через несколько лет начнется еврейская эмиграция, и возникнет поговорка «еврей не роскошь, а средство передвижения», брак с выезжающим — вывозящим — евреем будет стоить до пяти тысяч, и тут же разработают систему обхода таможенных правил, предписывающих оставлять все нажитое добро здесь, придумают четырехметровый с пятью ручками чемодан «Привет от тети Сары», и ящики, заколачиваемые золотыми гвоздями, и возникнет Антисионистский комитет, и по телевизору будут выступать знатные евреи Советского Союза и рассказывать о своей счастливой жизни, а потом перестанут, потому что многие из них тоже уедут.

Это потом, года с семьдесят пятого, начнет Брежнев заговариваться и валиться с трапов самолетов на руки двум здоровенным расторопным ребятам, потом сделают карьерки комсомольских и партийных боссов карьеристы и сгинут в неизвестности неудачники, потом изымут из библиотек книги, на которых мы росли, и душиатели и паразиты будут получать награды к юбилеям.

А пока жизнь принадлежит нам, мы ее переделаем, улучшим, мы можем, мы любим, мы читаем стихи, мы создадим шедевры, мы двинем страну дальше, вперед,

в тридцать лет мы будем уже велики, знамениты, доктора наук и руководители производства, крупные фигуры, ведь у нас такие прекрасные условия, лучше, чем у всех предшествовавших поколений, и в актовом зале мы только что не на люстре висим, а со сцены немолодой уже, тридцатилетний Владимир Высоцкий поет нам, двадцатилетним:

Но парус! Порвали парус!
Каюсь! Каюсь! Каюсь!

РАНДЕВУ СО ЗНАМЕНИТОСТЬЮ

1. ПАРАД

Торжественный зал. Люстра, кинохроника, смокинги, блики фотовспышек на лысинах. Недержание лесты: симфония славословий.

— ...за величайшее достижение в области литературы двадцатого века. И, может быть, литературы вообще!..

Не помыслить в искусстве (и в науке!) свершения большего, чем ответы на все вечные вопросы. Дерзновенна уже одна мысль о постановке подобной задачи.

Эта задача не только поставлена — она решена. (*Овация*).

Сегодняшняя Премия, слава, богатство — суетный прах, запоздалая тень заслуженной награды, которой по праву мы чтим Его. Слава и честь покорителю высочайшей из вершин, чей подвиг не будет превзойден в веках. (*Бурная овация. Чествуемый промакивает лоб платком*).

— Путь на вершину — это восхождение на Голгофу, а не на пьедестал. И чем выше вершина — тем тяжелее крест. Пьедестал памятника сделан из плахи таланта.

Ум его не знал запретов, а воля не ведала преград. Отказ от карьеры, сгоревшие страсти, погибшие способности, годы унижений и нищеты, непереносимых сомнений, разъедающих кислотой душу и мозг, годы метаний и мук, когда обретение оборачивается миражом, и непостижимость миража завораживает сумасшествием и баюкает самоубийством — такова плата за гений: бесценное сокровище, открытое человечеству. (*Зал слегка пришиблен*).

Выжженная земля остается за спиной того, кто один на один уходит в погоню за истиной. (*Нерешительные аплодисменты*).

— ...пример неколебимой стойкости духа. Юность и страсть, здоровье и мудрость, честность и сила перепла-

вились в сжигающем жаре вдохновения, являя невиданный сплав — ту человеческую сталь, для которой возможно даже невозможное.

Вера и мужество, интуиция и расчет, труд и талант, целеустремленность и нечеловеческая выносливость — малая часть качеств, необходимых для написания истинной Книги. Той, что открывает человечеству новую страницу в познании. (*Чествуемый уже тихо тоскует*).

— ...венец величественного здания литературы, созданного гением земной цивилизации! Пока существует человечество — оно будет читать эту Книгу и свято чтить это имя. (*Жарко; клюют носами, поглядывают на часы*).

2. РЕВЕРАНС

Ответная речь. Кукушка хвалит петуха. Чествуемый с невозмутимым лицом Будды утверждает на кафедре, как адмирал — на мостике рыбацкой шхуны. На всех лицах изображается именно то чувство, что они лицезреют величайшего из людей. Звон тишины служит увертюрой к речи.

— ...незаслуженные почести. (*Поклон залу. Овация*).

Если человек любит свое дело — величайшей для него наградой является возможность свободно заниматься этим делом — так, как он хочет и видит, понимает нужным.

Иногда я чувствую себя не автором Книги, столь высоко оцененной вами, а лишь ЕЕ представителем, подчиненным, гидом, что ли. (*Дружелюбный смех в зале*).

На мою долю выпал редкий и счастливый случай: полное понимание при жизни, признание современников. В каждом ли солдатском ранце лежит маршалский жезл — но за каждой солдатской спиной стоит смерть. Охотник за истиной должен быть всегда готов к тому, что удача застигнет его вдали от людей, и голос не успеет покрыть пройденную даль, покуда он жив. В моем ремесле победа не любит свидетелей.

Я был всегда готов к забвению и смерти: таковы условия игры. И когда ты принимаешь их, то получаешь шанс выиграть. Если не побоишься передернуть в верный момент. (*Шевеление и звуки в зале*).

Удостоенный сегодня за мою работу высшего из всех возможных отличий... (*поклон; овация*)... я хочу напомнить: писатель не существует без читателей, как не существует магнит с одним полюсом. Необходимы все те,

кто читает, и все те, кто не читает — тоже: ибо основание держит весь груз горы, венчаемой пиком.

Книга начинает свою жизнь после прочтения. До тех пор созданное писателем может быть завершено и совершенно — но еще не живет. Первое прочтение читателем — это тот шлепок, который акушерка дает младенцу, вызывая первый вдох.

Я благодарю вас за жизнь, которую вы вдохнули в мою Книгу. (*Овация*). За труд, которым вы завершили мою работу, не имевшую бы смысла, не будь всех вас. (*Бурная овация*).

Я благодарю моих отца и мать, которые родили меня, вырастили и воспитали.

Моего брата, любящего и верящего в меня всегда.

Мою жену, разделившую со мной небезбедную жизнь безоглядно и верно.

Моих учителей, живых и мертвых, у которых я научился всему, чему мог.

Моих друзей, чье тепло, доброта и понимание помогли мне выжить.

Моих врагов, которые научили меня быть сильным, не бояться и побеждать.

3. ЗНАКОМСТВО

Пресс-конференция. Помпезная процедура разбавляется привычным профессионализмом журналистов.

— Что Вы чувствуете сегодня, в этот знаменательный для Вас день получения Высшей Премии?

— Ничего особенного. Приятно, разумеется. И слегка презираю себя за то, что приятно: надо быть выше атрибутики и суетных наград.

— Но Премия — знак признательности современников. Вы нашли дорогу к их сердцу и уму — это не может быть безразлично автору?

— Любому хочется, чтоб его понимали — причем так, как он сам считает правильным. Но это практически исключено: автор понимает одно, читатель другое, критик третье, журналист четвертое — если вообще читал то, о чем говорит.

— Вы не уважаете читателей?

— Я рад каждому, кто меня как-то понимает и кому я могу что-то дать. Но нельзя корректировать свою ра-

боту в зависимости от читательских отзывов. Кто делает что-то в искусстве — должен быть принят теми, кто в нем менее компетентен, чем автор. Следуя пожеланиям и взглядам читателей, я низведу свою компетентность до уровня людей некомпетентных, непрофессионалов, — что же нового я смогу им тогда дать, если стану писать так, как они уже знают (коли советуют)? Понимание писателя читателем обогатит читателя; следование писателя за читателем обеднит обоих. Увы — мы пережевываем сейчас эту банальную истину только по дилетантству задавшего вопрос. (*Смешки и сомнение в зале*).

— Присуждение Премии явилось для Вас неожиданностью?

— Нет. Еще в двадцать лет я знал, что получу ее. И не ошибся в сроке.

— Вы приписываете это своему таланту? случаю, воле, удаче? гениальности?

— Я не знаю, что такое «талант», и что такое «гений» я тоже не знаю. Для себя я оперирую понятием «работать хорошо». Я работаю хорошо.

Удача? Судьба благосклонна к тем, кто твердо знает, чего хочет. Воля? Вид пропасти заставляет строить мост. Произошло лишь то, что должно было произойти.

— Хорошо: что Вы почувствовали, только узнав о присуждении Премии?

— Вам нужен восторг, счастье, необыкновенный подъем? Нет; лишь легкую тоску оттого, что ничего этого я не почувствовал... «Он один был в своем углу, где секунданты даже не поставили для него стула». И все-таки было знание: я сделал то, что должен был сделать. Видите ли: мало написать Великую Книгу — надо добиться признания ее таковой.

— Вы верите в неизвестных гениев?

— Бесспорно. Ведь гением признается тот, чей труд был раньше или позже признан. Понят, принят. Оказал влияние на умы, на развитие идей, науки, деятельности, — на человечество. Макрокосм нашей культуры, расширяясь, развивается и движется в каком-то преимущественном направлении. Разведать и проложить дорогу, пробить выход на нее — вот работа гения.

Но:

Человечество может быть не готово к этому открытию. Может не заметить его.

Может избрать один из ряда аналогичных вариантов.

Или открытие может опоздать.

Гений — это творец, застолбивший участок на золотой жиле истории. На той дороге, по которой пойдет человечество. Ее трудно знать наверняка. И она может иметь боковые, параллельные пути — на которых безвестные гении лишены признания в веках: история мчит мимо у горизонта, воздавая хвалу удачливому их собрату.

То есть. Гением нужно быть, но будучи гением можно являться таковым пред человечеством, а можно не являться.

Самоучка-портной создал дифференциальное исчисление — давно известное математикам.

Законы Максвелла за сорок лет до него открыл и сформулировал забытый английский профессор: он не сумел привлечь к себе внимание.

Колумб не первый открыл Америку — он первый открыл ее вовремя.

Гений — это именной указатель (часто посмертный) на столбовом пути прогресса. Для прогресса хватит одного пути, а для указателя — одного имени.

В искусстве же, которое условно, и система условностей которого не есть абсолют, особенно часто со всей дерзостью, оригинальностью, глубиной — отклоняются от столбового пути в забвение. Иногда — чтобы быть на указателях когда-нибудь вновь. Был век забвения Шекспира. Посмертная слава художников. Доисторические пещерные росписи, открытые сто лет назад, воспринимались поначалу как несовершенный примитивизм, а позднее — как блистательные стилизации.

Какая бездна смысла и красоты открывается японцу в крошечном садике, ничтожном на взгляд поверхностного и грубого европейца! Так вот: на свое гениальное творение надо заставить людей смотреть столь же внимательно и углубленно, как тот японец.

— На что Вы намерены потратить Премию?

— Деньги всегда сами найдут, куда уйти. (*Пожатие плеч. Смех в зале*).

— Но ее сумма играет для Вас роль?

— Десять лет назад это могло бы сделать мою жизнь полней, смягчить трудности, позволить больше работать. Сейчас — это неважно.

— Вы из тех, кто презирует богатство?

— Я из тех, кто ненавидит нищету.

— Если верить прессе, Ваши доходы ныне очень высоки?

— Верить ли прессе — тут виднее вам. Пожалуй, у меня есть сейчас чуть больше, чем я когда-то хотел. Но я не жалею. (Смех).

— Что помогло Вам выстоять в лишениях?

— Неизбежность победы. Наслаждение борьбой. Счастье работать свободно и в полную силу: не гнуть спину и совесть за деньги. В общем все пережитое соответствовало моим желаниям. Если ясно видишь обстановку и сам делаешь выбор — то уж стой и не падай. Я знал, что свое сделаю.

— У Вас бывали приступы отчаяния?

— Бессильного бешенства — да.

— Вам случалось терять веру в себя?

— Отменная глупость. Нет.

— Ваш девиз?

— Не было — так будет. Сделай или сдохни.

— Как зародился замысел Вашей Книги?

— Моя любимая притча — «Ворота» Кафки: «Они были предназначены для тебя одного...»

Мне было тридцать два года, и я писал рассказ, где было сказано о любви все — «Соблазнитель». Я рассуждал о счастье и анализировал психологический механизм отказа от него — извечный парадокс, решение которого дает богатейшие следствия.

И как-то ненастным мартовским вечером я настолько удалился от начала по проявляющейся паутине следствий, что вообще отложил рассказ, вернувшись к нему четыре года спустя.

Уловленная нить логики уводила в глубины буквально всех основных вопросов бытия. Я стал искать основной принцип, могущий как-то объединить все аспекты бытия, спроецировать их на некую одну плоскость: искать единую систему отсчета, насколько мог ее представить на основе собственных знаний.

Вроде получилось. До странности легко получилось...

И уже в темноте, в постели, в третьем часу ночи, затуманенный хаос открытия дрогнул в воспаленном мозгу, и ясное знание прорезалось четко, как бронзовый чекан.

И жутковато повеяло: не может смертный постичь то, что открылось мне. Открылось с абсолютной непреложностью...

Шли дни: я холодел в возбуждении. Я не сомневался в очевидном, но суеверие покалывало: неужели — Я?..

Я трезво прикидывал исходные данные: исторический момент, свою личность и судьбу... и утверждался в том, что действительно создал новое, универсальное учение, приложимое ко всем аспектам бытия, объемлющее все известные основы наук и объясняющее все сущее — от особенностей человеческой психики — на одном полюсе учения, и до Судьбы Вселенной — на другом.

Ну что ж, сказал я себе. Почему бы тебе и не быть чуть-чуть умнее, чем царь Соломон. В конце концов, у тебя лучшие условия для спокойной работы.

А дальше осталось только детально разработать приложение Метода ко всем основным вопросам.

— Но Ваша Книга вредна: она отняла у людей веру в будущее?

— Знание истины не может быть вредным, ибо истина существует независимо от того, знаем мы о ней или нет. Знание — необходимо для выбора верных действий. Я дал людям знание будущего. Они могут им распорядиться. Если смогут. Разве те, кто отнял веру в Бога, не дали знание и не повысили ответственность человека? Отгораживаться от истины — значит лишать себя перспективы; и это возможно лишь на время.

— Но Вы отрицаете перспективы!

— Отнюдь. Юноша знает, что состарится и умрет: это не мешает ему наслаждаться жизнью и строить судьбу, цenia время.

— Вы пессимист?

— Нет. Скорее стоик. Истина вне пессимизма или оптимизма, вне добра и зла и вообще оценочных категорий антропоцентризма.

— Вы верите во что-нибудь? Во что Вы верите?

— «Надежда в Бозе, а сила в руке». Мне симпатичен взгляд норманнов: вера в судьбу прекрасно сочеталась у них с верой только в силу собственного оружия. Я не знаю, что такое вера. Продленное желание? Экстраполяция знания, замешанная на энергии, желании, — пусть даже вопреки кажущейся очевидности, кажущемуся здравому смыслу и банальным полуистинам: ощущение высшей истины... Но меня больше устраивает определение: знание.

— Что самое трудное для Вас в работе писателя?

— Нервное истощение. Настоящая работа делается на большом нервном перенапряжении: первое следствие — бессонница; становишься вял, сер, безмерно раз-

дражителен и чувствителен. Запускаешь все, опускаешься физически. Забываешься горячным сном под утро, урывками спишь весь день, неспособен отвлечься ни на что: мысль о каких-либо обязательствах, делах — нестерпимо изматывает, гонишь ее. И лишь в сумерки обычно садишься за стол свежим и собранным, чтоб три-пять часов работать в полную силу.

— Вы считаете истинное служение искусству схимой?

— Отдаться страсти — это не схима. Разве влюбленный, живущий одной любовью — апостол? Просто — прочие ценности отходят, исчезают, нет на них ни желания, ни сил, ни особого интереса.

— То есть литература должна захватывать писателя целиком?

— Нет рецептов. Но если чутко прислушиваться к себе — работать в наилучшей форме, в наилучшее время, — то график работы начинает ползть по суткам непредсказуемо; твоя коммуникабельность делается как бы полупроводниковой: хочешь видеть кого-то только по собственному настроению, сам заранее не зная когда. Превращаешься в деспота, эгоцентриста (психически нездорового, в сущности, человека). Здесь не каприз, — это подчинение господству той силы, что делает тебя творцом... Рвутся дружеские связи, рушатся деловые: ты не в состоянии сделать ничего в заранее обещанное время, ничего, к чему не лежит душа, — раб своего состояния и своей работы, счастливый и сильный свободный раб; любая отвлекающая в перспективе надобность мешает, приводит в злобу, изгоняется вон...

Ведь писать имеет смысл только максимально хорошо. Значит, нужны оптимальные условия. Хотя помехи могут помогать: успешнее сосредоточиваешься на работе при возможности.

— А что, для Вас, самое скверное в работе писателя?

— Ничего нового: зависть и злоба коллег. Они неизбежны и естественны. Человек стремится к самоутверждению. И мерит себя относительно других. Большой писатель своим существованием затеняет меньших. Быть вершинами хотят многие. Можно подняться выше всех — а можно выкосить всех, кто выше или вровень с тобой. Чаще используют оба способа. Здесь та же борьба за выживание, и побеждает сильнейший. Большой талант должен поддерживать себя большой жизненной силой и устойчивостью. Недаром официальных постов и почестей

добиваются обычно заурядные писатели, но стойкие, цепкие, умелые борцы в жизни.

— Кого Вы считаете первым писателем двадцатого века?

— Говорят, когда Гюго спросили, кого он считает первым поэтом Франции, он долго кряхтел, морщился и наконец пробурчал: «Вторым — Альфреда де Виньи». (*Легкий смех в зале*).

— Хорошо: Ваши любимые писатели?

— Чем больше знаешь, тем менее категоричен... В первую очередь — Эдгар По и Акутагава Рюноскэ. Из современных мне ближе прочих был Уайлдер. Есть еще один автор гениальной прозы о средневековом Востоке, но его фамилия вам мало скажет. Вообще я традиционен во вкусах: предпочитаю классику.

— Ваш любимый роман?

— «Война и мир».

— Что Вы в основном читаете?

— Я мало читаю. В основном перечитываю. Учиться надо у великих, и соперничать с ними.

Вообще не причисляю себя к интеллектуалам: чужое знание — исходный продукт и топливо для собственной работы. Что толку знать много, если не создашь ничего достойного сам.

— Но так можно создать деревянный велосипед?

— Минимум знаний необходим. Но я не хочу посвятить жизнь исчерпывающему изучению форм и видов шестеренок вместо создания велосипеда.

— Если взять Ваши вещи — они такие разные?.. А каково же Ваше лицо? Читателю хочется это знать.

— Читатель что, жениться на мне собрался? Или только читать? Творчество, человек, жизнь — многолики. И если ты умеешь видеть — каждый лик находит в тебе собственное соответствие. Нельзя изобразить лик Истины, утвердив примат одной ипостаси и отвергнув остальные.

— У Вас есть любимый жанр в литературе?

— Роман — это авианосец литературы. Рассказ — торпедный катер. Мощь разная... Но катер проскочит по рифам и мелководью, где нет хода судам крупнее. Он может решить многое; а свое искусство, скорость, риск — хороший катерник не променяет. Я люблю рассказ...

— Чем же Вы объясните свою литературную эволюцию?

— С годами размышление преобладает над чувством; накапливается опыт, утишаются страсти, нервы не тянут прежних нагрузок. Стихи — эссенция страстей в мастерстве условной формы — уступают место прозе; лаконично-многозначный, стилистически напряженный рассказ — переходит в более спокойные, описательные и рассуждающие повесть и роман. Так ищут приключений и открытий в молодости, свершений и достижений в зрелости, покоя и приемников знаний — в старости.

Конкретно же — в двадцать лет я решил, что рассказ как таковой пора завершать. В тридцать я свел каркас купола, венчающего новеллистику, и позднее обшил его полностью. В тридцать два я решил, что основные представления обо всем на свете — что вообще несколько выше литературы — тоже пора завершать. Что и сделал.

— Вопрос от рекламы: Ваш любимый напиток?

— Чай.

— Да нет, спиртной! (*Смех в зале*).

— Русская водка. Иногда. Когда не работаю.

— Ваше любимое блюдо?

— Мясо. Много. Хорошее. Жареное.

— Сколько раз Вы были женаты?

— А вы? Я не кинозвезда: рост, вес, талия не интересуют?

— Есть мнение, что Ваши произведения излишне усложнены. Предмет литературы — в первую очередь душа человека, так? Не лучше ли без формальных ухищрений просто открыть душу, сказать свое, собственное, сокровенное, затронуть читателя до глубины сердца — чего ж еще? Лучше кого-то или хуже, оригинально или обыкновенно — неважно!.. главное — свое выразить.

— Выражаю свою скорбь: всю жизнь слышу этот смешной вопрос.

Чтобы выразить свое, надо а) иметь свое; б) суметь его выразить. Хрестоматийная истина: всякое искусство условно. Чувства и мысли выражаются условными средствами искусства. Читатель «не замечает, как это сделано», если уровень читательской культуры совпадает с уровнем писательской — т. е. они говорят на одном языке. Иначе — ярлыки «примитив» или «заумь».

Является ли индийская киноmelodrama, вышибающая у зрительного зала слезы из слезных желез (или из души, если вам угодно), высоким искусством? Или кинокоммерцией для масс?

Для одного — трагедия, для другого — банальность. Для одного — шедевр, для другого — смутная ерунда.

Школьный тезис: форма и содержание едины: содержание воплощается в форме. Буквы, слова, язык — уже условная форма для выражения информации. Но язык литературы несколько сложнее языка букваря. За фразой «Неважно, какая форма! чтоб и не замечать ее!» обычно подразумевается форма, естественная для высказывающегося — банальная, наиболее легко доступная. Забывают: некогда и такая форма была новаторством, революцией в искусстве, поводом к схваткам. В чем преимущество банальной формы над блестящей?

— Одна — для знатоков; другая — для всех. Почему Ваша беллетристика — для избранных, а Книга — для всех?

— Одно — искусство в его системе эстетических законов; другое — философия, очищенная от шелухи терминов и внутринаучных нагромождений: она задумана именно как проповедь для всех, отмытая и приготовленная к употреблению мысль.

— Оправдывает ли себя оригинальничанье любой ценой?

— В искусстве, как и во всем, остановки нет. Злоупотребление формой — это та часть пути в тени и низине, которую литература неизбежно должна пройти, если хочет выйти на новые вершины. Отказ от поисков новых форм — это лишение литературы перспектив ради сиюминутной прикладной выгоды: денег, рекламирования, успеха.

— А чем плохи старые вершины, чтоб от них уходить?

— А чем плоха молодость, что от нее уходят в старость? Есть один способ не стареть — умереть молодым. Эпигоны создают в литературе юноподобные трупы, которых водят за ниточки наподобие марионеток. Старея, рожают детей: с ними придет молодость.

— Вы приветствуете то, что именуется «модернизм»?

— Нет. Ошибочное не есть новое. Но не ошибается тот, кто не живет. Живая мышь лучше мертвого льва.

Какая бы система символов ни была принята в искусстве, каков бы ни был в нем «коэффициент условности», с которым писатель отражает жизнь, трансформируя изображение через свою творящую личность, — остается понятие, которое я называю «уровень хлеба».

«Уровень хлеба» — это буквальное отображение жизни в формах жизни, с копированием один к одному: это

та линия отсчета, от которой развивается искусство и от которой оно не оторвется, как бы ни удалялось. Слезы и смех, счастье юности и скорбь старости, любовная страсть и ужас смерти — изображенные фотографически, безыскусно скопированные с натуры, — всегда будут в общем понятны и окажут какое-то воздействие на человека, даже вовсе темного и неразвитого эстетически.

Жизнь первична, искусство — производная от нее. Натурализм — голая земля, на которой возводятся дворцы искусства: они надстраиваются и совершенствуются, выходят из моды, оставляются и рушатся — сменяясь другими, возводимыми на той же земле.

Достижение литературой натурализма — это познание себя. Возвышение литературы над натурализмом — это совершенствование себя. Натурализм — та печка, от которой танцует литература: приемы меняются, жизнь остается. Натурализм — жив всегда. И нужен.

— Почему Вы тогда не натуралист?

— Потому что по достижении натурализма сущность искусства в том, чтобы преодолевать натурализм условными приемами — обогащающими, изошряющими, осмысляющими его. И пусть художника занесет до ненужных ребусов и наивной пачкотни — но таков путь...

— Вы постоянно противоречите себе?!

— Не более, чем любящая мать, которая наказывает ребенка для его же блага и после плачет от боли за него. Чтобы увидеть и понять предмет во всех его противоречиях, необходима смена ряда точек зрения. Иначе вы уподобляетесь тем трем слепцам, которые пощупали слона за хвост, ногу и хобот и устроили жаркую дискуссию: на что похож слон.

— Так все-таки изошренность и блеск формы мешают содержанию?

— Этот вопрос принадлежит мещанину, узнавшему, что он всю жизнь говорит прозой. А рифма и размер не мешают поэзии? Вот уж условная форма, без которой это искусство не существует. Не кастрируйте прозу до уровня обыденного трафарета.

— Вопрос для нашего еженедельника: Ваше хобби?

— Хобби — для тех, кого не устраивает их работа. Меня моя работа устраивает. Если я люблю женщин и путешествия, это нельзя считать хобби, верно? Наверное, я просто люблю жизнь.

— У Вас бывали творческие кризисы?

— Постоянно: я не успеваю обрабатывать и половины замыслов, которые постоянно возникают.

— Вам знаком пресловутый страх перед чистым листом бумаги?

— Бред. Всегда рад его испачкать. Я люблю писать. Не понимаю тех, кто «за уши тащит себя работать». Не хочешь — так и не пиши. Мне всегда приходится за уши оттаскивать себя от работы — чтоб восстановить до завтра силы работать дальше.

— В Вашей бурной биографии, очевидно, Вы почерпнули много сюжетов, идей, случаев; какие наиболее характерно отразились в Вашем творчестве?

— Пустое... Если меня мотало по свету, по разным работам, — это просто жажда жизни. Старая истина: приключения, любовь, творчество — это одна и та же жажда, просто утоляемая разными напитками.

Я никогда не ездил «за материалом», «за сюжетами». Жил, зарабатывал на жизнь, познавал что-то новое. Метод «приехал — увидел — спел» не заслуживает серьезного разговора: я не уважаю импотентов от творчества, чьи мозги неспособны выдать замысел.

Произведение рождается из диалога ума и сердца. Писатель — это блуждающая фаза, обнаженный высоковольтный провод: достаточно малейшего контакта с чем угодно — и вспыхивает дуга. Есть напряжение — годится и щепка, нет его — не поможет и железная гора, один пшик выйдет. А внешние события могут послужить лишь толчком — но никогда не основой той коллизии идей и чувств, которая есть суть произведения. Кроме того, при физической работе в тяжелых условиях интеллект как бы закукливается, притупляется чувствительность, размышления уходят, уступая место действиям.

Вот когда идея, внутреннее построение вещи родились — то ищешь адекватный материал для воплощения идеи в форме. Тут опыт помогает: среди знакомых реалий и находишь землю обетованную, которая становится родиной для твоего произведения.

— Ваши творческие планы?

— Завидую Шекспиру: писал в лучшие свои годы, а после умер на покое достойным частным лицом... Работать надо.

— Традиционный вопрос: почему Вы пишете?

— Это моя форма существования. В этом я нахожу максимальное применение всем силам ума и души. Зна-

ниям. Желаниям. Это удовлетворяет мое честолюбие, в этом я самоутверждаюсь. К этому я, видно, наиболее пригоден. И еще это мне здорово нравится.

— Над чем Вы сейчас работаете?

— Никогда не спрашивайте о трех интимных вещах: с кем он спит, на какие деньги живет и что пишет. Если кто болтает об этом сам — дело его. (*Чье-то ржание в зале*).

— А как Вы сами оцениваете свое творчество?

— Это один из тех вопросов, на которые не существует верного ответа.

— Критики находят у Вас много недостатков; как Вы к этому относитесь?

— Есть старая цыганская пословица: «Удаль карлика в том, чтобы высоко плюнуть».

4. ОЦЕНКА

Гудение в кулуарах: дым сигарет, решение вопросов, бар, приветствия, мелькание лиц.

— Видал я высокомерность, но такую...

— Какова самоуверенность! Пророк Господен!

— Для самоуверенности есть другое имя — знание.

— Он в эстетике дикарь! Важно нам вещал букварь.

— Ну, критики дикари точно такие же; тот же уровень...

— Знаем мы это проведение кампании по добыванию Премии... этот у самого черта рога вытянет: умеет обдѣлывать дела.

— ...нет ничего в его книгах, по совести-то говоря.

— Просто ловкий шарлатан. Он же смеется над всеми!..

— Венчайте индюка королем — и получите портрет этого парня.

— И умрет он не от скромности.

— А кто от нее умирал?

— Э, сегодня у него День головокружения от успехов; пусть потешится.

— Да он всегда такой — нагл, как фараон.

— Не-е, когда-то он держался таким скромнягой. Тихоня ползучий, где — тихой сапой, а теперь — так просто танком прет. Вовремя его придавить надо было. Хитрюга поганый.

— Я помню, как он втирался к сильным мира сего. Без мыла! Виртуоз! Под-донок...

— Чего ты пыхтишь — он что, чье-то съел? И правильно делал. Теперь он — герой на белом коне, а мы — шавки.

— Меня попрошу с обществом не смешивать.

— Есть какие-то рамки приличий, нет? Одно самолюбование!..

— А, все писатели мнят себя гениями, так этот хоть не лицемерит. От собратьев он отличается лишь честностью. Дает заглянуть в их душу, открывает ее без прикрас и кулис: смотри, знай! В чем его обвинять — в откровенности?

— Знакомство-то полезно, да самообнажение неприлично...

— Привет ханжам и конформистам!

— Интересно, какую жену он благодарил: первую, вторую или третью?

— «Соблазнитель», видите ли... Он основательно предавался изучению описываемого предмета, говорят...

— Ему хорошо... Когда он писал все это — нищета, видите ли! — семью-то кормить не надо было...

— Вот в этом ему можно позавидовать.

— Но что удивительно: умудрился связать воедино все давно известные вещи и создать впрямь новую Библию. Которую читают — все! И черт знает какая мудрость в ней; душу он за нее продал, что ли?..

— Удачлив, сволочь. Только и всего. Где другие всю жизнь пахали — он пришел, копнул в сторонке, и пожалуйста. Дуракам всегда везет.

— Широкий успех — признак банальности общедоступной книги.

— Все понимаю — но почему он? Есть же действительно хорошие, настоящие писатели...

— М-да, не талантом входят в литературу, а пробивной силой...

— А куда входят не пробивной силой?

— А я вот никогда не умел идти по головам! И не хотел!

— Ну так и молчи теперь, чего ты дергаешься.

— Но как он многословен! Покрасовался, болтун. Самоучка.

— Так он ведь к самоучкам и обращался.

— Слишком заумно все это для газеты и читателей.

— Отредактируешь, адаптируешь, причешешь: а ты на что.

5. КУМИР

Толпа у входа. Бездельники в жизни — возбуждены страстью престижного зрелища: молодежь, взвинченные женщины, дамы старой полубогемы, пестро и буйновато.

— Как жить?

— Ходить по путям сердца своего: счастливо.

— А что такое счастье?

— Жить в полную силу своей души. Ничего не боясь.

— А Вы чего-нибудь боитесь?

— Нет. Мудрый человек может лишь чего-то хотеть, а чего-то не хотеть.

— Ваш главный жизненный принцип?

— Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть.

— Каким должен быть идеал человека?

— Идеал человека — ангел... Наверное — нормальный здоровый человек, уверенный в себе, который хорошо делает все, за что берется, и никогда не хнычет. Вообще я вполне приемлю людей, какие они есть: правда жизни истиннее оценок и схем.

— Тогда почему Вы так высокомерны? (*Замирает от дерзости*).

— Я был скромн: мне норовили наступить на голову.

— Вы злой! Почему Вы злой? (*Пытаются оттащить нахалку*).

— Злой лучше работает. Злость помогает выстоять, она — резерв энергии, ищущей выхода. Злость — это запас силы.

— Разве доброта не лучше злости?

— Доброта — умение проникнуться нуждами другого; она позволяет понять другого. В действии она неспособна преодолеть встречное сопротивление, подавить чужой враждебный интерес, не поддавшись ему: это отсутствие сильных страстей и целей, слабость и безразличие души. Доброта — чтобы понять, злость — чтобы совершить.

— Писать ли мне?

— Если вы спрашиваете об этом — то нет.

— А Вы правда все знаете?

— Правда. Я говорю о качественном знании, а не о количественном. Как печь хлеб — расскажет любой

пекарь, но смысл и всеобщие связи этого процесса ему неизвестны.

— А не скучно все знать? Не тяжело?

— Отнюдь. Необычайно интересно. Тяжела скорее чужая тупость.

— А Вы бы хотели снова стать молодым?

— Я достаточно уважаю себя, чтобы не желать ничего изменять в своей жизни.

— А в каком возрасте Вы бы остановились, если бы пришлось выбирать?

— Тридцать два. Уже все знаешь, еще все можешь и хочешь.

— У Вас есть неисполненные желания?

— Нет. Но постоянно возникают новые.

— Вы во что-нибудь верите?

— В победу.

— Любой ценой?

— А разве бывает победа иной ценой?

— Вы сомневаетесь в себе когда-нибудь?

— Нет. Иногда сомневаются другие. Пусть не сомневаются.

— Как стать великим? Таким, как Вы?

— Кто спрашивает — не станет. Перечтите «Если...»

Киплинга.

— Вы что, железный? Без слабостей и привязанностей?

— Да — так и тянет ответить в ваши восторженные глазки. Ерунда это все... Творят кумира, услаждая возбужденное воображение — это доступней и приятней, чем понять просто человека. Я из сплава покрепче, только и всего.

— Вы верите в любовь?

— Только убогий душой не знает ее.

— А что делать от несчастной любви?

— Добиться взаимности. Умереть. Хранить ее. Влюбиться снова. Но никогда не спрашивать совета.

— Вам нравится современная молодежь?

— Мне нравится и не нравится в ней то же, что и в обществе в целом: просто в молодежи все это ярче проявляется.

— А современные моды?

— Природа моды исключает споры: престижный момент, вечное обновление, условность дозволенного; все красиво по-своему.

- У Вас есть враги?
- Я не так ничтожен, чтобы не иметь их — и много.
- Что вы о них скажете?
- Дадим им копоти!
- Прощать ли врагам?
- Не считать их за людей. Давить при надобности и забывать. И обращать их действия себе на пользу.
- А нужно возлюбить врага?
- Сильного и умного врага уважаешь. Понимаешь его. Учишься у него. Можешь ему сочувствовать и даже его любить. Но это не должно помешать переступить через него — а лучше через его труп.
- А друзья у Вас есть?
- Поклонение не дает права на бесцеремонное копанье в душе.
- А что, если друг стал врагом?
- Горе побежденным.
- А если побежден ты?
- Не скули и готовь реванш.
- Вы циник! (*Настроение толпы меняется — она уязвлена*).
- Я просто честен и умен.
- Вы жестоки!
- Я честен и силен.
- Вы эгоист!
- Я обязан делать свое дело. Кроме меня его не сделает никто.
- А кому оно нужно?
- Мне. Но и вам: у нас одна культура и история на всех...
- Ваше самолюбование мерзко.
- Так зачем вы на меня смотрите? Я не стыжусь себя: честно говорю то, что другие ущемленно и спесиво лелеют в тени своих липких душонок, боясь обнажить их хилое уродство.
- Что такое труд?
- Деятельность, имеющая результатом материальные блага.
- Благословите меня!
- Не блажите: рад бы в рай, да грехи не пускают.
- На Вашей совести есть грехи?
- Для начала тут надо иметь совесть... Есть. И много. Я не боюсь их. Хотя для таких, как я, грехи не

существуют. Я прагматик. А истина вне морали. Есть лишь суть вещи, действие, следствие и плата.

— Как Вам удалось выстоять?

— Удары сыпались на меня со всех сторон, пока однажды я не обнаружил, что откован в клинок.

— Какой возраст Вы считаете лучшим для писателя?

— Для прозаика — двадцать девять-сорок шесть. Взгляните в мировую литературу: исключения единичны.

6. СВОЙ ПАРЕНЬ

Дым коромыслом: компания в ресторанчике, куда она перебралась после помпезного банкета: веселый цинизм, хмельная откровенность, дружеские издевки.

— Итак ты велик, богат и знаменит. Комнаты для гостей есть?

— Как обещано. В любое время. Условие одно: никаких умных разговоров.

— Ты не безнадежен: узнаешь старых друзей. (*Хлоп по плечу*).

— Вся эта никчемная ерунда хороша одним — можешь что-то сделать, доставить удовольствие тем, кому хочешь...

— Ну ты порезвился! Дал им копоты!

— А, пустой трюндеж. Если б господь бог не хотел, чтоб им хамили, он бы не создал их холуями.

— Напишу мемуары: «Мой друг — Зевс». (*Чокаются*).

— А, иначе лакеи станут и Зевса учить величественным манерам.

— Не притворяйся, что тебе это все неприятно. Ты ведь с юности мечтал об этом.

— Кто не мечтал. И денег, и женщин, и любви, и славы, и благополучия, и приключений. И при всем еще счастья. (*Хмыкает.*)

— Ну, вот ты все и имеешь. Прорвался. Со стальной ложкой.

— И уплатил цену нищеты и унижений.

— Червями ползут многие, а вот доползти, чтобы взлететь орлом... Пардон, молчу. Зато теперь ты испытал все.

— Привычки нищеты въедливы, уродуют. Приниженность, зависимость от имущих, крохоборство, заикленность на деньгах — на грошах.

— Не ты ли проповедуешь полноту жизни? фари-сей.

— Все одно — горе не мед. Его память обсахаривает.

— Тебя уже коллеги официально обсахарили, как марципан.

— Хочешь пососать? (*Хохот*). Они уже вылизали. Шайка идиотов. Когда-то мне хотелось купить вагон калош — чтоб эти наглые холоуи носили их за мной в зубах.

— Так купи теперь. Понесут!

— Потом я научился не воспринимать их как людей. Шахматные фигурки. Самоходное удобрение для моей грядки.

— Все?

— Нет. Нескольких я действительно уважаю.

— Ты гнусный карьерист; хочу брать у тебя уроки.

— У пирога одна верхушка, а у каждого едока по ножу. Чтоб занять свое место, нужно многих поставить на их места.

— А помнишь, ты говорил: «Стану когда-нибудь отъявленным негодяем»?

— Обещано — сделано! (*Хохот*). Ребята, так охота быть добрым.

— Кто тебе не дает?

— Руки на стол! — дайте мне заплатить, ладно?

7. МИЛЫЙ-ДОРОГОЙ

Люкс в отеле: ночное окно, смятая постель, пустая бутылка, два силуэта.

— Я хочу знать о тебе все...

— Всего я сам о себе не знаю.

— А как ты начал?

— Кому это интересно... В тринадцать лет с лучшим другом мы болели «Тремя мушкетерами»; размышляли о жизни в развалюшке на задворках — школьным мелом написали на ней «Бастион «Сен-Жерве». Он и высказал: хорошо изобрести машину, чтоб видеть человека насквозь... А я сказал — ха: вот видеть человека насквозь без всякой машины...

С детства хотел я понимать каждого. И я стал понимать. И душа моя прониклась душой любого человека, его бедами и нуждами.

— Ты добрый. А в глубине злой. А в самой глубине совсем добрый...

— Я был добр. Совесть мучила меня всегда: в малейшей несправедливости, в каждой боли мира — была моя вина. Вина причастности и бессилия изменить.

Каждому отрезал я от любви моей.

И остался в ничтожестве. Своим мясом всех собак не накормишь.

— Неправда. Ты прожил настоящую, красивую жизнь.

— Многое кажется красивым, если это не с тобой сейчас. А когда болят зубы, и воняет изо рта, и нет денег на врача... Когда нечего жрать, и в долг никто уже не дает: «Ты знаешь, старик, я сам сейчас на мели...» — и глаза в сторону. Крадешь объедки в закусных, клянчишь мелочь на улицах — «на метро», «на телефон». Когда готов отдать любимой женщине жизнь, но не можешь купить ей цветок.

— Как ты смог все это вынести...

— Мне было двадцать восемь — когда однажды ночью я перешагнул.

Я жил в конурке с окном на мокрые крыши, жрал один хлеб и писал. Я смеялся над нищетой в романах: «Бутылка молока», «кусочек колбасы»! Хлеб, кипяток, дешевое курице, — месяцами; годами. Но я писал то, что хотел! И не мог писать так, как хотел. По три дня искал слово! Три недели делал страницу. Был здоров, как колокол — а сердце болело. Если к концу рабочего дня оно не ныло — я ощущал себя самообманщиком.

И вот ночью, в осень, бродя под дождем в поисках фразы, я не то чтобы сказал себе, нет: внутреннее чувство оформилось в решенное осознание: я сдохну в дерьме под забором, но я буду писать так, как я хочу и должен.

И перевалив этот рубеж — стало легко. Просто. Не осталось в жизни ничего страшного. Я спокойно отыгрывал любой, малейший шанс — из глубины падения, куда я мысленно уже лег сам, добровольно. Мне было нечего терять. Путь мог быть только вверх.

Там, ночью, на дождливой площади у гранитной колонны, была моя настоящая победа. Остальные пришли сами.

8. ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ

Рассветное шоссе, летящий «мерседес», руки на руле, сигарета в сжатых зубах. Смесь пьяного полубреда с не то аутотренингом, не то головокружением от успехов: приступ мании величия.

«Суровое величие Высеченный гранит
Железный чекан Надменность и сталь
Сила и победа Уверенность и спокойствие
Жестокость и непреклонность
Холодное пламя успеха сжигало меня
Я супермен Я железный
Я все могу
Я делаю невозможное

Ну что, загнули мне рога? Фигу вам всем! Мелочь пузатая. Не верю в экстравертов. Что болит — того не трогают. Сокровенного не выставляют. Слез моих хотели? души? хрен! Ничто меня не волнует. Ничто не трогает. Ни в чем не дрогну.

Да! — и плакал, и молился, в черном отчаянии гибнул, самое дорогое терял — да не надломился ни в чем. Не в том дело, чтоб не падать, а в том, чтоб тысячу раз упав — встать тысячу один.

Я уплатил по всем счетам. Все ухабы на дороге пересчитал собственной мордой. Эти шрамы — моя биография.

Я въехал на белом коне! — пусть это Конь Блед. Тяжелы мои глаза, жестоки мысли, тверда и безжалостна душа. И истина мира ясна мне, и впору мне ее груз. (*Прибавляет газ — спидометр на 130*).

Да! — я прошел с хрустом по головам, щелкая людей, как орехи. Прочь с пути, — я шел за своим: добыча тигра не по зубам шакалу. Нет преступления и нет подвига, которых я не совершил бы и не пережил в душе моей. Нет доблести и порока, неизвестных мне. Душа моя выжжена. Холодное пламя успеха выжгло ее. Стальной клинок на ее месте. И кровь не пристала к нему. (*140 км.*)

Умом и напором, волей и хитростью, жестокостью и любовью, делая все возможное, а потом еще столько, сколько надо. Воля и страсть. Не отступить.

Опасно? — шаг вперед!
Сомнение? — шаг вперед!
Риск? — шаг вперед!

(Визжат шины на вираже.)

Чертовы друзья, заявляющие на тебя права, лезущие когда надо и не надо с услугами и требующие близости взамен. Безмозглые любовницы, постельные трутни, лелеющие выдуманное чувство, урывающие денег, или тела, или души, или жизни, несущие себя в подарок именно тогда, когда тебе этот подарок — как булыжник в стекло. Сявки, паразиты! Если я вам нужен — приходите тогда, когда я сам позову вас. *(Вихрем проносится встречный грузовик).*

Мощное, ровное, неотвратимое движение вперед.

Был я человек. А стал — инструмент в руках божьих и дьявольских. Душу продал, кровью расписался — в ту дождливую ночь.

Для таких, как я, справедливости не существует. Жрут, как могут. Так сломай зубы гадам. Да! — тысячу раз я умирал, стиснув зубы на глотке врага. *(180 км)*

Я должен был — и я дошел. Я смог. Один из всех. Супермен. Авантюрист. Танцующий убийца. И только по-моему. Только так может быть. Не могло быть иначе. Только так.»

Из книги
«ХОЧУ В ПАРИЖ»

ХОЧУ В ПАРИЖ

Хотение в Париж бывает разное. На минуточку и навсегда, на экскурсию и на годик, служебное и самодеятельное, необоснованное и законное, неотвязное и мимолетное, всерьез и в шутку: «Я опять хочу в Париж. — А что, вы там уже были? — Нет, я уже когда-то хотел». Всемирная столица искусств и мод, вкусов и развлечений, славы и гастрономии, парфюмерии и любви — о далекий, манящий, загадочная звезда, сказочный Париж, совсем не такой, как все остальные, обыкновенные и привычные, города. Париж д'Артаньяна и Мегрэ, Наполеона и Пикассо, Людовиков и Бриджит Бардо, Бельмондо, Шанель, Диор, Пляс Пигаль, Монмартр, бистро, мансарды... ах — Париж!.. Вдохнуть его воздух, пройти по улочкам, обмереть под Нотр-Дам, позавтракать луковым супом, перемигнуться с пикантной парижанкой, насладиться слух разноязыкой речью, кануть в вавилонские развлечения, кинуть франк бездомному художнику, растаять в магазинном изобилии, купить жареных каштанов у торговки, узнать вкус абсента и перно... ах — Париж! хрустальная мечта, магнетическое сияние, недостижимый идеал всех городов, искус голодных душ. Вернуться и до конца дней вспоминать, рассказывать, где ты был и что ты видел — или рискнуть, преступить, сыграть с судьбой в русскую рулетку, остаться, слиться с его плотью, стать его частицей, — или гордо покорить, пройти сквозь нищету, подняться к сияющей славе, добиться всемирного успеха, денег, поклонения, репортеры, экипажи-скачки-рауты-вояжи, летняя вилла в Ницце, особняк на Елисейских полях... Один знаменитый весельчак-композитор поведал телезрителям, что весну он предпочитает проводить в Париже. Тонкая шутка не была понята: миллионы безвестных и рядовых тружеников дрогнули в возмущенной зависти к наглому счастливцу, ежегодно празднующему весну в Париже, где цветут

каштаны и доступные женщины на берегах Сены под сенью Эйфелевой башни. Короче, кому ж неохота в Париж. А спроси его, что он в том Париже оставил? Побывать, походить, посмотреть... даже не обарахлиться, это и в Венгрии можно... а печально: жить, зная, что так до смерти и не увидишь его, единственный, неповторимый, легендарный, где жилали все знаменитости, и помнили, и вздыхали ностальгически: «Ну что, мой друг, свистишь, мешает жить Париж?». Неистребимая потребность, бесхитростная вера: есть, есть где-то все, чего ни возжаждаешь — красота, легкость, романтика, свобода, изобилие, приключение, слава; смешной символ красивой жизни — Париж. Боже мой, как невозможно представить, что из Свердловска до Парижа ближе, чем до Хабаровска. Как невозможно представить, что там кто-то может так же просто жить, как в Конотопе или Могилеве.

Итак, в один прекрасный день Кореньков захотел в Париж.

В пятом классе Димка Кореньков посмотрел в кино «Трех мушкетеров». И — все.

Он вышел из зала шатаясь. Слепо бродил два часа. Вернулся к кинотеатру и встал в очередь.

Денег на билет не хватило. Помертвев, он двинулся домой и выклянчил у матери рубль, задыхаясь, понесся обратно: успел.

После девятого раза Париж стал для него реальнее окружающей скукоты.

Жизнь в городишке была небогатая. Пассажирский поезд проходил дважды в неделю. Местных хулиганов знали наперечет. Изредка заезжали областные артисты. Пробуждающаяся Димкина душа, неудовлетворенная обыденностью, оказалась затронута в заветной глубине.

Обрушился удар — фильм сняли с экрана. Димка горевал, пока не просияла надежда: он впервые отправился в библиотеку и взял «Три мушкетера». Ту ночь не спал: сидел в туалете их коммуналки и читал...

Вернуть книгу было выше его сил — он легче расстался бы с рукой. Почта принесла суровое извещение об уплате пятикратной стоимости. Отец отвесил Димке воспитующий подзатыльник. Такова была первая его жертва на тернистом пути к мечте.

Познав наизусть «Трех мушкетеров», Димка обнаружил «Двадцать лет спустя» и «Виконта де Бражелона».

Упоительно и безмерно счастлив, он погрузился в яркий и отважный мир Люксембургского дворца и Пре-о-Клер, где дамы мели шлейфами паркеты, взмыленные кони с грохотом мчали кареты через горбатые мосты, и шпаги звенели и сверкали в лучах заходящего солнца. Его выдернули из грез, как рыбку из речки — четверть окончилась, он не успевал по всем предметам, грандиозный скандал разразился.

— Хоть что-нибудь ты знаешь? — скучно спросила классная, прикидывая втык от педсовета за Димкины успехи.

— Париж стоит мессы, — нахально выдал Димка. — Экю равняется трем ливрам, а пистоль — десяти!

Класс возопил триумф над племенем педагогов. Кличку «француз» Димка принял как посвящение в сан. Раньше он не выделялся ничем: ни силой, ни храбростью, ни умением драться, ни знаниями, ни умом, ни престижными родителями. В секцию его не приняли по хилости, кружки не интересовали, музыкальный слух отсутствовал. Париж придал ему индивидуальность, выделил из всех, и в любовь к Парижу он вложил все отпущенные природой крохи честолюбия и самоутверждения — это был его мир, здесь он не имел конкурентов.

Упрочивая репутацию и следуя течению событий, он вытребовал в библиотеке слипшуюся «Историю Франции». Нарабатывал осанку, гордое откидывание головы. Отрепетировал высокомерную усмешку. С герцогской этой усмешкой сообщал о невыполненных уроках, не снисходя до уловок. Учителя и родители, одолевая бешенство, списывали выкрутасы на трудности переходного возраста; вздыхали и строили планы воспитательной работы. Они ничего не понимали.

— Ты правда знаешь французский? — спросила Сухова, красавица Сухова, глядя непросто.

Французский в их дыре не звучал со времен наполеоновского нашествия; Димка зарылся в поиски и добыл учебник, траченный мышами и плесенью. Выламывал губы перед зеркальцем — ставил артикуляцию. И все реже отсиживал в школе, зато в нее все чаще вызывали отца.

Отец попомнил домострой и выдрал его с тщанием.

— Еще тронешь — сбегу, — прерывистым фальцетом пообещал Димка, когда экзекуция перешла в стадию словесную.

— Куда ты убежишь? — вскрикнула мать, вскинув полотенце.

— В Париж! — зло припечатал Димка. Seriously.

«Во блажь очередная... Слетит». Блажь не слетала. Жизнь обрела стержень: Париж был интереснее, красивее, лучше дурной повседневной дребедени. Он уже знал Париж вернее собственного района: Версаль, Сен-Дени, Иври, Сите!.. Окружающее касалось его все меньше, плыло мимо, не колыhalo.

После восьмого класса школа с облегчением сбросила бзикнутого в лоно ПТУ. И то сказать: хотение в Париж — это еще не профессия.

Годы в ПТУ не отяготили Димкино сознание. Он чего-то делал в мастерских, чего-то слушал в классах, а на самом деле хотел в Париж. Хотение начало давать результаты, пока как бы промежуточные: с ним считалась прекрасная половина училища — он досконально знал, что носят в Париже. Неведомыми путями приплывал каталог мод, сиял глянцем, вгонял в пот провинциальных портняжек, не чаявших обшивать маркизов и виконтов. В конце концов сермяжную продукцию родной областной фабрики взялись перешивать ему две девочки в обмен на консультации. «Так носят в Париже», — снисходительно ронял он местным денди в клешах с жестяными пряжками.

На каникулах он приобрел в областном центре пластинки с уроками французского, пылившиеся там с одна тысяча девятьсот незапамятного года. Гонял их до ошizenия на найдешевейшем проигрывателе «Юность», шлифуя произношение.

Поскольку французы предпочитают пить красное вино, он предпочитал исключительно его серьезному мужскому напитку водке. Запив в парадняке красным рагу и паштет, приготовленные матерью по списанному рецепту, он чувствовал, что вкусил сегодня вполне французскую трапезу.

Сложнее оказалось с луковым супом. «Книга о вкусной и здоровой пище» рецепта не давала. Димка сам разварил лук в лохмотья, бухнул в мутную водичку поболе соли, перца и лаврового листа (французская кухня острая) и через силу выхлебал ложкой; прочие домочадцы, отведав и сплюнув, от деликатеса мягко отказались.

Апофеозом гастрономических изысков явилась варка лягушек. Нацапав в болоте десяток квакух, Димка

улучил час, когда дома никого не было, и приволок добычу на кухню. Не будучи дилетантом, он знал, что едят только задние лапки, с дрожью отделил их и разместил в суповой кастрюле, помолившись, чтоб мать не узнала. Определив готовность, скомандовал себе: «Пора!» — и действительно сунул в рот маленькую, похожую на цыплячью, лапку и сжал челюсти, но тут здоровый русский организм воспротивился насилию над своей природой, желудок лягушек отверг; Димка отпился холодной водичкой и помыл в кухне пол. И еще долго стыдился своего тайного позора.

Зато с девушками он в свой срок сделался свободен и даже развязен. Атмосфера Парижа фривольна, парижанин живет легкой и игристой, как шампанское, любовью: тонкий флирт, мимолетная измена, элегантный роман. Обычно Димкины избранницы не могли вот так сразу настроиться на парижский лад, иногда отказ происходил в форме категорической и грубой, он насмешливо утешался их глухим провинциализмом: «Да, это не Париж». Но и когда его пылкая страсть была разделяема — он оставался недоволен. Где талия, тонкая, как у цветка? Где грудь, упругая, как резиновый мяч? где шаловливый задор, прикушенная губка? И где, наконец, неземное блаженство? А тайная белая пена кружев тончайшего белья? Вот уж по части белья местные Манон были столь же бессильны, сколь невиновны, облекая свои юные прелести в стеганую холстину с желтыми костяными пуговицами и байку с начесом... горький осадок не исчезал.

Может составиться впечатление, что он был каким-то маньяком, параноиком. Да нет, он был в общем совершенно обычным парнем, ну просто он хотел в Париж, хотеть ведь никому не запрещено. У каждого свое хобби, или свой таракан в голове, как сказали бы англичане. Ну, с легким прибабахом, бывает. Он бы и поехал в Париж, да понятия не имел, с какого конца за это дело взяться. Иностранец было словом ругательным, политическим ярлыком. За границу уезжали дипломаты или предатели. Но не одни же дипломаты и предатели за границу населяют. У него не было никаких конфликтов с Родиной, никаких несогласий, он был за социализм — он ведь и в Париж-то хотел не навсегда, а так, посмотреть, пожить немного, ну от силы года два; но кому и как это объяснишь?..

А фанерная этажерка заполнялась книгами о Париже. С закрытыми глазами он мог бы пройти из пятого арандисмана в четырнадцатый. Он высчитал количество шагов от Лувра до «Ротонды», принимая длину шага равной семидесяти сантиметрам. В нем родилось знакомое некоторым чувство: он словно вспоминал о Париже, хотя там не был. Однажды он с пронзительной достоверностью почувствовал себя парижанином, неведомо как заброшенным в этот дальний глухой угол.

В армии, слава богу, из него эту дурь подвыбили. Напомнили об империализме, колониализме, ненужно большой армии, кстати, позорно разбитой в восемьсот двенадцатом году, интервенции, безработице, проституции и эксплуатации. Рядовой Кореньков (молодой-необученный, салажня, еще варезку разевает!) пытался проповедовать насчет Сопrotивления, Жанны Лябурб, Марата и голубки Пикассо, но первейшие доблести солдата есть дисциплина и выполнение приказа, направление мыслей беспрекословное, налево кругом. И для укрепления правильного направления мыслей лепили наряды.

Мысли Димкины направления не изменили, но что подразвезалось, что упряталось поглубже: солдат вышел исправный. Французский стал подзабываться, так ведь и по-русски к отбою язык заплетается.

Перед дембелем подсекло: выяснилось, что он знаком с военной техникой и прочими секретными вещами, и теперь на нем пять лет карантина — без права поездок за границу.

— Ты что, Кореньков, за границу, что ли, собрался? — удивился замполит его реакции на известие.

— Никак нет, — заготовленно соврал Димка: — Хотел учиться в институте на переводчика.

— О? Пока выучишься — время и пройдет!

Дома Димка отдохнул месяц и затосковал. Когда тебе двадцать, пять лет — срок бесконечный... Да эх, еще не старость. Прочитал объявление о наборе и сорвался в областной центр: все ж фабрика, институт, — цивилизация. А там обвыкся, перевез в общагу свои книжки и пластинки и терпеливо принялся за старое.

Мечты мечтами, жизнь жизнью: из череды девочек как-то выделилась одна, высветилась, открылась — единственная. Димка влюбился, Димка потерял голову. И оказалось, что будет ребенок... Так он женился. В общем счастливо женился, не жалел.

Он помогал жене стирать пеленки, собирал справки для получения квартиры, вечерами слушали по приемнику французскую музыку, он переводил слова, учил ее одеваться так, как носят в Париже, ей это нравилось поначалу, подкупало: «Я сразу увидела, что не такой, как все...»

Сыну было три года, а Димке двадцать шесть, когда родилась дочка, а квартиры все еще не было, снимали комнату. Теперь он прекрасно представлял, что попасть в Париж безмерно трудно, практически нереально, и в любом случае сначала требовалось добыть семье крышу над головой... родная же кровь...

В тридцать два он получил от фабрики квартиру. На радостях влезли в долги, купили всю мебель, а дети росли, одежда на них горела, Димка прихватывал сверхурочно, жена часто сидела дома на справке: корь, свинка, грипп, — жизнь текла, как заведено, чем дальше, тем быстрее.

Париж стал абстрактным, как математическая формула, но столь же неотменимым. Димка не пил, не болел в футбол, не играл в домино, не ездил на рыбалку, не копил на машину: он готовил себя к свиданию, которое когда-нибудь состоится. Тайком встречался с учительницей французского языка; жена чуяла, ревновала, хотя учительница была немолодая и некрасивая. Учительница радовалась родственной душе, она тоже никогда не была в Париже, а французскому ее научили в пединституте преподаватели, которые тоже никогда не были в Париже, по учебникам, авторы которых там тоже не были. Странный город.

Стать моряком заграничавания и сбежать в капстране? И поздно, и позорно, и семью не бросишь... слишком много здесь.

Времена между тем шли, и кое-что менялось. В городе построили новую гостиницу, и в нее стали иногда приезжать иностранцы. К разочарованию Коренькова, построившего знакомства с администраторшей и швейцаром, французов не было: болгары, поляки, восточные немцы.

...И вот однажды, получив письмо от сына из армии, он вздохнул и подивился быстротечности времени, усмехнулся безнадежно себе в зеркало — полысевший с темени, поседевший с висков, погрузневший в талии... и понял с леденящей ясностью, что все эти годы обманывал себя, что никогда ни в какой Париж он не поедет.

И стало — легче.

Словно обруч распался — освободил грудь: исчезли выматывающая надежда, томительная неопределенность. Он даже просиял. Сплюнул. «Нереально так нереально. И черт с ним, что за ерунда!»

Этой освобожденной легкой приподнятости хватило на два дня. На третий обнаружилась сосущая черная пустота в душе, где-то в районе солнечного сплетения.

Кореньков выпил, и ему полегчало.

Запил он по-черному, прогулял фабрику; на первый раз простили.

Жена поплакала, он покаялся, через неделю сорвался опять.

— Из меня будто хребет вынули, понимаешь? — объяснил он.

Справлял затянувшиеся поминки по мечте: постепенно исчезли книги, пластинки, проигрыватель, магнитофон и, наконец, приемник, — истаяла и лопнула нить, связывающая его с Парижем.

Но иногда ему снился голубой город, ажурные набережные в текучих огнях, быстрый картавый говор, и тогда он просыпался угрюм, черен, не шел на работу, цедил дрянное разведенное пиво у ларька и дожидался открытия винного.

Жена раньше прихвастывала перед соседками редкостным мужем, теперь бегала к ним же на кухни, они всплакивали о судьбине и костерили алкашей, и от того, что у других так же, и ничего, живут, становилось легче.

Давно уже он не перешивал купленные костюмы, не выбирался по выходным «на пленэр», не покупал у знакомой киоскерши «Юманите», — он вкалывал, безропотно отдавал жене зарплату, утаивая на выпивку, и покорно принимал ругань и причитания после позднего и нетрезвого возвращения домой.

Он плелся домой мимо гостиницы, когда в его сознание проникло что-то постороннее, мешающее: странное. Он досадливо собрал хмельные мысли — и споткнулся, застыл в стойке, как голодный пес: донеслась французская речь! («Я волнуюсь, услышав французскую речь», — вдруг завертелась в голове бешеная пластинка.) Трое мужчин и молодая дама вышли из «Волги», швейцар излучил радушие при входе, и, как горохом перебрасываясь быстрыми фразами, они проследовали внутрь!..

Неотвратимо, подобный ожившей статуе, Кореньков двинулся следом. Он будто со стороны отмечал, как совал деньги швейцару, администратору ресторана, официанту, как втиснулся за столик, что-то пил и чем-то закусывал, всем существом устремленный к тем четверым — они почти не пили, держались как-то по-особенному свободно, болтали, — и он почти все понимал: ужасные сроки согласования какого-то документа, длинные дороги, русские художники в Париже...

Они расплатились. Кореньков подошел, задевая стулья.

— Вы из Парижа? — отчаянно спросил он без предисловий.

Компания воззрилась, замолчав.

— О, вы говорите по-французски? — приятно улыбнулся один, носатый, без подбородка, похожий в профиль на доброго попугая.

— Иногда, — сказал Кореньков. — И что мне здесь с этого толку?

Французы рассмеялись вежливо.

— Мы не ожидали услышать здесь... — с нотками воспитанной отчужденности начала дама...

— Вы из Парижа? — повторил Кореньков, перебивая.

— Из Парижа, — подтвердил маленький, весь замшевый, шарик. И были они все чистенькие, промьтые, не по-нашему небрежные. — А что, у вас особое отношение к этому городу?

— Ребята... — проговорил Кореньков, и голос его сел до сипа, шепота, мольбы. — Ребята, — проговорил он, — давайте выпьем. Вы не понимаете, что такое Париж.

Французы отреагировали весело. Возник администратор и стальной хваткой поволок Коренькова. «Т-тебе чего, это иностранцы, вали, ну», — прошипел он.

Кореньков вцепился в скатерть:

— Господа, прикажите мерзавцу подать стул и прибор, меня заберут в милицию, помогите!

Неловко бросать почти знакомого в беде, — солидарность возникла: французы достойно загалдели, зажестиккулировали.

— Этот человек — их гость, они его пригласили, — на чистейшем русском сказала дама; Кореньков сообразил — переводчица.

Официант неодобрительно обслужил.

Происшествие сблизило, наладился разговор, расспросы.

— У вас почти чистое парижское произношение!

Поаплодировали; чокнулись; изумлялись:

— И вы самостоятельно... Признайтесь: разыгрываете?

— Столько лет...

— Так почему вы давно туда не съездили?

— Вам бы наши заботы, — туманно ответил Кореньков; все-таки он был нетрезв.

Прекрасную сказку не могли омрачить мелочи: у входа его забрали дружинники, доставили в отделение, составили протокол о приставании к иностранцам, отправили в вытрезвитель; ха.

Утром он на удивление сиял среди измятых рож казенного дома, умолил не посылать бумагу на работу, оставил в залог часы и пропуск, схватил такси, занял денег, уплатил штраф и примчался к жене — устроил сплошной праздник: уборку, стирку, поцелуи, клятвы, песни и пляски. Его распирало, он летал, он парил над землей, в звоне серебряных колокольчиков.

Переводчица объяснила: теперь все реально. Есть «Интурист», есть ОВИР, турпутевки, поездки по приглашению; стоит это круто, но в пределах возможного.

Коренькова залихорадило. Он стал восстанавливать свою французскую библиотечку, слушать французскую музыку; и начал копить деньги.

Полюбил прогуливаться вблизи гостиницы, иногда посиживал в ресторане; еще дважды удалось свести знакомства — французы консультировали здесь строительство новой фабрики по их проекту. Последняя группа решительно отказалась признать его за русского, не нюхавшего Франции, и заподозрила, кажется, в провокации. А выказанное им доскональное знание Парижа просто поставило их в тупик.

— Вы могли бы работать гидом в Париже.

— Я попробую, — спокойно ответил Кореньков.

Зал за залом перечислял он коллекцию Лувра. Французы, переглянувшись, признались, что искусство — не их хобби.

— Видите ли, мсье, мы не посещаем Париж, мы в нем живем, а это совершенно разные вещи.

Ему обещали прислать приглашения, но пришло только одно. В соответствующем месте Коренькову разъяснили, что он практически незнаком с приглашающим, а

годится лишь настоящее знакомство, длительное, с перепиской. Полтора года Кореньков переписывался с одним добрым шевалье, но приглашение почему-то не пришло...

А в другом месте ему после строгого внушения разъяснили, что такое его невыдержанное поведение может только навредить в случае оформления за границу: неясные контакты с иностранцами.

«Интурбюро» раскрыло, что путевки во Францию (поулыбались) приходят сравнительно редко, и распределяют их исключительно по профсоюзной линии.

Кореньков прикинул свой стаж, разряд, дисциплину. По собственному почину взял повышенные обязательства. После перевыборов сделался профоргом бригады. Он как бы пытался забить очередь, понимая проблематичность урвать столь лакомый кусок...

И однажды действительно пришла путевка во Францию, на двенадцать дней, стоимостью две тысячи сто рублей; но поехал замдиректора по коммерции — руководитель, с высшим образованием, ветеран...

Вышла замуж дочь, отложенные деньги ухнули на свадьбу: застолье, платье, первое обзаведение для молодых, — все нужно, как у людей, куда ж денешься.

Время летело, женился и сын, появились внуки, внукам хотелось делать подарки, жена все чаще прихварывала, рекомендовалось отправлять ее в санатории, и все требовало сил, времени, денег, денег, времени, сил...

А перед сном Кореньков закрывал глаза и думал о Париже — спокойно и даже счастливо. Так в старости вспоминают о первой любви: давно стихла боль, сгладились терзания, рассеялись слезы, и осталась лишь сладкая память о красоте, о потрясающем счастье, и вызываешь воспоминания вновь и вновь, они уже не мучат, как некогда, а дарят тихой отрадой, умилением, убежищем от тягостного быта, мирят с действительностью; было, все у меня было и останется навсегда. Он неторопливо шествовал с набережной д'Орсэ в зелень Булонского леса, помахивая тросточкой, молодой, хорошо одетый, бодрый и жадный до впечатлений, смеющийся, выпивал под полосатым тентом бистро стакан кислого красного вина, жмурился от дыма крепкой «Галуаз» и предвкушал, как кутнет у «Максима», разорится на отборную спаржу и дорогих плоских устриц, выжав на них половинку лимона и запивая белым, старого урожая вином, пахнущим дымком сожженных листьев и сен-

тябрьскими заморозками. Он сроднился с утопией, достоверно казалось, что это на самом деле было, или наоборот — завтра же сбудется, и такое двойное существование было ему приятно.

А наутро к шести сорока пяти ехал на фабрику.

Ему было пятьдесят девять, и он собирал справки на пенсию, когда в профком пришли две путевки во Францию.

— Слышь, Корень, объявление в профкоме видел? — спросил в обед Виноградов, мастер из литейки.

— Нет. А чего? — Кореньков взял на поднос кефир и накрыл стакан булочкой.

— Два места в Париж! — сказал Виноградов и подмигнул.

Кореньков услышал, но как бы одновременно и не услышал, и стал смотреть на кассиршу, не понимая, чего она от него хочет. «Семьдесят шесть копеек!», — разобрал он, наконец, и все равно не знал, при чем тут он и что теперь надо делать.

— Да ты что, дед, чокнулся сегодня! — закричала кассирша. — Давай свой рубль!

Кореньков послушно протянул рубль, от этого поднос, который теперь он держал только одной рукой, накренился, и весь обед с плеском загремел на пол, эти посторонние звуки ничего не значили.

— Ой, ну ты вообще! — закричала кассирша. — Переработал, что ли!

В конце перерыва Кореньков обнаружил себя на привычном месте в столовой, под фикусом, лицом ко входу, перед ним лежали вилка, ложка и чайная ложечка. Стрелка дошла до половины, он встал и спустился по лестнице в цех.

На скамейке у батареи, где грохотали доминошники, выкурил сигарету, заплевал окурочек и как-то сразу оказался в профкоме.

Там скрыли смущение: страсть Коренькова слыла легендой, а права у него, строго говоря, имелись... Толкнув обитую дверь, он нарушил беседу председательницы с подругой-толстухой и вперился в нее вопросительно, требовательно и мрачно.

— Ко мне, Дмитрий Анатольевич? — осведомилась председательница певуче.

— Путевки пришли, — вопросительно-утвердительно сказал Кореньков.

— Какие путевки? В санаторий? — приветливо переспросила та.

— Во Францию, — тяжело рек Кореньков, выдвигаясь на боевые рубежи.

— Ах, во Францию, — любезно подхватила она. — Ну, еще ничего не пришло, обещали нам из Облсовпрофа одно место, может быть, два...

— Я первый на очереди, — страшным шепотом прошепестел он.

— Мы помним, обязательно учтем, кандидатуры будут разбираться... открытое обсуждение...

Дремавшее в нем опасение вскинулось зверем и вгрызлось Коренькову в печенки. Протаранив секретаршу директора, он пересек просторный затененный кабинет и упал в кресло напротив.

— Что такое? — директор не поднял глаз от бумаги, не выпустил телефонной трубки.

— Павел Корнеевич, — выдохнул Кореньков. — Тридцать шесть лет на фабрике. На одном месте. Верой и правдой (само выскочило)... Христом-богом прошу! Будьте справедливы...

— Квартиру?..

— Две путевки в Париж пришли. Тридцать шесть лет. Через полгода на пенсию... Верой и правдой... не подводил... всю жизнь... прошу — дайте мне.

Народ знает все. Ехать предназначалось главному инженеру и начальнику снабжения. Общественное мнение Коренькова поддержало:

— Давай, не отступайся! Имеешь право!

В глазах Коренькова появилось затравленное волчье мерцание. Сжигая мосты, он записался на прием в райком и Облсовпрофе. Фабричный юрисконсульт, девчонка не старше его дочери, посочувствовала, полистала справочники, посоветовала заручиться ходатайством коллектива. Распространился слух, что если Коренькову не дадут путевку, он повесится прямо в цехе и оставит письмо прокурору, кто его довел. Во взрывчатой атмосфере скандала Кореньков почернел, высох, спотыкался.

Жена заявила и закатила истерику в профкоме:

— Как чуть что — так про рабочую сознательность! А как чуть что — так начальству! Я в ЦК напишу, в прокуратуру, в газету! будет на вас управа, новое дворянство!..

Делопроизводительница по юности лет не выдержала: шепнула срок заседания по распределению заграничных путевок. Кореньков возник ровно за минуту до начала и прочно сел на стул. Лица у президиума изменились.

— А вы по какому вопросу, Дмитрий Анатольевич?

Кореньков заготовил гневную и аргументированную речь, исполненную достоинства, но встать не смог, голос осекся, и он со стыдом и ужасом услышал тихий безутешный плач:

— Ребята... да имейте ж вы совесть... да хоть когда я куда ездил... хоть когда что просил... что же, отработал — и на пенсию, пошел вон, кляча... Ну пожалуйста, прошу вас... — И, не соображая, чем их умиловить, что еще сделать, погибая в горе, сполз со стула и опустился на колени.

Теплая щековая слеза стекла по морщине и сорвалась с губы на лакированную паркетную плашку.

Кто-то кудахтнул, вздохнул, кто-то поднял его, подал воды, потом он лежал на диване с нитроглицерином под языком, старый, несчастный, в спешке, так некстати устроивший из праздника похороны.

Назревший нарыв лопнул: непереносимая ситуация требовала разрешения. Пожимая плечами и переглядываясь, демонстрировали друг другу свою человечность и великодушие: чтоб и волки сыты, и овцы целы. Все были в общем «за», помалкивали только двое «парижан»... В конце концов главному инженеру пообещали первую же лучшую путевку в капстрану, улестили, умастили, и он, неплохой, в сущности, мужик, по нынешним меркам молодой еще, согласился — и сразу повеселел от собственного благородства и размаха.

— Вставай, Дмитрий Анатольевич, — дружелюбно хлопнул по плечу Коренькова. — Все в порядке, поедешь, не сомневайся.

...Ах, что за несравненные хлопоты — сборы за границу! Пять месяцев Кореньков собирал справки, выписки, характеристики, заверял их в инстанциях, заполнял многочисленные анкеты о сотне пунктов, сидел в очередях на собеседования и инструктажи. На медкомиссии у него от волнений подскочило давление, он слег от горя; жена достала через знакомую с базы десяток лимонов (снижают), с той же целью скормила ему с полведра варенья из черноплодной рябины, перед сном выводила

на прогулку и велела думать только о приятном. Слава богу, давление нормализовалось: пропустили.

Идеологической комиссии он боялся не меньше. Конспектировал программу «Время», вырезал из «Правды» политические новости и сидел в фабричной библиотеке над подшивками «Коммуниста». Он среди ночи мог не задумываясь ответить, что главой государства Буркина-Фасо является с тысяча девятьсот восемьдесят третьего года Санкара, первым генеральным секретарем ООН был норвежец Т. Х. Ли, а фамилия председателя компартии Лесото — Матжи. Накануне подстригся, пошел при галстуке... Ответил на все вопросы!

Они продали облигации, снесли в комиссионку женин песцовый воротник, влезли в долги: деньги набрались.

Купили ему новый костюм, чешский, вполне приличный, жена сама, как когда-то, подогнала брюки; сорочка индийская, галстук польский, туфли румынские: европейская экипировка.

Покупки — список на четырех листах, многократно откорректированный и выверенный — изумительным фокусом укладывались в четыреста франков, выданных в обмен сорока рублей.

Пять месяцев минули. В последнюю ночь Кореньков не смог заснуть. Победное солнце Аустерлица возвестило прекрасный день начала пути. Помолодевший и легкий («Присели на дорожку. Поехали!») — он тронулся.

На вокзале их группу, уже хорошо знакомых между собой тридцать человек, во главе с руководителем, которого следовало слушаться беспрекословно, проверили, пересчитали, посадили в вагон и отправили в Москву. Перрон с машущими семьями уплыл...

Улетали из Шереметьева. В международном отделе по сравнению с общей толкучкой было свободно, прохладно. Таможенник, полнеющий парнишка с вороной подковкой усов, мельком сунул нос в кореньковскую сумку и продвинул ее по стойке: досмотр окончен.

В автобусе Кореньков оказался рядом с двумя француженками, элегантными гримзами с сиреневой сединой, покосился на руководителя и от разговора воздержался: гримзы сетовали, что не выбрали на тысячелетие крещения Руси, церковные торжества.

Их «Ту-154» взлетел минут на пять позже расписания, как и принято, Кореньков завибрировал, считал минуты, он уже боялся всего: задержки, неисправности

самолета, ошибки в оформлении документов, обнаруженной в последний момент; в полете боялся бездны внизу, боялся, что Париж вдруг закроется по метеоусловиям, или забастуют диспетчеры, или вдруг нарушатся дипломатические отношения, и вообще самый опасный момент — посадка... и лишь когда под колесами с мягкой протяжной дрожью понесся бетон и турбины шелестяще засвистели на реверсе, гася пробег, явилось спокойствие — странноватое, деревянное, пустое.

— Наш самолет совершил посадку в аэропорту Шарль де Голль...

В свою очередь Кореньков спустился по трапу, мгновение помедлив, прежде чем перенести ногу с нижней ступени на шероховато-ровное серое пространство — землю Парижа.

Рубчатые резиновые ступени эскалатора вынесли их в красноватый от вечерних отблесков зал, наполненный ровным сдержанным эхом. Длинноволосый таможенник в каскетке пропустил их со скоростью автомата: пара небрежных движений в небогатом багаже каждого. Процедура проверки паспортов выглядела не тщательней контроля трамвайных билетов. Гид ждал у киосков с плакатиком в руке. Шагнул навстречу, точно выделив их из пестрой круговерти.

— Бонжур, мсье, — поздоровался Вадим Петрович, руководитель.

— С благополучным прибытием, — приветствовал гид с небольшим милым акцентом. — Хорошо долетели? Сейчас мы сядем в автобус и поедем в гостиницу.

Стеклянные двери разошлись. Протканый бензиновыми иголочками воздух, палевый, сгущающийся, наполнил легкие. Коренькову как-то символически захотелось сесть на асфальт, привалившись спиной к стене, вытянув ноги, и посидеть так, покурить, тихо глядя перед собой: предаться значительности момента... Но неудобно, да и некогда; ладно; а жаль...

Они пробрались через автостоянку к одному из ярких автобусов, Кореньков подсутился — захватил место на первом сидении, у дымчатого просторного стекла.

— Давай в Париж, шеф! — велел сзади дурашливо-счастливый голос, и все чуть нервно и оживленно засмеялись.

И розоватый, кремовый, бежевый, притухающий в сумерках, ни с чем не сравнимый парижский пейзаж, неторопливо раскрываясь, покатился навстречу.

Гнутый лекалом профиль гида с микрофоном на фоне лобового стекла, за которым менялись виды, казался маркой города (Дени, брюнет, черноглаз, высок, тонок, студент-русист Сорбонны). Кореньков слушал вполуха известное наизусть, жадно отмечая детали: усатый ажан в пелерине, прохаживающийся вдоль витрин: целующаяся в машине перед светофором парочка; араб-зеленщик с лотком; дама в манто, выходящая из обтекаемого, звероватого «ситроена»!..

Они плавно свернули с бульвара Бертье на авеню Гюржо, встроились в поток на пляс Перьер, из тоннеля внизу выскочила гроыхающая электричка, «На вокзал Сен-Лазар?» — спросил Кореньков утверждающе.

— Куда? — прервался Дени.

— На Сен-Лазар, — повторил он, тыча пальцем.

— О, — улыбнулся Дени, — вы не впервые в Париже.

Близились к сердцу Парижа. «Авеню Ниэль... Рю Пьер Демур... Де Терн... Мак-Магон...» В перспективе открылась Пляс Этуаль («Де Голль», поправил себя Кореньков), над каруселью красных автомобильных огоньков — угол Триумфальной арки, подсвеченный золотом барельеф под сиреневым, лиловым, бархатным небом.

Здесь пульс бьющей жизни отдавался тихим неблизким шумом, тихо светился подъезд скромной гостиницы «Мак-Магон», тиха и неширока, белела лестница, тихо двигался лысый портье за темной деревянной стойкой. Руководитель Вадим Петрович руководил расселением, Коренькову достался в соседи работник горисполкома, веселый и хозяйственный Андрей Андреич, сразу перешедший на ты:

— Ты меня слушай, и отоваримся путем, и посмотрим что надо — я здесь второй раз. — Подмигнул.

Достали кипяточники, печенье, консервы, — поужинали дома, безвалютно. Потом Вадим Петрович собрал всех на инструктаж, напомнил о дисциплине, бдительности, возможных провокациях.

Кореньков спустился в холл и купил у портье синеватую короткую пачку «Галуаз» — без фильтра, из темного крепкого табака типа «капораль», пахнущего вроде кубинских сигар. Угостил портье болгарской сига-

ретой, зная, что здесь это не принято, каждый курит свои; портье выразил благодарность, и Кореньков наслаждался разговором в полутемном холле с видами Парижа на стенах, в покойном кресле, легким приятным разговором о погоде, туристах, ценах в ресторанах, — он знал, что серьезные темы здесь не приняты, разговор должен быть легким. Но от рукопожатия на прощанье не удержался; ладонь у портье была сухая, не слабая, приятная.

В номере Андрей Андреич храпел жизнерадостно. Не зажигая света, Кореньков открыл привезенную бутылку, осторожно отодвинул штору, сел к окну и чокнулся со стеклом. С пятого этажа был виден узкий сектор освещенной площади, уголок Триумфальной арки, редкое ночное движение. «Повезло».

Лег не скоро, насытившийся ощущением того, что он — здесь, слегка опьянев, наблюдая легкое подрагивание треугольника света на потолке, искрящегося в крае люстры...

Автобус подавали в восемь. Завтракали в одном из дешевых ресторанчиков близ Монмартра: кофе, пуховые булочки, желтое масло, джем. Расплачивался Вадим Петрович. Вадим Петрович в первый же день выделил Коренькова, держал рядом: как бы из дружеского расположения угощал его Парижем лично, особо; и с уважением равного кивал подробностям о Париже, распивавшим Коренькова.

Скрывалась за цветными крышами высящаяся на холме белая стройная громада Сакрэ-Кёр, дневная программа начиналась, они дружно вертели головами, внимая Дени: Казино, галерея Лафайета, Гранд-Отель, Вандомская площадь: выходим, мадам и мсье. Он трогал рукой Вандомскую колонну! Взлетали голуби, щелкали фотоаппараты, шаркали толпы разноязыких туристов: небо сияло.

Эйфория звездного часа несла Коренькова. Любовно и торопливо он дополнял Дени: как Мопассан поносил Эйфелеву башню за изуродование вида Парижа; как триста викингов в VIII веке захватили Париж, именуемый тогда Лютецией, и не ушли до получения выкупа; как поляк Домбровский командовал войсками Парижской Коммуны.

— Мсье, по-моему, вы самый чистокровный парижанин в этом городе! — радовался Дени, поводя узкими плечиками в вельветовом пиджаке.

В Доме Инвалидов с Кореньковым сделалось головокружение. Мраморные ангелы с лицами античных воинов, несшие караул вокруг красного порфирного саркофага Наполеона, надвинулись на него; буквы «Ваграм. Маренго. Иена...» на черном подножии вспыхнули огненным колесом и ослепили. Он пришел в себя на тенистой ступеньке перед газоном, поддерживаемый внимательным Вадимом Петровичем.

Обед и ужин вкушали в том же ресторанчике, втекали вежливо-скованной чужеродной кучей, подчищали мандарины и листья салата с подносов с зеленью, до капли цедили сухое красное вино из двенадцатиунциевых графинов-колбочек, стоящих перед каждым прибором. Старались держать вилку в левой руке, а нож в правой; старались не глазеть в стороны; старались без шума отодвигать стулья. Кореньков жевал палочки мелкой спаржи, корочкой подбирал правильно соус и комплексовал, что не может дать на чай милой плоской официантке: хамство-с, то-то она и не улыбается.

В обмене впечатлениями проскальзывало греховным пунктиком: «Пляс Пигаль?..». Кореньков усмехнулся дилетантству, попросил гида вернуться в гостиницу через улицу Сен-Дени.

— Мсье? — тот вздернул тонкую бровь.

Вадим Петрович возразил хозяйски:

— Делать крюк? поздно уже, некогда. И в программу не входит.

— Какой же крюк, пятьсот метров направо...

Вадим Петрович глянул пристально — медленно кивнул.

Вывески Мулен-Руж струились в витринах розовым, малиновым, оранжевым, электрические лопасти мельницы вращались в темной вышине, электрический нагой силуэт вскидывал ножку в канкане. На Сен-Дени девицы были уже реальные, в шортах или мини-юбках и обтягивающих сапожках до бедер, в ажурном белье под распахивающимися шубками, всех цветов и мастей, чаще некрасивы, некоторые стары: похаживали парами и стайками, ждали у стен, опершись ножкой, курили, поигрывали сумочками.

— Вот эта карга обслужит вас по-французски прямо в автобусе франков за сорок, — забывшись, склонился Кореньков к сидящему рядом Вадиму Петровичу. — А чудо-киска с вызовом на дом приедет на «ягуаре» и возьмет утром тыщенок до трех.

Вадим Петрович обернулся дико; Дени заржал, перешел на вздох:

— Увы, это наша социальная язва, позор Парижа...

За углом пассажиры перевели дух и заговорили сдержанно и фальшиво о постороннем; пара дам сокрушалась, их слушали с неприязнью; постепенно раскрепостясь, обсудили проблемы проституции и почему-то пришли в прекрасное настроение.

Перед сном Кореньков намылился под душем мыльцем из фирменного пакетика в ванной, пастой из такого же пакетика почистил зубы, обувным кремом отполировал свои коричневые туфли. Андрей Андреич слегка рассердился:

— Их все на сувениры берут. Что у тебя, мыла нет? Ладно, заberi из ванной, завтра новые положат. А чего водку открыл, пить сюда приехал? Ну чудила ты...

Свои две бутылки он загнал швейцару за сорок франков: «Все только так и делают».

Вообще основные интересы группы распределились между бульваром Рошешуар и пляс Републик, где обоживались знаменитые баснословной дешевизной универмаги Тати. Совали в бесплатные пакеты гонконгские кассеты, бразильские джинсы, сингапурские штампованные часы, кроссовки с Тайваня и куртки из Макао — Андрей Андреич купил южнокорейский магнитофон за сто девяносто франков: «колониальные товары», дешевая рабсила, демпинговые цены. Кореньков свои приобретения упрятывал в сумку: показываться с пакетом от Тати уж больно непрестижно, бедно; стыдно. Налетали не раз на уличную дешевую распродажу, бесценнок непредсказуемый: за пакистанские нормальные кроссовки он отдал пять франков, за джинсы — восемнадцать. Сэкономленные средства он перебросил в расходы на местный колорит: рюмка абсента, рюмка перно. (Чашка кофе — три франка, и это в обычном бистро...)

Абсент действительно горчил полынью; перно имело привкус лакрицы, Кореньков это знал, но он не знал, какой вкус у лакрицы, и приторной сладковатостью удовлетворился.

— Ну и скупердяи эти твои французы! — заявил Андрей Андреич.

— Они не скупердяи, они привыкли считать деньги, — доброжелательно разъяснил Кореньков. — Как все в Европе, кстати.

— Привыкли, это точно. Гид наш попросил у меня юбилейный рубль, так, думаешь, дал хоть что-нибудь взамен? И звонят они только из гостей, чтоб на автоматы не тратиться; мне говорили.

График времяпрепровождения был сугубо коллективный и отклонений не допускал: кладбище Пер-Лашез и стена Коммунаров — один час, музей Ленина на улице Мари-Роз — два часа, Лувр — три часа, Эйфелева башня — прощальный ужин накануне отъезда...

Безусловно и категорически не входили в намерения группы стриптиз и порнографические фильмы. Но подспудное брожение присутствовало. Кореньков за полтора франка купил номер «Пари суар», сжувывая пальцы (тончайшая бумага) перевернул отдел объявлений и отыскал «Декамерон-70» Феллини в недорогом кинотеатрике: классика мирового кино, вне политики, не придерешься. Депутация желающих отправилась к Вадиму Петровичу. Культпоход в кино состоялся.

Из зала выходили в некотором понятном обалдении, прочищая пересохшее горло. О девяти франках никто не жалел.

— Странно, что в группе не нашлось любителей оперы, — резюмировал руководитель. — Билет на балкон стоит всего сотню монет. Какие голоса!

Еще Коренькову удалось спровоцировать краткое посещение рынка, достославного Чрева Парижа (женщины загорелись! Вадим Петрович поцокал неодобрительно). Бескрайнее царство жратвы ломило красками, оглушало запахами, ананасы соседствовали с хреном, цесарки с акульими плавниками, устрицы с кокосами, жаровни дымились, чаны парили, монахини садились на мотороллеры, плыли и качались корзины! Букашки в грандиозном натюрморте, созданном фантазией гурмана, они, влекомые Кореньковым, как нитка за иголкой, достигли лукового супа: янтарный и благоухающий, в грубой фаянсовой миске, вроде и суп как суп, ан нет, вроде и как пища богов, галльских богов, лукавых и вечных, амброзия бесмертных, святое причастие. Дени тоже угостили.

...Ах, почему так быстро кончается все хорошее! Отрещали в ветре трехцветные флаги Великой французской революции на готических шпилях Нотр-Дам, отшумели каштаны под башнями Консьержери, отсверкали в паркетах люстры Версаля. Укатился в прошлое франк, поданный Кореньковым клошару под мостом Де Берси.

Он не ощущал себя туристом, напротив: словно вернулся из неудачного отпуска домой, где прожит век. Вздыхал знакомым мелочам, жалел о ликвидации уличных писсуаров: не трогайте мою старую обитель.

Накануне отлета проснулся чуть свет, заварил чай в стакане, закурил у серого окна: к рыбному магазину подкатила цистерна, юный развозчик загрузил длиннейшими батонами из пекарни ящик мотороллера и унесся, расклейщик афиш огладил тумбу рекламой фильма с Жаклин Биссе.

И Кореньков понял, что никуда завтра не улетит.

Он это давно знал, но запрещал себе и думать. Преграда треснула, и мысль разрослась огромно, как баобаб. Дети самостоятельны, все имущество — жене, а он уже старик, сколько ему осталось... какая разница, как он будет здесь жить. Конечно, в Париже очень трудно найти постоянную работу, но он знал твердо, что с голоду тут давно никто не умирает, существует масса социальных и благотворительных служб... а он согласен на любую работу, хоть мусорщиком. Слать им посылки... попробовать когда-нибудь посетить Союз под чужой фамилией... ведь никаких эмигрантских газет, радиостанций, заявлений, упаси бог.

Эх, было б ему тридцать лет. Или сорок... Но уж хоть что осталось — то мое.

В подремывающем после завтрака автобусе он машинально ловил полушепот между Дени и шофером.

- Финиш, завтра этих провожаем, — сказал Дени.
- Старикан этот, ну дотошный, — цыкнул шофер.
- До чертиков надоел, — сказал Дени.

Кореньков померк от обиды, попытался погордиться своеобразным комплиментом; потом его что-то забеспокоило, сильнее, очень сильно — и окостенел:

они говорили по-русски!

Без малейшего акцента.

Он попытался уяснить происшествие и усомнился в себе.

— Долго еще ехать? — обратился по-русски с возможной естественностью, как будто забывшись.

Шофер не отреагировал. Дени обернулся.

— Туалет будет по дороге, — приветливо прокурлыкал он, сдерживая грассирование, и по-французски спросил у шофера, сколько им ехать, на что тот по-французски же ответил, что минут пятнадцать.

Померещилось?

Едва вышли, Кореньков поскользнулся и увидел под ногой апельсиновую корку на крышке канализационного люка. В мозгу у него лопнул воздушный шарик: нечеткие буквы гласили: «2-й Литейный 3-д — Кемерово — 1968г.».

— Что с вами, мсье? — позвал Дени. Приблизился, глянул:

— Потрясающе! — сказал он. — Может быть, в Париже есть какая-то русская металлическая артель, поставляющая муниципалитету крышки для канализации?

— А Кемерово? — спросил Кореньков, и тут же ощутил свой вопрос... нехорошим.

— А вы знаете, что в США есть четыре Москвы? — успокоил Вадим Петрович. — Эмигранты любят такие штучки. И во Франции, если поискать, найдется парочка Барнаулов!

— Близ Марселя есть деревня Севастополь, — привел Дени. — В честь старой войны.

— Ну вот видите.

Когда садились обратно в автобус, Кореньков обратил внимание, что рядом на пути не оказалось ни одного человека, хотя площадь казалась запруженной народом...

Дени дал указания шоферу, и напряженный кореньковский слух выявил легкое такое искажение дифтонгов!..

— Хорошо родиться и вырасти в Париже, — по-французски сказал ему Кореньков.

Дени ответил спокойным взглядом.

— Я родился в Марселе, — сказал он. — Только в восемнадцать поступил в Сорбонну. Так и остались в произношении кое-какие южные нюансы.

«Почему он сказал о произношении? Я ведь не спрашивал. Догадался сам? А почему он должен догадаться об этом?»

Жутковатым туманом сгущалось подозрение.

Приехали. Вышли. Кореньков расчетливо, методично сманеврировал к краю группы, выждал и быстро шагнул к спешащему по тротуару с деловым видом прохожему:

— Простите, мсье, как пройти к станции метро «Жавель»?

Прохожий запнулся, ткнул пальцем в сторону и надал.

— Дмитрий Анатольевич, что же вы? — укорил Вадим Петрович: он стоял за спиной. — Какой-то вы

сегодня странный. И вид больной. Ну ничего, завтра будем дома. Переутомились от обилия впечатлений, наверное? это бывает.

«Почему он промолчал? И — метро совсем не там!»

Они сгрудились у особняка, где окончил свои дни Мирабо. Кореньков оперся рукой о теплые камни цоколя, нагретые солнцем, и без всякой оформленной мысли поковырял ногтем. Камень неожиданно поддался, оказался не твердым, сколупнулась краска, и под ней обнаружилось что-то инородное, вроде прессованного картона... папье-маше.

Нервы Коренькова не выдержали. (Драпать... Драпать... Драпать!..)

Боком-боком, по сантиметру, двинулся он назад. Группа затоптала за Дени, Вадим Петрович отвлекся, Кореньков собрался в узел, улучил момент — и выстрелил собой за угол!

Бегом, быстрее, свернуть, налево, еще налево, направо, быстрее! Юркнул в подворотню и затаился, давя кадыком бухающее в глотке сердце.

Поднял глаза, ухнул утробно, осел на отнявшихся ногах.

Никакого дворца не было.

Высилась огромная декорация из неструганных досок, распертых серыми от непогод бревнами. Занавески висели на застекленных оконных проемах. Посреди двора криво торчала бетономешалка с застывшим в корыте раствором, и рядом валялась рваная пачка из-под беломора.

Поспешно и со звериной осторожностью Кореньков заскользил прочь, дальше, как можно дальше, задыхаясь рваным воздухом и оглядываясь.

Вот еще особняк, обогнуть угол, второй угол: ну?!

Внутри громоздкой фанерной конструкции, меж ржавых растяжек тросов, влип в лужу засохшей краски бидон с промятым боком.

Обратно. Дальше.

Вот люди сидят за столиками под полосатым тентом. Бесшумно подобрался он с тыла, отодвинул край занавески:

говорили по-русски, и не с какими-то там эмигрантскими интонациями, — родной, привычный, перевитый матерком говорок. А одеты абсолютно по-парижски!..

С бессмысленной целеустремленностью шагал он по проходам и «улицам», слыша русскую речь, и теперь ясно различал привычную озабоченность лиц, привычные польские и чехословацкие портфели, привычные финские и немецкие костюмы, привычные ввозимые моряками дешевые модели «Опеля» и «Форда».

Эйфелева башня никак не тянула на триста метров. Она была, пожалуй, не выше телевизки в их городке — метров сто сорок от силы. И на основании стальной ее лапы Кореньков увидел клеймо Запорожского сталепрокатного завода.

Он побрел прочь, прочь, прочь!.. И остановился, уткнувшись в преграду, уходившую вдаль налево и направо, насколько хватало глаз.

Это был гигантский театральный задник, натянутый на каркас крашенный холст.

Дома и улочки были изображены на холсте, черепичные крыши, кроны каштанов.

Он аккуратно открыл до отказа регулятор зажигалки и повел вдоль лживого пейзажа бесконечную волну плавно взлетающего белого пламени.

Не было никакого Парижа на свете.

Не было никогда и нет.

УЗКОКОЛЕЙКА

Литвиненко раньше был начальником колонии. Лес-промхозом же директорствовал Иван Иванович Шталь. Он не всегда был Иван Ивановичем. Он до сорок первого года именовался Иоганном Иоганновичем и был председателем колхоза в Республике немцев Поволжья. А потом всем, так сказать, колхозом очутился в Коми. Валили лес для государства и растили картошку для себя, — ничего, жили.

В пятьдесят шестом году сняли колючую проволоку вокруг бараков, увезли на самолетах охрану, и леспромхоз полностью перешел на свободную рабсилу. Многие, надо сказать, так на месте и остались: ехать некуда. Обзавелись семьями, получили зарплату, хозяйство развели, — опять же ничего, жили.

Но, естественно, производительность труда несколько упала, а себестоимость леса несколько выросла. И организация ухудшилась, поскольку руководить людьми стало не в пример труднее: как средства наказания, так и возможности поощрения свелись к минимуму. Что называется, дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Чем ты можешь напугать человека, который и так валит лес в приполярной тайге?..

Областное начальство получило втык из Москвы, устроило разнос районному, местная власть прибыла на Ли-2 в леспромхоз и, оценив на месте обстановку, приняла простое и мудрое решение: Иоганна Иоганновича восстановили в партии и дали задание: вывести леспромхоз из прорыва.

И Иоганн Иоганнович с немецкой деловитостью навел порядок. Он отправил толкача в Мурманск — проталкивать продовольствие Севморпутем, ибо завозили все в короткую северную навигацию, а также в Сыктывкар — вышибать из местных Минфина и Минлеспрома максимум денег в заработный фонд, ну и

перехватывать вовремя технику и ГСМ. И дело понемногу пошло.

Но затем в шестидесятые годы заработки стали урезать. Если раньше за каждый заработанный сверх наряд-задания рубль платили еще рубль премии, то теперь — шиш. План рос из года в год, чего нельзя было сказать о доходах. В результате выработка стала уменьшаться обратно пропорционально росту плана. А Иван Иванович начал с криками просыпаться по ночам, мучимый кошмарами о ревизиях, вскрывающих приписки.

Через десять лет такой жизни Иван Иванович, награжденный к тому времени орденом Дружбы народов, отчаявшись уволиться добром, полетел в Сыктывкар и лег на обследование. Мужик он был жилистый, выносливый, водкой не злоупотреблял, но подобная биография редко способствует укреплению природного здоровья: Иван Иванович получил неопровержимую справку, которая гласила о противопоказанности его изношенному организму местного неласкового климата, и отбыл на материк, на Запад, в Эстонию.

— Куплю хутор, заведу корову, — мечтательно сказал он. — Сил моих больше нет. Посадят. А за что? С меня хватит.

Надо сказать, что уговаривали Ивана Ивановича остаться не только начальство, но и работяги. Народ имел некоторое представление о том, что делается в соседних леспромхозах, и Ивана Ивановича любил. Знали, что справедлив, за грех не спустит, но заработать всегда даст и лишнего не потребует. Так что на прѳводах речи проносились вполне искренние, и даже лились слезы, — правда, и выпито было соответствующе.

— Дуй уж прямо в Германию, Иваныч! — напутствовали. — Хрен ли тут намучился.

Несколько месяцев все шло вкривь и вкось под управлением бесхарактерного главного инженера, а потом прислали им Литвиненко.

Литвиненко прилетел со всем семейством, одетый, разумеется, в гражданское. В этих краях его прошлая карьера популярности не способствовала. Разумеется, и так все вскоре оказалось известно. Но это ничего, это бывает, мало ли чем человека могут поставить руководить. Однако добра большого не ждали, и в этом ожидании, как обычно случается, оказались правы.

Литвиненко очутился, следует признаться, в положении незавидном: сверху давит начальство, а снизу не хотят давиться подчиненные. Что называется, между молотом и наковальней. Но поскольку молот шарахает по наковальне, а не наоборот, то с ним в первую очередь и приходится считаться.

Литвиненко осмотрелся и начал действовать. Собрал собрание и произнес речь, призывая трудящихся поднажиться, усилить, выполнить, оправдать и добиться, дабы достичь сияющих вершин. В ответ были брошены явно провокационные вопросы о заработках, продуктах, жилье, детсаде и прочем, что хотели урвать несознательные работяги от разваливающегося леспромхоза.

— Как поработаете, товарищи, так будете жить.

— Мало вламываем, что ли?

— Чтоб он так жил, как мы работаем, — прозвучало анонимное пожелание из зала.

Литвиненко, как человек прямой и в чем-то даже военный в прошлом, стал честно выполнять обещанное. В чем не преуспел.

Он попросил временно снизить план, в ответ на что ему было указано на политическую несознательность и непонимание государственных интересов.

Попросил увеличить премиальный фонд, на что было сказано, что его задача — повышать рентабельность хозяйства, а не понижать.

Попросил увеличить фонды на соцнужды, на что ответили, что рады бы, но помочь пока не в силах, есть узаконенные нормы...

Также не было новой техники, запчастей к старой, культтоваров, солярки и барж в навигацию.

— А как же выполнять распоряжение? — с офицерскими субординационными нотками спросил он.

— Улучшать организацию труда, — командным тоном дало начальство ответ в высшей степени туманный. — Крепить трудовую дисциплину! Изыскивать внутренние резервы.

Литвиненко хотел возразить, что на прежней работе изыскание внутренних резервов было делом ясным, а на нынешней как? Но, во-первых, был приучен всей прошлой жизнью начальству не возражать, а во-вторых, убоился, что такой вопрос могут счесть желанием вернуться к старым и осужденным как ошибочные методам управления.

Прилетев домой мрачнее тучи, Литвиненко скомандовал жене подать закуски и, следуя старому русскому правилу поисков выхода из трудного положения, нарезался со страшной силой. Мужик он был массивный, крепкий, и выход осенил его к концу третьей бутылки.

От бутылок этих, стоимостью в те времена три рубля шестьдесят две копейки или же четыре двенадцать, плюс северная наценка, деятельность леспромхоза зависела весьма сильно. Впрямую зависела, можно сказать.

Усть-Куломский леспромхоз состоял из трех поселков: собственно Усть-Кулома, Машковой Поляны и Белоборска. Такое расчленение имело свои выгоды и недостатки.

К выгодам относилось то, что финорганам для выплаты всем работникам зарплаты хватало одной шестой от общей номинальной суммы: одними и теми же дензнаками дважды в месяц платили в три очереди. Чтоб было яснее: выдавался аванс в Усть-Куломе, толпа сутки волновалась у кассы, и затем два-три дня никто не работал: деньги бесперебойно перетекали в сейф магазина, а оттуда — в отделение банка, расположенное через дорогу. Когда практически вся выплаченная сумма возвращалась в банк, — в основном через магазин, частично через сберкассу, занимавшую половину того же дома, — деньги запаковывали в мешок и отправляли в газике с охранником в Белоборск, где повторялся аналогичный цикл. А Усть-Кулом тем временем приходил в себя, отпивался рассолом и чаем и выезжал в лес на работу. За месяц деньги должны были обернуться шесть раз, поэтому иногда случались задержки: в Машковой Поляне уже волнуется очередь у кассы, а в Белоборске еще не рассосалась очередь в магазин, и молоденький заведованием банка орет на завмага, чтоб давала подмогу в винный отдел.

Некоторые купюры стали жителям старыми знакомцами, поскольку бумага на деньги идет качественная и служит долго. Егор Карманов, машинист мотовоза, как-то из интереса специально пометил крестиком новенький червонец, и с тех пор дважды в месяц кто-нибудь кричал:

— Егор, а вот и твой крестник! Меняемся на двадцатку! — И все смеялись.

Однажды случилась катастрофа: баржу с водкой не то затерло льдами по случаю ранней остановки навигации, не то случился сбой в работе порта, но только водку на сезон не завезли. В результате усть-куломцы не истратили своих денег, и белоборцы остались без зарплаты. Зубчатое колесо товарно-денежного оборота замерло. Пустили яд слухи. Народ лупил кулаками по стенке кассы. Бледный банкир спецрейсом вылетел в Сыктывкар за деньгами, ибо в ответ на отчаянные радиотелефонограммы было много советов, но совсем не было денег. Он вымолил все-таки денег, которых хватило на треть желающих, но за настырность и неумение выкрутиться получил выговор.

Когда обстановка накалилась до угрожающего предела, министерство нажало на рычаги: из Красноярска пришел Ил-18 с водкой, которую Ли-2 доставил до мест. Прошедшая неделя стоила Литвиненко сердечного приступа, нескольких седых волос и партийного выговора. В справедливости выговора он, не приученный сомневаться, не сомневался, но было ему тошно.

Это о выгодах. Что же касается недостатков, то к ним относились неритмичность работы (верней, ритмичность-то как раз была, но уж больно горестная) и регулярные простои техники. В то время как в двух местах ее не хватало, в третьем она стояла, а не хватало к ней рабочих рук; и так — по кругу. Поначалу Литвиненко пробовал самолично ходить утром по домам, дубасил в двери и окна, чуть не на себе доволакивал людей до рабочего поезда: пока два часа будут ехать до лесных кварталов — протрезвеют, — но тут же одному вальщику отчекрыжило «Дружбой» ногу, сучкоруб шмякнул топором себе по голени, кого-то хлопнуло верхушкой упавшего дерева, мотовоз четырежды за день забурился с рельс в насыпь, шесть платформ-«половинок» с хлыстами вывалились под откос... (К осени такие хлысты, уже высохшие, пилят на чурки и везут домой на дрова: чем пригонять кран и доставать их, раскатившиеся, останавливая на полдня вывоз леса по магистрали, — проще свалить и погрузить новые.) Партбюро строго указало Литвиненко на нарушение техники безопасности и возросший травматизм, хотя нет у нас леспромхоза, где не ковыляло бы несколько инвалидов, по пьяному делу вступивших

некогда в соприкосновение с бензо-, или хуже того, электропилой.

И вот Литвиненко придумал гениальный способ, как минусы превратить в плюсы, чтобы недостатки стали достоинствами.

Сообщались между собой три поселка отвратительно. То есть дороги как таковые имелись: по зимнику преодолевались часа за полтора, а в теплое время — уж как бог положит и кривая вывезет. Газик на двух ведущих мостах плыл, как яхта в шторм, а «Урал» жрал горючего столько, что в обрез хватало мотовозам. Но если Машкова Поляна ютилась на отшибе, то Белоборск был расположен иначе: хоть и далеко, и за речушкой, зато если мерить от него напрямик к основной усть-куломской железной дороге — «магистрале», — то по карте выходило всего восемь километров, и как раз до разъезда «39-й км». А лес сейчас брался в кварталах именно от разъезда и до шестидесятого километра. Итак: если б возить белоборцев напрямик через непролазную тайгу в усть-куломские квартала, они тратили бы на дорогу времени меньше даже, чем сами усть-куломцы: час вместо двух. (А то в половине седьмого утра скрипеть по снегу в ледящей мгле на рабочий поезд, и в половине седьмого вечера во тьме же возвращаться домой — это для привыкших нормально, а редких приезжих бросает в оторопь:

— Зачем вы здесь живете-то? С такой работой, — в лесу, по грудь в снегу?

— А чего? Ничо. Надбавки. Пенсия максимальная. В вагончиках мужик приставлен, печки нажарит: тепло!.. Едем, в карты играем, разговариваем.)

Время стояло летнее, до конца года далеко: подбивать бабки выполнению плана нескоро... И Литвиненко вышел на связь с райкомом:

— Я решил сманеврировать средствами, — доложил четко.

— Это как? — настороженно осведомились сквозь треск помех.

— И людскими ресурсами!

— Какими?

— Мы можем в год перемотировать четырнадцать километров «усов», так?

Усы — это боковые ветки, идущие от магистрали по кварталам. Когда квартал выработан, рельсы снимают и

кладут в новое место, — кругляк под шпалы, конечно, бросают, там нарезают новый.

— Ну, — изрекло начальство после раздумья.

— Ветку в Белоборск! — полыхнул гордостью Литвиненко. — Возить народ туда-сюда, на случай простоев, и вообще... Экономия оплачиваемого времени на дороге — раз; экономия топлива — два; повышение коэффициента использования техники — три; благоустройство сообщения — четыре.

В райкоме посовещались, поразмышляли, обсудили вопрос.

— А за сколько построишь?

— Брошу две бригады дорожников, выделю технику — за три месяца управимся. На это время леса в теперешних выработках хватит.

— Молодец, Литвиненко! — грянул голос. — Вот видишь — всегда есть внутренние резервы, если поискать!

Идея была санкционирована и обрела очертания приказа. Литвиненко загорелся. Переходящее знамя мерещилось ему, оркестровый туш, первое место в соцсоревновании, повышение, орден, перевод в Москву... мало ли чего может померещиться в тайге похмельному человеку, особенно если на него давит начальство.

На планерке он довел до руководящего звена леспромхоза свой план. Гениальность плана подчиненные не разглядели — как и полагается подчиненным, когда начальник намного умнее. Литвиненко ощутил себя Наполеоном, вынужденным выигрывать Аустерлиц со сплошными бездарностями. «Будущее мне воздаст», — подумал он, и в этом, наверное, был прав.

— Шталь на такой план не пошел, — промямлил начальник сплавного пункта.

Литвиненко стало неприятно, что подобный план кому-то уже приходил в голову.

— Не видел твой Шталь дальше своего носа! — гаркнул он.

Ему поддакнул бригадир дорожников Прокопенюк. Хитрый Прокопенюк отлично понял, к чему клонится дело.

— Короче — план одобрен и согласован, — известил Литвиненко. — Учетчикам вальщиков — доложить объем невыбранного леса по кварталам!

Леса определено должно было хватить.

— Так. Объект ударный, поставим лучшую бригаду. Материальное обеспечение — в первую очередь ей. Какие поступят предложения?

Прокопенюк поймал его взгляд и слегка кивнул, как чему-то само собой разумеющемуся:

— Мои хлопцы не подведут.

— Отлично! — громыхнул Литвиненко. Развернул карту, полководческим жестом бросил на нее циркуль и линейку:

— За сколько справишься?

— Так если мне еще молдаван дадите, которые у нас по договору... — начал торг бригадир. (Молдаване работали здесь за лес, который в оплату их работы поставлялся в родной молдавский колхоз, где по части леса росли преимущественно заборы и виноград.)

Литвиненко в сопровождении Прокопенюка и главного инженера сел в прицепленный к мотовозу вагончик (ездить в кабине, как все делали, он полагал не по чину) и отбыл на рекогносцировку.

— Еле тянется, — цедил, супя мохнатые брови.

— Иначе забурится, — ласково пел Прокопенюк.

— Узкоколейка, чего с нее взять, — кашлял инженер.

Припилили за полтора часа. Литвиненко поместил на ладонь компас, командирским движением задал направление. Углубились в лес. Прокопенюк взятым у машиниста топором делал затески — метил трассу.

— Вот в таком духе, — сказал Литвиненко, отмахиваясь от зудящей тучи комарья и застревая в буреломе. — А это что?..

Лишь сейчас заметил он, что они стоят как бы на заброшенной, заросшей наглухо тропе, угадывающейся узким проемом в уходящих вдаль вершинах. На стволах желтели давние, заплывшие смолой и натеками коры, затесы.

— А это здесь лет пятнадцать, говорят, назад, геодезисты из Москвы трассу метили. — Инженер зло пришлепнул овода.

— Зачем?

— А в Белоборск же.

Литвиненко посопел.

— И что ж? Бросили?

— А денег не было, — объяснил Прокопенюк.

— Денег, — хмыкнул Литвиненко. — Надо понимать, когда жалеть, а когда тратить!

— Вот это точно, — согласился Прокопенюк.

Уложив в голове старую геотрассу как козырь в поддержку своего плана, Литвиненко счел рекогносцировку законченной:

— Поехали! Прикинем смету...

Смету прикидывали сутки, взяв за жабры плановиков и бухгалтерию. Те только побряхтывали.

— И мотовоз с платформой в личное мое распоряжение, — загибал пальцы Прокопенюк.

Диспетчер встал на дыбы, но был осажен.

— И чокеровщик.

— Получишь.

— В вальщики Сысоева мне дашь, — незаметно он перешел с начальством на ты. Литвиненко поморщился, смолчал, — не время портить отношения, пусть заведется на работу.

— Аккорд — сорок процентов, и пусковые.

— Само собой.

— Пусковых — двадцать процентов. И премию. — На глазах всего народа Прокопенюк сосал кровь из начальства.

— Сделаешь в срок — будет премия.

— В размере квартальной, — вконец обнагдел Прокопенюк. — За ударный труд на особо важном объекте.

Бухгалтер вытер плешь концом старого шелкового галстука. Потом им же протер очки.

— А не треснешь? — любопытствовал он.

— Не тресну, — заверил Прокопенюк. — Лишь бы ты не треснул. И бригаду разборщиков — под мое начало. И лапы им сварить новые, не из тех ломов, что гнутса, а закаленных, сам отберу.

Начальник мастерских пожал плечами.

— Все? — спросил Литвиненко. — Но смотри: чтоб завтра в девять приступили!

— Есть! — молодежато подыграл Прокопенюк. И отправился по домам — переговорить с машинистом, помощником, вальщиком и трактористом. Организовать дело он умел, этого у него не отнимешь.

И — работа закипела! Именно так и подумал назавтра Литвиненко: «Работа закипела!» — лично глядя, как рушатся сосны и кедры, как сверкают топоры сучкорубов, с ревом ворочается, оттаскивая стволы, трелевщик, с визгом врезается в них бензопила, разделяя на

двухметровые свежие кругляши, лежащиеся в линию шпал будущей дороги.

В Белоборске заняли позицию выжидательную. Горячие умы прикидывали новый маршрут до усть-куломского магазина. Дебатировался вопрос о разделе заработков. Сомневались насчет постройки моста: пусть речушка левая, вброд переходили, однако — инженерия!..

Каждый вечер в половине седьмого Прокопенюк являлся к директору докладывать о ходе работ. Половицы победно скрипели под его кирзачами, брезентовая куртка вкусно пахла скипидаром и хвоей, взгляд из-под кепочки являл достоинство. Ребятки выказывали рвение, крутая пахота не сгибалась: дорога рвалась вперед полным ходом.

К первому июля он доложил:

— Два километра девятьсот — как одна копейка!

— Спасибо за работу! — ответил Литвиненко и стиснул ему руку.

Первое августа:

— Есть пять семьсот!

— Спасибо за работу!..

— Спасибо в стакан не нальешь, — хмуровато сказал Прокопенюк.

Зашедший за подписями бухгалтер в негодовании потряс кулачками. Жора, молодой бригадир молдаван, одобрительно хрюкнул.

— Тебе что — мало? — угрожающе протянул Литвиненко. — Твои бездельники в этом месяце по...

— ...шестьсот двадцать, — услужливо подсказал бухгалтер.

— А вламывали как?

Усть-Кулом постепенно разделился на два лагеря: команда Прокопенюка — и все остальные. Прокопенюковцы получали шестьсот-семьсот на круг. Им продавали в неделю по две банки тушенки и сгущенки, хотя полагались они всем работающим в лесу, а также индийский чай, который на прилавок не выставлялся и шел как бы через спецраспределение. В день получки по личному распоряжению директора им отпустили в специальной кладовке орсовского склада по бутылке коньяка, который в магазине отродясь не стоял: исключительно водка и красное.

Обделенный же лагерь нарек эту рабочую гвардию рабочей аристократией и в свою очередь расслоился на

две неравные части: первая, составлявшая подавляющее большинство, завидовала завистью обычной, то есть черной, и ратовала привести прокопенюковцев к общему знаменателю и даже репрессировать за рвачество; вторая же, меньшая часть завидовала завистью белой, то есть строила козни, как бы самим проникнуть в привилегированный круг, и при этом условии была согласна примириться с создавшимся положением. Продавщицы вели с Прокопенюком взаимовыгодные переговоры об устройстве своих мужей. Смазчик Пронькин, известный алкаш, после аванса гонялся за Прокопенюком с цепью от пилы, требуя восстановить равновесие.

А из райкома регулярно запрашивали с доброжелательной требовательностью:

— Как осваивается фронт работ?

— Согласно графика! — кричал Литвиненко, прижав для лучшей слышимости руку рупором к трубке. — С превышением нормативов!

— Ты подсчитал, на сколько процентов повысится использование техники?

— На одиннадцать и семь десятых! — бухал он без боязни: контора подгонит нужный результат.

— Так это же прекрасно! — ликовала трубка. — А производительность труда?

— Экономисты мои обсчитывают, — врал Литвиненко.

— Прикидочную цифру можешь назвать? Нам надо включить в отчет.

— Шесть процентов, — придумала экономистка правдоподобную цифру.

— Семь с половиной процентов, — передал Литвиненко.

— Молодец, Литвиненко!

В кабинете между портретом и сейфом Литвиненко повесил крупномасштабную карту района и каждый вечер скрупулезно отмечал красным карандашом пройденный отрезок на идеальной прямой, соединявшей 39-й километр с Белоборском.

К сентябрю красная стрела подползла к голубой точке реки, что соответствовало на местности расстоянию в семь километров семьсот метров. (Конечно — гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить; могло оказаться там и больше восьми километров, кто в

тайге эти километры мерил; могли и в сторону метров на пятьсот уйти — и это не смертельно, там скруглим, дело обычное, не транссибирскую магистраль строим, рабочую узкоколейку.)

Он весело хлопнул Прокопенюка по литому круглому плечу:

— Ну как, бисова душа, реку-то уже видно?

— Куда ж она денется, — ровно ответил Прокопенюк. — Мы свое сделаем, не подведем.

— Завтра вас навещу!

— Милости просим...

Плавнов отвяляясь от насыпи, железнодорожная колея с радующей глаз прямизной рассекала тайгу. Посверкивающие рельсы были намертво пришиты к оранжевым круглякам шпал, еще не успевших потускнеть. В конце пути безостановочно продолжалась отрядная деятельность: деревья валились, трелевщик урчал, топоры тюкали, вперестук гнали эхо молоты костыльщиков, с одного маха вгоняющих четырехгранные костыли в податливую сосновую древесину.

— Прокопенюк свои груши отработывает, — с мрачноватой горделивостью предъявил картину Прокопенюк.

— Сколько уже сделали?

— Семь километров и восемьсот двадцать метров. Сегодня уже девятнадцать звён уложили, это сто четырнадцать метров. (Он не врал: столько показал и спидометр мотовоза.)

— Так... — молвил Литвиненко, сурово вглядываясь в перспективу. — К реке вышли?

— Все по плану, — пожал плечами Прокопенюк.

— Так вышли?

— Да куда ж она денется.

— Вышли или нет?! Сколько осталось?

— Ну, может, самая ерунда осталась...

— Сколько?!

— Да что я, речник, — грубовато сказал Прокопенюк.

Литвиненко достал компас, линейку, циркуль, расстелил на траве карту. Проверил.

— Должны уже выйти, — скрывая растерянность, произнес он.

— Должны — значит, выйдем, — успокоил Прокопенюк.

— Все будет в ажуре, — заверил богатырь Жора, бригадир молдаван, скаля белейшие зубы с зажатой в них беломориной.

— А ну пошли посмотрим, — решил Литвиненко.

— Рабочий день кончился, — сказал Прокопенюк. — И так уж задержались, вон темнеет уже.

— Ничего!

Но в чаще темнело быстро, люди за спиной недовольно медлили, Литвиненко как-то сразу устал, выдохся, и машинист все время подавал гудки, нервировал (торопился домой, к хозяйству); действительно, подумал Литвиненко, а вдруг тут не пятьдесят метров, а пятьсот, на ночь глядя лезть в лес и правда без толку, и промерить расстояние точно надо будет.

— Но завтра — обязательно!

— Само собой.

Но назавтра его срочно вызвали на совещание в район, по срывам подготовки к итогам третьего квартала и окончанию сплавного сезона, вернулся он только через два дня, сплавщики как обычно не справлялись, и весь день он проторчал на сплаве, а потом был день получки, потом суббота, так и затянулось.

Из райкома теребили:

— Сообщите процент выполнения плана по железнодорожному строительству!

— Сто двадцать два процента! — орал Литвиненко.

— Сколько погонных километров?

— Семь девятьсот!

— К реке вышли?

— Так точно!

— А мост?

— Мостовая бригада сформирована. Инженер произвел расчеты. Поставим в кратчайшие сроки!

— Не подкачай! — вибрировала мембрана в трубке.

В среду Прокопенюк вернулся из лесу в час дня. Шагая весомо и мерно, с непроницаемым лицом, он стукнул в директорский кабинет, сел, снял кепку и пробасил:

— Ну вот, значит. Я свое слово сдержал.

— Готово?! — радостно вскинулся Литвиненко. Обнял, стиснул: — Молодец, бисова твоя душа! Ну, поехали — покажешь!

Вагончика под рукой не было, встали по-простому в кабину.

— До берега дошли?

— Все как обещали, — повторил Прокопенюк.

Точно на стрелке Литвиненко списал для верности цифры со спидометра. Напряженно вглядывался в размытую расстоянием табачно-зеленую даль, куда летело синее двойное лезвие рельсов. Прокопенюк молча курил, сев на корточки в углу под окошечком.

Через пятнадцать минут Литвиненко начал бледнеть. Но он молчал, надеясь убедиться, что видимое ему только кажется, что на самом деле все так, как должно быть.

— Приехали, — сказал машинист, Егор Карманов, сдвигая ручку газа и глуша дизель.

Литвиненко стоял каменно, как памятник самому себе. У рта Прокопенюка струйка дыма застыла в воздухе, прекратив свое движение. Было слышно, как высморкался рабочий, сидевший на последнем звене уложенных рельсов.

Дорога упиралась в тайгу.

— Ты что — охренел? — заревел Литвиненко, хватая Прокопенюка за шиворот и пытаясь приподнять и потрясти. Прокопенюк не сдвигался, словно из чугуна его отлили.

— Восемь километров как одна копеечка, — чугунным голосом прогудел он.

Литвиненко оторопело сверил запись со спидометром.

— Восемь ровно, — подтвердил Егор, улыбаясь доброй улыбкой человека, не причастного ни к чему плохому.

Литвиненко прыгнул на спиленный заподлицо пень. Работяги встали. Выражение его лица было таково, что побросали окурки и даже как бы подтянулись по стойке смирно, — слегка оробели.

— Су-у-у-ки!! — завопил Литвиненко. — Га-а-ды!! Вы куда же дорогу построили, падлы?!

— Так это... мы что... — пробормотал Жора. — Куда было указано. А мы работали на совесть, смотрите сами...

— Дорога хорошая...

— Отрихтовали до сантиметра, хоть у машиниста спросите...

— Ни одного костыля не пропустили, проверьте сами.

— Шпалы все, как по линейке... подбирали даже специально...

Литвиненко, одурев от абсурдности ситуации, в отчаянии и ярости топал ногами:

— Линеечки!! в глотку тебе линеечку!! чтоб голова не болталась!!! Белоборск где?!

— А где ж ему быть, — рассудительно отозвался из кабины Прокопенюк. — Стоит себе, где стоял.

— А мы где?! — надсаживался Литвиненко, топая, как бы показывая этим топом место, где они находятся.

— А это дело не мое, — здраво отрекся Прокопенюк. — Линию вы проложили сами, дистанцию задали сами, мы выполнили. Проверяйте сами.

— Проверю, — скрежетнул Литвиненко, — я тебя так проверю, что мама родная не узнает, тебя еще так проверят — жить будешь, а бабу не захочешь, вредитель.

— А вы мне ярлыки не вешайте, — с достоинством сказал Прокопенюк. — Я вам не зека, и жаргончик бросьте. Вон у меня бригада свидетелей. Давайте — вызываем комиссию! Пусть проверяют. Еще поглядим, кого из нас и где проверят... проверяльщик.

Багряный туман пал на Литвиненко, и телеграфным звоном зазвенела в нем невидимая струна... Очнулся он от ощущения холодной воды на лице. Он лежал на брезенте, над ним хлопотали.

— Ничего, — нежно сказал Жора. — Ничего, вы не волнуйтесь. Мы в крайнем случае дальше ее протянем.

Литвиненко встал (его поддержали), схватил компас и с треском, как кабан, вломился в заросли. За ним последовали гуськом.

— Егор, ты в кабине останься, — велел машинисту предусмотрительный Прокопенюк. — Каждые пять минут подавай гудок. А то — тайга, как природный коми сам понимаешь.

Через полчаса Литвиненко взялся за сердце, размазал с потом комаров и опустил на сырой мох. Гудок глухо доносился издали.

— Лезь на сосну! — ткнул пальцем в Жору. — Не на эту! вот на ту лезь, она выше и на отшибе стоит.

— То кедр, — сказал Прокопенюк.

— Я не умею, — конфузливо сказал Жора. — У нас лесов нет... откуда научиться...

Полез рябой парнишка: снял солдатский ремень, охлестнул вокруг ствола и двинулся, упираясь ребрами сапог.

— Дальше лезть? — прокричал он с вершины, полускрытый ветвями. — Тонко уже здесь!

— Реку видишь?

— Нет!

— Лезь!!

Нет, не было реки.

Выбрались обратно. Литвиненко молча влез в кабину, цыкнул:

— Домой — жив-ва!

Мерил карту, тупо смотрел на пляшущую стрелочку армейского компаса: недоумевал.

— Может, карта неверная? — предположил добрый Егор Карманов. — Или компас барахлит? У нас был вот в армии случай...

— Да заткнись ты со своими случаями!.. Дуй давай.

У конторы впрыгнул в свой газик и зловеще приказал:

— В Белоборск! И только встань по дороге — в лесу сгною, завтра же сучки рубить отправишься.

Шофер Сашка Манукян, отбывающий здесь ссылку после срока, униженно ответил: «Слушаюсь, гражданин начальник», и в особо зловредных промоинах даже подставлял от усердия в тон воющему мотору.

Белоборск, как и предсказывал справедливо Прокопенюк, стоял на месте. Неожиданное появление директора вызвало удивление.

Встали на бережке. Разложив злополучную карту на капоте, Литвиненко упорно пытался понять, где ошибка. Никакой ошибки не было: все сходилось, все было указано правильно — и длина дороги, и направление... вот здесь, в каких-то двадцати метрах, за медленной темной водой, должны сейчас лежать рельсы. А не лежат.

— А ну давай на тот берег.

— Почти по пояс, зальет, что вы...

— Пошли со мной!

— Да вон здесь брод удобный, полста шагов.

Разделись до пояса (снизу, естественно), и, мощно ворочая задом, Литвиненко взбурлил воду.

Выбравшись на осклизлый берег, затрубил:

— Э-ге-гей! Прокопеню-у-ук!

Эхо отозвалось какое-то матерное. Никаких иных звуков не воспоследовало.

— Пошли!

- Куда?
- К дороге.
- Так она где ж?
- Там.
- Так а если в стороне?
- Идем на тридцать девятый километр.
- Я не пойду, — тихо сказал Сашка.
- Почему еще не пойдешь?
- Заблудимся...

Литвиненко поозирался, подумал хоть в ухо ему дать... и повернул назад. На середине передумал:

— Садись в машину и через каждые две минуты — сигнал! Через час не вернусь — привезешь народ на поиски.

Через час вернулся — без успеха, злой, — и закручинился...

Самый-то кошмар начался назавтра. Ударная бригада объекта особого назначения в полном составе сидела на бревнах под окнами кабинета, деликатно куря.

— Ну, значит, это... — встал Прокопенюк.

— Почему не на работе?!

— На какой такой работе? У нас аккордный наряд на восемь километров. Сделали. За четыре дня до срока.

Литвиненко сдержал гнев:

— Ты мне дурака не валяй. В лес сейчас же все.

— В лес — это можно, — согласился Прокопенюк. — Всю жизнь в лесу. За этим дело не станет. Но сначала это... объект официально принять надо.

— Да что ж у тебя принимать?!

— Дорога железная узкоколейная восемь километров рельсы ТИП-22 на круглых шпалах без подъемных работ по просеке, — наукообразно вывалил Прокопенюк.

— Приму, когда дойдете до Белоборска.

— Этого в наряде нет, — возразил Прокопенюк. — В наряде указано — восемь километров. Так что — надо принять.

Литвиненко задумался тяжело. Положение нарисовалось безвыходное.

— Вот что, — пообещал он. — За работу получите сполна. Но сначала надо дойти до Белоборска.

— Так хлопцы работать не будут, — возразил Прокопенюк.

— Отчего же не будут? Им что, не все равно?
— Я в суд подам, — сказал Прокопенюк в ответ.
— Подавай, — усмехнулся Литвиненко. Закон — тайга: кое-какие связи у него еще оставались.

Прокопенюк оценил ухмылку правильно — сманивировал:

— Тогда я катаю жалобы в райком, министерство и все газеты, — пригрозил бестрепетно. — Комиссии наедут. Слушайте, оно вам надо?

Литвиненко начал, наконец, осознавать, что из хозяина положения превратился в его раба. Комиссия из райкома будет крахом его планов, его карьеры... всего.

И тут, разумеется, по закону подлости — или закону нагнетания драматических эффектов, если угодно, — зазуммерил радиотелефон — вертушка. Литвиненко махнул Прокопенюку — мол, выйди, но тот устоял в окне, как бы не замечая желаний выпроводить его.

— Да! — выгнувшись, кричал Литвиненко. — Да, подходим! Да, обязательно! Конечно!

— Ты смотри, — пищала трубка, — мы тебя в маяки выдвинули. Ты у нас теперь основатель почина, держись на высоте. Поддержим.

Долго горбился над телефоном, сжав виски кулаками.

— Что мне сказать ребятам? — разбил тишину Прокопенюк. — Ребята летом в отпуск не ходили, товарищ директор. А?

— Заплачу, — решился и рубанул Литвиненко. — Обещаю.

— Так — когда?..

— Сейчас!

— И аккорд?

— И аккорд.

— И пусковые?

— И пусковые.

— Тогда позвоните в бухгалтерию, пусть подпишут наряды-то.

Приемная комиссия в составе самого Литвиненко, главного инженера и старшего экономиста проехала по восьми километрам безукоризненной дороги и уперлась в тупик.

— Дорога в порядке, — твердо приговорил Литвиненко и скрепил бумаги своей подписью. Зыркнул приказующе, опасно.

В бухгалтерии поморщили бровки, посвистали носиками, но формально все было чисто: деньги на бочку.

Вечером Литвиненко крепко врезал и расхаживал по комнате, борясь с отчаянием.

— Главное — не выметать сор из избы, — повторял заикливо, — главное — не выметать сор... Если узнают наверху... Нет!! — грохнул кулаком по стене так, что упала фотография в рамке. — Так дойду ж я до Белоборска! сдохну — дойду!

Он виделся себе сказочным богатырем, окруженным врагами, мелкими и погаными, пытающимися мешать ему в праведном и победном намерении.

«Первое: никакой утечки информации. Дуракам полработы не показывают. Победа все спишет! И не такое делали.

Продолжать работы!!!»

Назавтра он не подписал отпуска двум девочкам из бухгалтерии, трактористу из сплавной конторы и крановщику.

— Товарищи, сейчас не время. На нас смотрит вся республика. Именно нам доверили проводить ответственный эксперимент по маневрированию рабочими ресурсами, по использованию внутренних резервов. Надо понимать — это особое положение. Сделаем дорогу — отпущу в отпуска всех. Причем бесплатный проезд обеспечу не только тем, кто не летал на материк уже три года, но и всем остальным, — оформим вперед. Даю слово. Это согласовано наверху, — убедительно врал он.

Оплаченный проезд понравился. Отпуска временно не оформлялись.

Точно так же временно прекратились любые командировки.

— Подождешь, — говорил он завгару. — Снимай детали со старых машин. Потерпи — выбью дополнительные фонды. Кончим объект — лично слетаю на завод, получишь все. Обещаю!

Упоминание о личном визите на завод подействовало.

Теперь следовало озаботиться приезжающими сюда. Литвиненко вызвал к себе начальника метеослужбы. Разговор долго кипел за закрытой дверью. Секретарше Любочке удалось разобрать отдельные слова: «Грузооборот!», «Совесть!», «Государственные интересы!» — и еще несколько, повторить которые она отказалась. Метеоролог вывалился перекошенный, пряча в карман

записку к завскладом. С этого дня в Усть-Куломе прочно установилась нелетная погода — такой ненастной осени не припоминали даже старики-ветераны, местной авиации.

Перекрыв такими мерами каналы возможной утечки информации, Литвиненко отбыл на объект — уже на девятый километр. Его сопровождал электромонтер с кошками и монтажным поясом. На месте Литвиненко облюбовал высочайшую мачтовую сосну, отобрал у монтера причиндалы и полез наверх лично.

Наверху шумел ветер. Пахучая смола липла к пиджаку. Пачкаясь, он поднес к глазам бинокль... Черт его знает: зеленое море тайги, будь оно проклято, шумело кругом, высокие соседние кроны закрывали обзор, и ничего было не разглядеть...

— Продолжать работы! — приказал он, спустившись.

На десятом километре бригадир разборщиков доложил:

— Рельсы кончаются... Где брать?

— Снимай со старой ветки. Скоро придет еще баржа с рельсами.

Это он чушь ляпнул, все понимали, что сейчас баржа никакая уже не придет, поздно, пришла бы в июле, заказывается всё на год вперед; но промолчали. Тем более что заработки были хорошие.

На одиннадцатом километре Литвиненко с горя задумал обратиться к помощи науки. Призвал в кабинет школьного учителя географии и сторожа мастерских, в прошлом младшего лейтенанта артиллерии, и указкой по карте изложил проблему.

Учитель пришел со своим компасом. Он долго вертел его, устанавливал, потом вертел карту, потом мерил расстояние, потом листал учебник.

— Ну?! — подстегнул Литвиненко. — Чему тебя учили? Сходится по твоей биогра... тьфу, географии?

— Да по науке вроде сходится... — испуганно согласился учитель.

Сторож-артиллерист посоветовал:

— Стодвадцатидвухмиллиметровая гаубица достала бы. Ахнуть раз — и отметить по разрыву в Белоборске, и все ясно тогда бы.

— Вот ахну тебе раз! — плюнул Литвиненко. И отослал консультантов подальше, озлившись.

Вечером учитель робко постучался к нему домой: он ролил спасительную научную идею.

— Однако теодолит нужно, — сказал учитель.

— Где я тебе возьму теодолит?! Нет у нас теодолита!

— Дорогу нельзя без теодолита. Потому и не выходит.

Выяснив, что в дортресте у самих приборов в обрез, Литвиненко предпринял трехдневную речную экспедицию в соседний леспромхоз. Теодолит ему обменяли на пол-ящика водки, списав его у себя по ведомости как пришедший в негодность из-за работы под дождем.

Теодолит торжественно вручили дорожному мастеру Левину, безгласному и безвредному соглашателю, и немедленно отправили в лес — готовить научные объяснения к приезду начальства. Левин укатил на дрезине, бережно обняв драгоценный прибор, каковой при высадке и расколол необъяснимым образом вдребезги о рельсы.

Пред расстрельными очами Литвиненко он дрожал волнистой мелкою дрожью, как жалимый слепнем лошак, и лепетал о стрессе, азимуте и недостатке практики после института.

— Под суд пойдешь! — с бешеным наслаждением определил Литвиненко. — Мастер-ломастер... вредитель! Прибор уничтожил? Дорогу завел неизвестно куда? А диплом имеешь! Вот за все и ответишь — по полной строгости!

Назначив Левину роль громоотвода, Литвиненко слегка воспрял духом: найти виновного — решить полпроблемы.

Ночью Левин сбежал, не дожидаясь дальнейшего развития событий. Расследование установило, что он захватил чемодан с вещами и воспользовался одной из лодок на берегу. Настичь дезертира не удалось: видимо, он плыл в темноте, а днем прятался в зарослях. По слухам, Левин сплыл аж до Мезени, а там сел на самолет.

Предупреждая рецидивы, Литвиненко оснастил причалы автомобильным прожектором и приставил к нему сторожа. Спohватившись, надавил на начальницу почтового отделения и тайно ввел перлюстрацию писем: никаких упоминаний о секретном объекте. (Он сам не

заметил, как мысленно стал именовать объект из ударного — «секретным»).

Переход на блокадное положение завершился. Усть-Кулом блокировал сам себя.

А дорога росла, и страх перед грядущим разоблачением рос вместе с нею. И одновременно рос интерес вышестоящих инстанций — интерес профессиональный, специфический:

— Каковы показатели за последний месяц?

— Сто два процента по сравнению к предыдущему!

— А себестоимость снижаете?

— Неуклонно! Сейчас снимаем рельсы с ближнего уса, расстояние подвоза сократили втрое.

— Производительность труда растет?

— Плюс три с половиной процента. Люди работают героически! Ставим жилые будки прямо на трассе, экономится время на дорогу.

— Давай, Литвиненко, жми!

Литвиненко жал. Иногда ему со злорадством хотелось увидеть лицо начальственного абонента при известии, что путь протянулся уже на семнадцатый километр.

В неделю раз он не выдерживал и на газике мотался в Белоборск. Оттуда регулярно высылались поисковые экспедиции — и, проплутав в чаще, приплетались ни с чем. Самое поразительное, что (по донесению информатора) орлы Прокопенюка не единожды хаживали напрямки в Белоборск за водкой — и добывали! Но прижать их с поличным не удавалось, а припертые в угол они все отрицали всё категорически!..

Уже ложились белые снега, уже в две смены вкалывали на узкоколейке снятые с кварталов бригады, уже... кошмар.

Ах, самолет бы ему, вертолетик бы, дирижабль — хоть на день, на один часочек: взмыть над землей, окинуть с высоты, увидеть, понять. Не было вертолетов: ни геологов на связи, ни военных под боком, хоть ты тресни.

Однажды, когда по его приказу была объявлена летная погода, — хоть в пару недель раз должен прилетать борт, иначе неправдоподобно, и так-то дико, что обратных пассажиров нет! — он пытался воздействовать на командира экипажа. Командир мямлил, что

плоховато знает своих людей, штурман новый... лимит горючего, полетный лист, права не имеют... Кого колышет чужое горе. Плевать ему было на узкоколейку. Таких благ, чтоб его соблазнить, у Литвиненко не оказалось.

— Тысяча рублей! — грубо предложил он.

Летчик понял, что тут пахнет чем-то нехорошим, опасным, возможно даже угоном самолета и побегом преступной группы, и отказался наотрез.

Если раньше Литвиненко испытывал чувство нереальности, то теперь постепенно у него, как и у всех, нескончаемость дороги стала какой-то привычной, как часть пейзажа или особенность климата. Ну, раньше валили лес — теперь строили дорогу: в принципе-то ничего не изменилось. Так же выполняли план, закрывали наряды, получали зарплату, лаялись на планерках...

Сверху давили:

- Больше!
- Быстрее!
- ...дешевле!
- ...экономичнее!

По дорожному строительству они прочно держали первое место по отрасли, их стали отмечать в сводках и докладах.

Главным лицом в поселке сделался Прокопенюк. Прокопенюк больше всех зарабатывал. Прокопенюк мог выгнать с объекта, а мог принять, объявив ценным специалистом. Прокопенюк мог расценить работу так, а мог эдак. А главное — Прокопенюк стянул все вожжи в свои руки — выглядел необходимым, незаменимым.

В проблесках Литвиненко сознавал, что гибнет, но пути назад не было. Телефон зудил, телефон терзал его:

- Темпов не снижать!
- Почему не растет прирост производительности!
- Усилий не ослаблять!

К торжественной дате грянула новая напасть:

— Пришла разрядка на правительственные награды. Вам решено выделить орден Красного Знамени. Представь кандидата. Записывай данные: пол — мужской, партийность — партийный, возрастная группа — от сорока до пятидесяти, национальность — интернациональная, не русский, но и не местный, не коми, а

представитель братского народа... но — братского, ты понял? Так; образование — среднее, социальная принадлежность — рабочий. Повтори!

Прокопенюк укладывался в эти данные, как бильярдный шар в лузу: Литвиненко лишь фамилию и место рождения проставил.

— У вас там что, сплошные метели нынче? Ничего, прилетим: жди гостей! Кстати, чтоб пустил рабочий поезд из этого... как? Белоборска. У нас республиканская телехроника заказана. Так что — готовься показать товар лицом!

— Есть! — мертвым голосом ответил Литвиненко.

Считая дни, перешли на круглосуточный трехсменный график. Усы снимали уже не только с выбранных кварталов — с рабочих, подряд. Да там все равно уже никто не работал: вальщики стояли вдоль новой трассы, удаляющейся в дальнюю даль...

В полном составе леспромхоз лихорадочно вел дорогу.

Добыча леса происходила только в документах, и в многочисленных и противоречивых документах этих все было в исключительном порядке: контора функционировала отменно, ей без разницы было, какой лес считать — реальный или воображаемый: четыре действия арифметики соблюдались неукоснительно.

Бессонной ночью у Литвиненко родился очередной гениальный план. На восьмом километре надо вырыть реку. Ну, не реку — длинный и узкий пруд, загибающийся влево-вправо в тайгу, чтоб не видно было. Через него — мост.

Воду привезти в цистернах. Дома построить, или даже — разобрать и перевезти белоборские строения. Жителей переселить. И дело с концом!

Он звонком поднял с постели экономиста и приказал обсчитать проект. Экономист посмотрел на него с ужасом и пошел домой считать.

Утром Литвиненко пригласили в больницу. Главврач, по специальности гинеколог, а по совместительству также травматолог и невропатолог, завел туманную беседу о числах месяца, возрасте и прошедших событиях.

— Я не сумасшедший, — ответил Литвиненко прощательно. — Просто я работаю в экстремальных условиях, доктор. А вот с экономистом я бы на вашем

месте разобрался, уложил на обследование: в своем он уме или рехнулся, принимая во внимание все обстоятельства, стучать на начальство?.. Да я его живьем сожру!!!

Главврач с крихтеньем признал здравость суждений пациента и прописал пить элениум, выцганив заодно полтонны бензина для санитарной машины и тридцать рулонов рубероида для ремонта крыши этой развалюхи, больницы его вшивой.

Литвиненко перекрестился и стал готовиться к встрече.

Сколько веревочке ни виться, а гром грянет.

Торжественная и ответственная комиссия вылезла из самолета, неся зачехленное переходящее знамя. Следом вывалились телевизионщики, нацеливая свою аппаратуру. Попросили комиссию вернуться в самолет и сойти по трапу еще раз. Попросили летчиков взлететь и сесть еще раз. Летчики отказались.

Литвиненко отрапортовал, по укоренившейся привычке вздев ладонь к шапке. Оркестр оторвал звенящий ликующий туш. Нарядный Прокопенюк тянулся перед строем своей бригады, всосавшей все явные и скрытые трудовые ресурсы леспромхоза.

Знамя расчехлили и вручили.

Прокопенюка наградили, обняли, облобызали и поздравили.

Потом Литвиненко тоже наградили, обняли, облобызали и поздравили.

Произнесли поощрительную речь и две ответных.

Оркестр сыграл «Славься» и «Марш энтузиастов», музыканты вытряхнули из мундштуков слюну на блестящий под солнцем снег.

Прокопенюк, не застегивая пальто, поминутно трогал на лацкане новый, как игрушечный, орден.

Телевизионщики заставили молдаванина Жору раздеться до пояса и обтираться снегом, при этом улыбаясь: «У вас киногеничные зубы».

Литвиненко верноподданнически тарашил глаза, помня лишь одно: не пустить комиссию выбраться из поселка, не пустить, не пустить!!

Операция развернулась.

— А теперь пожалуйста отведайте наших хлеба-соли! — сказала секретарша Любочка в национальном костюме неизвестного народа, улыбаясь льстиво и

протягивая на рушнике, специально вышитом женой Литвиненко, румяный каравай, специально выпеченный Данилычем: старый армейский пекарь Данилыч тренировался неделю и извел полтора мешка канадской муки без примесей, пока добился результата. В каравай была всунута деревянная в резных узорах солонка, оставшаяся Егору Карманову от бабки и временно реквизируемая.

Начальство общипало каравай, демократично пожевало хлеб-соль.

Превзошедший крутую службу Литвиненко задирировал, чутко играя на психике гостей.

— А сейчас — просим — дорогих гостей — пройти к поезду! — продекламировал он. — Поедем — на открытие — нашей новой — трассы! — взмахнул рукой, как конферансье перед распахивающимся занавесом. Прокопенюковцы заплодировали.

— Ур-ра!!

Начальство чуть растерялось под таким напором, снимающим предусмотренную программу. Темп был навязан. Разобравшись в колонну по старшинству, послушно потянулись с маленькой приаэродромной площади по сплошной ковровой дорожке. Дорожку эту в количестве пяти рулонов завезли некогда в орсовский магазин, и вот годы спустя все куски вновь собрались воедино, тщательно подобранные друг к другу по степени истоптанности и сшитые.

По центральной улице нарядная воспитательница конвоировала нарядных детишек.

— Скажите дядям хором: здравствуйте! — прошептала она.

— Здра-ст-вуй-те! — отрепетированно грянули юные граждане.

Начальству следовало отечески умилиться. В отеческом умилении неловко было бы игнорировать милый призыв заглянуть в наш садик. Садик был надраен до состояния идеальной казармы. Веяло распысканным одеколоном и гастрономическими изысками.

— А это наша кустовая больница. Как только закончим дорогу — закладываем новый корпус!

— Смета уже есть?

— А как же. Причем очень экономичная.

На белом крыльце встречал белый главврач в белой шапочке, белом халате, белых шароварах и белых тапоч-

ках. Сестры тянулись по ранжиру. Свежая краска липла к подошвам. Больные выглядели самыми здоровыми больными в мире. Они и были здоровыми: больных на этот день спихали с глаз подальше в инфекционное отделение.

Вся жизнь большинства поселков сконцентрирована на центральной улице. В зависимости от величины поселка растет обычно не количество улиц, а длина одной — центральной. На этом и основывался план. К середине улицы делегаты, люди хоть и тренированные, изрядно притомились, да и время обеда пришло.

За обедом же, сервированным в отскобленной до глянца столовой, ввек столовая такого обеда не видела и впредь не увидит, гостей опекали индивидуально, умело, споро, — со всеми вытекающими отсюда последствиями, и текли те последствия щедрой рекой. После первых тостов добавили водочку особую, усиленную питьевым спиртом, замороженную до полной потери вкуса и запаха, один смак в ней остался да тайный градус, и летела она, как говорится, птицей — под рыжики соленые, медвежатинку копченую с черемшой, лосиный окорок с клюквой моченой, карбонат шкворчащий из дикой кабанятинки, филе глухарей тушеное (не вовсе еще оскудела тайга, найдутся деликатесы для нужного случая!), зайчатинку под соусом, рябчиков и куропаток, нежно хрустящих, в топленом масле, беломясую рыбку чир малосольную, тающую, — и не хочешь, а выпьешь и закусишь, и повторишь. Из-за стола гостей разносили по спальням.

Короче, наутро улетать, а тут дай бог опохмелиться и выжить.

Опохмелились; выжили. Подсуетились. Телевизиончики были старые волки, из тех, что снимут хоть Ниагарский водопад в кухонной раковине: без материала возвращаться не привыкли.

Запив шампанским соду и анальгин, давя икоту и отрыжку, заползли в праздничный поезд, два вагончика при мотовозе, украшенных транспарантами и сосновыми лапами: тронулись. (Машинисту наказано было везти плавно!)...

Церемонию качественно отсняли на разъезде у пятого километра. Там уже ждал рабочий поезд, также украшенный.

Вид первый: приближающийся поезд, счастливые рабочие машут с подножек, с площадки локомотива. Вид второй: ответственные товарищи с достойной радостью выходят из вагона. Вид третий — братание: объятия и поздравления.

Вид четвертый: как бы летучий митинг. Вид пятый: перерезание ленточки, запасливо прихваченной с собой. И вид последний: удаляющийся поезд.

— Стоп! Отлично! Всем спасибо. А теперь, товарищи — кто-нибудь не мог бы спилить дерево, побольше такое, чтоб оно упало?

Сняли падающее дерево.

— И хорошо бы укладку последнего звена, смьчку.

В минуту разболтили, расшили пару рельсов, оттащили, подтащили...

— Что, руками? А крана нет?..

— Какой же кран, это узкоколейка, сто тридцать килограммов весь рельс... — посмеялись.

Из справедливости надо заметить, что съемка абсолютно ничем не отличалась бы от той, которая изображала бы всамделишное явление поезда из Белоборска. Да и от тысяч других нормальных хроник.

На аэродроме винты взмели снег — «Барин сел в карету и уехал в Питер».

Такое дело хорошенько обмыли, допили-доели угощение, погуляли — чтоб было что вспомнить; разобрали дорожку на коврики, вселили больных на место; обсудили, успокоились, зажили.

Надо было жить и работать дальше.

Перевыполняли план, брали обязательства, закрывали наряды, составляли сводки, подписывали отчеты, получали премии.

Дорога исподволь стала предметом гордости. Таких больше нигде не было. Втянулись; полюбили.

В перспективе прикидывали мысль класть ее в две колеи: прогресс.

Начальство следило за успехами, координировало действия, подстегивало, поощряло.

Установившееся неодолимое внутреннее влечение тянуло Литвиненко еще и еще раз взглянуть на трассу, пожать родственные руки работягам, втянуть мерзлый железный запах ломов и рельс. Выезжал с волнением, с томительной отрадой отзывалось тело подрагиванию колес на стыках, до боли вглядывались глаза в знако-

мый наизусть, до мельчайшей приметы, единственный и родной пейзаж. В чертову дикую даль летела дорога, прямая, как выстрел, натянутая, как нерв, стремительная и бесконечная, как звездный луч, стальным штыковым блеском прорезая заснеженную тайгу, замерзшие болота, застланные пади, над которыми кривым огнистым ятаганом стояла комета и переливалось апокалиптическими сполохами великое северное сияние.

Впрочем, днем было светло.

СОДЕРЖАНИЕ

Из книги

«ХОЧУ БЫТЬ ДВОРНИКОМ»

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ	4
КОНЬ НА ОДИН ПЕРЕГОН	7
КОЛЕЧКО	20
НЕБО НАД ГОЛОВОЙ	42
ВСЕ УЛАДИТСЯ	49
ТРАНСПОРТИРОВКА	64
КОШЕЛЕК	86
А ВОТ ТЕ ШИШ	111
ЛОДОЧКА	124
ПОПРАВКИ К ЗАДАЧАМ	126
ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ	129
ОСУЖДЕНИЕ	134
СВОБОДУ НЕ ПОДАРЯТ	138
НЕДОРОГИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ	140
КНОПКА	146
ДОЛГИ	154
ИДЕТ СЪЕМКА	175
ПЛАНОВОЕ СЧАСТЬЕ	178
ХОЧУ БЫТЬ ДВОРНИКОМ	181

Из книги

«РАЗБИВАТЕЛЬ СЕРДЕЦ»

ПАУК	184
ДУМЫ	186
ЭХО	189
АПЕЛЬСИНЫ	193
РАЗНЫЕ СУДЬБЫ	196

МИМОХОДОМ	200
ЛЕГИОНЕР	203
ПРАВИЛА ВСЕМОГУЩЕСТВА	205
ИСПЫТАТЕЛИ СЧАСТЬЯ	228
КАРЬЕРА В НИКУДА	257
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА	300
ВОЗВРАЩЕНИЕ	305
МИГ	311
НИ О ЧЕМ	314
СВИСТУЛЬКИ	317
ЦИТАТЫ	320
КЕНТАВР	328

Из книги

«РАНДЕВУ СО ЗНАМЕНИТОСТЬЮ»

ДЕТИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ	332
РАНДЕВУ СО ЗНАМЕНИТОСТЬЮ	352

Из книги

«ХОЧУ В ПАРИЖ»

ХОЧУ В ПАРИЖ	376
УЗКОКОЛЕЙКА	401

**По вопросам оптовых закупок
обращаться по телефонам:**

Москва

**(095) 207-32-70
207-34-10**

С.-Петербург

**(812) 314-81-47
314-81-65
312-52-02**

Веллер Михаил Иосифович
ПРАВИЛА ВСЕМОГУЩЕСТВА

Корректор Елена Амцелогова
Верстка Алексея Положенцева

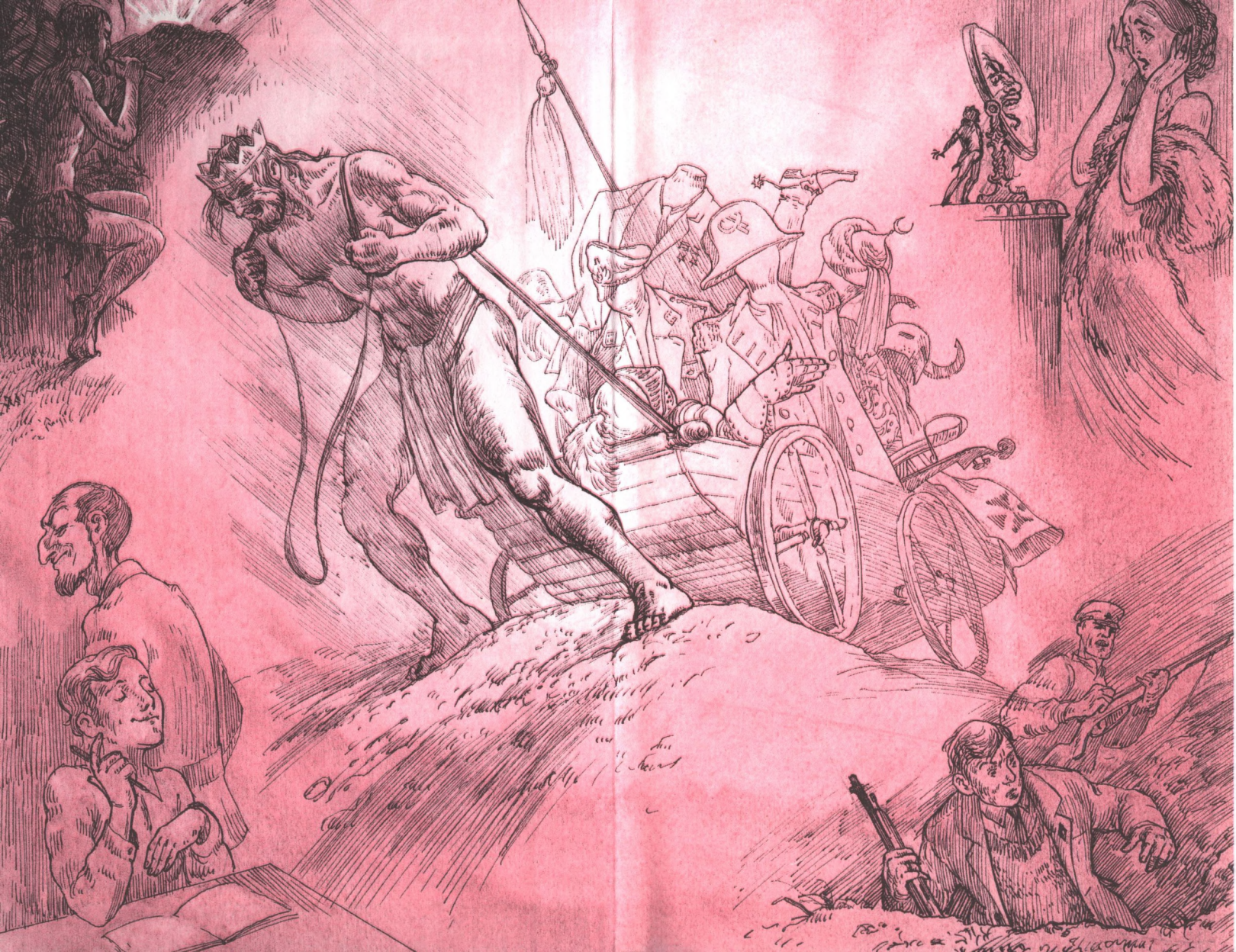
ЛР № 062122 от 26.01.1993 г.

Подписано в печать 28.06.97.

Формат 84×108¹/₃₂. Печать офсетная.
Гарнитура Петербург. Усл. печ. л. 22,68.
Тираж 30 000. Заказ № 841.

Издательство АОЗТ «Норма-Пресс»
Санкт-Петербург, наб. р. Ждановки, д. 43-б.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии им. Володарского Лениздата.
191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 57.



Михаил
ВЕЛЛЕР



**ПРАВИЛА
ВСЕМОГУЩЕСТВА**